

НОВОЫЙ
МИР

4

1972

НОВОЫЙ МИР

1972

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVIII

№ 4

Апрель, 1972 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КАРЛО КАЛАДЗЕ — Из поэмы «Думы». Перевед с грузинского М. Синельников	3
ЮЛИЙ КРЕДИН — От мира сего, повесть	7
ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ — Вечер. Окна. Люди. Продолжение	91

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Н. И. КРЫЛОВ — Огненный бастион	153
ПОЛИНА ВИНОГРАДСКАЯ — Штрихи к портрету	195

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЮРИЙ ЖУКОВ — Лечу в Венесуэлу. Записки журналиста	204
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ОСКОЦКИЙ — Связь времен	231
----------------------------	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	254
Борис Яранцев. В зеркале «малой» прозы.— В. Турбин. Листопад по весне.— А. Серебренников. Читатель вопрошающий.	
<i>Политика и наука</i>	268
Борис Яковлев. Из «Искры»...— П. Черкасов. На тайном фронте революции.— Эр. Ханпира. Динамика языка.	

(См на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — Георгий Маргвелашвили. — Г. Цурикова. Тициан Табидзе. Жизнь и поэзия. ♦ Н. Хохлов. — Д. Н. Смирнов. Очерки жизни и быта нижегородцев XVII—XVIII веков. ♦ И. Соловьева. — И. Виноградская. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись. ♦ Е. Мелетинский. — И. Н. Голенищев-Кутузов. Творчество Данте и мировая культура ♦ Ю. Трифонов. — И. С. Соколов-Микитов. Звуки земли. Рассказы о птицах. ♦ С. Липкин. — Дм. Голубков. Окрестность. Книга стихов. ♦ Дм. Еремин. — Галина Винникова. Тургенев и Россия	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

КАРЛО КАЛАДЗЕ

★

ИЗ ПОЭМЫ «ДУМЫ»

С грузинского

В новой поэме К. Р. Каладзе «Думы», посвященной гружбе народов рассказывается о путешествии автора в Турцию и о его встрече с турецкими грузинами, лазами, некогда покинувшими родину.

Полет

Пересекая Грузии границу,
Ее крупцу я беру в полет:
Кто без меня родной земли частицу,
Как родину, изгнанникам вернет?

Они сейчас о родине запели,
Приветствуя вечернюю зарю,
Двадцать второй, прекрасный день апреля!
О Ленине великом говорю!

...Передо мной — волшебное зеркало,
Вмestившее бегущий шар земной.
Земля засеребрилась, замерцала
И на минуту сделалась иной.

Одна минута! Как неоднозначен
Твой быстрый смысл для каждого из нас!
Одна минута горя и удачи,
Как видит сердце, как желает глаз...

Так зеркало волшебное правдиво,
Что я, замороженный быстринной,
В нем вижу звезды на волне залива,
Далекий двор, и сад, и дом родной...

И день померк. Засуетились тени,
Сошлись в кружок и побежали прочь.
Свеча зажглась как малое мгновенье,
Что с вечером соединило ночь.

Душа моя летит к родным долинам...
Одновременно вижу две страны,
Мы все теснимся в зеркале едином,
Добром, и злом, и веком сплочены.

Как тускло в этом доме освещенье!
Глядит луна печально и светло,
Турецких рек ревущее стремленье
Ни света, ни тепла не принесло.

Но море огнепламенное света
И в этот час мне видится вдали.
И празднует огромная планета
Великий праздник всей моей земли.

А в Грузии бурлящих рек веселье
Пылает миллионами огней!
Двадцать второй, прекрасный день апреля,
Уже настал на родине моей.

О Ленине мы вам рассказ несли,
Простой рассказ, не проповеди слово...
Но в этот день во всех концах земли
Мы это имя повторяем снова.

Пришел на время этот человек
И жизнь одну прожил на белом свете,
Да и сейчас всего лишь только век
Возглавившему сонм тысячелетий!

Но над вселенной буря пронеслась,
Упали горы, эхо прокатилось,
И прервалась с отжившим веком связь,
И связь с грядущим прочно утвердилась.

Свидетель я и очевидец я
Великих лет, чье каждое мгновенье
Несло векам его сердцебиенье,
И жар души, и свет его огня!

И выростала из борьбы свобода,
Из малой искры — зарево огней.
Он был надеждой моего народа,
Его улыбка в памяти моей...

Живое сердце факелом пылало,
И темные сгорали времена,
Бежала ночь, и над землей светало...
Но жизнь одна была ему дана.

Не в силах мы отдать ему дыхание
И жизнь вернуть всей кровью наших жил.
Он не угас... Ведь все свое пыланье
Он поровну меж нами разделил.

И я несу того огня частицу
И зажигаю светлую свечу!
И льется ответ на мою страницу,
И мне любая ноша по плечу.

Преодолею невиданные кручи
Ведомый этим именем народ.
И взмах руки торжественно-могучий,
Как прежде, осеняет и ведет.

И вихорь века раздувает пламя!
И Ленину я посвящаю стих!
...Пришла пора прощания с друзьями
Так пусть улыбкой я останусь в них.

Москва

От облаков налево и направо —
Невидимо-прозрачные пути...
Огромная лазурная держава,
Раскинь крыла, качнись и полети!

И вот летят все яростней, все круче
Просторные небесные поля.
Благослови, светящаяся туча!
Прощай, прощай, турецкая земля!

Мне стало ясно: небо — лишь дорога,
Воздушный путь, и больше ничего!
И от залива Золотого Рога
Мы до Москвы перелетим его.

Стремглав, с налету, солнце не объехав,
Как Автандил, летящий сквозь века
В серебряном сиянии доспехов,
Крылатый лайнер режет облака.

И облако легко, светловолосо
Рассыпалось и полетело вкось,
Вновь собралось над синевую плеса
И за крылом быстрее понеслось.

Лети, лети через моря и горы,
Сквозь пламенную эту синеву!
Не обернись на зеркало Босфора,
Летим со мной в далекую Москву!

Но для того, чтоб гневный ветер странствий
Не разорвал трепещущую грудь,
Держись прямой в бушующем пространстве,
Не смей заснуть, держи на север путь!

Крутое тело Азии плечистой
Приподнялось и двинулось в простор.
И под тобой земля — как золотистый,
Цветной, руками вышитый ковер.

...Закрыв глаза. Слепящее сиянье!
Журчит и плещет времени ручей,
И вслед за мной несет его дыханье
Семнадцать дней и столько же ночей!

В стране чужой, как утро мира, древней,
Куда меня дорогой занесло,
Я заходил в столетья и в деревни...
Из века в век, как из села в село!

Как много лиц, мелькая, пролетело!
Я их забыл, едва и разглядев...
Но гордый профиль юноши-картвела
Впечатан в память, словно горельеф.

И вспомнились обычаи Месхети,
Звучал язык певучий и родной,
И мы сошлись на этом белом свете,
Как братья, разлученные бедой.

Но взгляд прощанья, брошенный вдогонку,
И в синем небе следует за мной,
И этот голос юношески-звонкий
Как будто возвращается домой.

О, город звезд, вместивший миллионы
Сердец, и дум, и зданий, и огней,
Поэт, зажженный думою бессонной,
Я говорю с бессонницей твоей!

О, ночь Москвы! За утром ты в погоне,
Ты — факел, предвещающий зарю!
И я, как лист, лечу в твои ладони,
Твоим огнем, как искра, я горю!

Москва, ты знаешь недруга и брата,
Но для друзей безмерна доброта,
И, как ворота города когда-то,
Твоих небес распахнуты врата!

Твой путь не прост, твой путь совсем не краток,
Грядущего огромна вышина...
Но мост прочнейший из крылатых радуг
Соединит навечно времена!

И вот Москва!.. Цветением весенним
Встречает нас объятие земли.
Цветы Москвы прихлынули к ступеням
И по ступеням лестниц потекли.

Ну вот, пора и с кораблем проститься...
Но как-то вдруг понятно стало мне:
Моей души незримая частица
Осталась там, в турецкой стороне.

Еще на сердце — лед чужой печали,
Еще дышу тревогами пути...
Москва, Москва, согрей меня лучами,
Весенним солнцем сердце просвети!

Еще строка... И кажется, что это
Последняя страница дневника.
И тишина! И, не меняя цвета,
Так тихо, тихо льются облака.

Но все свежее ветра колыханье,
Все шире и свободней разворот,
И облака меняют очертанья
И снова устремляются в полет.

Перевел М. Синельников.



ЮЛИЙ КРЕЛИН

★

ОТ МИРА СЕГО

Повесть

ПРОЛОГ

- **В** жасные вены. Никак не попаду.
— А жгут хорошо лежит?
— Посмотри.
— Попробуй в другую вену.
— Да они все у него плохие.
— Девятое ранение. Всего уже истыкали,— включился раненый.
— Лежи, лежи. Привыкнуть уже должен.
— Легко говорить вам. Пока война — терпел. А сейчас не могу. Весь месяц только и думаю о доме.
— Нет, надо разрезать, найдем вену на глаз и перельем.
— Нет, нет. И не говорите. Не дам больше резать. Ни для чего. Все. Сил нет.
— Но перелить надо.
— Не могу,— чуть не плачет раненый.
— Ну что ты там, черт рыжий,— включился в дискуссию еще один, лежащий на соседнем перевязочном столе и ожидающий своей очереди.— Да пусть разрежут — быстрее же будет. Ждешь, ждешь — я-то человек?
— А ты, сержант, молчи.— Плачущих ноток у первого как не бывало.— Тебя не спрашивают. Резать-то меня будут — и отвались.— Обругал соседа, и как будто легче стало.
— Может, ты попробуешь? — говорит сестра фельдшеру.
— Давай. Ну-ка. А игла проходима? Все в порядке вроде.— Фельдшер склонился над рукой раненого с иглой в пальцах.— Вот зараза... Никак... Ну, а в эту вену... Опять...
Вошел врач.
— Товарищ майор. Никак не можем. Попробуйте, а?
— Здрасте-пожалте, всю войну кололи — ничего, попадали. А сейчас? Домой, что ли, не терпится?
— Это уж точно, товарищ майор,— обрадовался пониманию со стороны начальства фельдшер.
— Да ты ж лучше меня делаешь. Ну ладно, давай попробую. Игла-то проходима?
— Попробуйте.
— Да. Хорошо. Ну, черт. Неудобно... Нет... Может, другую вену?... Попал... по-моему... а крови нет.
— Нет. Не попали.

— Не попали, не попали. Убери ты отсюда этот стояк с ампулой! Видишь же — мешает. Ох и бестолковые. Все на одном пяточке. Нет. Никак не могу.

— Ну, хватит, товарищ майор, ну, завтра. — Раненый опять готов плакать.

— Завтра, завтра. Домой небось хочешь сегодня. Побыстрой. Сегодня надо перелить. Зови начальника отделения. Пускай идет и колет.

Из коридора доносится:

— Товарищ подполковник, товарищ майор в перевязочную просили зайти.

— Ну, чего еще?

— Дмитрий Михайлович, никак не можем в вену попасть. Попробуйте.

— Не можете — делайте венесекцию. Первый раз, что ли? Думаешь, война кончилась — кровь проливать уже нельзя?

— Нет уж! Не дам резать. Хватит. — Как только раненый становится агрессивным, голос его твердеет, словно у здорового. — Война кончилась. Колите... Или отпустите лучше вы меня в палату. Ну, что, от этой ампулы летать я буду, что ли?!

— Молчи, солдат, молчи. Мы знаем, что надо. Всяк норовит поучать. Ну, ладно, давай попробую. Да вы уж тут гематом наделали. Давай на другой руке. Нет, и здесь плохо. Пойдем на здоровую ногу. А игла-то проходима?

Фельдшер — старший лейтенант — стоит и отвечает небрежно, как бывает в армии только у медиков, наверное:

— Попробуйте.

— Да, хороша. Ах ты гадина! Скользит... Выскакивает из-под иглы. Венки и не заполнены вовсе. Да кто ж так жгут затягивает? Приток крови нет совсем. Ты про артерии знаешь или нет?! Ты фельдшер или интендант, лейтенант?! Соображать же надо... И не подойдешь как следует. Обязательно капельница с ампулой должна у меня над глазом висеть?! Уберите вы ее отсюда к чертовой матери! Куда!.. Куда!.. Сам не можешь догадаться? Ну, поставь рядом с той пока. Вон около того стола хотя бы... Скользит... Обязательно все в одном месте... Обязательно толкотня... Ну, народ!.. Так и скачет под иглой... Нет, ни черта не получается...

В перевязочную вошел еще один врач, врач-новобранец. Совсем мальчик.

— А-а! Капитан! А ну попробуй! Молодые руки, молодые глаза. Новичкам, ведь известно, везет. На.

— Ну вот. Только учиться кончил — и сразу меня колоть! Что я, собака вам какая?! Не дам ему делать.

— Солдат! Ты как об офицере говоришь?!

— Вам легко шутить, а меня всего уж истыкали.

— Ну, ладно. Помолчи. Капитан, вы когда-нибудь кололи?

— Так точно.

— Капитан, у нас не чистая армия. Это госпиталь. Так что можете без «так точно».

— Слушаюсь, товарищ подполковник.

— Коли. А ты молчи.

— Вот видишь, солдат. А ты не хотел. Я ж говорю — новичкам везет. Как на бегах. Эх, скоро в Москву. Ну, переливайте сами.

Кровь подсоединили к игле...

А через пятнадцать минут отделение носилось в суматохе. Сначала майор чуть-чуть отодвинул систему для переливания, затем подполковник велел еще дальше ее убрать, а когда наконец капитан

попал в вену, схватили не ту капельницу, схватили которая ближе, а которая ближе приготовлена была для нетерпеливого сержанта.

Лишь через две недели все немножко успокоились, когда уже более или менее уверенно могли говорить, что переливание не той группы крови, сержантской крови, для раненого солдата не стало смертельным. Хорошо, что смогли рано заметить. А перелили бы больше — не спасли б.

Спасли. Но в госпитале все равно уже сидит комиссия.

— Кто из врачей переливал кровь?

Это было трудно выяснить. Назначил переливание палатный врач. А его в этот день не было в госпитале. Виноват, значит, кто в вену попал.

Так и сегодня считается: кто вену колол, кто в вену попал, тот и кровь переливал, тот и ответственность несет.

Так и запомнил на всю жизнь наш сегодняшний Начальник это свое первое должностное преступление, первую для него должностную несправедливость, первое заслуженное наказание. Заслуженное ли?

Он страдал? Негодовал? Обижался? Сделал выводы? Стал внимательнее?

«ГОРИМ, НО ЛЕЧИМ»

Начальник сидел в кресле в редком для себя спокойном состоянии, курил и рассуждал. Как всегда — обо всем и ни о чем. В кабинете было полно дыму, и в этой обстановке мы с ним чувствовали себя очень уютно. Языки наши распустились, мысли расплавились — мы разговаривали.

Начальник рассказывал про пожар в соседней больнице.

— ...Вызвали пожарных, звонят на «скорую», говорят: «Не присылайте больных — горим!» А им отвечают: «А мы не горим? Все больницы в городе горят, все переполнены. Некуда посылать — все равно будем посылать. Горите, но лечите». Позвонили в горздрав — никто серьезно не воспринимал пожар. Или не верили? Приехали пожарные. Дежурный спрашивает у них, каково положение, не надо ли начинать эвакуацию больных. А они: «О чем говорите? Помещение спасти надо!» Кончилось, в конце концов, все благополучно. Так сказать, по усам потекло, но рот не залило.

Мы сидим вдвоем в тепле и уюте, в волнах доброжелательства, поэтому я держу себя в рамках и не прерываю. И все-таки позволяю себе лишнее.

...Говорим про то, про это. И я говорю, как трудно находиться у него в кабинете, когда набивается полно людей, коллег моих, когда идет борьба за место повыше, поближе к источнику тепла (напрасно я так сказал). Начальник же сказал, чтоб я не обращал на это внимания, что все равно он меняет и передвигает врачей все время, дабы их не припекало долго с одной стороны, и без особой нужды не подмораживало кого-нибудь больше, чем других, что вообще он может переворачивать нас, как блины на сковородке, если видит, что кто-то подгорел, а видит он все и замечает все и должным образом оценивает все, в том числе и себя, что есть у него на каждого досье, что успехи и промахи каждого у него как на ладони, что из этих карточек он может раскладывать пасьянс, где каждый будет ложиться на то место, которое он, Начальник, сочтет подходящим, а не куда кинет карточное везение.

— Скажи-ка мне, а что ты думаешь о нашем втором доценте? — По-видимому, он перешел к заполнению своих карточек.

— Да вам же виднее: вы сверху смотрите.

— Согласен — первый наш все мне рассказывает, но я люблю тройную информацию. Тогда есть объективность. Тогда я могу выводы делать. Потому меня и интересует, что думаешь ты. Да и вы все не зависите тогда от субъективности одного информатора.

— А что я могу сказать вам? Врач неплохой, а вообще... аккуратный человек. Карьеру он делает.

— Это как сказать. Но ты должен понять, Сергей, что начальству выгоднее иметь дело с людьми, которые активно выстраивают свою карьеру. Трясти надо плодоносящее дерево, а не сухое. Такие люди вынуждены думать прежде всего о деле. К тому же им и приказывать легче. С ними легко выдерживать принцип: ты мне — я тебе, и никаких одолжений друг другу. Все оплачено. И они всё будут делать, что велено им. В известных пределах, конечно. А что взять с человека, не делающего карьеру? Вернее, как с него брать, если не знаешь, как отдавать? Да и вообще, карьеристы понятны. И дисциплину они соблюдают. А дисциплина, милый, это осознанная необходимость всегда казаться несколько глупее начальства.

Посмеялись.

Пришел наш второй доцент, и Начальник с ходу накинулся на него. Будто и не было ни уюта, ни тепла.

— Утреннюю конференцию ты вел? А почему до сих пор не пришел и не рассказал, что было? Все, что случилось в отделении, все, что кто-нибудь сказал, сделал, я тотчас должен знать. Понятно?

Вошел первый доцент, а следом и третий подначальник. Начальник уезжал в командировку и должен был дать им наставления.

— Вы остаетесь втроем. Вы все достаточно выросли и вполне без меня — без меня только, слышите? — можете самостоятельно командовать. Работать самостоятельно вы не можете, только командовать. Когда вы сможете работать самостоятельно, я вас выгоню. А сейчас я посмотрю, какие вы помощники. Можно ли вам троим доверять. Может быть, лучше в следующий раз вон его одного оставить. Главным и формальным моим заместителем останься ты. Ты, и только ты, решаешь все лечебные вопросы, операции, ну, и все прочее. А ты возьмишь на себя административные заботы и управляйся со всеми врачами, дежурствами, расписаниями операций и т. д. Все это ложится на вас двоих. Работайте. Но только помните: кому коврижки, тому тумачи и шишки. И потому не забывайте, что оба вы дураки и малограмотное дерьмо. Так вот он вам в помощь. Он знает больше вас, он умнее и культурнее вас. Без него не решать. Так. Теперь тебе лично. Ты должен закончить статью. Я обещал сдать ее в журнал через месяц. Пойдет за нашими двумя подписями. Ты подготовь мне отзыв на вот эту диссертацию. Я выступаю оппонентом через неделю после приезда. А ты подготовь мне доклад на ученом совете, то, о чем я тебе говорил вчера. Так. За кем еще какие долги есть? Вроде все.

Они пытались что-то говорить, но он их оборвал:

— Все. Обжалованию не подлежит. Что кому надо выяснить, уточнить, приходите по одному. После. А сейчас мне с Сергеем надо договорить.

Они ушли.

— Это я им нарочно так. А то больно выросли. Еще, пожалуй, подумают, что и меня могут заменить. А теперь у них забота выяснять, кто из них лучше. Чем меня исследовать, пусть сейчас займутся друг другом. А с тобой мне не о чем разговаривать. Это я им так просто сказал. Можешь идти.

От недавнего благодушия и спокойствия не осталось ничего.

В коридоре мне встретился еще один коллега.

— Слушай, Сергей, сейчас в нервное поступает больной с жесточайшим радикулитом. Не попробовать ли полечить нашим методом — в артерию? Пойдем посмотрим.

В приемном, в смотровой, стоял больной, держась обеими руками за подоконник, и разговаривал с дежурным невропатологом. Мы слышим их разговор.

— Почему вы не ложитесь?

— Нет, нет! Я не могу!

— Что, так легче?

— Шестой уже день стою, облокотившись... о тумбочку локтями... ни сесть, ни лечь... а в больницу не клали... все места нет.

Действительно, локти у него красные, даже отечные немного.

— Как же вы спали?

— Стоя.

— Как слон. Хм.

Мы не стали им мешать и вышли.

— Надо еще с ним договориться,— сказал я.

— Господи! Проблема! Да при таких радикулитах, когда невропатологи сами не знают, как помочь, а тут мы напрашиваемся, снимаем заботу такую с них! Для них — было бы только допущено фармакопеей!

— Это ты прав,— согласился я.

— Тогда иди договаривайся, скажи, чтоб морфий сделали, и пошли в перевязочную.

После морфия больной сумел улечься на стол. Ввели лекарство. Больной сразу заохал. Когда стало горячо в пояснице, он заохал еще сильнее, а мы обрадовались — дошло до места. Уже через минуту ему стало легче.

— Ох, хорошо, доктор! Первый раз. Надолго ли, не знаю.

— Да и мы не знаем, надолго ли.

Через час мы опять пришли в нервное отделение взглянуть на больного.

Он лежал в палате, крепкий мужчина вполне интеллигентного вида, и плакал.

— Что? Опять?

— Ничего не болит. Жить да жить.

— Чего ж вы нервничаете?

— Ну, подумайте сами. Меня положили в коридор — пока место не освободится. Шесть дней не спал. После вашего укола первый раз уснул. Только-только уснул — будят: место в палате освободилось. Ну что! Помешал бы я часок-другой в коридоре?

— Но сестра хотела как лучше.

— Я не знаю, что она хотела. Вы меня простите, мне и самому неудобно. Но я так хотел спать.

— Ну, ладно, что же теперь делать? А не болит?

— Пока нет.

Мы вышли в коридор. В конце его невропатолог орал на сестру и нянечку, которые разбудили больного.

— Вот уж действительно мерзавец,— взорвался мой импульсивный коллега,— не мог уследить.

А я опять сказал, чтобы он не входил в раж, особенно при больном, и мы пошли к себе в отделение.

Когда про нашу удачу и организационную неувязку, про то, как невропатолог похвалил наш метод и как он же учинил разнос сестре, когда мы про все это рассказали Начальнику, он взвился и сказал: «Человек, постоянно всех ругающий, просто все время убеж-

дает себя или окружающих, что он-то иной» — и велел позвать к себе невропатолога.

А мы пошли к своим больным.

«АССИСТИРОВАТЬ МНЕ БУДЕТ ОНА»

Начальник вошел, когда операции только начались. Вокруг обоих столов стояли студенты, и было трудно рассмотреть не только что делалось на них, но и кто оперировал. Начальник подошел к первому столу. Студенты стали раздвигаться, чтобы пропустить его.

— Стойте, ребята, стойте. Я уже насмотрелся на эти игрища. Смотрите, ребята.— Похлопал ближайшего студента по спине.— Смотрите, какой аппарат. Очень много с ним узнать можно. Нет?

Студенты теперь больше смотрели на него, чем на операционный стол. Все-таки профессор говорит, да и говорит он всегда что-нибудь интересное. А он стал ходить вокруг аппарата, стал рассматривать запись на ленте, расспрашивать что-то у анестезиолога.

— Вот ведь, все наука. Все это и есть наука, ребята. Чего только не узнаешь благодаря этим аппаратам! Все и узнаем. А этот, смотрите, показывает химические изменения в крови на разных этапах операции. До этого аппарата мы не могли так сразу определять изменения. Да и не сразу тоже не могли. А теперь пожалуйста: отсеки желудок — и в тот же миг все изменения этого мига. Сто измерений ста изменений — диссертация, новое в науке, новый факт, новая закономерность миру стала известна. Так, ребята. Молчите? И правильно — в операционной разговаривают только оперирующие или шеф, как я, например.— Он засмеялся то ли иронически, снисходя до собственных слабостей, то ли еще как-то.

Анестезиолог прикрикнул на студента, который притулился к аппарату. Начальник тут же включился:

— Ну что ты кричишь! Что у тебя, изменится твоя наука от этого? Не воображай, что ты такой уж большой ученый. Это аппарат ученый, а не ты. Ты регистратор. Аппарат дал результат — и смотри. Больно вы к себе серьезно стали относиться с тех пор, как я вам эту игрушку достал. Диссертациями запахло?

Начальник еще немножко поиграл анестезиологом, объяснил ему, что наука начинается после того, как зарегистрированные в диссертации факты поданы ему на стол, после того, как он над ними подумает, обобщит,— вот после этого он сделает науку, а их — учеными, и пусть они (продолжал он объяснять более развернуто, чем эта конспективная запись разговора) знают свое место и студентов не тюкают. Потом он подошел к операционной сестре, стоявшей со своим столиком в ногах больной, посмотрел на операцию, так сказать, снизу, а не сверху, хотел было что-то сказать сестре, но раздумал и направился к другому столу, наверное, потому что услышал раздраженный голос хирурга от того, другого стола.

Хирург ругал Люсю. Она, как и было принято, молчала. Начальник поглядел на нее. «Удивительная она все-таки женщина. В шапочке и маске почему-то еще более красивая. Наверное, за счет постоянного удивления в ее глазах. Впрочем, неизвестно почему. С ней и оперировать приятно. Люблю оперировать, когда она ассистирует». Так спокойно раздумывал Начальник, пытаясь через спины студентов разглядеть, что происходит в операционном поле. Трудно. Студенты пошли высокие — акселерация, говорят,— и хоть он тоже не из низеньких, разглядеть ему удавалось лишь головы в шапочках да плечи. Хирург опять цыкнул на Люсю. И Начальник тут же включился:

— В чем дело? Почему такая нервная обстановка у вас? Кричите дома или в трамвае, а здесь операционная. Это ваши студенты?

— Да.— По голосу слышно — хирург приготовился ко всему.

— Та же распушенность! Одно к одному: вы орете в операционной, а студенты ваши видят, что пришел шеф, хочет посмотреть — так хоть кто-нибудь бы отошел, пропустил меня.

Студенты мгновенно расступились. Но он уже завелся:

— В операционной, товарищи студенты, так быстро не передвигаются. Испачкаете что-нибудь — стерильное же все. Осторожнее надо. Кстати, тоже недоработочка, товарищ преподаватель.

Начальник занял место в голове больного у левой руки оператора. Люся напротив. Второй ассистент рядом с ней.

Удаляли желчный пузырь. Обширные спайки очень затрудняли операцию. Оператор никак не мог подойти к шейке пузыря. По-видимому, боялся. Надо было чуть смелее действовать. А тут еще... В этом случае смелее значит просто меньше шансов повредить кишку, чего оператор сейчас более всего боится. Люсе это было ясно. Она помогала тупфером, отодвигая и натягивая ткани.

Начальник смотрел, смотрел...

— Куда ножницами полез? Начни от печени. Господи! Да не так! Поверни ножницы. Вот ведь она-то видит, что делать надо,— смотри, где натянула спайку, там и секи.

У хирурга руки стали ходить заметно хуже. Несмотря на тяжелую и опасную лично для него ситуацию, он, наверное, подумал, что для Начальника Люся всегда лучше всех.

А Начальник принялся опять за дело:

— Ну кто так режет? Ножницы же грубый инструмент. Вы здесь все так перережете. Не руки, а манипуляторы!

Люся кинула на Начальника взгляд, в котором всякий легко увидел бы призыв остановиться. Но Начальник, наверное, не смотрел на Люсю. А руки хирурга остановились. Он немножечко, какое-то мгновение, постоял, ничего не делая, и начал было снова, но Начальник успел уловить момент:

— Ну, что вы застыли? Больной сколько часов, по-вашему, должен лежать с раскрытым брюхом?! Вы что, аэрацию кишкам устраиваете?! Прекратите операцию! Я сейчас сам помоюсь.— И он пошел в предоперационную мыться.

Хирург накрыл рану салфетками. Все стояли молча, ждали, когда Он подойдет. Ни слова.

Минут через семь, уже в стерильном халате и перчатках, Начальник подошел.

— Вы можете размыться. Ассистировать мне будет она.

Хирург отошел от стола, стал через головы студентов смотреть на операцию, не снимая стерильного халата и перчаток, засунув руки в карманы. Конечно, он из-за студентов ничего не видел.

Пока Начальник принаравливался у стола, примерялся, Люся отвернулась, поискала глазами отошедшего хирурга, нашла, перехватила его взгляд, ободряюще подмигнула. А хирург, наверное, подумал, что Люся могла бы иначе проявить свое сочувствие, и не сейчас, а раньше.

Студенты тоже время от времени поглядывали на него. И нельзя было сказать, что он плохо оперировал, неправильно — он оперировал просто не так, как это было принято в клинике. не так, как считал необходимым Начальник. Начальник считал необходимым, чтобы в его клинике оперировали по методике, принятой им и для себя и для других. Не в том дело, что он ее разработал, да и не он ее разработал, и даже не присваивал ее себе никогда. но принял Началь-

ник для себя именно эту методику, и поэтому: «Будьте добры и вы все принять ее. Никакой отсебятины! Мы должны помогать больным на уровне работы нашего лучшего. У нас нет объективных критериев лучшего, каждый, может, считает себя лучшим. Поэтому помогайте больным на уровне Главного, то есть по официальным стандартам лучшего».

Но при студентах всего этого он повторять не хотел, поэтому показал власть в ее прямом виде. Так надо. Врачи поняли. А студенты ничего подобного не слыхали, они просто сочувствовали своему преподавателю да думали: «А может, правда в клинике, кроме Начальника, никто не умеет оперировать?»

Наконец Начальник разобрался, сориентировался и начал работать зажимами. Он брал их в руки и, казалось, не успевал даже подумать, как зажим оказывался точно в нужном месте, он пересекал спайку, брал следующий зажим, опять пересекал... Одним это могло показаться неоправданной смелостью, другим—более медлительным или тем, кто вообще хуже разбирался или просто не умел так же,—могло показаться это слишком опасными манипуляциями.

Люся успевала и разглядеть и понять его действия — она думала в темпе его действий, поэтому хорошо помогала. Она даже думала немножко впереди его действий, что и должен делать настоящий ассистент. Он должен предугадать и помочь как раз в том месте, где помощь в этот момент нужна будет хирургу, и подхватить то, что он сейчас отпустит.

А вот второй ассистент в какой-то момент запутался и потерял темп мышления. Когда зажим стал захватывать спайку у самой кишки, он испугался, ему показалось, что клювик инструмента садится прямо на стенку кишки, а может, он действительно садился прямо на стенку, теперь мы не узнаем никогда, потому что второй ассистент не выдержал этой опасности и еле слышно выдохнул:

— Осторожно.

Начальник остановился, отодвинул зажим, посмотрел на ассистента и выдохнул довольно громко:

— Вы что! Вы кому это говорите?! Сначала надо думать научиться, а потом позволять себе подобные выкрики! Вы в армии служили? Устав знаете? «Солдатам советов генералам не давать». Уберите руку отсюда!

Опять начал было оперировать, но вновь остановился.

— Не с вашей головой и не с вашими руками давать советы. Советы ученым вообще давать не надо, пока вас не спросят. Когда вас спросят, так вы молчите. Если хоть раз повторится — выгоню с операции и год к столу не подойдете. Без вас я легко обойдусь на операциях.

Последние слова он говорил уже спокойнее.

Люсе были досадны и эти нелепые декларации, было досадно также, что и сам Начальник оборвал такую красивую работу. Весь этот всплеск так не вязался с красотой его действий. Зря ассистент подсказывал, зря Начальник кричал — все испортили, прервали такую великолепную игру, музыку, стих.

— Может, вы будете внимательнее, Людмила Аркадьевна? Операция продолжается! Что такое? Что за распушенность.

Операция вновь пошла в прежнем стиле и темпе. Казалось, все наладилось.

Наконец освободили пузырь от спаек. Это была не самая сложная работа в их операции, но Люсю всегда увлекала красота в любом ее проявлении. В общем-то, простое дело наложить зажимы, но

как красиво он это делал! Он не нацеплял их бессмысленно, не навешивал их килограммами железа, он где надо — зажимал, где надо — разводил браншами зажима, где надо — просто рассекал спайку ножницами. Делал, казалось бы, автоматически, но продуманно. Точно, уместно, целесообразно.

А теперь он работал у шейки пузыря.

— Оттяни здесь... Федоровский дайте... Смотри, девочка, за операцией. Сама не видишь, что подавать надо?..

Сестра, конечно, с перепугу тут же дала не то. Но это был ответственный момент и он не отвлекся на крик.

— Длинный, длинный давай зажим. На артерию иду.— Это был не крик.— А, черт!..— А это уже крик.

У Люси замерло сердце. Это ж надо, как все прекрасно шло. И на тебе — зажим сорвался с артерии. Теперь сушить, сушить.

— Отсос поставь сюда! Не мешай мне тампонами. Дай зажим.

Люся со всей силой ладонью отдавливала мешающие петли кишки, а другой рукой держала трубочку отсоса. Поле постепенно открывалось, но поступающая из оборванной артерии кровь все же не давала возможности как следует разглядеть источник кровотечения и наложить на него зажим.

Начальник перестал кричать и отвлекаться, завел пальцы под связку и пережал все ее элементы.

— Сдавил артерию. Теперь ты посуши, Люся... Вот и все, вот она. Положи зажим осторожненько — я не могу убрать руку... Так. Хорошо. Теперь перевязывай. Молодец. А ты что стоишь, как у знамени?! Неужели трудно сообразить, что нитки надо отсечь срочно! Ведь опять сорвется все.

«Вот чем он хорош! — вновь соответственно операции плавно потекли Люсины мысли.— Даже не задумался. С ходу стал переживать. Рефлекс у него. А большинство бы стали сушить. Сначала б насушились до отвала, понатыкали бы зажимов, а уж потом полезли бы пережимать связку, артерию, потерявши вдосталь крови. А он прямо туда. Не тратил время на эти попытки. Оно и быстро, и хорошо, и красиво. А тот бы уж точно долго топтался на месте зажимами да тампонами. Да, вот уж действительно поэтому он король, а у того в душе осень. А как вяжет! И все-таки, пожалуй, самое красивое — это наложение зажимов. Никогда не видела, чтоб так красиво, ну просто красиво зажимы ложились в нужное место. А ведь, казалось бы, что особенного — не резать, не шить. Говорят, что на операциях хирургии кричат и ругаются в основном от неуверенности. А он-то, наверное, от уверенности. А может, игра?»

— Людмила Аркадьевна! Держи нитку, Люся. Ты что ворон считаешь? Ох, ребята, пороть бы вас по субботам. А начать бы с тебя.

Он поглядел на Люсю. Она тоже подняла голову, оторвав глаза от раны. Операция заканчивалась.

— Держи нитку, Люся. Впрочем, зашивай сама,— медленно сказал он и отодвинулся от стола.— Принесешь журнал после, запишем у меня в кабинет. Я продиктую.— И к студентам: — Вот так, ребята. Поняли что-нибудь? Нет, наверное. Ну хоть как мы оперируем — разглядели?

Один из студентов спросил:

— А если бы не удалось пережать артерию пальцем и все разглядеть там, как бы вы поступили?

— Черт его знает. Этот вопрос, ребята, не для вашего курса. Вот пройдете когда оперативную хирургию, тогда... или после операции подойдите ко мне.

Люся через головы студентов посмотрела ему вслед. Он уходил.

Следом шел хирург, отстраненный им от операции. Начальник обернулся, лицо его было заполнено доброжелательством. Он положил руку на плечо хирургу.

РАЗМЫШЛЕНИЯ, ЗАСЕДАНИЯ, РАЗГОВОРЫ

Начальник хотел перейти в другую клинику. Но клиникой этой заведовал старый профессор. А у профессора сейчас были неприятности. Неприятности могли кончиться увольнением. Переходить на «живое место»? Упаси бог! Нет, так нельзя.

Начальник сидел в такси и думал, как бы ему все-таки перебраться на это новое место, в клинику, где он будет более самостоятельным, чем даже сейчас, где прекрасная аппаратура, помещения; клиника, руководитель которой и по традиции имеет совсем иной, больший общественный вес. Однако первое условие врачебной этики — не вреди. Профессору вредить нельзя. Хотя, наверное, его ничто уже не спасет. Ему каюк. Ну, посмотрим, как дело пойдет.

Начальник вспомнил сегодняшнюю конференцию. Правильно он говорил. Очень хорошо. Так и надо. Нельзя потакать этой манере искать ошибки у других врачей. Надо давать отпор этому больничному снобизму и верхоглядству. Сидят в больнице и выискивают ошибки поликлинических врачей. Сами бы там поработали. Не понимают: пришел врач к больному на десять минут — и решаю. Нам-то в больнице легче — мы и анализ можем сделать, и подождать, понаблюдать. Сегодня мы поликлинику обругаем, а завтра они нам зададут сторицу. Ведь почти все судебные дела против врачей, по существу, созданы коллегами — не прямо, так косвенно. «Рука руку рубит».

...Если удастся перебраться в новую клинику, то там тоже надо будет прививать доброжелательство друг к другу. А то ведь там даже на собственного шефа жалобы пишут. Такая обстановка до добра не доведет. Важно, однако, чтобы доброжелательность эта не переходила в беспринципную доброту. Немалую твердость и гибкость надо проявить, чтобы стать хорошим руководителем такой клиники. Это хозяйство не чета его теперешнему. Но Начальник был твердо уверен — справится. Ведь как он сумел сказать опоздавшему сегодня на доклад: что, позволив себе опоздать, тот проявил уважение к своему времени, но не подумал о времени других, а вот его, начальниково, время, например, дороже хотя бы в денежном исчислении. Вот так и в этой клинике надо воспитывать уважение к другому, к коллеге, а к подчиненным проявлять твердость, справедливость и показывать свою заинтересованность в деле, а не в личностях.

Начальник понимал, что уход старого профессора Романа Васильевича и будет первым шагом к цели. И тем не менее он должен защищать старика в комиссии, раз черт его туда занес, в эту комиссию. Как он не уберется!

Начальник сделал хороший доклад на том заседании хирургического общества, а потом в раздевалке глупо попался на глаза, и его загребли в комиссию по проверке работы Романа Васильевича. Надо же, чтобы Дмитрий Михайлович его поймал тогда. А тут еще и старика он встретил — старый и в глазах уже тоска выгнанного. «Не жилец».

Начальник предвкушал радость, которую дает защита одинокого и загнанного. Конечно, он по малодушию только хотел сначала отвертеться от работы в комиссии. Пусть им будут недовольны, но он выступит сегодня в защиту старика. Да и действительно! Ну вот проверили его работу — то же, что и везде. Лично бы он, конечно, не

так вел себя. Лично бы он крепче держал в руках своих подчиненных. Больно они все в этой клинике самостоятельные.

Тут Начальника охватило неприятное гнетущее ощущение будто вины какой-то. Он решил отвлечься от этого гнетущего и неприятного и стал думать о том, какие порядки заведет на новом месте работы. Если Романа Васильевича проводят на пенсию, а это практически предreshено, всем ясно, кто единственный, во всяком случае наиболее вероятный, кандидат на освободившееся место. И сходные научные тематики обеих клиник, и личные качества его как начальника, и все предыдущие его работы... Почему-то опять вернулась мысль о том, что необходимо защищать старика. Вспомнил где-то слышанное: «Не бороться со злом, а добро приумножать — злу места меньше будет в мире»... Старика защитит — добра прибавится.

Начальник пришел на заседание, когда все уже были в сборе, сидели, мирно беседовали и ждали назначенного часа. Увидев его, Дмитрий Михайлович сказал, что им нет нужды обязательно ждать указанного времени, так как комиссия уже в полном составе. После краткого делового вступления Дмитрия Михайловича все по очереди стали докладывать свою часть проверочной работы, заканчивая речь выводами и предложениями.

Начальнику стало ясно, что участь Романа Васильевича окончательно решена, а ему уготована роль преемника. Хорошо, что его часть проверки была, во-первых, несущественна, а во-вторых, действительно для любого глаза абсолютно благополучна. В своем выступлении он разобрал несколько случаев ошибок и указал на объективные причины их возникновения, а в заключение сказал: «...И напрасно здесь раздаются голоса, отрицающие и отвергающие хорошую работу Романа Васильевича. Профессор работал на полную мощь своих сил, и не надо требовать от человека другого поколения, хирурга старой школы, уровня сегодняшнего понимания и сегодняшнюю сноровку. Он честно и правильно все делает, как был приучен долгими годами работы, не его вина, что в наше время изменились требования, что появилось много нового, за чем он, естественно, не может угнаться, и нельзя этого от него и требовать. Мы, многие из его учеников, весьма благодарны ему за уроки. Мое мнение — он работал хорошо, и мы должны поблагодарить Романа Васильевича за долгие годы работы на общую пользу».

Начальник был доволен тем, что не отдал старика на поругание, что защитил его от несправедливых нападок, и с чистой совестью приготовился выслушать заключение Дмитрия Михайловича, который и сказал, что единодушно мнение членов комиссии будет обсуждено в административных инстанциях, что лично он учтет резвость стремящихся вперед молодых профессоров, что, по-видимому, Романа Васильевича надо будет достойно проводить и пожелать ему счастливого заслуженного отдыха, что он надеется услышать об уходящем профессоре теплые и хвалебные слова не только в некрологической тональности, как это было на сегодняшнем заседании.

Начальник понял, что Дмитрий Михайлович и некоторые другие профессора не очень были довольны его выступлением либо потому, что им было неприятно его заведомое, уже как бы решенное для себя прощание со старым профессором, что не пристало, по их мнению, возможному преемнику; либо им не понравился сам факт хвалебных слов, чего они себе не позволили, и теперь чувствовали себя оскорбленными. Начальник больше склонялся ко второму варианту, но особенно он не стал над этим задумываться, а быстро распрощался со всеми и уехал. Но по дороге все ж таки стал с удовольствием думать, что ему удалось не поддаться общему настроению участни-

ков заседания и сказать о старике добрые слова. Вот только не был уверен он, понравилось ли Дмитрию Михайловичу. «И все-таки вот таким же принципиальным, терпимым и независимым от общепринятой точки зрения, и особенно от мнения начальства,— вдруг четко и ясно подумал он,— надо будет и показать себя с первых же дней в новой клинике». Да, но если придется переходить в другую больницу, наверное, могут несколько осложниться отношения с Люсей. Все-таки удобно, когда работаешь вместе.

Люся ждала его у себя дома. Он посмотрел на часы и увидел, что, как и всегда, сумеет приехать точно в назначенный час. Это прекрасно. Точность — качество прекрасное. Он бы с удовольствием приехал и раньше. На Люсю приятно смотреть, и еще приятнее слушать ее. Если он уйдет в новую клинику, ему, конечно, труднее будет встречаться с ней — много забот, большая работа. Но Люся умница — она все поймет.

— Я знаю, ты не опоздал, но мне хотелось, чтобы ты пришел еще раньше.

В дверях стояла улыбающаяся Люся, короткие волосы ее гладкой прически чуть растрепались, и это было красиво. Для него сейчас все в ней, все ее, красиво было. Удивительно, что она никогда не манерничает, говорит, что думает. А Начальник по человеческой привычке не удовлетворяется тем, что есть, с ходу начал ей рассказывать о заседании. Когда ее не было, он думал о ней, а вот приехал, увидел ее — и говорит о заседании.

Он стал ей рассказывать, как ему жалко Романа Васильевича, что он единственный выступил в его защиту, что он сказал о многолетних заслугах старика и как это, по-видимому, некоторым не понравилось: кому же нравится, если что-то хорошее можно было сказать, а ты упустил возможность, побоялся, и говорит другой. Для него это, конечно, опасно, потому что люди не прощают другим своих ошибок. Но...

Начальник был доволен собой, и его, казалось, не очень трогало недовольство других.

Люся же считала, что у профессоров, присутствующих и решающих, могли быть и другие основания для недовольства, тем более что о Начальнике говорили как о наиболее вероятном преемнике.

— Смотри, от вашей комиссии и от твоей защиты особенно Роману Васильевичу слишком худо может быть. Если с ним что случится, тебе на душе всегда худо будет.

— Во-первых, я его действительно искренне защищал...

— Оставь. Хоронил...

— Перестань, Люсенька. Что ты меня пугаешь? Я сделал что мог, совесть моя чиста, от всей этой суеты и интриг пришел отдохнуть к тебе, отдохнуть душой, а ты опять про то же.

А дальше Люся повинилась и согласилась, и перестали они говорить на эту тему — действительно, что они будут обсуждать чьи-то чужие интриги и заботы, когда все это их не касается, когда у них есть более важное и вечное, то, что не осуждается, не должно осуждаться... И нечего его шпынять — он ведь не по расчету так говорил.

Так старалась думать Люся.

А Начальник посмотрел на висящие перед ним книжные полки, на сдвинувшуюся вдруг гармошку книжных корешков перед его глазами... Он потянулся к Люсе.

— Не надо. Ты же знаешь, как я тебя люблю и всегда хочу того же, что и ты. Но не надо сейчас. Прости меня. Никак не пойму... Что-то в тебе не то сегодня, сейчас. Что?

Застыла книжная гармошка. Люся ведь живет без расчета. Значит, сейчас ей так лучше. Ей. А каково же ему? Нет, он не может так. Он разобьет сейчас какую-то глупую преграду, созданную неправильно понятыми его словами. Вспомнил, как Люся однажды сказала: «Никогда, ничего, никого и ни о чем по возможности просить не надо. При хороших отношениях люди сами должны понимать друг друга и помогать друг другу и все прочее. Я стараюсь не просить».

Речь тогда шла об операциях, о том, как Начальник распределял их между хирургами. Конечно, он не мог согласиться с Люсей. Каждый должен добиваться своей цели, естественно, сохраняя порядочность. Да, даже несправедливой цели надо добиваться средствами праведными. Нет, нет, он сейчас сломает эту напряженность.

— Люсь...

— Не считай, не считай, не занимайся арифметикой. Я ж тебя люблю. Ты же знаешь.

— Думаешь, этого достаточно?

— Достаточно, недостаточно, а не считай.

— Не городи ерунды. При чем тут расчеты? Ты же знаешь, что я приехал не бухгалтерией заниматься и не уравнения решать.

— Все равно. Для меня главное, как я люблю.

А у него в глазах вновь бегали книжные корешки. Он молчал. Сейчас он правильно рассчитал.

* * *

Начальника не было на работе уже три дня. Не приезжал он и к ней домой. Хотя известно было, что он не болен и ни в какую срочную командировку не уезжал. Был дома — наверное, работал.

На третий день под вечер — телефонный звонок. Разговор был краток.

— Приехать можно?

— Конечно! Сейчас?

— Да.

— Жду.

Он был буквально через пять минут.

— Как ты быстро!

— Я рядом был. В нашем департаменте.

— А ты что такой смурной?

— Я, когда общаюсь с нашим административным начальством, всегда смурной. Был там с Сергеем. Все им не так. Расписание составлено не так. Отчет о научной работе тоже не так. Кучу бумаг дали — формы самых разнообразных отчетов. Ведь думают все только про бумаги, а до дела никому нет дела.

— Ну, а ты что — впервые с этим встретился? Почему говоришь с жаром первооткрывателя? Ведь не первый раз, наверное, и не сегодня только. Ты так кипятишься, будто они тебя разочаровали. «Владыко дней моих! дух праздности унылой, любоначалия, змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей».

— Ты права, Люсенька. Но иногда они выводят меня из себя. Сама подумай. Старика этого, Романа Васильевича, сняли. Я тебе рассказывал о комиссии. Слова никто о нем хорошего не сказал. А то, что я говорил тепло, — естественно, не понравилось. При этом делают хорошую мину, а игра-то плохая. Все им не нравится, и даже говорят, будто я просто хоронил его с почестями.

— Конечно. По-моему, тоже. Да вдобавок ты еще и всех стариков сразу обидел — целое поколение.

— Да что ты! Они же все без обратной связи. Намеки бесполезны — они их к себе не относят, на свой счет не принимают. И все старики заседавшие, и главный наш старик. Ты подумай только, кого назначили на это место!

— А что, уже есть преемник?

— И даже утвержден министерством. Это молодой хам, рвущийся в передовые, желающий показать себя прогрессивным любыми средствами, правда без риска для положения, хам, постоянно рекламирующий и декларирующий свои деловые качества и что для него дело превыше всего, и, уж во всяком случае, превыше личных отношений, а на самом деле все эти слова просто защита и оправдание собственного хамства и грубости, оправдание своего издевательства над сотрудниками, постоянного унижения их. На самом деле на поверку получается, что думает он только о себе и о своем положении, кстати, как и все, кто долдонит о том, что дело выше отношений между людьми. Болтун, — много красивых слов и ни одной собственной научной концепции. Школу он зато создает и создаст — всех, например, заставляет оперировать только как он, только по его методике, вернее, по принятой им для себя методике. А вот к творчеству никого не приучает и не приучит, своих мыслей ни у кого не будет. Как в диссертациях — вроде бы все есть: исторический обзор, собственный материал, обсуждение полученных данных, а по существу ничего! Пустота! Размышления, заседания, обсуждения — такова и вся его наука. Бестактен в своей болтовне до предела. Делает вид, что помогает людям...

— Да что с тобой?! Что ты так разбушевался! И уж чересчур ты его поносишь — говорят, он хорошо оперирует.

— Да ты что! Я был на его операциях — крик, шум. А когда хирург много орет на операциях — либо это игра в распущенность, либо хирург не уверен в себе, что чаще.

— А почему вдруг его выбрали? Что, с самого начала планировали так?

— А я откуда знаю! Есть и более достойные кандидаты. Да ведь разве о деле думают? Думают о взаимоотношении приятелей...

— Что ты сегодня какой возбужденный? Перестань носиться по комнате. Садись. — Люся тоже села.

— Действительно я почему-то очень возбужден.

— Может, чаю хочешь, кофе?

— Ничего я не хочу. Во всяком случае, ни пить ничего, ни есть.

— Давай поставлю музыку. Может, успокоит?

— Поставь, если хочешь.

Люся включила проигрыватель, поставила пластинку и остановилась у стола. Что-то не нравилось ей в разговоре, в словах Начальника. «Что ж он сам-то, ведь и сам кричит», — подумала Люся, но тут же стала вспоминать его на операциях. Это всегда была защита от чего-нибудь неприятного в нем. Она повернулась, посмотрела на него, на руки. Руки как руки. Лицо... Люся подошла к нему.

...Но когда он уехал, что-то все-таки осталось неприятное в ее душе.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА НА СТУДЕНЧЕСКОМ СОБРАНИИ

Конспект-заготовка

Мне поручили выступить и т. д...

Решил говорить о самом банальном — о вашем будущем, к чему мы вас готовим, к чему вы должны готовиться сами...

Мы, так сказать, едины в двух лицах: врачи и ученые...

Каждый врач всегда ученый, если он хороший...

Путь к новому у врачей своеобразен...

Для врача важен опыт, поскольку медицина далека еще от уровня точных наук. Новаторство в медицине имеет свои опасности: наш материал — живые люди. Однако без новаций невозможно, ибо без них нет прогресса, и т. д...

Ценность и ценность опыта, разумная боязнь новаторства — это и пути (иногда) к консервативному мышлению. Консервативное мышление узаконивает шаблон — развивается стандартное мышление... И дальше про это...

Мышление трафаретами, шаблонами, афоризмами привлекательно красотой, легкостью и кажущейся несомненностью. Все мещанское, и в науке тоже, строится на красивых трафаретах, стандартах, формуле «как все», на «общих местах».

Но «общие места» — это не только плохо, «общие места» — точки соприкосновения между людьми, точки взаимопроникновения, средство сопротивления некоммуникабельности. Если бы люди всегда говорили только оригинальное, а каждый бы норовил сказать только свое — о чем бы они говорили вместе?!

Но «об. мес.» больше плохи, чем хороши.

Стандарт мышления привлекателен. Этот стандарт преподаватели часто облачают в форму «народной мудрости», и ссылки на эту народную мудрость я часто слышу уже и от вас. Следующий шаг — ссылки прямо на народ; начинается оценка всего с позиций — поймет народ или не поймет, а при этом забывают часто, что лечат врачи, а не весь народ. И вообще, почему-то народ — это только те, которые не поймут. Почему-то народом считается лишь тот, кого больше. А остальное меньшинство? что? не народ? Бессильное, всегда умирающее и вечно живое и могучее мещанство придумало хорошие формулы, которые оно называет иногда пословицами, поговорками, иногда еще как-нибудь, а часто это называют народной мудростью.

«Все не правы — один ты прав», «Вся рота идет не в ногу — один поручик идет в ногу» и т. д.

Конечно, все новое всегда в меньшинстве. И вот конфликт — большинство начинает давить и пытается подчинить себе меньшинство. А оно-то и может оказаться лучше, правильнее, правдивее. Может, конечно. А может и нет. Но... «Быть как все, как все. В ногу! В ногу!»

Мещанство! Но ведь и в нем не всегда только плохое. Мещанство — это уже испытанный коллективный опыт. Жить на основе опыта легче и покойнее. Но опыт и полезен и опасен: не дает нового, учит, как сделать лучше, но в рамках старого. Опыт — отсутствие прогресса.

Опять о мещанстве.

Мещанство — это «чаще всего»...

Мещанство — «это так, а это не так».

Установления мещанства, большинства — мудрость здравого смысла! Народная мудрость заранее все себе позволила в матери-пословице: «Глас народа — глас божий». Вот пожалуйста.

I. Пословица «От добра добра не ищут» — развернуть смысл, консерватизм опыта.

Все известно: что делать, как делать, что «доброе». Так будьте добры, выполняйте, что известно, но выполняйте хорошо. Поиронизировать над педантизмом: сомнителен размах творчества, надежна

скрупулезность исполнительства; без филигранности и блохи не подкуешь.

Не торопись, не увлекайся. «Тише едешь — дальше будешь», «Мал золотник, да дорог».

II. «С волками жить — по-волчьи выть».

Конечно! Раз идти всем в ногу, живя с волками, грызи, дерись за кость. Все так. Слейся с серой волчьей массой, локти которой ты все время чувствуешь, слейся в едином волчьем завывании... «С волками выть — по-волчьи жить». Опровергнуть.

III. «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж». Коль ты уж семь раз отмерил и стал отрезать — все. Молчи и делай. Не получается — молчи, делай! Неправильно, плохо — делай. Дело лучше сомнения. А за великим не гонись, «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Сказал, что будешь делать, — будь хозяином своего слова: делай, делай. «Не давши слова — крепись, а давши — держись». Лучше не берись, а взялся — иди и делай, делай. Сомнения — вред! Дал слово — делай. Лучше бы молчал: «Слово — серебро, молчание — золото». Потому молчи. Смотри, слушай, мотай на ус... и молчи. «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь», а что «напишешь пером, того не вырубешь топором» — тише, тише, ни слова, ни слова, оставь сомнения, раз дело делаешь. «Назвавшись груздем — полезай в кузов». Назвался груздем, а не делал, сомневался — в кузов, тебе дорога в кузов. Делай, делай. «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж».

IV. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

Только мещанин может исхитриться и приравнять одного друга к одному рублю. Господи! Да ему и «время — деньги».

А в медицине? Те же крылатые фразы, сказанные когда-то кем-то мудрым и вполне по поводу, сначала были осмеяны, потом осмыслены единицами, а потом бездумно подхвачены большинством. «Лечить надо не болезнь, а больного» — говорится с тщеславной гордостью. А гордиться-то нечем. Мы просто не знаем точно, что такое болезнь вообще и каждая определенная болезнь в частности. Ведь первый, единичный сказал это с грустью и с надеждой. Ведь идеал — лечить болезнь, а выздоравливал чтоб больной. Но гордо, как высшее достижение, произносит большинство наших коллег: «Я лечу не болезнь, а больного».

Нет, так не годится.

«Годится — молиться, не годится — горшки накрывать». Пока есть поиск — молимся, а стало догмой, бумагой, иконой — «горшки накрывать», вон из красного угла. И т. д. еще пословицы: «Рыба ищет где глубже...», «Милые бранятся — только...», «Много будешь знать — скоро соста...», «Не подмажешь — не...», «Всяк сверчок...» и все, что вспомню по ходу.

Творчество противостоит шаблону и стандарту.

Обращаться к помощи искусства. Без искусства видна одна сторона без полутонов.

Будьте учеными, а не регистраторами фактов.

Уметь отбирать, правильно оценивать, правильно судить...

Нужны эмоции, но помните — они не самое главное. Когда в зрительном зале, например, все плачут или вдруг ахают — это эмоции, и чаще всего без мысли. Это реакция типа крика или слез при боли, смеха при щекотке. Отсюда, я позволю себе неуместное обобщение, отсюда, наверное, вообще люди, которые больше плачут, меньше думают. Слезы — это реакция эмоциональных центров и уж никак не

интеллектуальных. Наверное, чувствительность — часто без-мысленность.

Главное в искусстве и в науке, их общее — провокация эстафеты мысли. Полученная, переданная вам, усвоенная вами мысль должна зажечь новую, ответную. Вот главный критерий в науке и искусстве.

Внизу еще приписано большими буквами:

«УДЕРЖАТЬСЯ В ДВАДЦАТИ МИНУТАХ»

Стенограмма выступления.

Я выступаю перед вами от имени большого коллектива преподавателей, врачей, ученых. Я долго думал, о чем говорить вам, готовящимся к своей будущей работе, жизни, и именно об этом, о будущем, о работе, о жизни я и решил с вами говорить. Пусть это банально, но именно об этом я хочу и считаю нужным вам сказать. Естественно, я говорю со своих позиций, ибо так уж мы, люди, устроены, что себя и все вокруг мы почему-то принимаем за эталон. Я буду говорить, а вы оценивать. Хотя лично мое мнение, что студенту, пока он еще студент, довольно трудно оценивать преподавателя. Да, именно так, и хотя я вижу в аудитории ваших руководителей, так сказать, комсомольских вожаков, я все же вынужден на этой мысли настаивать — вы еще в опыте прошлых поколений, не прошли еще через горнило привлекательности и новаций собственного труда. Слишком мало труда затрачено вами в жизни, а без труда у вас не появляется нужных оценок, правильных критериев, без труда не появляется опыт, суждение. Без труда мышление шаблонно, и лишь труд помогает вам отойти от стандарта. Человек тем и отличается от животного, что он не стандартен, он всегда личность и индивидуальность, если не засосет его толпы божественная сила. А животные действуют по однообразным рефлексам, чем и оказываются очень похожими друг на друга. Я уж не говорю о муравейнике, где вообще нет никакой индивидуальности, а все общество — единый биологический организм без единиц внутри, но и без эволюции. И лечить мы должны не однообразные проявления у коллектива людей с одинаковыми симптомами, а индивидуально; лечить мы должны не болезнь, а больного, как говорил наш великий отечественный терапевт Мудров, и помнить, что, вылечив одного-единственного больного, вы вылечили члена коллектива, а не просто одну человеческую единицу.

Человек отличается от животного своеобразием каждой отдельной личности. Знаете, Маркс в своей докторской диссертации приводит слова Эпикура: «Нечестив не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к мнению толпы о богах». Личность человека создал труд — это нам известно. Отсюда я могу, должен и хочу прежде всего пожелать, посоветовать и настоятельно рекомендовать — трудиться, трудиться и трудиться. Труд порождает опыт, без которого врача, хорошего, успешно лечащего врача, нет.

Вы не должны поддаваться на краснобайство, пересыпанное красивыми прибаутками, поговорками и афоризмами, спекулируя при этом поисками истоков всякой мудрости в народныхкладах. Труд, работа до утомления — вот что даст вам радость и счастье в будущем. Из труда складывается всякая мудрость: и мудрость одного, и мудрость всего народа. Кто не трудится, тот не мудреет.

Радость и счастье от труда — это не просто эмоциональное удовлетворение, а в высшей степени настоящее, головное, рациональное и в самом хорошем смысле моральное удовлетворение.

Труд нельзя откладывать на будущие времена. Именно теперешний молодой, задорный и в высшей степени продуктивный труд даст вам наибольшее удовлетворение для всей последующей жизни. Сегодняшний труд пробьет вам дорогу в светлое завтра. А темное завтра — это и есть отсутствие труда сегодня.

Часто приходится слышать, что жизнь в значительной степени складывается из случаев и везения, кому как повезет. Эти разговоры я слышал со студенческих лет и, прямо скажу, даже верил в это.

С гарантией могу утверждать, что это не так. Все зависит не от случая, а прямо пропорционально заложенному труду.

Вы все знаете, сколько труда требует от нас наша профессия. Я сейчас буду говорить только о хирургии — я лучше всего знаю все-таки этот раздел. Так вот, в нашем деле, несмотря на максимум затрачиваемых усилий, мы все же получаем максимум наслаждений, и не только в будущем, но и сразу. Но работы много. Будучи студентом, я много работал в хирургической клинике и, что греха таить, мало отдавал времени другим предметам. Вообще, надо выбирать себе профессию сознательно, а не по душевной склонности. Выбрал, а дальше даже если вначале не нравится, то все равно через труд стерпится-слюбится, как говорят.

Я честно трудился. Так и только так можно добиться успеха в нашем деле. Все великие хирурги, все трудились в клиниках до кровавых мозолей, так сказать. Хотите быть хорошими врачами — помните: лишь терпение и труд перетрут канат, удерживающий вдали от нас знания и умение. А некоторые мои товарищи предпочитали чаще бывать в кино, на танцах. Правда, возможно, они по другим предметам больше занимались, чем я. Но это неизвестно. А первые годы после института, когда мы вернулись из госпиталей, из медсанбатов, я стал заниматься научной работой, стал работать над диссертацией, а некоторые мои приятели и коллеги упивались нашими общими победами и своими личными, звенели орденами и долго не снимали уже ненужные погоны. Я оперировал, я писал диссертации, сначала кандидатскую, потом докторскую, я занимался разными проблемами, за это время у меня накопилось научных работ на вполне приличный некролог. Теперь я могу, да и хожу в кино сколько угодно, читаю самые различные книги и трачу на них сколько угодно времени. Я могу ходить на танцы, но этого не делаю по техническим причинам. Теперь от своего труда я имею все — и удовольствие и удовлетворение. А некоторые мои друзья, когда мы встречаемся, говорят теперь, что мне в жизни повезло, а им нет.

Вот так познается, что такое труд, что такое счастье, что такое везение.

Но должен вас предостеречь — не трудитесь больше, чем надо, не трудитесь непроизводительно. Сейчас я выступаю не от имени, а просто даже против преподавателей.

Я считаю, что труд ваш часто весьма непроизводительно расходуется. Вас заставляют учить какие-то вещи (кстати, и на моей кафедре мои помощники тем же грешат), которые можно прочесть в рецептурных справочниках и прочих стабильных руководствах. Не учите. Вернее, учите, раз взялись за гуж, но на один день, на экзамен. Прошу вас преподавателей меня не продавать, товарищи общественные руководители.

Трудитесь, но не делайте лишнего. Мой вам завет.

Благодарю за внимание. До свидания. (А п л о д и с м е н т ы.)

Ниже написано рукой Начальника: «Вот тебе и на...»

МАШИНКА

— Алло!.. Я у телефона... Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Михайлович... Слышал, да, да, ужасно. Хотя мы все этого ждали. Он же давно болел... Да, всегда это все равно оказывается неожиданным... Я?! Почему?! Я же с ним никогда непосредственно не работал... Но как я могу, когда есть близкие ему сотрудники, с ним работавшие?.. Да ну, Дмитрий Михайлович, не настолько же их горе ушибло. Прекрасно сумеют все сделать... В конце концов, если вы просите, конечно, я сделаю, Дмитрий Михайлович... Когда?! К концу рабочего дня привезти?! Ну, хорошо, хорошо, Дмитрий Михайлович... Будьте здоровы, Дмитрий Михайлович... Да, да. Всех вам благ.

Как он не разбил трубку, шмякнув ею об аппарат с такой силой!

— Ты мне кто — помощник или сотрудник? Мой доцент мне всегда помощник — я так понимаю. Так вот садись и пиши некролог.

— А почему нам писать?

— Что задаешь дурацкие вопросы? Ты же слышал! Все дружки, с которыми вместе карьеру сколачивали, горем убиты. А мне, которому он ходу не давал, которому мешал как мог, мне велено писать некролог. Садись и пиши.

Сначала стал писать некролог абсолютно самостоятельно и одиноко помощник, в то время как Начальник демонстративно протестующе смотрел в окно. То ли ему надоело молча слушать ежиное пыхтение сочиняющего помощника, то ли он решил, что демонстрировать свой протест сейчас некому, то ли понял, что помощник сейчас все равно обратится к нему за биографическими справками, но так или иначе, а Начальник вскоре включился в работу и тоже стал истово подбирать нешаблонные слова, кидался к телефону и навел справки, уточняя некоторые детали биографии, уточняя количество орденов и медалей, уточняя количество статей и монографий, уточняя количество учеников и созданных ими диссертаций и так далее и тому подобное. К тому моменту, когда, приблизительно через час, текст был написан, Начальник был просто увлечен этим занятием и, кажется, даже огорчен, что так быстро оно завершилось.

— Ну, прочти теперь, что у нас получилось.

Доцент прочел.

— А что! — Начальник вскочил, прослушав до конца, и стал быстро ходить по комнате, потирая ладони, держа их перед собой на уровне глаз, что было признаком крайнего удовлетворения. — А что! И очень неплохо написали. А? Во всяком случае, нешаблонно. Правда? Какие-то свои слова нашли. Так ведь? А эти некрологи, которые пишут официально, их же нельзя читать. Да? И вот так всегда: как только надо что-то сделать, так ко мне. А что же сами? А вот в том-то и дело, что у них самих всегда все получается шаблонно, неинтеллигентно. Не так? Так. Ну ладно, давай печатать и сразу же пошлем лаборантку в министерство, пусть отвезет побыстрее. Где машинка? Черт знает что! Где машинка?! А ну пойді посмотри у лаборанток.

Выходил помощник еще помощником, но вошел он, не найдя машинки, уже сотрудником.

— Вам ничего нельзя доверять! Машинку и ту ухитрились спереть! И что значит — не нашел! Либо плохо искал, либо все вы к тому же и воры. Так? Есть ли среди вас хоть один человек, которому верить можно?! Сам найду!

Трудно было понять, трудно было придумать, как он, Начальник, собирается искать машинку.

Для начала он выгнал своего помощника, велел сидеть ему около кабинета и молчать.

Сотрудник вышел в комнату перед кабинетом, где всегда сидели на стульях и креслах помощники и сотрудники и откуда вели двери в лаборатории, уселся в кресло, закурил. Его, естественно, спросили, почему он взмылен, каково настроение у Начальника, и спрашивали еще многое, но Начальник велел молчать, а потому он ответил, что взмылен, так как комната эта предбанник. Его поняли и больше не спрашивали. В «предбаннике» раздался один звонок, что означает вызов лаборантки в кабинет. На два же звонка должен был зайти врач из лаборатории. Начальник всегда возмущался тем, что ликвидировали секретаршу профессоров: «Сколько времени у нас отняли этим декретом! Теперь приходится выкручиваться — делать секретаря из лаборанток. Возмутительно!»

Лаборантка вошла в кабинет, через минуту вышла и вызвала в святыхище аспиранта, сидевшего у самой двери.

Начальник пригласил аспиранта сесть, сам тоже сел в соседнее кресло. Закурили.

— Ну, как идет работа?

— Материал, я считаю, полностью набран. Начал писать.

— Литобзор написал?

— Да. Сейчас печатаю.

— Когда дашь на прочтение?

— Как кончу печатать — недели через две, наверное.

— Что ж, ты две недели собираешься машинку держать мою? Я ждать не могу.

— Какую машинку?

— Какую! Мою, которую ты взял тут.

— Я?! Никакой машинки я не брал.

— У тебя ж нет своей. Я знаю. На чем же печатаешь? Если б ты дал машинистке, она б тебе дня за два напечатала страниц тридцать — сорок или сколько у тебя там в обзоре.

— Откуда машинистка?! Сам, конечно. Но машинку взял в прокате.

— В прокате! Неужели ты думаешь, что я так редко печатаю и она мне не понадобится целых две недели?!

— Не брал я на кафедре никакой машинки. Да вот у меня и квитанция на машинку из проката. Пожалуйста.

— Да ты что! Убери свою квитанцию. Я тебе и так верю. Что ж ты думаешь, я могу тебя подозревать в воровстве, что ли? Так вы думаете о своем шефе? Мне просто нужно сейчас срочно напечатать один материалчик. Значит, ровно через две недели я жду готовый литобзор.

— Может, и раньше получится.

— Но крайний срок тебе две недели. Я должен с ним ознакомиться. А то вы будете знать больше литературы, чем я. И тогда нам придется расстаться. — Начальник засмеялся, аспирант улыбнулся. — Шучу, шучу, конечно. Позови мне кого-нибудь, кто там есть. О машинке, кстати, не говори никому. Ну, беги в палаты, работай. До двух часов дня ваше место там, а не в этой комнате у моей двери. Впрочем, хорошо, что ты оказался здесь.

У следующего он попробовал еще в дверях потребовать машинку.

С третьим он поговорил сначала о футболе, а потом стал выяснять про машинку.

Его со студенческих лет учили индивидуальному подходу...

Наконец лаборантка вызвала Люсю.

— А ты зачем? Впрочем, как дела, Люсенька?
— Все нормально, наверное, через час пойду в операционную.
— Ты представляешь! Кто-то спер машинку из кабинета!
— Не может быть. Этого просто не может быть. А чью машинку?

— Чью! Мою, конечно. Кто-то из своих. Вообще-то ключ есть только у меня, но открыть может каждый — это известно.

— Что ты говоришь! Хорошо же ты думаешь о нас, о своих сотрудниках! Разве можно?

— Но машинки-то нет.

— И ты всех вызываешь и спрашиваешь?

— Я ж не говорю: украл — отдай; я вполне тактично: напечатал — и хватит: мне нужна.

— Временами я тебя просто ненавижу, и это еще ничего — это еще любовь. А временами тихо сомневаюсь, тогда мне страшно за себя. Плохо ты к людям относишься. Ко мне ты лучше относишься, больше веришь.

— Баба, она баба и есть! К тебе мне плохо относиться?!

— Ну, вот Сергея ты не любишь, а относишься к нему лучше, чем к другим, просто потому, что и он тебе верит больше, чем другие.

— Кто тебе сказал, что я не люблю его?

— Я и сама не без глаз. А все равно ты ему веришь, потому как он тебе верит. Это ж, наверное, чистая математика: чем больше ты доверяешь, тем больше тебе верят. И наоборот. Прости, милый, за сентенции, но ты и меня обидел — заставил сомневаться.

— Права ты, по-видимому, Люсенька, но, понимаешь, очень уж машинка нужна. Срочно некролог надо перепечатать. И где она может быть?!

— Взял кто-нибудь, да еще с твоего ведома, наверное, а ты забыл.

— Как я могу забыть. Ну, ладно, найдем. Знать, не судьба самому напечатать. Права ты, Люсенька, отдай, пожалуйста, лаборанткам, пусть напечатают. Ваше поколение вообще добрее нас, доброжелательнее. И ведь, наверное, все знают, зачем я вызываю, а я просил не говорить — вот и верь им. Впрочем... черт его знает...

Люся уже привычно порадовалась его самоанализу, его жесткости к себе, его отсутствию рисовки — так она воспринимала его реакцию на свои мысли.

Следом вошел Сергей и еще от двери начал:

— Машинку вашу я не брал...

— Как ты смеешь говорить так! По-твоему, я могу думать, что кто-нибудь взял. не сказавши? Хорошо же ты думаешь обо мне! Как трепаться да резонерствовать — тут ты на высоте!

Сергей смутился, покраснел.

— Простите. Я просто хотел сказать, что машинка у зава — печатают расписание на неделю, и взял он ее у вас утром на ваших глазах и на моих, а вы говорили в это время по телефону и в ответ на его просьбу кивнули головой.

— Я прекрасно помнил, что кто-то взял. Не помнил кто и просто поэтому спрашивал. Как же надо относиться друг к другу, как же надо так не доверять друг другу, чтобы прийти в такое возбуждение, в каком ты ко мне ворвался, что, кстати, вообще неприлично. Как же вы все думаете обо мне, если такое возбуждение, если вся клиника уже знает?! А ведь тебе, да и многим сегодня еще оперировать. О больных вы совершенно не думаете. Все это результат беспредельной заботы о собственной репутации...

Но, в общем, все кончилось благополучно: некролог был вовремя напечатан в газете.

ОБЕД ВТРОЕМ

— А почему сегодня на конференции вы так обрушились на меня?

— Я? Когда?

— Ну, вот за легкое. Действительно же, дать экстренно наркоз при отрыве легкого трудно. Ну, я и поблагодарил наркозную бригаду.

— Эх, Сергей! Сколько тебя учить надо?! В клинике благодарить за работу, за которую платят деньги, могу только я. Подумаешь, маршал какой нашелся — это он солдатам и офицерам благодарность выносит. Я директор клиники, я — могу. А ты — не должен.

— Должен же я, как старший дежурный, отметить их. По существу, они спасли больного. Операцию-то каждый бы сделал.

— Значит, надо было договориться со мной перед конференцией, доложил бы сам факт, а я бы уже от себя, я бы вынес им благодарность, обратился бы к администрации, чтобы они благодарность оформили приказом. А то подумай сам: ты просто старший дежурный — и благодаришь! В результате им теперь благодарности в приказе не будет.

— Да я просто от себя. Черт его знает, может, вы и правы. Только говорить спасибо так приятно. Благодарящий ведь тоже лучше становится. А?

— Вот я и стану лучше.

Начальник хлопнул Сергея по плечу и пропустил вперед Люсю. Они вступили на тропинку в снегу, где идти можно только по одному. Люся шла и молчала. Она думала совсем о другом. Она думала, почему он, когда зовет ее в ресторан обедать, всегда берет кого-нибудь еще третьим. И сегодня опять. У них есть около трех часов до начала хирургического общества, и он позвал ее обедать и Сергея. Наверное, боится, что кто-нибудь увидит их вдвоем. И наверное, он прав — разговоры пойдут на работе и дома. А так все правильно. Люся его поняла, но все равно ей было жалко, что они будут не одни, и порадовалась, что третьим будет Сергей, а не кто-нибудь еще.

Они вошли в метро, прошли на эскалатор. Вперед Начальник пропустил Люсю, потом сам ее обошел и встал ниже, повернувшись к ней лицом. Сергей встал рядом с Люсей.

«Интересно,— подумала Люся,— Сергей понимает, зачем шеф его тащит с нами? Сережка умница, он если и поймет — у него не узнаешь». И сказала:

— Сергей, сойди с левой стороны — тут же идут.

— Тогда он будет слишком далеко от меня, что ему вредно,— усмехнулся Начальник.— А люди постоят, должны нутром почувствовать, что очень важно Сергею стоять здесь.— Теперь он громко захохотал.

Сергей все же встал позади Люси.

— Простите, патрон, что закон нарушил, но Люся, пожалуй, права.

Начальник:

— Ты же видишь, стоят, молчат, посторониться не просят.

Люся:

— Может, стесняются.

Начальник:

— Раз стесняются — значит, предлагают решать за них.

Сергей:

— А вот этого я не хочу. Пусть идут, пусть сами за себя реша-

ют. Смотрите, целая лестница стояла из-за меня одного, а теперь вся лестница идет из-за меня одного. Тоже приятно.

Сейчас они уже засмеялись все вместе.

И в ресторане разговор начала Люся:

— Сергей, тяжело пришлось оперировать? В шоке был?

— Мало сказать! Мы сразу начали. Половина бригады из шока выводила — остальные оперируют. Пока мы готовились к операции, давление неплохо удалось поднять.

Люся:

— Хорошо, что все анестезиологи еще на месте были.

Начальник:

— Ну, должен сказать, что с их главным наркозным тоже ни встань ни ляг.

Сергей:

— Это уж точно. Случай ужасный. Парню семнадцать лет. Пока без давления был — молчал; а давление подняли — он как в кино: жить хочу, жить хочу. Представляете, ощущение. А наш глава департамента наркоза так серьезно говорит: «Прошу минуточку помолчать, и вам по возможности постараются удовлетворить просьбу». И как всегда непонятно: то ли он уже окончательно сбрендил, то ли он парня подбадривает. Наркоз-то дал отлично.

Начальник:

— Жаль, что не удалось пришить легкое — удалять пришлось. Но ты молодец — ты сделал что мог.

Люся обрадовалась, что шеф похвалил Сергея, — обрадовалась за шефа. Одновременно Люся поймала себя на том, что в мыслях она его называет шефом, а не Начальником, как все врачи в клинике.

Сергей:

— Хорошо, что только бронх оторвался, а то, помню, однажды у меня на дежурстве у одного артерия оторвалась. Ничего не успели — умер.

Начальник:

— Да, я помню этот случай. Тогда я тебя ругал — надо успевать. Пожалуй, красное сухое к мясу лучше, правда?

Люся:

— Конечно. А я не помню, когда у нас еще был отрыв легкого.

Сергей:

— Это еще до твоего появления в нашей юдоли скорби, болезней и радостей выздоровления. Грузовики столкнулись, шофера рулем придавило. Будем здоровы.

Начальник:

— За твоего больного.

Люся:

— А крику тогда на операции, наверное, было?

Это она, пожалуй, как провокатор сказала.

Сергей:

— Нет, так быстро все произошло, что я не успел вскрикнуть, не только крикнуть.

Начальник:

— Ничего. Я восполнил. Он у меня получил свое и по громкости и по тональности. (Все засмеялись.) Собственно, я понимал, что Сергей не виноват, но врачей, клинику необходимо было подстегнуть. Ну, хватит о медицине, о работе, отдохнуть надо. Сергей все ж, наверное, обалдел за ночь. Поспал хоть немного?

Сергей:

— Больной стабилизировался так к часам четырем — до шести я вздремнул.

Люся:

— Кофе двойной?

Начальник:

— Конечно.

Люся:

— А ты, Сережа? Или спать пойдешь?

Начальник:

— Ничего. Сходит на общество.

Сергей:

— Ах так — слово начальства закон! Тогда кофе с коньяком, только, чур, плачу я.

Начальник:

— Но, но! Забыл, с кем обедаешь? Платит всегда. Начальник, ребята. Ох и распустился же ты! А коньяк, черт с тобой, будет.

Сергей:

— Нет, это не дело — тогда я вымогатель.

Начальник:

— Вымогатель, конечно, но слово не воробей. Да! Хотел я тебе сделать втык. Ты на днях проявил благородство души. Я видел из окна, как ты помогал безрукому машину завести. Помочь-то хорошо, но неужели ты не мог послать кого-нибудь — или санитара, или студента? Какое ты имеешь право рисковать своими руками? В конце концов, коль ты хирург, то руки твои — имущество казенное. Ведь это показуха, выпендривание. Как бы ты обрабатывал культю сегодня с разбитой рукой? Больничный бы получил? Производственная травма! Гуманизм за государственный счет.

Сергей молчал. Люся тоже. Начальник посмотрел на них и сказал:

— Время. Пора ехать на общество.

— Очень спать охота. Может, отпустите домой, а? Повестка-то сегодня малоинтересная, — робко сказал Сергей.

— Мои сотрудники должны всегда ходить на все заседания хирургического общества.

Люся подумала: «Что это он взъелся? Сергей догадается».

Сергей подумал: «А обычно в частных беседах он спокойнее. Что с ним? Сколько раз я себе давал зарок!..»

СОУЧАСТИЕ

— Вы поговорили бы с моим ординатором. Ему лечиться надо.

— Вздор. Очертенел от работы просто. Отдохнуть ему надо. И в конце концов, поговорить с ним надо по-человечески. — Начальник встал, откинул полы халата, вложил руки в карманы брюк и стал ходить. — Вы же все равнодушные люди. Вам поговорить трудно — ведь вас это не касается. Конечно, проще назначить лекарство. Когда нужно простое человеческое отношение, у вас на первом месте лечение, а не отношение. Нельзя безнаказанно угнетать или, наоборот, возбуждать свои эмоции, настроение. Настроение, эмоциональный склад даны нам от природы, этим нельзя играть. Человек должен быть в напряжении своих естественных чувств. Лекарств этих расплодилось свыше меры всякой. А он-то вовсе и не больной. — Начальник подошел к столу, погасил сигарету о край пепельницы, закурил новую.

— Но он очень странно рассуждает, похоже... — Кто-то позволил себе заговорить раньше времени.

— Его как человека, врача. Действительно заботит положение в клинике, осложнения, смерти. Вы же все настолько закоснели, что

считаете положение в больнице нормальным. Слишком вам хорошо живется. А начинаешь вас ругать — обижаетесь. Я ругаюсь — запомните, чтобы прежде всего вышибить из вас равнодушие. И вот сейчас ваше отношение к своему коллеге говорит в пользу моих слов. Видите ли, лечить его надо! А вы мне скажите: кто из вас с ним поговорил хоть раз по-настоящему? Ведь я от него дальше вас всех, но я с ним поговорю. А вы, конечно, выше этого. Вы ученые, вы лекарства знаете. А я врач. Врач не тот, кто лечит, а кто вылечивает.

— Да мы...

— Короче, вы все сейчас уходите, а его пришлите ко мне.

Мы все ушли, но потом он вызвал меня и сказал, чтоб я тихо сидел в углу и делал вид, что разбираюсь в операционных журналах. Чтоб ни в коем случае не встревал, но внимательно слушал.

Вошел в кабинет ординатор, прошел к столу и сел в кресло ко мне спиной или не обратив на меня внимания, или просто не заметив.

— Мне сказали, что вы отказываетесь от операции. Что? Устали? Плохо себя чувствуете?

— Да. Мне кажется, надо сделать перерыв.

— Но нельзя же так реагировать на каждое осложнение после операции. Я понимаю — очень неприятно бывает, когда после твоей операции осложнение, но в нашей работе это в порядке вещей. Со всем без осложнения мы еще не научились оперировать. Никто же и не требует от вас больше, чем мы можем.

— Вот видите, не требуете, а думаете.

— Что думаю?

— Но я ведь действительно не виноват в этой смерти.

— А кто же вас винит?

— И после моего дежурства больной, который умер... я, ну, честное слово, ни при чем совершенно.

— Какой больной после дежурства?! После ваших экстренных операций никто не умирал последнее время.

— Да не мой больной. Доцент оперировал.

— При чем же тут вы?

— На моем дежурстве умер.

— Ну, рассуждайте же разумно: у него несостоятельность кишечного шва выявилась за три дня до смерти...

— А родственники сказали, что я не углядел.

— Ну, дорогой мой, вы же знаете, что обращать внимание на родственников нельзя. Они же не понимают. Они же никогда не знают сути. Да и жена пожелала потом такую же смерть оперировавшему хирургу, а не вам.

— Но потом я шел по коридору и слышал, как кто-то трижды сказал: «Вот он. Все осложнения у нас из-за него».

— Да господь с вами, вам просто послышалось. Да еще трижды.

— Вот именно. Трижды ведь не могло послышаться?

— А когда это было, в котором часу?

— В четыре утра.

— А кто был в отделении в коридоре?

— Одна сестра у ординаторской спала, а другая сидела возле буфета.

— Ну вот — сами видите. Кто же мог сказать?

— Может, вы и правы. Но я никакой не вредитель. Я не виноват ни в осложнениях, ни в смертях. Я не виноват в том, что у нас все не ладится.

— Но у нас все ладится.

— Нет, не все ладится — больные-то умирают.

— Человек-то смертен. В хирургии иначе быть не может: много запущенных раковых больных, тяжелых травм. В этом никто не виноват. В этом только бог может быть виноват. Вот, например, раковый запущенный больной, который умер у нас вчера. Вы его видели в поликлинике?

— Нет.

— Вы его смотрели до операции?

— Нет.

— А мы его долго держали до операции?

— Нет.

— Он умер от операции или от болезни?

— От болезни.

— Как же вы можете быть виноваты?! Все «нет», а на нет и суда не бывает.

— Я не знаю, но меня обвиняют. И не только персонал. Вчера в трамвае кто-то говорил: «Вот он. Из-за него все».

— Да это не про вас, наверное.

— Каждый день в одном вагоне со мной едет милиционер, и как только скажут: «Вот он», так милиционер поднимает голову и смотрит на меня.

— А это по утрам или по вечерам?

— Чаще после работы.

— Значит, вам это просто с усталости кажется. И откуда милиционер!

Я услышал, как он пытался что-то ответить, но Начальник уже токовал и ничего не слышал и не видел.

— Ну, вот видите. Раз вы устали, то лучше вам, конечно, не оперировать временно. Отдохните. Знаете, вообще, отдохните недельку?

— Да я не виноват ни в чем.

— Бог с вами, я просто хочу, чтоб вы отдохнули, и все. Вы мне верите?

— Верю.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Приходите в понедельник и на той неделе снова начнете оперировать. Отдыхайте, ни о чем не думайте, не волнуйтесь. Договорились?

— Договорились.

— Ну, идите. Я рад, что у нас с вами нет никаких разногласий, мы думаем одинаково, работаем на одно дело.— Начальник опять влез на трибуну. Теперь не только другого, он уже и себя не слышит.— Я в вас не разочаровался как в хорошем докторе и уж совсем не подозреваю ни в чем. Мы еще с вами до пенсии доработаемся вместе.

Начальник захохотал, так сказать, приобнял его и повел к дверям. Тут ординатор увидел меня.

— Я думал, мы одни.

— А мы одни. Серенька же не в счет. Абсолютно свой, наш человек. И нем как могила. Все в порядке, не волнуйтесь.

Я, «свой человек», сидел, слушал и высокомерно, рационально думал: «А как бы говорил я на его месте?» По существу, я тоже хотел противопоставить разум безумию, я был в том же круге существования. Я не любил их обоих в этот момент. Могу ли я любить себя теперь?»

Он умер ночью. Говорили, что отравился.

НОЧЬЮ

«Конечно, я не так говорил. Боже мой, как я не понимал этого? Я ведь, по существу, просто объяснил ему, что у него галлюцинации. И сам не понял, что это галлюцинации. Да что галлюцинации? Ведь, по существу, я ему просто объяснял, что у него шизофрения. Он понял и... Что он так торопился! Как же нам теперь быть?»

С другой стороны, мысль о всеобщих подозрениях. Он же не верил никому. И неизвестно, почему не верил: от ситуации или от болезни. Он ведь и от недоверия и от подозрения мог поторопиться. Разве угадаешь. Но нам-то каково! Надо было просто заставить его оперировать. Я не понял. Все не так. Надо было вызвать и сказать: «Завтра будешь оперировать такого-то». Зачем объяснять, говорить, что доверяешь. Надо показать, что доверяешь. С другой стороны, скажешь оперировать, а он перепугается, решит, что подстроена пакость, и опять поторопится. Как угадать?! Куда я смотрел раньше! Ведь было у него и в прошлом как-то такое же смутное настроение. А потом прошло. Он был веселый перед этим, доброжелательный. Соглашался со всем, что ему ни скажешь. Я-то решил, что все хорошо. А это...

Мы его оценивали, расценивали, а он нас осудил. А что мы понимаем в предвестниках? Вот я обрадовался утром, что телефон мне двухкопеечную монету отдал, а вечером он уже не работал. Я обрадовался, а это был первый симптом.

Надо было ему сказать...

Господи, кому же сейчас говорить! И не оправдаешься. Да и не перед кем уже и оправдываться.

Ему легко, он ушел, а мы на всю жизнь... Он сейчас ничего не чувствует, а нам работать. Я же о нем думал, я хотел уговорить его, ведь нельзя, чтоб с такими мыслями работал, ведь это для больных нельзя.

Надо было лечить. А я-то, я-то решил по-человечески. Какое же по-человечески, когда неправильно? Какой же я врач!

А ведь теперь же на сколько дней мы все отключимся от больных наших. И больным плохо.

Черт возьми, нам еще на похороны идти.

И что толку каяться, когда не перед кем? Господи! Если бы он был. Все б легче, наверное. Перед кем каяться? А его нет, поторопился он.

А Сергей хорош! Хоть бы вмешался!

Эх, парень! Зачем было торопиться так? Он ушел, и все, а мы с Сергеем сидели и говорили про все ненужное --- не про жизнь.

Надо было следом бежать, действительно надо было лечить --- они правы. Я высказал свои мысли, а они молчат, и Сергей молчал. Все виноваты. Почему они всегда молчат?

И он тоже молчал. Разве так делают: молчит, молчит, а потом раз... и убил.

Что бы почитать --- никак не усну. А если и усну, поможет разве?

А говорят: «Судить других не надо. Кто знает, что кого подвигнуло на плохое, а может, думал, что он хорошее что делает, для хорошего делает». Не судить, не судить, а потом-то тебя, да сразу, да...

И почитать нечего. Нет, нет, никаких операций пока. И не знаю, когда смогу. А при чем же тут больные? Но я-то не могу, не могу! И ведь я действительно хотел как лучше. Глупо, даже стыдно говорить эту формулу, но это же факт. Я решил поговорить с человеком по-человечески...

И вот тебе.

А может, разучился?»

ТВЕРДОСТЬ

Хусаинов прекрасно вышел к штрафной площадке, передал мяч Амбарцумяну, и тот с ходу забил гол. И тут же свисток.

— Классическая спартаковская ситуация! — Начальник вскочил в полном восторге. — Последняя минута — гол! Великолепно! И правильно сделали. Хватит держать оборону. Еще Суворов завещал: «Лучшая оборона — нападение!» Футбол — та же война. Хусаин прекрасно прошел. А какой дриблинг по краю! Они его из сборной выкинули, а он еще не сказал своего.

Сидевшие вокруг, в основном его помощники по больнице, слушали и иногда поддакивали.

— Ну, Амбарцумян тоже не лыком шит. — Доцент наш не очень-то понимал и уж совсем не любил футбол, но на особо ответственные матчи Нач его приглашал, и он старательно смотрел и, возможно, даже стал разбираться в этой игре.

Начальник же до безумия любил сидеть у телевизора, особенно когда передавали футбол. Он прекрасно во всем разбирался и очень любил, чтобы кто-нибудь смотрел вместе с ним и слушал его комментарий, пророчества и футбольные прозрения. Когда передавали матч, он запрещал звать его к телефону. Его нет. Ни для кого!

Началось радостное хождение по комнате. Он любил, когда «Спартак» выигрывал, а последнее время это было не часто. Наконец он выключил телевизор и:

— Лариса, давай чай!

Жена его упаковывала чемодан.

— Сейчас.

Минут через десять она вошла и стала накрывать на стол. Ее лицо было серо и молчаливо. Когда она вышла, он сказал:

— Обострение у нее, боли, а тут вдруг решила — вынь да положь ей дачу. Едем на этот месяц на дачу. «Пей, гуляй — однова живем». Сил нет, лечиться надо — нет, подавай дачу!.. Мальчики, вам, может быть, кофе? Мы-то пьем чай по вечерам.

— Нет, нет. Мы тоже чай.

— Порадовали меня, ох порадовали спартаковцы. Прямо хоть не ходи завтра на работу. Ну, я Сергею покажу. Мы с ним вчера битый час проспорили. Он мне доказывал, что «Спартак» выиграть у этих не может. Ну, я завтра с ним поиграюсь.

— Тебе сахар положить?

— Положи и пусть остынет.

Жена вышла опять. Было видно, как в другой комнате она раскрыла шкаф и вновь склонилась над чемоданами.

— Слушай, кто будет оперировать моего завтра? Я не приеду.

— Кому скажете.

— Начинай тогда ты, а если приеду, зайду в операционную. — Он посмотрел в ту комнату. — Может, ты кончишь это изуверство?

— Машина заказана на десять утра.

— Нет. С блажью человеческой надо бороться. Потакать таким вещам нельзя. Должен же человек думать о себе, о здоровье...

Телефонный звонок сбил его гнев.

— Скажи, что меня нет. Впрочем, узнай, кто говорит!

— Алло... Здравствуйте, Николай Иванович.

— Подойду, подойду!

— Дома, дома... Конечно... Сейчас подойдет... Спасибо, все в порядке... Как обычно... Все здоровы... С годами каких только болезней у нас не бывает... Это вы у него спросите... До свидания. Передаю трубку.

Она принесла ему телефон.

— Здравствуйте, Николай Иванович... Что, что? Вроде бы так? Можно, конечно, слетать... Да понимаю, что не горит уж так... Ну уж если все равно лететь надо, так лучше завтра... С утра так с утра... Когда самолет?... Хорошо, к одиннадцати я буду готов... Я возьму с собой на работу... Договорились... Нет, действительно лучше к десяти домой... Все... Ну, привет... Конечно, после позвоню. Надо ж отчитаться... До скорой встречи... Ну, а чего ж договариваться, если надо... Да, не такой уж покладистый, но ведь все равно не избежать... Да. Да.

— Ну вот. Значит, теперь уж точно. Оперировать будешь ты. Лариса! Завтра утром я лечу на консультацию.

Жена молчала.

— Почему я должен лететь послезавтра? Там, милая, человек больной, который хочет выздороветь. Болезни надо лечить, а твои капризы... Короче, я лечу завтра утром... Сейчас побросаю к себе в портфель кое-что, а вы, ребята, не обращайтесь внимания. Я при вас... Мытье, бритье — завтра. Пижама — тоже завтра. Рубашка, носки — вот они. Детективчик бы в дорогу. Лариса! Где Сименон?

— Я его читаю.

— Потом прочтешь. Ладно? А то что я там буду делать? И в дороге. Хорошо?

— Хорошо. Возьми.

— Слушайте, ребята. Договоритесь в отделении насчет консультации. Надо Ларису Владимировну проконсультировать у специалистов. Невозможно же, человек так мучается... Она хоть и не хочет лечиться, но я кровь из носу, а привезу ее. Надо же лечиться. Ладно, ребята. Раз мне ехать завтра, тогда чешите. Утром, сразу после конференции, мне позвони. Вообще, надо бы мне помочь ей уложиться. Впрочем, благословите меня на твердость. Учить надо. А твердость, она ведь нам не легко дается. А?

НАША СТЕПЕНЬ

— Только я тебя прошу — не зарывайся. Это тебе не апробация, не обсуждение среди своих. На все замечания сначала говори спасибо, а затем — да и то только в случае критики, грозящей провалом защиты, только тогда — можешь возражать. Прежде всего: «Спасибо, мне очень лестно» и т. д. Понял? Чтоб никаких эксцессов. Меньше слов. Слово — даже не серебро. Диссертация — это не наука, а степень. Ты не выяснением истины занимаешься, а зарабатываешь степень. Понял? А что такое степень, сам знаешь. Значит, Серенький, спокойно, достойно, вежливо, с поклоном и согласием. Чтоб не так, как Ньютон с Гуком. Запомни — ты ничтожный Топорков. Вон такси идет!

— Занято.

— Черт подери. Сколько уже прошли — и ни одного такси. А все равно лучше искать такси долго, чем возиться с собственной телегой. А? — Начальник всегда расстраивался, когда такси сразу не попадалось.

— Угу. У нас еще много времени. Пить хочу страшно. Может, выпьем кваску? — Нервничает, конечно, Сергей.

— Давай. Выпьем. Квас не водка — перед защитой не возбраняется. Водка после. А как доценты — пьют квас?

Оба доцента шли сзади.

— С удовольствием.

— Дайте, пожалуйста, четыре маленьких.

— Хорош квас.

- Говорят, что цистерны не моют целое лето.
- Не морочь голову — пей и получай свое удовольствие.
- Простите, пожалуйста, вы не разменяете нам по две копейки?
- Есть переговорные пункты — там и меняйте.
- У вас же есть. Жалко вам? Я однокопеечные даю — сдача же у вас будет.

— А я вам говорю: я вам не разменный пункт. Разбаловались совсем.

— Сергей! Прекрати. Пошли. Потом позвонишь. Нашел время и повод заводиться. У тебя защита. Не забывайся. Вон такси. Ловите!

— Ну, вот и хорошо. Закурим. Товарищ водитель, закурите? Это дело. А то как-то мне один таксист не разрешил курить в машине. Я тут же расплатился и вылез, конечно. За свои деньги я могу ехать с комфортом?! А ты нашел время склочничать. Защита — а тебе звонить вдруг. Подумаешь, срочность какая!

— Да обидно ведь. Полно двухкопеечных у него. Какая-то недоброжелательность. Просто неохота сделать человеку доброе, даже когда это так легко и для него и для всех. — Сергей то ли оправдывался так, то ли наступал, готовился к защите.

— Ладно, ладно. В конце концов, он не обязан. А ты-то сам сказал ему спасибо за квас, так, не по обязанности, а от души? — Начальник по привычке поискал слабое место.

— Конечно, сказал. Уж не знаю по душе, или по обязанности, или по рефлексу.

— Ну, ладно тебе пылить. Ты помнишь все, что я тебе говорил? К таблицам не выходи — говори только, что на таблице номер такой-то то-то. И все.

— А таблицы мне и не нужны. Я их могу и вовсе предать забвению.

— Пожалуйста, без новаций! Есть ритуал, и этот обряд должен быть пройден от корочки до корочки. Диссертация — это не новаторство, и уж, во всяком случае, не в форме оно должно проявляться. Члены ученого совета привыкли так — все! Чтоб все было, как привыкли. У тебя речь на сколько минут?

— Точно не скажу — меньше двадцати.

— Опять валяешь дурака! Не выучил наизусть?! Если больше двадцати, остановят. Приехали. Выгружайся.

Совет начался вовремя. Кворум был. Все хорошо. На Сергея лучше было не смотреть: белый, зеленый, противный.

— Сегодня на повестке дня один вопрос. Защита диссертации на соискание степени кандидата медицинских наук Топорковым С. П. Прошу зачитать анкетные данные. Соискателя прошу на кафедру.

Пока секретарь ученого совета зачитывал анкету, Сергей стоял на кафедре в полуестественной позе, покрываясь постепенно полустественным цветом. Один из членов ученого совета громко шелестел серебряной оберткой шоколада, и в мертвящей тишине, какая бывает в первые десять минут при любой защите, звуки эти били прямо по нервам, и прежде всего по нервам соискателя.

— Вопросов по анкетным данным нет? Нет. Так, вам двадцать минут. Прошу.

— Глубокоуважаемый председатель ученого совета! Глубокоуважаемые члены ученого совета! Глубокоуважаемые товарищи!..

Речь началась вроде бы правильно, все несколько успокоилось, все пошло, казалось бы, по привычной дорожке, лишь Начальник явно нервничал: это первая диссертация из клиники, вышедшая под его руководством.

— Нет, пока ничего, ребята, а? Я боялся, как он начнет. Нет, нет, все правильно. Только вот «глубокоуважаемые» — это только председатель и члены, а остальные товарищи — уважаемые просто. Ну уж ладно — не обратят внимания. Смотри, смотри, кто взял диссертацию! Смотри, что он читает, смотри, только список литературы. Я не помню: он-то приводится в литературе?

— Тоже не помню.

— Если его нет — зарубит. Как же мы не вспомнили, что он член этого совета! Смотри, проглядел библиографию и закрыл. Что-то говорит соседу. Ох, будет дело. Как же мы опростоволосились! Тише говори! Что бубнишь?

Сергей уложился в четырнадцать минут. Начальник был доволен — время наиоптимальнейшее.

— Вопросы к соискателю есть?

— Каким аппаратом производилось основное исследование?

Прямого отношения к списку литературы этот вопрос не имел. Зачем же он его смотрел? Не ясно. Подождем.

Сергей:

— Отечественным. Завод «Красногвардеец». Последний выпуск.

— Каковы его технические данные?

Сергей:

— Простите, но я не могу дать точный ответ, поскольку это не было необходимо для анализа полученных результатов.

Председатель:

— Вы удовлетворены ответом?

— Нет.

Начальник (своим вокруг):

— Начинается. Зачем он сразу сказал: «Не знаю!»? Сначала надо ответить хоть что-нибудь! Ох, болван. Надо сказать кому-нибудь, чтоб поговорили с этим типом. Пойди подсядь вон к тому — попроси, пусть он поговорит, скажи, я просил.

На остальные вопросы Сергей ответил, удовлетворив спрашивающих.

Председатель:

— Есть отзывы? Прошу зачитать.

Зачитывали только окончательную оценку и подпись. Подпись — это очень важно, важно, кто оценивает, ведь не всякой оценке можно доверять, — другое дело, если академик или известный профессор. Сергей все это время стоял на кафедре и внимательно слушал, как будто он не читал их раньше.

Потом Начальник дал характеристику Сергею. Сделал он это хорошо, показав Сергея с лучшей стороны, и, как и положено, не касался самой диссертационной работы.

Сергей стоял на кафедре и опять внимательно слушал.

Председатель:

— Нет вопросов к руководителю? Нет. Товарищ соискатель, прошу встать вас рядом с кафедрой и дать место официальному оппоненту.

Сергей встал рядом с кафедрой, и, когда он оказался удобен для полного обозрения, вид его производил еще более неказистое впечатление, если только впечатление может быть неказистым, но такая уж была неказистая вся ситуация. Поза Сергея больше подходила для гражданской казни, но это никого не удивляло — такими бывали все соискатели.

Официальные оппоненты выступили с положительной оценкой. У каждого, кроме хвалебных оценок, было и несколько (не более трех) несущественных критических замечаний.

Сергей после каждого выступления делал два шага в сторону и один-два шага вперед, оказывался на трибуне и сначала благодарил оппонента, а потом соглашался с замечаниями, затем обещал учесть их в дальнейшей своей работе, хотя замечания были в основном о подмеченных стилистических неточностях или опечатках.

Недаром тот тип читал список литературы, в результате и ответ его не удовлетворил и вот на тебе: неофициальный оппонент.

Всеобщий перепуг прошел после пяти минут выступления, в которые было сказано, что необходимо сделать несколько клинических замечаний, что напрасно не использован в работе целый ряд важных исследований, проведенных другими учеными ранее, но, тем не менее, работу можно счесть значительной и, безусловно, достойной и т. д. и т. п. Пока неофициальный оппонент говорил, почти все члены совета уже опустили свои бюллетени в урну.

Сергей стоял рядом с кафедрой и менялся как в цвете лица, так и в своей осанке в зависимости от тональности этой непредвиденной речи. И напрасно — голосование уже состоялось.

Затем Сергей опять благодарил, на этот раз неофициального оппонента, и обещал учесть, согласившись кое с чем.

Потом Сергей опять вышел и встал рядом с трибуной, но ему предоставили последнее слово, и он снова поднялся на трибуну и говорил, как он благодарен председателю и всему совету, потратившим на него столько времени, своему Начальнику и подначальникам, помогавшим ему, оппонентам официальным и неофициальным оппоненту, коллективу, без которого он, конечно же, не... и еще кому-то, кому — и сам он потом вспомнить не мог.

Но все это было уже напрасно — голосование состоялось и закончилось, а счетная комиссия к этому времени уже ушла с урной и бюллетенями в ней. Это было удобно, так как никто не терял лишнего времени, и как только Сергей закончил свое слово, комиссия вернулась и зачитала все протоколы своего заседания: о выборе председателя комиссии и результаты голосования.

После объявления результатов голосования первым к Сергею подошел Начальник (это было его право — право первого поцелуя) и, трижды поцеловав его, сказал:

— Молодец! Все хорошо доложил. Скажи нам спасибо. Если б не наша деятельность в зале, неожиданный оппонент тебя бы угробил. Чистая наша степень. Не забывай, парень! А в результате нашей деятельности он даже сказал мне, что клиника наша выдала очень хорошую работу. Вот так, ребята! А вообще-то, побоялся бы гробить, наверное: от него ведь тоже диссертации идут. Хотя он знает, что никто этим пачкаться не станет. Мы против мести, да, Сергей?

— А интересно все же, кто-то, наверное, ему что-нибудь говорил. Интересно, кто, и что, и почему?

— А какая тебе разница, раз ты против мести?! Ты ж все равно станешь делать, как считаешь нужным, а не как тебе подскажет мстительность. А? — Начальник засмеялся.

— Вестимо. Если око да за око, ок не останется, наступит всеобщая слепота.— Сергей сейчас чувствовал себя не в пример свободнее и легче, чем угром.

— Ну, вот и договорились. Так что черт с ними, с нашими недоброжелателями. Аминь. Перейдем к делу, так сказать, к хлебу насущному. Когда банкет и где?

— В семь в «Метрополе». — Устраивал и отвечал за банкет первый доцент.

Начальник:

— Прекрасно. Столблю тамаду — я буду.

— Естественно. Лучше и не надо. На это и надеялись.— Второй доцент также был при деле.

— Надеетесь, надеетесь! Пора уже и самим начинать руководить организованными пьянками. А! — Начальник захохотал.— Ну, пошли, ребята, пошли. До ресторана идем пешком. Время есть, и успокоиться надо. Не забывай, подлец, заслуги наши кулуарные. Да-да! Ну ладно, впрочем, ступай к своим, а мы пойдем пешком, погуляем. Ведь там не ты командуешь.

Несколько очумев, даже изрядно очумев от защиты, Сергей стал спускаться к выходу, не слишком обращая внимание на происходящее вокруг. Начальник уже ушел. Друзья-коллеги ушли с Начальником. С Сергеем шли его ребята, ребята его детства, старые, заслуженные, очень притершиеся друзья.

Они вышли на улицу. Вдали по дороге уходила шеренгочкой с Начальником в центре вся плеяда коллег. Его же ребята остановились около входа и стали полукругом.

Виктор сказал:

— Ищи, ищи, Топор! Пиль!

Сергей повел головой, потянул носом, оглядел всех, заулыбался, покосился на дверь — не идет ли кто из маститых или студентов,— кинулся к кустам и застыл в собачьей стойке.

— Порскай, порскай! — шепнул Толик, не больно знакомый с тонкостями дворянских забав.

Однако Сергей понял, нырнул в кусты и извлек бутылку шампанского.

— Моя добыча или общества?

— Ты когда-нибудь видал, чтобы собака харчила добычу?

— Значит, из горлышка по кругу?

— Годится.

Бутылку с шумом открыл Виктор, элегантно стряхнул на тротуар пену и подал Сергею. Он хлебнул, и бутылка пошла по кругу.

Выходивший из дверей председатель ученого совета одобрительно, а может быть, с завистью посмотрел на компанию. Ритуал был позади, и он смог проявить человеческие чувства.

— А я что? Не заслужил?

Глотнул и он, а потом сел в машину и уехал.

— Бичи! Есть идея. До банкета полтора часа --- кто там командует официантками? Не ты?

— Доцент наш.

— Ну, так...

Сергей:

— Все понятно. Сбрасываемся?

Расселись в ближайшем кафе.

— Ну, каковы рекомендации?

— Поскольку впереди банкет, чуть выпить и кофе для бодрости. Нет возражений?

Выпили.

— А Начальничек у тебя странный.

— Да нет, ничего. Это что, вместо тоста?

— Суетлив он больно. Чего он суетился-то во время защиты?

— Сережка, а почему у вас, у медиков, такая дичь — ритуал как в средневековье?

— А знаем мало, лабуды много — ритуалом берем.

— Это верно. Где больше знают — больше свободы в общении. У физиков во время защиты вообще как в гостях.

— Это ты не защищался у нас. Ну, естественно такой дикости, как у вас, конечно, нет.

— Вот из-за этой-то дикости и суетился Начальник.

— А он против этой дикости?

— А черт его знает, с одной стороны, против и смеется над всем этим в келейных разговорах, с другой — неукоснительно блюдет все ритуалы и инструкции. И блюдет-то не так чтобы: хотите — нате, подайтесь; нет, с душой блюдет, с кровью. А! Вообще, надоел он мне. Он, так сказать, все время плюет в колодезь, из которого пьет.

Допили и отправились на банкет.

ДЕМПИНГ

«Я шел по длинному коридору отделения. В том конце его — столы, за которыми обедают больные. Вот больные уже встают. Надо бы побыстрее, а то попадем в самую толкотню. Пошел побыстрее, почти бегом. Говорят, начальникам бегать несолидно. Уважения не будет от больных. Политики! Даже здесь придумали какой-то расчет. А разве можно все рассчитать? Я, например, считаю, что значительно неприятнее будет встретиться с этой толпой поевших и проталкиваться сквозь них. А головотяпы мои растянулись по всему коридору. Идут еле-еле, боятся солидность растерять? Все от бескультурия. Я-то бегу. А они что, моложе меня? Или большие все политики? Идут степенно. Сейчас я им выдам.

— Если шеф ваш позволяет себе почти бежать по отделению, то вы тоже можете. Экие солидные. У вас сил меньше, чем у меня, что ли? Пять человек, а растянулись на весь коридор. Быстрее, быстрее ходить надо, уж если профессор себе это позволяет.

Ну, вот хорошо! Сразу, побежали. Может быть, зря я их так? Мы ж на работе. Больные-то подумают, что и делать нам нечего. Ну, конечно, вот и пошли отобедавшие. Прямо в толпу сейчас врежемся. Все на виду у больных, все среди них. Даже больного я должен смотреть в палате среди всех. В уборную идти — тоже в общую с больными.

Впереди всех больных медленно шел очень худой человек, покрытый крупными каплями пота. Бледный. Вернее, серый. Бедняга. Лет пять назад он поступил к нам с тяжелым желудочным кровотечением. Сделали ему резекцию желудка. Спасли. А теперь на тебе — демпинг-синдром: после каждой еды кидает в жар, слабость, пот. И работать не может. Отчего же этот демпинг все-таки бывает? Вот ведь пища для ума».

...И хотя Начальник намеревался устроить шум совсем по другому поводу, переключился-таки на демпинг. И понимал, что сейчас надо было дело налаживать, о деле говорить, об организации его, а не сумел. Отвлекся...

— Ну, что ж делать с демпингом?

— А что с демпингом?

И пошло...

— Как что?! Вы что, научились демпинг лечить? Вам это уже не проблема?! А я так не знаю, как быть. Видали, какой он шел с обеда?

— Ну что же, его лечить надо.

— Ты кому это говоришь? Родственникам или врачу? Может, ты знаешь, чем лечить? Мудрецов у меня полно. Я лично не умею лечить демпинг. Вчера тоже один развел дискуссию.

Вчера Начальник с Сергеем взяли этого больного под экран, смотрели на рентгене. Не в первый раз уже.

При демпинге барий быстро проваливается из остатка желудка в кишку. А тут они решили смешать барий с сахаром и сметаной.

Больные это хуже всего переносят. Значит, должно провалиться еще быстрее.

Рентгенолог села на свой трон.

— Ну-ка, глотните глоточек небольшой. Так. Хорошо. Как вы считаете?

— Пока все нормально.— Это сказал Начальник.

— А теперь пейте все до конца. Я думаю, что детали органики нам сейчас исследовать не надо. Мы его уже смотрели.

— Конечно, пусть пьет.

Пока говорили и обсуждали, нужно ли больному все пить, он стаканчик прикончил.

— Ну что ж, пошла эвакуация нормально, не быстро.

— Ничего. Хорошо.

— Я сейчас сниму, а потом посмотрим еще раз через пятнадцать минут.

Рентгенолог поставила кассету и громко, почти на крике:

— Больной! Не дышать! Не дышать!

Аппарат зазуммерил, щелкнул, и врач тихо, еле слышно сказала:

— Можно дышать.

Через пятнадцать минут эта масса все еще стояла в желудке. Вот тебе и демпинг. Прав Начальник — абсолютно непонятная вещь. Должно проваливаться сверх всякой нормы, а тут наоборот.

И через тридцать минут барий со сметаной продолжал находиться в желудке. Это уже ни в какие ворота не лезет, это уже вопреки всему известному о демпинге.

— А что, если мы ему перед едой будем атропин давать? — Сергей, конечно, не может без необоснованных раздражающих предложений.

— Зачем?

— Ну, раз у него стоит и не выходит и ему от этого плохо, значит, надо попробовать давать какой-нибудь антиспастический препарат. Пусть быстрее переходит в кишку, если ему тяжело от такой незначительной задержки.

— Все мое учение, Топорков, для вас совершенно проходит бесследно. Один раз увидел — все, проблема закрыта. И это ученый! Ну как ты можешь, исходя из этой неожиданной картины, из этого одного случая, не проверив на контрольных больных без демпинга, на других больных с демпингом, — как ты осмеливаешься давать рекомендации? С какой легкостью вы все разрешаете все проблемы.

— Да я не о проблеме. Я про больного. Просто думаю, что вдруг да поможет. Конкретная единичная ситуация — может, если расслабим сфинктор, ему и легче будет.

— Как вы можете так думать о людях! Так безответственно манипулировать их здоровьем. Вещь недодуманная, а уже хватай, лечи. Так вот подумаешь лишь об одном больном, а не поможешь никому никогда, и ему в том числе.

— Да не хочу я с одного предположения начать осчастливливать всех больных. Вот этому конкретному больному, мне кажется, можно помочь. А уж повредить это никак не может.

Он еще спорит!

— А перед нами не один этот больной, а сотни их, и помочь мы должны им всем. Для этого должно понять, что происходит. Стало быть, провести многочисленные исследования, а не гоняться за каким-то единственным зайцем, да и то он может оказаться миражем.

Тогда Сергей ничего не ответил Начальнику.

А сейчас Начальник увидел этого больного опять — после еды он мокрый, серый.

— Нет, все же мы раскусим этот орешек и поможем этому больному и всем остальным страдающим.

Да, поможем, и поможем всем сразу.

Черт его знает, может быть, этому-то действительно есть смысл дать атропин?

«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»

— Людмила Аркадьевна! Людмила...

— Не кричите. Я слышу, я не сплю.

Люся в душе гордилась своим умением просыпаться на дежурстве моментально — она просыпалась в тот миг, когда брались за ручку двери с наружной стороны. Вот и сейчас.

— Я не сплю. Что случилось? Привезли кого-нибудь?

— Нет. С большой плохой, с послеоперационной. Бледная. Пот холодный. Давление упало.

— Какая больная? Какая операция? Когда была операция? Говорите все.

Но это она уже выговаривала и выспрашивала на ходу, на лестнице. Сестра бежала на ступеньку ниже.

— Третий день после резекции пищевода. Бабка — вторая койка справа от окна. Во время вечернего обхода небольшие боли были, но после укола уснула и приблизительно минут десять как... да, полчетвертого было, минут десять как проснулась от болей. Я зажгла свет, а она бледная, мокрая вся, пульс слабенький. Померила давление — верхнее восемьдесят пять. А вечером сто двадцать было.

— Тише. В палате спокойнее. Не говорите давление вслух.

И они вошли в палату.

На вечернем обходе больная эта действительно была спокойная, давление действительно было хорошее. Люся смотрела ее тоже. Как старший дежурный, как ответственный хирург, она наиболее тяжелых больных смотрела сама вместе с «дежурным по больным». Он-то должен быть уже здесь.

— А где доктор?

— Я прямо к вам побежала. По-моему, тяжелая очень.

С одной стороны, Люсе понравилось, что ее не только по форме, но по существу считают старшей, лучшей; с другой стороны, непорядок: «дежурный по больным» уже должен быть здесь.

— Попросите, пожалуйста, кого-нибудь вызвать его. И пусть заодно спросят, что делается в приемном покое. Если там нет никого, второго дежурного пусть позовут сюда тоже.

Люся не первый год как дежурит ответственным хирургом, а тяжелых больных боится так же, как и в первый раз. Да, наверное, все боятся тяжелых больных. И должен быть такой страх — иначе как лечить? Вот сейчас: шутка ли — бабке за семьдесят, а такую операцию только очень здоровому да молодому под силу перенести. Но вот это и есть истинный конфликт в хирургии: чем тяжелее операция, тем, естественно, нужно больше сил больному; чем тяжелее болезнь, тем, тяжелее операция, тем, естественно, меньше сил у больного. Но это, так сказать, логика формальная, а большинство оперируемых все-таки выздоравливает, и это правда жизни. Интересно, где тут формальная ошибка?

Люся думала обо всем этом, продолжая слушать, щупать, выстукивать и измерять. Потом, когда в голове уже появились и накопились конкретные факты, мысли ее отвлеклись от проблем глобальных и

сосредоточились на лежащей перед ней больной. Что же с ней? И что делать?

Сначала приходится что-то делать, а уж потом, по ходу, думать и стараться понять, что с ней.

— Срочно налаживайте капельницу, принесите кровь, полиглюкин. Манжетку с плеча не снимайте — давление все время измерять придется. Сестру со второго поста тоже сюда позовите — одна вы не управитесь.

Вошел второй дежурный, столкнувшись с уже выходившей Люсей.

— В приемном все спокойно?

— Два часа уже никого не везут. Может, бог поможет, не привезут больше. А что здесь, Люда?

— Ты эту больную знаешь? Видел раньше ее? После пищевода?

— А как же. Третий день уже, по-моему.

— Коллапс развился вдруг — давление упало. Посмотри живот. Вообще посмотри ее, пожалуйста. Девочки пока налаживают капельницу, а ты посмотри и выйди в коридор — скажи, что думаешь.

В коридоре она встретила еще одного дежурного, спешащего сюда же. Сейчас во всем хирургическом корпусе здесь была единственная освещенная палата. Дежурные стягивались на свет: три врача, несколько сестер, а это еще только начало.

Не слишком любезно, по-начальнически встретила Люся дежурного доктора, что, вообще-то, не было ей свойственно.

— Что же вы?! Ваша работа — раз вы по больным сегодня дежурите. Мы все уже здесь, а вы только идете.

— Так мне не сказали ничего. А телепатии не обучен. Ты, как Начальник, стала, мать: недовольна — и сразу на вы. А что там, что случилось?

— Пойди посмотри.

Действительно Люся стала иногда подражать Начальнику. Наверное, потому, что понимать его стала больше. Больше и лучше. Раньше она далеко не всегда бывала согласна с ним, когда он выдавал свои свечи негодования и возмущения, но теперь, подумав, она стала относиться к этому несколько иначе. Вот сегодняшний случай, например. В посетительской санитар выгонял родственника какого-то больного. Санитар громко кричал, так что все слышали: «Выйдите вон. Вы вчера были здесь пьяный, и вам запрещено приходить сюда». Она проходила мимо с Сергеем, он остановился, подошел к санитару и тихо сказал ему, чтоб другие не слышали: «Потише, потише. Правильно, его пускать не надо, но и кричать тоже не надо. Ему-то неудобно — тут чужие, дети, а может, и его дети». Санитар не понял: «Я извиняюсь, конечно, но ему запрещено. Нажрался вчера и пришел. Я как велели. Я-то что? По мне, пусть хоть как угодно ходят». А Сергей ему опять тихонечко: «Да нет, вы правильно говорили, но не надо кричать. Вчера он был пьяный, но человек же, не надо обижать его сегодня так. Он и сам уйдет. Тихонечко — он и уйдет». А санитар отвечает: «Как хотите. Я как велели. Обязанность моя такая. Как работать? Один говорит одно, другой — другое. Я извиняюсь, конечно». Люсе показалось, что вроде бы Сергей и прав, а потом, когда Начальник ему выговаривал, она Начальника тоже, и, пожалуй, даже больше, понимала. «Ты обругал санитару, который при исполнении своих служебных обязанностей делал то, что ему приказано было. Выполнял как надо. С твоей точки зрения, более активно, чем надо, неделикатно. А мне плевать на деликатность. Мне хуже, если не будет здесь такого санитару, а будут пьяные ходить в больницу. Вот он обидится, санитар этот, и уйдет! Да вас, врачей, я только свистну, набегит знаешь сколько! А вот где мне санитаров да санитарок взять? От твоей дели-

катности я скоро работать не смогу...» Он еще долго кричал на Сергея, и хотя Люсе нравилось, что и как говорил санитару Сергей, и хоть ей не очень, пожалуй, нравилось, как Начальник кричал на Сергея, она все же думала, что Сам прав. Начальник — хороший хирург. Начальник — хороший начальник, она его начинала понимать. Но вот подражать ему все-таки не надо.

Наконец все три дежурных доктора собрались у окна и стали обсуждать: что делать? Им было ясно, что в животе произошла какая-то катастрофа. Боль появилась внезапно — внезапная катастрофа. После операции скорее всего полетели швы анастомоза или швы зашитой культи кишки. Таково было общее мнение.

— А может, кровотечение?

— По дренажу из брюшной полости ничего не идет.

— Это аргумент, конечно, — сказала Люся. — Но если полетел анастомоз — по дренажу из грудной полости должно выделяться. Пойдем попробуем потянуть.

Попробовали — все в порядке.

— Нет, ребята, это перитонит.

— Значит, культа.

— Тогда вскрывать живот.

— Так ведь повторно вскрывать живот — умрет, наверное?

— Но ты сама говоришь — перитонит.

— Да, но голову на отсечение не дам. Не могу я решиться на операцию. Вы представляете, если там ничего не окажется! Сам делал!

— Ну, Начальник тебе ничего не скажет.

Люся вспыхнула, но, во-первых, напрасно — он так просто брякнул, ничего не имея в виду, наверное; а во-вторых, не страшно, что вспыхнула, — они говорили в почти совсем темном коридоре, не видно.

— Кстати, — вспомнила вдруг Люся, — а где студенты? Их надо разбудить и позвать сюда. Пойду позову. Ты пойдешь со мной, а ты последи за больной. Сейчас придем.

Вышли на лестницу.

— Слушай, надо все-таки решить что-то, а я не могу решиться на операцию. Оперировал-то Сам. Ты пойдди позвони ему, а я разбуджу студентов.

Вернулись они одновременно.

— У него никто не отвечает.

— Что бы это могло значить? Ночь ведь.

— Может, телефон выключил?

— Не представляю! Хозяин же хирургического отделения.

— Вдруг устал очень. Мало как бывает.

— Ну ладно, пойдем посмотрим.

Вокруг кровати больной уже полно людей. Много студентов. Уже полная активность, суeta. Ну прямо как днем. Проснулись больные — все смотрят. У всех в глазах страх. Странно, что в такие моменты со всех кроватей глядят испуганные глаза, а с кровати-объекта чаще непонимающие глаза.

— Давление девяносто пять. Выше не поднимается.

— Дайте-ка я еще раз посмотрю живот. Лейкоцитоз и гемоглобин взяли?

— Да. Четырнадцать тысяч и шестьдесят восемь.

— Закажи на семь утра повторные анализы.

— Бабушка, болит у вас что-нибудь сейчас?

— Живот. Живот болит все время. Очень болит.

— Язык покажите. Суховат. Дайте руку. У меня часы без секунд — посчитай ты, пожалуйста.

Люся смотрела живот, выстукивала, выслушивала, поглаживала. Потом встала и пошла в коридор. Вместе с ней вышли и доктора и студенты.

— И все-таки перитонит. Надо позвонить кому-нибудь. Шеф не подходит к телефону. Доцентам, что ли, позвонить? Знаешь, пойдй, пожалуйста, позвони ты Сергею, Сергею Павловичу... Ему ближе всех ехать.

Люся вспомнила, как он тихо просил санитаров не шуметь, не обижать. С другой стороны, Сергей верит каждому, кто улыбается, а шеф, наверное, умнее: его улыбкой не возьмешь — он никому не верит. Все-таки лучше Сергей.

Он приехал довольно быстро.

Больная была в предоперационной.

— Что, решили оперировать? — Это вместо «здравствуйте». — А что за больная? Я по телефону не стал уточнять. — Он подошел к кровати, которую ввели в операционный блок. — Ах вот это кто! Здравствуйте. Что? Болит у вас?

Этот глупый вопрос задает каждый врач, хотя и без того ясно — болит. Хоть бы спрашивали, что болит. Но такова природа и логика врачебной мысли. Сначала — что происходит, затем — где происходит, потом — что делать и наконец — как делать. А со стороны это довольно глупо выглядит. Хорошо, что больные этого не замечают, — они не со стороны.

Сергей вспомнил, как обсуждали эту больную перед операцией. Нач ходит по кабинету, излагает ситуацию:

— Рак пищевода. Оперировать радикально, убрать опухоль — девяносто восемь из ста умрет. Не оперировать — все сто умрет, и не от рака, до этого дело не дойдет: от голода — пища не будет проходить. Спасать от голода, сделать отверстие в желудке, кормить через трубку? А кто ухаживать будет? Одна. Одинокaя старуха. У нее есть брат, да и тот живет со своей семьей в другом городе.

Начальник начал с молодых.

Сергею все это представлялось как поиски лучшего места для запятой в известной фразе: «Казнить нельзя помиловать». Начали думать, гадать, где поставить запятую.

Палатный врач этой больной, молодой парень, окончивший в прошлом году институт, говорит просто, уверенно и ясно. Манера такая, что ли?

— ...Положение безнадежное. Родственникам она не нужна. Она для них обуза. Сделать ей трубку — мучить ее, мучить их, мучить себя до ее выписки из больницы, показать ей, как она всем будет в тягость, и отравить ее последние дни. Оперировать радикально лучше — потому что либо умрет и не будет ни мучиться, ни мучить, либо выживет и будет лучше ей и им. Я думаю, оперировать надо на полную катушку. Родственникам надо сказать правду.

«Отравить последние дни». Хм...

Один из старших принялся возражать. (Все в порядке — дискуссия завязалась.) Он говорил, что мы не имеем права идти на смертельную операцию, существует врачебная этика, медицинская деонтология, древние традиции медицины, новые традиции советской медицины. Говорил о том, кому можно говорить правду, а кому нельзя, за кого можно решать, а за кого нельзя. Короче, в основном говорил, как не права молодежь! — ее надо воспитывать.

Кончил тоже предложением радикальной операции.

Выступил еще один и тоже говорил об этике, в большей степени о воспитании и в меньшей степени о больной. Легче, наверное.

«Казнить нельзя помиловать».

Сергей сидел, обдумывал, готовился к своему слову.

И он тоже стал вначале думать о профессиональной этике. О том, однако, что напрасно придумали какую-то профессиональную этику, как будто у врача она отдельная, не как у любого порядочного человека, и главный принцип врача — «не вреди» — столь же принадлежит всем людям, как главный нравственный канон...

Начальник обратился к нему.

— Я бы оперировал радикально, — ответил Сергей.

Начальник:

— Мнения ученых, так сказать, разделились. В науке нет чинов и погон, каждый имеет... — И говорил еще долго о необходимости коллегиального решения судьбы каждого больного и так далее и так далее.

В конце концов, он ее оперировал, и оперировал радикально. И вот сегодня третьи сутки.

Сергей тоже ее смотрел, щупал, слушал, думал, колебался.

— Сейчас, по-моему, вы все делаете правильно. Надо сначала вывести ее из этого коллапса. Пусть льют пока. И хорошо, что вы начали и в артерию качать. И не извиняйся, что меня вызвала. Времени мне не жалко. Знаешь ли, если мы живем по образу и подобию нашего Начальника, то дело, целесообразность важнее времени. Так что не жалею моего времени — я эпигон нашего Начальника.

Сергей болтал, просто оттягивая время, — он думал. Люся нервничала.

— Ты же сама говорила — перитонит, так что же можно делать, кроме операции?

— Я побаиваюсь лезть к ней в живот: оперировал-то Сам.

— Люсенька, целая империя Буонапартова была ликвидирована из-за того, что под Ватерлоо Груши боялся коррегировать самого, хотя всем было ясно, что надо изменить что-то в плане! А?

— Я не знаю, не знаю. Прошу тебя, Сереж, оперируй ты.

— Люсенька! Людмила Аркадьевна! Твоя просьба для меня закон. Как говорит Нач: просьба начальства — приказание. А для меня приказание — твоя просьба.

Около больной теперь уже распоряжался Сергей.

— Вы, ребята, что стоите смотрите только? Принимайте участие. И вы, девочки, давайте работу студентам. Человеко-простой идет. Измеряйте давление. Передай грушу студенту — пусть он нагнетает в артерию, а ты систему пока готовь. — И дальше Люсе шепотом: — Студентов надо привлекать непосредственно к работе. Участие в деле привлекает к делу больше, чем разглагольствование или бездельное созерцание его. Возьмут на себя часть ответственности — и уже не безразличны. А? Это я тебе сообщаю свои педагогические тайны. Небольшое откровение, между прочим. А главное откровение в другом: после участия студентов в общей работе немножечко поиронизировать над своими действиями. Сделать их еще и соучастниками самооценки, да еще личной. во!

— Перестань, Сергей. Бабка-то плохая.

— А мы все делаем. Ребята! Давление какое?

— Сто на сорок.

— Вот видишь! Если уж говорить честно, я действительно ерничаю, но это от смущения. Только ты никому ни-ни. Понимаешь, ничего у меня в голове не укладывается. Не понимаю, что у бабки может быть. Непонятен мне ее живот, а? И все-таки швы, по-моему, целы. Но тогда что?

— Я тоже ничего придумать не могу. Одно мне ясно — оперировать надо.

— Это понятно, но как-то надежнее идти в живот, когда знаешь, куда и на что. Ребята, давление?

— Сто десять — пятьдесят пять.

— Давайте остороженько на стол переносить. Пойдите. Люся, ты с ней говорила об операции?

— Так... Гипотетически.

— Как же ты, милая? Пойдем поговорим. Сколько времени?

— Половина шестого.

— Не успеем до конференции. Как зовут ее?

— Зинаида Борисовна.

Подошли к постели.

— Зинаида Борисовна, придется вам еще одну небольшую операцию сделать. Собственно, и не операция даже, но делать надо.

— А что такое, доктор? Что у меня, доктор? Я не хочу, не вынесу. Что это болит у меня, доктор?

— Вот в том-то и дело, Зинаида Борисовна. У вас все хорошо, но одна ниточка соскочила и кровь идет. Это бывает. Надо перевязать. Да это-то и за операцию считать нельзя.

— А подождать нельзя?

— Что вы! Сейчас это пустяк, а если ждать — целая операция будет.

— Да меня уж и так намучили. Всю искололи. Больно мне.

— А это вы не беспокойтесь, Зинаида Борисовна. Вы уснете.

— Наркоз?!

— Нет, что вы. Мы укол только сделаем, и вы уснете, пока мы будем перевязывать. Минутное дело. И тут же проснетесь.

— Тогда ладно. Делайте. Вы лучше знаете. Вы наши спасители...

Люся подошла к сестре.

— Переносите на стол. И начинайте наркоз, пожалуйста. Сережа, откуда у нее такая активность — ведь возраст какой, и болезнь, и осложнение. Такие ведь обычно: да, нет — и все.

Два их тазика стояли рядом, они же стали напротив друг друга, склонившись, опустив вытянутые руки в тазы. Головы в шапочках обращены тоже друг к другу. Со стороны посмотреть — бодаются, а они мирно разговаривали.

Закончив мыться, с чуть приподнятыми руками двинулись в операционный зал.

Больная уже лежала на столе, руки были раскинуты в стороны и лежали привязанные на подставках, по обе стороны у каждой руки стояли сестры и студенты: с одной стороны укрепляли иглу в вене, с другой — в артерии, в ногах наготове со всеми инструментами стояла операционная сестра.

Оперировали они вчетвером. Кроме них, еще второй дежурный и студент. Накрыли больную простынями, стали по своим местам, сделан первый разрез. Сейчас поднимут занавес.

— Не тяни, ребята. Поехали. Не такая уж она и жирная.

— Так ведь рак.

— Конечно. Эй, наркоз! Если давление будет падать, скажите. Мы вас терпеть не будем, но хорошо бы давление так и осталось на ста двадцати. Дайте простыночки. Гноя нет.

— И выпота нет.

— Ну-ка заведи крючок.

— Оттянуть здесь?

— Да. — Сергей стал краток: что-то не то.

— Осторожно, а то краем крючка культю заденем. Порвать можем. — Люся вспомнила реакцию Начальника на подобные предположения и быстро мазнула по Сергею взглядом.

— Ничего, Люсенька, не бойся. За себя будем отвечать — не за других... Что же здесь... Все в порядке будет... Кишки молчат, смотри. То ли как всегда после операции, то ли что-то... Черт! Осторожненько держи, парень, если у нас так будут крючки скакать — много лишнего шить придется. Вот смотри, как их надо держать. Понял? Так и старайся... Люся, кишки молчат. Какие-то они синеватые.

— Дай я тебе здесь приподниму. Посмотрим, что с пузырем.

— И культа и пузырь — норма. Это кишки, Люсь... Опять! Милый, держи крепко! Замри. Ты ж мне мешаешь! Все время танцуешь руками... Не пульсируют сосуды и брыжейки. Посмотри-ка ты.

— Да. А тут есть.

— Сколько часов прошло, как боли начались?

— Около трех.

— Время есть. Мало прошло. Давай искать тромбик. Уберем, а?

— Сначала найти надо.

— Девонька, подготовь нам турникеты, сосудистые зажимы и атравматические иглы — сосуды шить, наверное, придется. Ребята, подойдите ближе. Я вам покажу, пока она готовит. И сам смотреть буду. Так что извините, но внимайте спине моей. Смотрите. Здесь артерии кишечные не пульсируют. Здесь вот, видите, пульсируют. Значит, не проходит кровь в бассейн верхней брыжеечной артерии. Так? Случилось внезапно. Значит, эмбол. То есть кусочек тромба, кусочек свернувшейся крови откуда-то отлетел и застрял здесь. Откуда? Раз в артерию попал, артерию закупорил — значит, или из сердца, или из аорты. Может быть? Конечно. Больная очень старая. Склероз значительный. Это и по первой операции было видно — сосуды прямо с хрустом пересекались, я помню, шеф еще на операции обратил внимание. На какой-нибудь склеротической бляшке в аорте или в сердце образовался тромб. Кусочек оторвался и попал в эту артерию. Прошло что-то около трех часов. Мы еще можем, если найдем, удалить этот сгусток, если он не прирос уже, что вряд ли — срок незначительный. Мы теоретически можем удалить тромб, зашить опять сосуд и восстановить тем самым кровообращение в этой части кишечника. Ясно? Только вот если найдем... Черт побери! Помоги, Люсенька, здесь тупфером. Понятно, ребята? Если что не ясно — более подробно после. Здесь, Люсь! А ты вытирай... Только не тогда, когда я копаюсь там. Хорошо, хорошо, ребята. Давай. Ты все приготовила, что я просил?

— Все готово.

Сестра была в напряжении — понимала, что операция достаточно сложная, а на таких она стояла в первый раз. Еще хорошо, что Сергей Павлович оперирует, он хоть орать не будет.

— Люсенька. Люся, осторожненько, здесь тупфером! Вам, ребята, все понятно, для чего я вам говорил? Так сказать, чтобы вывести пятно с брюк, надо знать, что за пятно. Цивилизация наша на каждую пакость придумала свой пятновыводитель... Сюда крючок.

— Осторожненько здесь, Сережа.

— Да вижу. Осторожно ты, матушка, под руку говори.

Люся нарочно опять сказала «осторожно». Ей очень захотелось узнать, как на это будет реагировать Сергей. Люся думала, что вот и он неплохо оперирует, хотя, может, и не так красиво, а не ругается, не кричит. А может, и прав шеф, что это спокойствие от равнодушия. Нет, Сергей все-таки хорошо оперирует.

--- Вот! Люсь! Вот! Пощупайте! Все пощупайте! Очень удобно. Кажется, легко удалить будет. Посмотрели? Точно говорю? Во. И ты, парень, пощупай. Может, в следующий раз ты такую вещь лет через

пятнадцать только встретишь. А вам, ребята, не могу дать пощупать. Он один за вас всех. А вы поверьте нам, что все так. Давай, лапонька, зажимы сосудистые... Сейчас удалять будем. Эй, реаниматоры-наркозники! Как дела? Ничего она?

— Давление держит. Давайте.

— Черт, не повезло ей как. И без того старая как мир, а тут еще эмбол, еще одна операция.

— Так ведь только у старых это и бывает.

— Ты права. Впрочем, еще и у порочных больных бывает, но и они тогда не легче старых. Ребята, порочные больные — выражение жаргонное, сиречь больной с пороком сердца. Забудьте его... Все! Внимание! Спокойно. Сейчас главное начинается...

Ему удалось быстро все сделать, и он уже весело начал зашивать рану, когда пришли из приемного отделения.

— Людмила Аркадьевна, вас в приемный вызывают. Тяжелую травму привезли.

— Иди, Люсь, иди. Мы сами зашьем и сами запишем.

Люся стала быстро размыываться, сбрасывать перчатки, халат и, конечно, думать обо всем.

«Судя по тону, травма уж не настолько тяжелая. Сейчас пойду. Неужели он и вправду выключил телефон? Врут все. Не верю. Не будет он время так жалеть. Вранье. А никто и не говорил, собственно, этого. Хорошо Сергей оперировал. А ерничал он, интересно, от чего — от беспокойства или от равнодушия? И не орет. И учит. Что ж, можно и так. У кого как получается».

Люся убежала вниз, крикнув, что если травма очень тяжелая, она второго тоже позовет туда.

— И пожалуйста. Полно студентов у нас. Справимся, а? Вы там, ребята, деятельности не прекращайте. Впрочем, кто не занят, тоже вниз валяйте. Да! Надо ввести антикоагулянты. Вы знаете, что это? Это препараты, препятствующие излишнему свертыванию крови. Сейчас надо опасаться тромба на месте сосудистой раны, на месте сосудистого шва. Ясно?

Студенты, сестры, «дежурный по больным» возьмется с бабкой, а Сергей со вторым пошли размыываться.

— Сергей Павлович, а ведь чистое чудо, что все так удалось?

— Во-первых, чудо. А во-вторых, еще ничего не удалось. Еще выжить надо. Она и от первой операции еще может загнуться, а тут еще и вторая... Столько сил еще кинем. Боюсь, что и следующая ночь, моя теперь, тоже здесь будет проведена.

— А мне кажется, что чисто будет. Выживет бабка.

— Тьфу, тьфу! Плюнь, не сглазь.

Сергею действительно пришлось остаться на следующую ночь. И Люсе тоже, хоть это уже никак не ее больная. Так сказать, из солидарности, коль скоро его втравила.

Начальник сказал «молодцы». Когда бабка уходила домой, он вписал что-то в Сергеево досье, которое вместе с карточками на всех других находилось в ящике его стола.

Наверное, отметил успех Сергея.

Это безусловно был успех.

Запаятая поставлена после «нельзя».

СПАСИТЕЛЬ

Больному был предписан полный покой, но он вдруг поднялся на локте и перегнулся через край кровати. Это опять начиналась

рвота. Хоть цепями прикуют — все равно при рвоте приподымаешься, если силы еще есть.

Рвота была с кровью. Кровь в тазике лежала «печенками», как принято сравнивать в медицине.

«Конечно, это язва,— подумал Топорков, налаживая переливание крови.— Я бы его все-таки сейчас взял на операцию».

Кровотечение началось днем. Днем он обязан вызвать Начальника. Начальство должно определить тактику. Ночью лучше. Ночью он бы решал сам и, конечно, взял бы уже больного на операцию.

А начальства сейчас много. И придут они все вместе во главе с самим Начальником.

А вот и идут.

Впереди сам Начальник, а за ним еще штук шесть подначальников.

— Что? Опять рвота?

— Опять.

— Да-а. По пятнам на простыне видно... Это несомненно кровь. А как в тазу это выглядит? Покажите.

«А чего, собственно, показывать, когда таз на виду. Смотри»,— промолчал Топорков.

— Типичная кофейная гуща. И печенки. Сильно льет. У вас язву находили раньше?

Больной покачал головой — не находили.

— А боли в животе были?

Больной утвердительно кивнул головой.

— Давно?

— Лет пять.

— Все время?

— Временами.

— С едой боли связаны?

— Минут через двадцать — тридцать после еды иногда. А иногда не поймешь от чего.

— А сейчас болит?

— Не очень.

— Какое давление сейчас у него?

— Сто на шестьдесят.

— У вас всегда такое давление?

— Не знаю.

— Вы к врачам раньше не обращались?

— Нет.

— А откуда он? Из какой поликлиники его направили? — спросил Начальник у Сергея.

— Переведен из соседней терапевтической больницы,— шепнул стоявший сзади заведующим.

Начальник стал считать пульс — наверное, думает, что сказать.

— Ну, пойдете, обсудим. А ты пока займись больным.— Это команда, и указание, и инструкция дежурному Сергею Павловичу Топоркову, который в это время укреплял иглу на руке.— Если появится тенденция к подъему давления — поднимайте его в рентген-кабинет. А мы пока обсудим.

* * *

— Ну, кто что думает по этому поводу? Что делать будем? Начиная по часовой стрелке. Вы.

— По-моему, это язва. Если по принятой вами методике...

— Не «вами», а по принятой нашей клиникой.

— Конечно. Надо бы вести больного консервативно: переливать

кровь, промыть желудок, как положено,— вывести из этого состояния, а потом обследовать и, если надо, оперировать...

— Все? А вы что скажете?

* * *

«Мы пока обсудим»... Пошли в кабинет... Обсуждать там будут... А с больным-то что сейчас делать? Впрочем, что делать? Ясно. Переливать кровь.

— В лабораторию звонили? Какой гемоглобин?

— Семьдесят два.

— Пока еще хороший. А сколько прошло времени, как его брали?

— Да уж, пожалуй, часа полтора.

— Попроси их еще раз взять. Повторить пора. Почему так медленно капает кровь? Сделай струю посильнее.

* * *

— А вы что скажете?

Было видно, что следующий сидящий по часовой стрелке подначальник с нетерпением ждет своей очереди высказаться.

— А может, это еще и не язва. В конце концов он никогда не обследовался. Мало какие у него там были болезни? Он, как говорил принимавший в приемном покое врач,пил много. Может, у него цирроз?

— Что у него — это другой вопрос. А вот что делать сейчас? — У Начальника нахмуренный лоб нарочито внимательно слушающего человека.

— Пока что кровь переливать. Вот вы в своей статье пишете, что с этими операциями спешить не надо...

— Ни с какими операциями спешить не надо. До хирургии должны быть использованы все мирные методы. Хирургия всегда от плохой жизни. Кровь, пролитие ее — это, если хотите, безнравственно, и ничего не должно лечиться ее пролитием. Качество хирурга определяется не количеством сделанных операций, а как раз наоборот — умением отказаться от импонирующей, но на самом деле преждевременной операции. Лишь в самом крайнем случае! Так вот, наступил этот крайний случай или нет? Ваше мнение?

* * *

— ...Сделай струю посильнее. Теперь уже переливанием не столько кровотечение останавливать надо, сколько возместить ушедшее. Сами понимаете. Лейте, и все тут.

Сергей отошел к окну, сел на круглую табуретку и приложился поясницей к теплой батарее. Он поглядывал на больного, на сестер, тепло шло от поясницы кверху, ему стало хорошо. Он не думал о предстоящей ночи, о дежурстве. Зафиксировав в поле своего зрения больного, стал размышлять: «Что гнетет меня? Больной? Нет. Тут надо действовать, я действую, стало быть, что-то другое. Дежурство? Неохота, но это никогда не гнетет».

Тепло распространялось, и было бы совсем хорошо, если бы не одна какая-то черная точка где-то в середине груди.

* * *

— Ваше мнение?

Следующий сидел, уставившись куда-то в угол комнаты, и не слышал обращения к нему. Возможно, он думал о выборе наилучшего

способа лечения. А может быть, о судьбах и возможностях хирургии. А может быть, и о совсем своем и только своем.

Начальник, обратившись, опустил голову и стал что-то чертить на бумаге. Поскольку он не услышал обычного рокота выступления, пришлось посмотреть. Его помощник сидел, застыв в одной позе, и вроде бы не собирался начинать говорить.

— Я ведь к вам обращался.— Нарочно, наверное, не называл его по имени, чтоб тот опять не обратил внимания, а тот услышал, понял и вскочил с места.— Во-первых, у нас в таких случаях принято сидеть, а не вскакивать. Ведь вы не первый день в клинике. Во-вторых, мы не в бирюльки играем. Мы сейчас решаем судьбу больного, судьбу живого человека, от наших решений сейчас, может быть... Уж, во всяком случае, от судьбы больного ваша-то судьба безусловно зависит. Хотя бы это вы могли усвоить?

Начальник вскочил, заложил руки в карманы, откинул полы халата и стал ходить по комнате.

— Мы решаем важнейшие вопросы жизни и смерти. В конце концов речь идет не только об одном больном, речь идет о принципе, о принципиальном подходе к подобным больным. Я пишу об этом статьи, мои статьи есть мнение нашей клиники. Каждый новый больной есть еще и еще одна проверка нашей точки зрения. Одна ласточка погоды не делает, и даже десять не делают. И сейчас идет очередная проверка. А вы в это время думаете неизвестно о чем. Если вас все это не интересует, мы можем создать вам условия и дать время для думания о чем угодно, но делать... оперировать... пожалуйста... в другом месте. Прошу вас. Мы ждем. Итак, что ж вы нам скажете?

* * *

Черная точка в середине груди продолжала точить и вызывать беспокойство. Сергей сидел и думал об этом неизвестно откуда свалившемся на него ощущении гнета.

И вдруг вспомнил. Грудь освободилась.

Сегодня утром в больнице он получил пакет. В нем была большая фотография абсолютно перекошенного лица.

«Дорогому Сергею Павловичу на добрую память о прекрасной операции от навсегда больного Киреева».

И так перед каждым Новым годом. Прошло уже пять лет с того дня, когда он удалил Кирееву злокачественную опухоль около уха и повредил лицевой нерв. Киреев остался жив и рецидива рака не было, но навечно перекосившееся лицо стало ежегодным рождественским подарком Сергею.

Он посмотрел на больного. Сестра мерила давление.

* * *

— Что ж вы нам скажете?

— Мне кажется...

— Нет, не кажется, а если кажется — перекреститесь. Что вы думаете?

— Я думаю, что нельзя исключить и рак.

— Я уже говорил, что вопрос о причине кровотечения — второй вопрос. Приходится вторую обедню служить для глухого. Сейчас надо решать, что делать. Я вынужден повторять.

— Но ведь от этого зависит тактика.

— Что за нелепая перепалка? Свои соображения скажете потом. Что делать, говорите. Я ведь ясно говорю.

— Больного надо оперировать, потому что там может оказаться и рак.

— Ну вот. Вот к чему приводит увлечение собственными мыслями при неумении слушать других. Учитесь слушать. Почему рак?! Все говорят о консервативной тактике, вспоминают статью, отражающую нашу общую точку зрения на это. А вы вдруг — оперировать! О чем вы сейчас думали?

— Мне сейчас сына надо к врачу отвести.

— Советский работник должен сначала думать о деле, а потом уже о себе. Здесь триста больных, а дома один. «Оперировать» — вдруг!.. Оперировать, думаете? Хм...

* * *

Сестра мерила давление. Но вдруг больной опять приподнялся на локте и выдал каскад кровавой рвоты.

Сестра все же померила давление.

— Семьдесят на сорок.

— А, черт! — вдруг взорвался Сергей Павлович. — Подавайте в операционную. Что еще ждать?! Так и смерти дождешься. Быстрее в операционную. Плевал я! А там что будет, то и будет. Я дежурю — я и отвечаю. Подавайте вместе с капельницей. — И к больному: — Вы согласны? Надо оперироваться.

— Делайте, что хотите. — И повторил: — Делайте, что хотите.

* * *

— Оперировать, думаете? — Начальник закурил.

В дверь постучали.

— Что за невоспитанность такая! Ведь все знают, что мы заняты! Откройте вы, скажите, чтобы вели себя прилично.

Один из помощников открыл дверь и стал что-то говорить.

— Что-то срочное, говорят.

— Срочное! Пусть обращаются к дежурному. Мы заняты. Закройте двери! Тут принимаю я, а не вы. А я занят. Распушенность полная. Говорил его очередной помощник:

— Я думаю...

И снова пошла речь — самостоятельная, ничего не вобравшая из предыдущих речей, речь, угадывающая нужное направление. Несмотря на силу угадывания и почти одинаковое мнение, они (речи-мнения) не усиливались и не поддерживались друг другом. Они угадывались, а не вытекали друг из друга. Авторы этих мнений не слушали друг друга. По существу, мнения эти взаимопогашались.

Мог ли Начальник делать общий вывод из этих «мнений»? Но все знали — вывод будет и суммирование их высказываний тоже будет.

А пока плавно лилось очередное «мнение»...

* * *

— «Делаем, что хотим» — так надо понимать. Не стали разговаривать? — Сергей уже мылся.

— Я только начала, а дверь захлопнули, есть дежурный, говорят. — У сестры был немного испуганный вид.

* * *

Сергей стоял в позе царевича Алексея с картины Ге. Начальник в отличие от Петра ходил позади своего стола, а не сидел. Начальник не исследовал логически причины преступления, он эмоционально бушевал, как всегда в таких случаях перескакивая с «ты» на «вы».

— Как вы смели, не дожидаясь решения, предпринимать что-либо крайнее, тем более операцию?!

— Вновь началось кровотечение. Давление упало.

— Когда надо, вы добиваетесь меня. А тут вдруг непонятная робость. Это самоуправство, у меня в клинике его никогда не будет... и быть не должно. Эти экзерсисы ты будешь позволять и допускать, когда перейдешь на самостоятельную работу. Скажите! Он принял самостоятельное решение. Где угодно! Но не у меня. Мы все решаем коллегиально. Мы решаем все вместе, большинством решаем. Мы здесь обсуждаем без чинов и положений — речь идет о жизни. У меня таких самостоятельных решений никто принимать не будет! Ясно?

— Но ведь больной погибал.

— Ах! Он еще и спаситель! Запомните — спасителем здесь могу быть только я. Вы, я даже могу допустить, спасли сейчас больного. Может быть, и так. Что ж, больной, по-видимому, останется жив. Резекция желудка — дело несложное. Победа твоя. Но победителей судят. Мы создавали методику, мы обсуждали правильность ее, мы создаем порядок для всех, а не для одиночек, для избранных. А вы, видите ли, смеете нарушать все это. Мало разве умирало больных, когда их оперировали в таком состоянии? Опыт тогда ничему не учит, когда выводы делают недоучки. Каким и вы себя сейчас проявили и продолжаете проявлять. Ты позволил себе самоуправство, нарушил весь с таким трудом выработанный в больнице порядок. Мы не вправе ломать порядок, когда от нас зависят десятки, сотни жизней. Мы не имеем права считать на единицы. Спас одного — погибло десять. Если неудача — вы работаете у меня лишь до его смерти. Можете идти. И подумайте над своими действиями. Не теряйте своего достоинства, своего «я» в этих анархо-партизанских действиях.

Сергей пошел. Впереди еще дежурство.

* * *

Обычно Начальник кричал на своих горлом, без души, так сказать. Но сегодня столь явно нарушили его установления и столь явно пренебрегли его мнением, что он действительно разволновался. Он продолжал говорить об этом, выходя из больницы со своими помощниками.

— Добр больно чужими-то руками. Вот если выздоровеет больной, тогда выгоню, чтоб неповадно было другим нарушать. А если умрет — тогда жалеть будем. А вообще, что-то все добрые очень стали за моей спиной. Один говорит — простить. Другой пристаёт — пожалеть. А порядок?! Вы забываете, что ваше благополучие на моих успехах держится. На успехах, значит, всех отделений клиники, а не на единичных победах. Сегодня он спас, завтра ты спасешь, а через месяц подсчитаем — и окажется, что общая смертность увеличилась. Если этот спасенный выживет, мы все равно устроим разбор этого случая и...

ЕДУТ

— Это у нас двадцать первый эксперимент. Картина довольно ясная. Надо писать статью. Сроку даю неделю. В следующую среду чтоб статья лежала у меня на столе. Авторы впишу я сам — и кого именно и в каком порядке.

Настроение у Начальника повышалось и, как ему казалось, повышается — соответственно — у всех вокруг.

— И чтоб всегда был такой порядок с авторами. Не думайте, что вы работаете только на себя. Все работают на клинику. Некоторые занимаются поисковыми темами. А статьи быть должны — план. Тут все научные сотрудники. Вот ты, например, сделал статью, а он нет, и в ближайшие два года у него не будет ничего — тема такая. Его могут выгнать как бесперспективного — таков закон. Значит, мы впи-

сываем его в соавторы — никто и не придерется. Так надо работать. Не бойтесь, что один с сошкой, а семеро с ложкой. Один за всех и все за одного.

Мы, как всегда, молчим, слушаем. Все согласны.

Телефонный звонок.

Н а ч а л ь н и к: Я слушаю вас.

Как будто была команда «вольно» — все сели свободнее, заговорили.

Н а ч а л ь н и к: Когда, когда? По чьему решению?

Говорили все тихо.

— Покажи зажигалочку. Откуда?

— Японская. Дай сигаретку.

— Сегодня ты оперируешь?

— Начну попозже, минут через сорок.

Н а ч а л ь н и к: Хорошо. И когда ждать? (Прикрыв трубку рукой.) Можно помолчать, когда я разговариваю? Ну, хорошо! Спасибо вам за сообщение. Мы всегда готовы. Ждем, ждем. Приходите с ними. Ну, некогда! А у кого есть время? Мы с вами тут посидим, кофейку попьем. (Смеется.) А чего бояться? Ну, будьте здоровы, будьте. Спасибо... Ну вот! Допрыгались?! Комиссия.

— Какая комиссия? Недавно была.

— Мало ли что была! Не знаешь, как это бывает? Неделю назад одна инстанция, сегодня другая, а через неделю третья. Не люблю я эти комиссии, когда по всей работе: по учебной, по лечебной и по научной. А тут еще, на беду, как раз и жалоба привалила. Ребятки, за работу, всем подготовиться. Проверить истории болезни. Жалобу и все документы по ней ко мне на стол. Придете с ними вы и вы. Надо по этой жалобе особенно все подготовить. Тут нам всем придется попотеть. И моя запись есть. Вот не вовремя, черт побери.

С е р г е й: Да что особенного? Там, в конце концов, мы ни в чем не виноваты.

— Ты ребенок, что ли? Не знаешь — захотят, так найдут вину. А если найдут вину — лучше извиниться, а не оправдываться. Помните! Ладно. Вы идите, а вы и вы останьтесь. По местам, ребята. Впрочем, если уж очень припрут, можно и оправдываться. Работать. А ты начинай оперировать.

Все ушли. Остались «вы и вы».

— А у нас, в общем-то, все благополучно. Все хорошо. Ничего никто не скажет, капать не будут.

Н а ч а л ь н и к: Вот сейчас-то и проявятся порядочные люди. Порядочный человек именно для таких комиссий и нужен. А вот люди, делающие карьеру, опасны. Комиссия для них самый лучший трамплин кого-нибудь посадить, на чье-нибудь место сесть.

— Да никто не будет.

— Не будет! Это мы еще посмотрим. Тут вот сейчас и скажутся ваши моральные ценности, для кого правда хороша, а счастье лучше. Сколько я для вас всех сделал. Все вы мне обязаны по гроб, а могу я надеяться на вас? Один вдруг «спасителем» неожиданным оказался! Это что ж? — это непосредственно против меня акт, против моей хирургической тактики и научных воззрений.

— Что вы! Что вы! Он тогда вообще, кроме как о больном, ни о чем не думал. Думал бы — не посмел.

— Ты мне его не защищай. Я его и без тебя знаю. И он-то человек, пожалуй, порядочный, он клепать ни на кого не будет. Потому только я и оставляю его после этой истории. Эх, черт побери, никогда не знаешь, для чего и кому эта комиссия нужна. Ну, ладно, ребята,

всем готовиться. Со всеми сомнениями ко мне. Сергей-то не подведет. Я для него много хорошего сделал Он помнит. Он человек порядочный. Нам порядочные люди нужны.

В ЦЕНТРЕ СВОЕГО МИРА

«Что, Сергей Павлович? Допрыгался, доктор Топорков! Теперь тебе все отойдет. Хорошо хоть больной жив. Жив! Жив? Сейчас жив». Я сидел на стуле у сестринского поста и вспоминал.

«Как же это все получилось? Я назначил этому больному переливание крови. Сестра при мне определила его группу крови. Я проверил. Потом принесла флакон с кровью. Потом она наладила капельницу, ввела в вену иглу, присоединила к ней систему из резиновых трубок, соединенных со стеклянной ампулой, в которой было немного физиологического раствора. Раствор капал в вену — мы определяли группу крови во флаконе. Мы все делали, чтобы не ошибиться. Мы все делали по инструкции. Только ведь колоть должен был я, а колола сестра. Но мы сумели обмануть самих себя. Сестра колола вену и вливала физраствор, а флакон с кровью мы просто опрокинули вверх дном, воткнули в пробку иголки и присоединили к системе. Но формально колол я — так полагается. Я расписался в истории болезни. Я взвалил этот крест на себя, и я понес его.

Кровь капала. Сестра пошла обслуживать других больных, то есть пошла кого-то лечить, может, колоть, может, порошок дать, может, банки поставить, может, перевернуть больного — в общем, все, что входит в понятие «медицинское обслуживание». Я не знаю сейчас, что она тогда делала с одним из своих двадцати пяти обслуживаемых.

Я сидел у ее столика и записывал истории болезни. Я стараюсь делать это в коридоре, а не в ординаторской, где все время отвлекают, где все разговаривают, делятся своими заботами, огорчениями, сомнениями и молчат, когда радость — прячут от «сглазу». А то еще прибегут гонцы от Начальника и под белы ручки пред светлы очи — тогда уж ничего не успеешь записать. Я уже давно не ходил к нему в кабинет — наверняка обижается. Он не любит, когда к нему не ходят. Это называется проявлять самостоятельность и инициативу. Это значит: «Больно самостоятельные стали! А не пора ли вам искать самостоятельную работу?!»

Но долго он не выдерживал, и если гора не шла к Магомету, он посылал вестовых и гору приводили. И тогда он врзал. Потому что вызвать — прилично только для указания, а указание не может быть без претензии. А какая претензия — найти причину ему раз плюнуть. Он как хороший футболист — из любого положения в дальний от вратаря угол. Уж проще было самому пойти постоять на ковре. А я не хотел, потому и прятался за историями болезни у сестринского поста. Когда же я и попадался ему на глаза — смотрел волком. Неужели из-за этого «спасения»?! А ведь больной-то выздоравливает. И комиссия уже прошла. Все благополучно.

Я писал истории болезни, а вернее, думал обо всем этом, так сказать, сидел и склочничал про себя, как вдруг в палате, где переливалась кровь, раздался странный шум. Наверно, такой же странный, как у Чехова в «Вишневом саде»: «отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий и печальный». А звук этот не отдаленный, не замирающий, не печальный, но «точно с неба», и резкий, быстрый, страшный. Еще с юности, когда я читал «Вишневый сад», у меня сохранилось ощущение страха от этого звука, который я никак не мог вообразить, представить себе. И вдруг — вот он, этот звук, и следом крик больного: «Ой, воздух попал! Ой, мне нехорошо!» Я вбе-

жал в палату и увидел, что с этим шумом, пришедшим из моей юности, отскочило доньшко флакона с кровью, и так ровненько отскочило, будто кто ножом отрезал. Больной испугался этого шума, потому и закричал. Я увидел, что нет оснований для волнений, воздух не может попасть в вену, воздух над кровью, вне системы. Я стал уговаривать больного не волноваться, так как ничего плохого быть не может от того, что доньшко над кровью отскочило, над, вне системы. А больной, который много раз до этого при переливаниях у своих соседей должен был слышать вопрос: «Поясница не болит?» — стал кричать: «Нет, воздух попал — поясница болит». А поясница болит не при воздухе попавшем, а при неправильном переливании, при переливании не той группы крови, и все-таки, понимая, что больной просто напуган, я решил вместе с сестрой перепроверить группу крови. Просто так, для успокоения больного.

Что это за знак был — отлетевшее вдруг доньшко? И кому?

Да-а, группа крови оказалась не та. Когда, где мы ошиблись? Мы так старались, так старались все по инструкции сделать — и все-таки ошиблись. Конечно, по инструкции я должен был сам держаться за иглу, втыкая ее в вену. Но разве мы всегда соблюдаем инструкции! Если мы будем их соблюдать всегда, то быстро сгорим в собственном ничтожестве, в скрупулезности исполнения, в полном отсутствии творчества. Или мы с душой слишком легкой и легкой мыслью делали это?

Если бы не отскочившее с шумом доньшко, было бы перелито слишком много крови и нам бы не удалось спасти больного. Кому, какой знак? Спасти больного? Господи, да что я несу?

У больного запущенный рак, и все равно он обречен на смерть в ближайшие месяцы. Спасены были мы с сестрой от внутренних терзаний и терзаний судебных. А административных?..

Об этом я думал, сидя у сестринского столика.

Начальник сейчас на меня обрушится, сейчас он докажет коллективу, им возглавляемому, к чему приводит отступление от принятых в клинике методик.

На следующее утро стало уже окончательно ясно, что мое должностное преступление на здоровье больного не отразилось никак. Больной здоров... Впрочем, здоров?!

Неправильное переливание было вовремя оборвано звуком отскочившего доньшка и судьба моя как преступника зависит не от объективных событий, а от субъекта, который на данный момент является начальником провинившегося.

Как он быстро узнал все! Утром перед пятиминуткой он подошел ко мне в коридоре.

— Я вас всех, мои родные, предупреждал, что в двух случаях я не смогу вас спасти: когда криминальный аборт и когда неправильное переливание крови, — не смогу и не захочу, любезнейший Топорков.

Я почему-то вступил в дискуссию.

— Но объективно с ним ничего не произошло. Вовремя прекратили переливание. Его спасли от возможных осложнений.

— Вовремя!.. Объективно!.. Спасли! Спаситель! Если, милый мой, мы будем объективными — так зачем жить тогда?

— Когда же вам успели рассказать?

— Информация — основа всякой власти! Ты забываешь, вернее не знаешь, каким должен быть начальник, организатор. Ты не работаешь, а в гордыне неизмеримой норовишь лишь спасать. Спаситель! Да, я уже все знаю, потому что как начальник всегда нахожусь в центре своего мира, как все мы при движении находимся в центре обозримой местности. Наш мир — обозримая местность, мы — центр; при движе-

нии перемещаемся в тех же соотношениях друг к другу. Наш мир и мы в центре. Понял, друг мой? А ты не движешься. Ты застыл. Спаситель!

Он не стал со мной разговаривать, а во время пятиминутки, ни слова не говоря обо мне, выдал длинную речь по поводу ошибок при переливаниях крови, сказал, что к инструкции по переливанию крови надо относиться как к катехизису, нельзя допускать никакой отсечки. «Как написано — так и делай, не думай. Даже если ты случайно оказался рядом и помог безруким попасть в вену, а они неправильно перелили — ты преступник все равно и наказание твое справедливо. Как это и было со мной. В самом начале жизни».

Он говорил очень долго, громко и бурно. Я не понял, откуда такая горячность. Если это связано с резекцией, почему хоть боком меня не помянул? Ведь все обошлось, ведь преступление не состоялось. И что было с ним? Когда? Откуда такая горячность?! Но он был в центре своего мира, а я был в другом центре, моего мира, я не видел всего, что видел он, а он не был в моем центре.

А теперь, если по правде, группу крови я не определял. Мы начинали определять, а меня срочно вызвали в экстренную операционную. Там тоже переливали кровь и никак не могли попасть в вену. Я был ближе всех. Пока я возился с веной, сестра в моей палате начала переливать. Ни она, ни я не имели права — она переливать без меня, я уходить от нее помогать, как Нач говорит, безруким. Может быть, он и это знает, что я помогал им в операционной, поэтому и говорил о безруких?

Чтоб понять его, надо в его центр проникнуть хотя бы мысленно. Но ведь это ни ему, ни мне — никому не под силу. Вот и стал я врать сам себе вначале.

А он?.. Он, наверное, знал, что меня вызвали...

ПРОСИТЕЛЬ

— Войдите.

Начальник приоткрыл дверь, просунул сначала голову, увидел в комнате одну секретаршу, прошел дальше, улыбнувшись, подошел к столу.

— Здравствуй, деточка.

— О! Здравствуйте. Что это вы так долго не приходили?

— Да дел для этого не было никаких. Разве что тебя повидать.

— А этого мало?

— Конечно, это самое главное основание, но ведь неудобно. Ведь будут говорить, что таскаюсь сюда да навязываюсь.

— Это уж точно, говорить будут. Хотя кто про вас скажет? Разве что ваши же помощники.

— Мои? Мои-то как раз никогда. Скажи, а Сам на месте?

— Здесь. Но собирался уходить. Сейчас узнаю. Может, успеет.

Секретарша пошла в кабинет и что-то не выходит и не выходит. Начальник ходил около дверей и размышлял:

«Секретарши и должны быть красивыми, сытыми, пользующимися успехом, и чтоб не было у них неприятностей, чтоб жизнь у них была легкой, чтоб не хотелось им свою неудовлетворенность на посетителях злобой вымещать. И хорошо бы, инспекторы горздрава тоже были бы все довольными и красивыми, чтоб жалобы они разбирали без злобности, без заведомого недоброжелательства... Да и со следователем (или как их называют, инспекторов этих?) Сергею не повезло — злой, маленький, а кто-то ведь сказал, что надо бояться низкорослых мужчин. Хорошая жизнь важна, нужна для добра — все проповедники добра не из голодных были, начиная от Будды и кончая Толстым...

Что-то долго как не выходит. Небось подписывает что-нибудь, подписывает. Да-а, проситель! Должен из-за Топоркова ждать. Ох, люди, люди. А я? Лучше, что ли? Хорошо бы, устроил его куда-нибудь получше. Ну и характер же у него. И что лезет, что ему не сидится? А теперь всем приходится доказывать, что он не верблюд. Чтобы взяли его куда-нибудь. Чтобы работу хорошую нашли. И будет там работать мой ученик, представитель моей школы. И я, так сказать, пушу метастаз».

— Заходи, заходи.

— Здравствуйте, Дмитрий Михайлович.

— Здорово, парень, здорово. Что редко приходишь? Возомнил?

Гордыня?

— Да что вы! Какая гордыня, Дмитрий Михайлович? Дела, да и надоедать неудобно.

— Значит, понимать надо, что корысти ради пришел.

— Не так чтобы корысти ради, но с просьбой.

Дмитрий Михайлович был в прекрасном настроении. Интересно, отчего? Может, операцию хорошую сделал. А может, по линии административной удача. А может, порадовали дети.

— Чего ж взалкал ты? Не мнись, говори прямо, юноша, деду. Время нам с тобой отведенное — пять минут.

— Понимаете, Дмитрий Михайлович, у меня с одним доктором плохо. И доктор хороший и работник хороший, но не сложилось у нас. Передо мной он сильно провинился. Не знаю уж, как и сказать.

— А ты говори прямо, не бойся. Ха. Вы ведь, молодежь, в церковно-приходских школах не учились, а то бы знали, что Иосиф сказал своим напаскудившим братьям: «Не бойтесь меня, ибо я боюсь бога». Так что говори, не бойся.

— К сожалению, Дмитрий Михайлович, бог не помогает. Он чаще наказывает. Да и наказывает часто не за дело, и заслуги часто остаются неотмеченными. И к сожалению, часто он обрушивается и на праведных.

— Ну, это как сказать... Во-первых, не нам с тобой судить, за что казнить, а за что награждать. А во-вторых, юноша, наказание праведных — это просто пережиток первозданного хаоса. И вообще, не путай бога с классным наставником. Ну так что случилось? Не тяни.

— Понимаете, парень у меня, Дмитрий Михайлович, есть, хирург, прекрасный человек...

— Что он сделал? Кто он и откуда — неинтересно.

— Да ничего особенного. Работает не по моим методикам, а тут и вовсе неправильно кровь перелил, не ту группу.

— И что?! Умер?

— Нет, вовремя заметил.

— Гнать его все равно, и все тут.

— Так-то оно так, Дмитрий Михайлович, но, вообще, доктор хороший. Ведь с кем не бывает?

— Это верно. И что ты хочешь?

— Устройте его куда-нибудь заведующим отделением. И он будет на работе, и я от него избавлюсь. Ведь, с одной стороны, разбирательство в горздраве, когда он у меня работает, — какой удар по клинике!!

— Это уж точно, друг мой.

— А с другой стороны, просто выгнать мне как-то и перед коллективом неловко. Хотя пытаюсь, показываю силу. Если его можно где-нибудь хорошо пристроить — коллектив мой будет работать и глядеть на меня совсем по-другому. Я к вам по праву дружбы с детства, как к деду, Дмитрий Михайлович.

— Ну и хитер же ты, бестия. А правильно!

— Очень прошу. Это столько решит для меня проблем. Просто униженно прошу.

— Ничего хирург-то?

— Хороший, хороший хирург. Но мне-то зачем? У меня хороших хирургов много.

— А ты сам обращался куда-нибудь? Ходил сам-то?

— Куда ж...

— Самому бы надо сначала пойти. А то я вот пойду, а я кто?

— А что я могу, Дмитрий Михайлович? Да и кто может, кроме вас? Да и кому расскажешь все? Кто поймет? Таких ведь и нет больше. Да больше ни у кого и сил таких нет. Ни формальных, ни душевных, ни возможностей. Вы — единственный свет в окне, Дмитрий Михайлович.

— Напиши мне его фамилию, основные обстоятельства дела, кто он. Позвоню сегодня. Пойдем, проводишь меня.— Они вышли в приемную.— Вот по этому телефону соедини меня, дочка, сразу как вернусь. А вы кого ждете?

— Дмитрий Михайлович,— секретарша оказалась бойчее просителей, те не успели даже рта открыть,— это больные. Они подождут, пока вы придете. Я договорилась.

— Ну и прекрасно. Буду через час. Пойдем. Слушай, а как дома? Мать здорова?

— Мама...

— Я не видел ее с самого твоего детства.

— Она...

— Старая уже совсем, конечно?

— Уже...

— Да. Да. Годы, годы. Ничего не поделаешь. И тебе, наверное, под пятьдесят уже?

— Мне...

— Помню, помню. Приходил еще к отцу твоему, туда, к вам. Ты тогда совсем еще почти мальчишкой был. Борьба твоя с родителями была ох как смешна.

— Какая борьба?

— Ну уж какая там без меня была, не знаю, а при мне... Смешно, смешно. «Мам, дай, пожалуйста, кофе».— «Выпей лучше сок, сынок».— «Но мне кофе хочется».— «Но сок полезнее, сынок». С ума можно было сойти. Давай зайдем, пообедаем вместе. За один раз столько полезного для жизни. Тебе говорили, что для пользы, а что — для чистого удовольствия. Всею своею. И правильно тебе говорили. А ты: «Что полезно без удовольствия, то не полезно». Ну, я насмеялся тогда! Смешно, смешно было. А сейчас я от тебя как-то во время одной комиссии услышал: «Кроме пользы, есть радости, склонности, удовольствия». Я б, конечно, и не обратил внимания, но почему-то очень хорошо твою детскую борьбу помнил. Сразу зафиксировал в голове такое заявленьице.

— Конечно, мы ж должны помнить и не отказываться от непользозного, но радостного, от удовольствий и склонностей...

— Ну, ну. Давай, давай, отрок. Ты тогда другое имел в виду. Ты для меня так и остался отроком. Не обижайся. Если бы не воспоминания, я б не имел возможности заметить, что замечания все ж идут детям впрок. Я бы тебя с сегодняшней просьбой знаешь как шуганул, если бы не воспоминания. Да!..

* * *

И все-таки Начальник не дождался помощи, не дождался места. Темпераментен он был, нетерпелив, суетлив. А тут и случай подвернулся... И вся стратагема рухнула.

«Я ПРИЧИНУ УВАЖИТЕЛЬНОЙ НЕ СЧИТАЮ»

— Ну что ж, можно начинать.
— Там ждут вас. Около кабинета двое.
— А кто такие? Пойдите узнайте.
— Я спросил: больные. Один — лет сорок, второй — дед.
— Я им что, назначил на сегодня?
— Нет, они по направлению.
— Тогда пусть ждут. Раз приходят сами, неназначенные — должны ждать. А больные тем более. Врачи, а тем более профессора, люди занятые. Только уважения прибавится.
— Там один староват больно.

— Ну и что ж! Их жалко? А меня? Мы же не играем здесь, не пьянкой занимаемся. Они ж прекрасно видели, что вошло с десятков людей в белых халатах — значит, заняты. Когда вы научитесь работать? Ну, ладно. Начали. Все здесь? Я хочу...

Все сидели и слушали, нет, внимали его речи. Он излагал и происшедшее событие, и свое отношение к нему, и возможные последствия, и оценивал уровень зависимости здоровья больных от случившегося. Он вычислял могущую быть реакцию начальства более высокого и меры, которые ему придется применить к сотрудникам, могущим и захотящим найти оправдание проступку. Он пытался предусмотреть все возможные оправдания и намечал санкции, которые необходимо будет применить к самому преступнику — коллеге Топоркову. В общем, в этом выступлении было и изложение ситуации, и необходимое решение, или, можно сказать, завязка, кульминация и развязка, еще просто не утвержденные жизнью.

Все сидели и пытались найти хоть какой-нибудь момент в его речи, позволивший бы выступить в защиту Сергея. Но речь была жесткая, умная, с правильно поставленными акцентами — очень трудно было возражать. Начальник был опытным оратором, и сила его была в беспрестанной и истинной заботе о деле. В ответ ему могли противопоставить лишь псевдогуманистические, как говорил он, всхлипы о жалости к человеку. Это было настолько беспомощно, что никто и рта не открывал.

— А может быть,ждемся, когда Топорков приедет? Мы ж еще не говорили с ним.

— Вот именно это прекраснодушие, на которое он, кстати, и рассчитывает, я буду железно пресекать. Что вы хотите, Людмила Аркадьевна, от него услышать? Он ведь позвонил перед отъездом. Правда, не мне, когда, кстати, ему нужно было, он меня находил. И по телефону и в оставленной мне записке он все объяснил. Да и записка, скажу вам, написана с пренебрежением, бестактно. Еще в детстве меня учили: «уважаемый» пишут более низкому по рангу, «многочуважаемый» — равному, «глубокоуважаемый» — более высокому или уже старому, а уж «дорогой» можно позволить лишь близкому человеку и уж никак не начальнику. Но этот сверчок не знает своего шестка. Для него законов такта не существует, нет культуры служебных отношений. Это, впрочем, не важно, это просто характеризует человека. Так вот, он объяснил. Даже если это и правда, в чем я глубоко сомневаюсь, то уж эта-то причина ни в коем случае не может служить оправданием. И эта его версия, на которой он теперь вынужден будет настаивать, ибо дал письменный документ и теперь это не вырubiшь топором, не является оправдательной. Лично я, конечно, мог бы разрешить ему уехать, но мог и отказать окончательно. Поэтому он меня и не застал, не мог, так сказать, найти.

— Но вас же не было. Вы уехали в командировку.

— Конечно, он и время выбрал специально, когда меня нет. А вы не старайтесь его оправдать, Людмила Аркадьевна. Всякая ваша хотя бы малейшая попытка его оправдать льет воду на мельницу беспорядка, против которого мы боремся и одним из источников которого он является. А вы своими прекраснодушными, ложнообъективистскими вопросами можете невольно стать вторым источником губящего нас беспорядка. А наш беспорядок нечего вам и объяснять — это плохо сделанные операции, неухоженные больные и, как итог, неправомерные смерти людей. Вот что это! Вы человек еще молодой, работаете еще сравнительно недавно, а уже поддаетесь той же волне неуважения к своему делу, нашему делу, которая идет и от Топоркова. В конце концов, вы у меня получаете зарплату для улучшения общего порядка, а не для защиты нерадивых. Нам нужен порядок, а для этого нужна сильная рука. — Начальник улыбнулся, пожалуй, даже извиняюще улыбнулся, но поняла это только Люся, подмигнув, выпустил дым и изо рта и из носа, снял очки, стал их протирать, все так же улыбаясь, и, подмигнув глазом, уже не защищенным стеклом, продолжил: — В конце концов, помните, кто вам деньги платит и для какой задачи я поставлен над вами начальником. Ну, это шутка, а мы должны сейчас решить вопрос о Топоркове. У вас еще есть какие-нибудь сомнения, возражения?

— Да нет, только ведь жалко, работник хороший. Да и сила-то власти в силе слова, а не карающей руки. Конечно, есть у него и некоторые отрицательные качества, но...

Люся сказала и испугалась, что позволила себе больше, чем обычный любой из его сотрудников, испугалась, что слушающие поймут степень их внеслужебных отношений. Но он не дал им увидеть их личные, домашние отношения. Он был на высоте, он ответил, как ответил бы и всем, — перебил и ответил:

— Слово должно быть подкреплено делом, рукой. Слово и дело! Что значит хороший работник? Он может быть тысячекратно хорошим работником... Но если порядок будет сломан... Все! Никакой хороший работник не поможет. В конце концов, не он один хороший работник. А то получается, что его иногда хвалят, его одного, а не вас, вас, защищающую. А хвалить должны весь коллектив, а не одного. Экая блистательная единица! Причем и это выдуманно. Чем он как работник хорош? Статей много написал? Вы не думайте, что мне нужна ваша наука. Для науки, для идей меня и одного хватит. А вы должны разрабатывать идеи, добывать материал и писать статьи. Он много делал? А что это за разговоры о его «спасительстве» в кавычках? А ну-ка, вспомните, сколько было шума, когда он сделал операцию по поводу кровотечения из язвы желудка. Да, больной этот, единственный, единственный больной, остался жив, но уже через неделю, и уже другой, на дежурстве захотел стать спасителем и удалил желчный пузырь, тоже нарушив установку клиники и тоже, конечно, придумав жизненные показания для срочной ночной операции. Уверен, что можно было ждать до утра. Оправдание — «он думал»! Видите ли, думал! Не думать надо, а знать. Принято было: оперировать холецистит только утром — ночью нельзя. А тут вдруг ночью появились экстренные показания. Конечно, это может быть иногда, но я не верю ни им, ни в мистический закон парности случаев. А следствия нарастают. Бабка за дедку, дедка за репку, а за ними еще и Жучка. Уже вы, да, вы, вы, мой первый помощник, мой доцент, нечего смотреть в сторону, вы утром вели конференцию и не обрушились с полной силой на нового спасителя. А на утренней конференции сидят жучки, студенты. А студентам мы прежде всего должны дать точные знания, рецептурные, инструктивные знания, а не приучать их беспочвенно думствовать и

витийствовать. И вот вам цепочка только от одного его действия. Да, тогда надо было его выгнать, а мы и сейчас еще толчем воду в ступе, отнимая у всех дорогое для нас время.

Слушали его внимательно: и по привычке и по обязанности, всем это было и привычно и скучно. Но речь эта могла пойти и во благо Сергею — наговорившись, Начальник мог смягчиться и смириться. Слушали его поэтому и с надеждой тоже.

Начальник закрутился:

— Топорков, живя без ясной цели, без стержня, дошел до такой патологической ситуации, как история с переливанием, о чем лучше и не говорить. Это мы ему не простим. Мы ему все равно поможем, может, не доведем дело до разбирательства, может, сумеем уменьшить наказание. Но когда дело дойдет до горздрава, этот закавыченный спаситель уже не должен у нас работать. Иначе это может отразиться и на мне и на всех вас как следствие. Он нам мешает. Надо думать о деле, о жизни в мире сем, а не на небе. Короче говоря, что мы решим? Вопрос, по-моему, предельно ясен. Возражений ни у кого нет? Я думаю, досконально все обсудили и со всех сторон...

* * *

— Но как уволить? Ни акции Топоркова по спасению, ни тем более злосчастное переливание не должны нигде фигурировать. За прогул — это выговор. Можно ликвидировать плановую научную продукцию. Вычеркнуть его из соавторов последней статьи...

— Нельзя.

— Как это нельзя? Я что, не могу распоряжаться своим материалом, материалом моей клиники? Я так не считаю!

— Да нет. Он не соавтор. Он автор, а остальные лишь принимают участие.

— Это тоже не проблема. Я не визирую статью в печать — и все. Я так считаю — и все. Тем лучше — из-за него страдают и другие. Перед охотой собак не кормят — они злее будут. Теперь дальше. Ежедневно проверять все записи его в историях болезни. Считаю, что в первые же два дня можно найти какую-нибудь ошибку в записях. И скажите тогда, что мы не считаем его достаточно квалифицированным специалистом и тэз и тэпз. В общем, это приблизительный план. Цель ясна. Как работать, ясно. Я причину уважительной не считаю.

ТРЕТИЙ УДАР

— Что сделано по операции «Топорков»?

— Еще ничего. Только три дня прошло.

— Три дня! Так выполняется мое задание?! Три дня государство дает человеку на свадьбу. Три дня! Этого достаточно, чтобы человека сделать, будущего члена общества. Три дня! А вы еще и не копнули под камень. Он до сих пор лежачий. Где ваше рвение?! Я...

— Но по закону...

— Закон! Закона здесь нет — есть распоряжения начальника! Пора понять, что в медицине все относительно, пока она наука не точная, пока без законов. Не закон, а непонятный еще нам рак диктует условия существования...

Начальник, как всегда, завелся. Он вспоминал случаи, он обобщал, искал красивые образы и сравнения, прибегал к помощи классиков и к помощи Библии, он говорил про все, говорил справа и слева, говорил прогрессивно и реакционно, каждое слово порождало новую линию идей; речь его напоминала разветвления дерева, так же вет-

вится бронхиальное дерево, «дерево жизни», — одна ветвь отходила от другой, а другая давала третью, и каждая ветвь была новой мыслью, новым образом, новым суждением, воспоминанием, объяснением и поучением. Поразительно, что он никогда не забывал, с чего начал, и вновь возвращался к основной ветви, а по ней мысль стекала к еще более основной ветви и дальше к основному стволу. Дерево его речи сначала растекалось по ветвям, но потом как бы стекало к корням. Дерево и антидерево. Казалось, что все связано, разумно и логично. По ходу говорения он самозаводился, как часы-автоматы заводятся от болтания рук; он начинал спокойно, но потом распалялся, а потом вновь успокаивался, вновь переходил к уравниванию и методичности.

— ...Раз нам надо для дела, то все пойдет само и как надо. Мы это делаем не из корыстных побуждений — следовательно, это праведно. Все и само течет, но на самотек нам пускать не надо. Первый удар, вернее первые удары, Топорков нанес себе сам, прежде всего тем, что уехал. Уехал, покинув свой пост, оставив студентов, наконец оставив больных, оставив страждущих на произвол судьбы. Он, по существу, дезертировал. Это был первый удар по себе самому. Самоудар. Автоудар. Второй удар нанесли ему мы решением собрания. За это он получает выговор. Первый выговор. Дальше? Что дальше? Я жду конкретных предложений.

Все сидели и молчали. Это не было отпором, это не было несогласием. Это было цветение взлелеянной им безынициативности, это было ожидание конкретных указаний. Они не были активны — вот и все.

— Нет предложений? Опять все мне! Своих идей у вас, конечно, нет, да и не может быть. Без меня вы и шагу сделать не можете. А ведь воображаете себя, наверное, самостоятельными хирургами. Вы можете быть только самостоятельными акушерами: роды неотвратимы, уж если есть девять месяцев беременности — роды будут, тут уж, на этом этапе, ваша инициатива не нужна. Ну ладно. Так вот я написал распоряжение, которое он должен будет выполнять, а вы, мои первые помощники, должны будете следить за исполнением. Итак, слушайте. «Об обязанностях ответственного за работу клинических ординаторов и аспирантов клиники С. П. Топоркова. 1. В соответствии с планом регулярное один раз в две недели проведение занятий по повышению квалификации ординаторов и аспирантов. В качестве докладчиков предоставить возможность выступать ординаторам и аспирантам. Занятия проводить по типу семинаров под председательством С. П. Топоркова в конце рабочего дня. Контроль осуществляет помощником директора клиники по научной работе». Вам, товарищ помощник, ясно, что мне в науке помогать не надо, что функции у вас другие? На первом же занятии вы присутствуете. «2. Следить за своевременным оформлением планов и отчетной документации клинических ординаторов и аспирантов и быть подотчетными по этому разделу работы перед ученым секретарем клиники, у которого должна сохраняться указанная документация». Вы поняли, товарищ ученый секретарь, что от вас требуется? Учтите. Дальше: «3. Для корреспондирующей связи двух фаз работы клиники вменить в обязанность С. П. Топоркову присутствовать один раз в неделю в строго фиксированный день на лекции для студентов. Контроль осуществляет заведующий учебной частью клиники». То есть вы. «4. По согласованию с ученым секретарем клиники в рамках общего плана научных конференций клиники представлять научные доклады и отчеты клинических ординаторов и аспирантов, для чего принимать личное участие в подготовке этих докладов и присутствовать при их обсуждении.

5. Нести полную ответственность за обеспечение занятий со студентами на базе филиала клиники как в методическом отношении, так и в смысле материального оснащения занятий наглядными учебными пособиями. Контроль по этому разделу работы возложить на заведующего учебной частью клиники». И вам ясно, что делать, товарищ заведующий? Помните и не воображайте, что вы у меня действительно заведуете учебой. Вы должны правильно понимать свои функции и свое задание. Руководить Топорковым в занятиях не надо, он это все знает и умеет лучше вас, может быть. Вот документация и оформление — это за вами. Наша сила — это учет. Ясно? Вот так. Вот пусть он начинает работать и чтоб обо всем вам отчитывался, а мы все будем учитывать. Он быстро скovyрнется в каком-нибудь пункте. Это будет третий удар и второй выговор. А бумагу эту передать ему сегодня же через лаборантку. И дату сегодняшнюю зафиксировать. Пожалуй, я всем вам напишу бумагу об обязанностях каждого, чтобы не выглядело все это как-то особенно, необычно, не как у всех. Он ведь не белая ворона.

ПИСЬМО

Мой Начальник!

Я уж и не знаю, как мне теперь к Вам обращаться. Пусть это будет последняя шутка из нашего совместного прошлого.

Я ухожу — это решено и Вами и мной тоже: не бороться же.

Я очень огорчен, что Вы так странно и жестоко относитесь к несчастьям отдельных лиц. Мне-то кажется, что на первом месте в людских взаимоотношениях надо жалеть людей в несчастье, даже если мы свою сострадательность не можем оформить законодательно. Я думал, Вам не чужда формула: пожалей ближнего своего, как самого себя жалеешь. Я думал, для Вас естественно, что, конечно, не каждый достоин уважения, но, безусловно, всякий заслуживает сострадания. И вдруг...

Я все не так понимал, по-видимому, я не видел и не слышал, а теперь для меня оказалось «вдруг». Сам и виноват: человеку даны глаза, уши, язык и руки — для взаимосоотнoсительства, а не только для самовыражения.

И Вы вот тоже, как и я, наверное, много думаете о других: кто как виноват, кто чем плох, кого наказать, обучить, исправить, а ведь главное, как мне теперь кажется, в нашей жизни все эти вопросы обращаться к себе, на себя. И если б так все...

Я придумал, мне казалось, что помыслы и дела у Вас просто не сливаются, они просто идут параллельно. А этого быть не может, как я сейчас понял.

Мне жаль, что мы расстаемся так жестоко и недружелюбно. Вы уж простите мое многословие — это последний раз. Постараюсь не судить, хотя бы для того, чтобы не быть судимым.

Я не буду бороться с Вами, не буду доставлять Вам еще огорчений. Я не «непротивленец». Злу противиться надо, но очень не хочется противиться насилием. Война «зла» и «насилия»! — от чьей победы придет радость? Вы же знаете, что «средства» — это не дорога к «цели», а составные части ее.

Будущего как физической реалии для ныне живущего нет. Во всяком случае, он себе не представляет его серьезно. Мы умрем, и с нами умрет наш мир. Останется мир иной, мир других, и мы не знаем какой. Мы разрабатываем операции при раке (и правильно, конечно), а лечить его будут порошками.

Простите последнее занудство, можно напомнить? «Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он обобрал меня. У тех, кто таит в себе такие мысли, ненависть не прекращается. Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она» — старинная индийская логика.

Ну вот и прощайте, Мой Генерал!

Будьте счастливы, Мой Бывший Начальник.

Ваш бывший сотрудник и даже временами
помощник С. Топорков.

В ТАКСИ

— Черт побери! Влипли!

— Что такое?

— Встречают кого-то. Дорогу перекрыли. объезжать надо.

— Вот никогда не предупреждают. Совершенно невозможно ничего планировать. Я ж опоздаю.

— А я что могу поделать?

— Да я вас и не виню. Просто я опоздаю.

— Планировать захотели. Я вон пошел ключ сделать в мастерскую. Знаю, когда работают. Знаю, когда перерыв. Прихожу — мастер сидит, а на стекле записка, что сегодня не работает. Я ему говорю чего-то, а он мне через окошко на бумажку пальцем тычет. И слушать не хочет. И весь разговор.

— Ну, и с вами, таксистами, тоже не очень-то попланируешь.

— Ну и что ж! Мы как все.

— Как все, как все, а сами говорите о планах. Думайте лучше, как объезжать будем.

— А чего тут думать? Как-то вывернуться надо и кругалю давать будь здоров. А вам зачем в прокуратуру?

— Ну, уж вы начинаете спрашивать лишнее. А вдруг я преступница?

— Ну а мне-то что? Мне довезти вас до места, и все. Задерживать не надо — вы и сами туда едете.

Люся стала вспоминать все события, все, что произошло. И стала злиться на весь свет, на обстоятельства, на любовь, на любимого.

Вспоминала: они еще работали тогда вместе и они еще были вместе. В тот день в отделении был большой ажиотаж. Недавно он оперировал какого-то крупного работника из какой-то влиятельной организации, и тот ему устроил кабинет, то есть помог купить больнице мебель для кабинета Начальника. Утром мебель привезли. Сначала всех развеселило название: «Кабинет руководящего работника».

— Сила! А! — кричал он, очень довольный.

Собрались все и стали собирать отдельные деревяшки в комплект руководящей мебели. Люся, как единственная женщина, сидела в кресле и наблюдала.

Она любила смотреть на него в деле. И на операциях, когда отвлекалась от его крика, от его слов, когда удавалось все свое внимание заполнить лишь его руками. И сегодня, когда они собирали столы, шкафы и кресла, он и здесь проявил свои руки с лучшей стороны. Не подходили какие-то шпонки — из операционной принесли сверла для трепанации черепа и он очень ловко и точно сделал новые отверстия. Не совпадали какие-то отверстия с болтами — очень ловко переделал все как надо. Он особенно выигрышно выглядел на фоне своих подобострастно ползающих по полу помощников, которые лишь пода-

вали ему оттуда, снизу, то одно, то другое, а сами ничего не могли сделать. Так ей казалось.

Правда, она помнила его любимое изречение: «Дисциплина — это осознанная необходимость казаться чуть глупее своего начальника». Может быть, это они просто хорошо все усвоили, но, так или иначе, на него приятно было смотреть, а на них нет. Все было хорошо в нем. И фигура. И ловкость. И решительность в лице. И легкая седина в волосах. И вообще, она его любила и не желала ни в чем разбираться объективно. Других таких же она не знала. Так сказать, интегрально все ее знакомые ему безусловно уступали.

— Людмила Аркадьевна, ваш больной умер.

Люся выбежала из кабинета. Больной был обычный. Операция обычная. Ничего особенного. И вот опять эта злосчастная эмболия легочной артерии. На двенадцатый день после операции молодой человек исчез с белого света. С ума сойти! Выбежала она, конечно, зря. Больной был безнадежно мертв. Его уже пытались оживлять — все напрасно.

А через несколько дней была жалоба. Конечно, можно понять жену. Молодой человек лег в больницу для пустяковой, казалось бы, операции, и вдруг... Естественно, чаще всего так и бывает: хочется искать чью-то вину. Недаром все ж говорят, что нет пустяковых операций.

— Ну, вот теперь мы переехали мост, уж здесь не задержат, если, правда, не перекопали какую-нибудь улицу.

Люся вспоминала.

Жалобу сначала разбирали в больнице. Собралась комиссия в составе заместителя главврача, заведующего терапевтическим отделением и одного из завов в хирургии. Начальник тоже был как главный шеф хирургов.

З а м г л а в в р а ч а: Какая неудача, Людмила Аркадьевна. Главное, чтобы это сейчас не вышло за пределы больницы. Представляете, как начнут нас полоскать в горздравотделе? Во всех отчетах будут поминать. А тут ведь не только больница не виновата, но и вы, хирург, несколько не виноваты.

Л ю с я: А чего же тогда бояться?

Т е р а п е в т: Как чего? Вы что, не понимаете? Умер человек, который не должен был умереть. Значит, кто-то виноват.

Л ю с я: Но ведь каждому врачу ясно, что нет никакой вины. Только я могу себя винить и находить какие-то грехи. Но это я делаю сама и не здесь, а дома в подушку.

Х и р у р г: Ты же понимаешь, что подушка никого не интересуется. Твоя постель — твоя проблема.

Н а ч а л ь н и к: Сейчас не до шуток. Совершенно правильно, что в первую очередь надо думать о больнице, об отделении, надо спасти репутацию клиники.

Л ю с я: Я ж не против. Только как?

З а м г л а в в р а ч а: Надо вынести выговор. Тогда родственники будут удовлетворены — и дело дальше не пойдет.

Л ю с я: За что же вы можете вынести выговор? Никаких даже формальных оснований нет. Я не представляю.

Т е р а п е в т: Людмила Аркадьевна, вы дитя! Опытный хирург, не первый год работаете, а спрашиваете ерунду какую-то. Вот я смотрю историю болезни и сразу же вижу основание.

Л ю с я: Интересно.

Т е р а п е в т: У вас в день операции не измерено давление. Говорится ли это?

Люся: Господи! Но на операционном столе всем измеряют, и в записи анестезиолога это отмечено.

Терапевт: Запись эта говорит о том, что было на операционном столе, а с какими показателями его взяли на стол — неизвестно.

Люся: Но какое это имеет значение?! Даже формальное?!

Начальник: Это не важно. Это формальный повод и выход из положения.

Люся: Нет, нет. На это я пойти не могу. Да вы что?! Человек умер, вы находите какую-то вину — и даете выговор. Если я виновата в смерти — судить надо. Я с этим категорически не согласна.

Хирург: Но это ж надо, Люсь. Надо же спасти всех. Надо же думать обо всех.

Люся: Привет. Все рассчитал, все продумал, и, главное, за меня. Ты будешь думать об общей репутации, а меня со своего счета сбросил? Я должна незаслуженно страдать? Шуточки ли, обвинение вырисовывается!

Начальник: Людмила Аркадьевна, вы должны думать не только о себе. Нам всем за вас больно и обидно. Морально мы этот выговор все на себе будем ощущать тяжким камнем. Мы же по-хорошему с вами говорим.

Замглаврача: Напрасно вы так волнуетесь. Что вам этот выговор? Он же никак не повлияет ни на что. Вы же это отлично понимаете.

Люся: Как это не повлияет? А если они в суд подадут, то там скажут: выговор — виновата? И не хочу я, в конце концов, выговор за это. Мало мне моих переживаний? Если есть истинная погрешность — другое дело. Вынесете выговор — буду жаловаться в горздрав.

Все эти обсуждения были прерваны звонком из горздрава. Сообщили, что жалоба одновременно поступила и туда. В ближайшую среду будет обсуждение. Велели приехать шефу и обвиняемому с историей болезни.

На этом местное обсуждение закончилось. Люся лишь написала объяснительную записку.

В горздраве было все то же самое. Там также пугали Люсю судом, говорили, что выговор лучше дать и все локализовать на медицинском уровне. Надо успокоить родственников. Поскольку фактически никакой вины не было, хотели, чтобы Люся сама согласилась с необходимостью выговора. Не хотели без ее согласия. То есть, конечно, власть, она все может, но выглядеть это будет столь вопиюще... Пусть сама.

Ей говорили и грозили, упоминали ее молодость и что она жизни не знает, ссылались на свою старость и многоопытность, приводили тысячи примеров из прошлого. Не соглашалась. Так и не дали ей выговора. Вынесли постановление: несчастный случай.

Люся же написала объяснительную записку.

И вот в результате она уже во второй раз едет к следователю.

Все те, что хорошо знают жизнь, были правы. «Нет реакции инстанций — пусть разбирается суд», — по-видимому, решили родственники.

— Ну, вот и ваша прокуратура. Опоздали?

— На десять минут.

— Да-а, нехорошо опаздывать в эту организацию.

— Извинюсь. До свидания. Спасибо.

— Удачи желаю.

Следователь ее легко извинила.

— Я тут ознакомилась со всеми бумагами. Естественно, никаких

судебных претензий к вам быть не может. Мы дали все документы эксперту, он тоже не возбуждает никаких дел. Случай этот дважды разбирали ваши медицинские комиссии, и ни одна не нашла никакой вины. Раз они не нашли вины, мы-то как можем? Мы-то и вовсе профаны.— Следователь улыбнулась.— По-моему, так? Только вот что, милая... (Люсю покорило это обращение. «Впрочем,— тут же подумала она,— а как мы обращаемся к нашим больным?») Вот что, милая. Придется вам написать объяснительную записку для нас, а уж мы сами ответим родственникам.

Люся села писать объяснительную записку.

ПИСЬМО

(Ответ Начальника)

Дорогой Сергей!

Или, может быть, в силу сложившейся ситуации я теперь должен к тебе обращаться по-иному? Ну что ж.

Уважаемый Сергей Павлович!

Да. Я бы предпочитал с тобой работать вместе. Но у меня кругозор— я думаю о многих; а у тебя кругозор сузился до точки — ты каждый раз думаешь об одном. Поэтому и попадаешь в такие нелепые ситуации, как, например, реальная возможность оказаться в тюрьме (если бы больной умер).

Цель моя — желание помочь большому количеству людей, больных людей. Тут ни к чему разговоры о средствах — ты сваливаешь в одну кучу разные цели. Я помогаю людям, многим людям. Для этого я вынужден действовать целенаправленно. Я хочу создать у нас хорошую лечебную организацию, хорошее лечебное предприятие, дабы хорошо лечить большой коллектив больных. А если у меня такая цель, ты и сам понимаешь важность и нравственность этой цели, я вынужден иногда совершать акции неприятные не только для тебя, но и для меня самого. Таковы законы действия в жизни.

Вот под это колесо справедливости ты и попал, и, по-моему, законно и заслуженно. Да, законно, ибо ты хочешь жить и решать для себя, по совести — это твое право. Но расплачиваться за это ты должен по закону — это моя обязанность.

Я не могу позволить тебе жалеть и лечить одного больного и ставить под угрозу сотни других. (Впрочем, не только я, но где бы ты ни работал, будет то же самое.)

Мы не всегда можем сказать, что есть добро, а что — зло. Если у больного уже неудалимый рак толстой кишки, что лучше: вывести кишечный свищ наружу, чтобы ему легче было и он мог бы подольше пожить, или все оставить и зашить, чтобы мучения длились меньше времени, чтобы сократить мучительные дни? Что для этого больного добро, что зло? Ты хочешь, чтоб больной сам решал такие вещи? Нет. Приходится иногда решать за него. И иногда попадешь — окажется добро, а иногда промах — зло. Значит, надо действовать по инструкции, как для всех, и не придумывать выходы для отдельных единиц.

Истинное желание человека — неуловимая категория, работать и действовать по которой просто нельзя.

Я хотел работать с тобой доброжелательно, без крови. Но подумай сам, каково положение нашего коллектива, когда один из его членов попадает под суд медицинской общественности в результате дикой несобранности и почти криминального медицинского действия.

Ты говорил, что и в помыслах и в делах мы должны быть нравственны. А я считаю, что в помыслах — обязательно, а уж в делах —

как потребуют обстоятельства. И что значит «нравственные дела»? — критерия-то нет.

Мы оба реалисты. Ты субъективный реалист, я — объективный. Кто прав?! Время покажет. Но опять же — критериев нет. Я буду судить по результатам общего дела, ты — по личным судьбам. Посмотрим. Я уже вижу. А ты?

А уж если цитировать древнего индийца, что ж, верно: «И не было, и не будет, и теперь нет человека, который достоин только порицаний или только похвалы».

Вот так, дорогой Сергей, уважаемый Сергей Павлович, мы объяснились. А уж что и как будет в нашей дальнейшей жизни, видно будет. Может быть, мы еще когда-нибудь и поработаем вместе. Во всяком случае, я не думаю, что мы расстанемся врагами.

До встречи.

Остаюсь твоим бывшим Начальником.

* * *

Они всегда сливаются, Мой Начальник, результаты общего дела и личные судьбы.

С. Т.

ВЫЛЕТ

— Кто тут хирург?

— Я.

— Вы со мной летите?

— Если со мной летите вы, то я.

Женщина с очень веселым лицом оправдала впечатление и засмеялась. Начальник засмеялся тоже.

— Ну да, я ваш извозчик, вы меня понимаете.— И опять засмеялась.— Пойдемте. Вон наш самолетик.

— А как он называется?

— «ЯК-12а». В наших областях только таким и пользуется сан-авиация. Сейчас я открою дверь с вашей стороны.

— У вас как в обычных машинах: залез водитель в кабину, открыл дверь с другой стороны.

— А какая разница?

И оба засмеялись. Она потому, что, судя по ее лицу, вообще часто смеялась, а он был в несколько приподнятом состоянии от этого рядового для профессора вылета, и оттого, что самолет будет вести молодая женщина, и что в самолете они будут только двое.

— У вас тут как в «Волге», нет, как в «Москвиче». Поменьше, чем «Волга». Где мне сидеть? Сзади или рядом?

— Где хотите.

— Можно впереди тоже?

— Конечно. Как в машине.

Опять засмеялись.

— А пульт у вас все же помогучее, чем в машине.

— Это кажется только. Сейчас поставим шпиона.

— Это что?

— Фиксирует высоту, записывает. Чтоб мы не лихачествовали.

— А вы тоже можете?

— Могу, наверное. Никогда не пробовала. Я редко по санавиации летаю. Просто в прошлый раз ваш хирург, московский, летел на вызов со студенткой, так один наш летчик — от радости, что ли, — стал такие кренделя выписывать, что с перепугу решили меня в этот раз послать.

— А он что, со студентками на вызовы летает?
— Всегда, когда летает, берет их.
— Я ему выдам...
— А что, нельзя ему студентов с собой брать? Вы ему начальник?

— Начальник. Студентов-то, может, и можно брать, да зачем? Мало ли что. Отвечай тогда за них, да и за него тоже.

— А они, наверное, много узнают на срочных вылетах. Они здесь на практике?

— Да. Летняя практика у них. В областных городах и деревнях.

— А вы тоже на практике с ними?

— Я проверять приехал.

— А вы правда московский профессор?

— Святой крест.

— Первый раз вижу живого профессора. Они не знают, в эскадрильи, что летит профессор, а то бы меня не пустили.

— Почему?

— Командир бы полетел.

— А вы что, недавно летаете?

— Не бойтесь. Уже десять лет.

— А я и не боюсь... Шумит сильно. Я вас лучше слышу, чем себя.

— Привыкнете. Сейчас не могу говорить. Подождите.

Летчица надела ларингофон на горло и стала что-то шептать и, наверное, слушать в наушники, надетые ею тоже. Он не слышал слов из-за шума. Говорить надо в ухо — тогда слышно. Стал осматриваться. «За окном термометр. Ух ты, как траву сзади пригибает ветер от мотора. Пошли! Пошли. Быстро как. Уже деревья под нами. Смешно. Нет, пожалуй, страшно. Поворачиваем. Фу, до чего неприятно лететь боком. Прямо».

— Ну все, теперь прямой путь до самого места.

— А там тоже аэродром?

— В том месте хорошее поле, специальное. А есть места, где с подбором летать приходится.

— Это как?

— С лёта подбираем поле. Чтоб поровнее и чтоб трава невысокая. А то в клевере, например, знаете, как можно запутаться и опрокинуться при посадке.

— А это что за рычаг у меня?

— Самолет учебный. Здесь инструктор сидит. Хотите попробовать?

— Конечно.

— Возьмите рычаг на себя.

— Ух ты, черт, как вверх пошел!

— Вы очень резко взяли.

— Откуда ж я знал?

— Да это не страшно. Я-то свой рычаг не отпускаю. Откройте, пожалуйста, окошко, профессор, руку немножко высуньте. Не дождь?

— Рука сухая. А сколько лететь?

— Минут тридцать пять.

— А далеко от поля идти? Куда там, знаете?

— Да они с машиной приедут за вами. Им же позвонили в больницу. А мы, когда прилетим, сделаем два круга над больницей.

Дальше Начальник стал разглядывать, смотреть вниз и больше молчал. Он смотрел на странно выглядящее лоскутками поле, на остатки окопов, на быстро бегущую по земле тень самолета. Все-таки трудно было говорить. Шумно.

— Вон больница под нами.

— Двухэтажная?

— Городок. Не деревня же. А вон и поле наше. Видите, к нему машина подъезжает санитарная. Это за вами. Вас ждать?

— Не знаю. А как у вас принято?

— Минут сорок или час если — ждать можно. А если два или больше — лучше звоните, я опять прилечу

— Два часа-то я наверняка там пробуду. К студентам надо зайти, посмотреть, как живут, даже если не придется оперировать. Здесь тоже наши студенты есть. Пожалуй, мы лучше позвоним.

— Вы только помните, чтоб мы до восьми часов могли уже сесть. А то темно будет.

— А если не успею?

— Заночуете. Завтра прилетим. Ну, выходите. Можно.

— Спасибо большое. Счастливого вам полета.

— Позвоните чуть загодя. Как увидите, что дело к концу идет, так и звоните. Будьте здоровы. Счастливо вам оперировать.

— До свидания. Спасибо.

Он выскочил из самолета, захлопнул дверь и пошел к санитарной машине. Навстречу шли двое в белых халатах. Начальник обернулся. Самолет начал двигаться. Летчица помахала рукой, он ответил, самолет оторвался и пошел домой.

— Здравствуйте, профессор. Я зав хирургическим отделением, а это наш главный врач. (Начальник пожал руки обоим.) Вы нас простите, что побеспокоили, но мы не знали, что полетите вы. Мы б никогда...

— Да бросьте. Я же сам захотел. Вы-то при чем?

— Вы знаете, профессор, случай, по которому мы вызвали, оказывается, не стоит того. Нам удалось, в конце концов, выйти из положения самим. Но вот какая просьба. У нас лежит жена нашего главного врача (главный врач поклонился) с тяжелым приступом холецистита. Вы ее не посмотрите? Может, даже соперируете, если надо? У нас впечатление, что без операции сейчас уже не обойтись. С одной стороны, сами понимаете, каково оперировать жену своего начальника. (Все улыбнулись.) А с другой стороны, хочется посмотреть на работу московского профессора. Когда такое еще может выпасть!

— А что смотреть? Все то же. С годами, знаете ли, начинаешь понимать, что все одинаково. Конечно, посмотрю и, конечно, если надо, буду оперировать. У нас, врачей, так мало льгот от общества, что для себя мы должны создавать свои внутренние льготы, основанные на самоуслугах. Врача, семью врача мы всегда должны лечить нашими лучшими силами. Все сделать. Врачи должны максимально помогать друг другу. Если здесь оказался хирург-профессор, святая обязанность этого врача-профессора взять максимум забот на себя. Это должно быть нашим кредо. Так я говорю, коллеги?

— Абсолютно с вами согласен. Эх, если б все наши коллеги так же рассуждали. Большое спасибо вам, профессор, большое спасибо.

— Ну, спасибо вы говорите рано. Что ж, поехали, товарищи?

— Пожалуйста. Садитесь. Проходите. Нет уж, прошу вас, вы гость.

— Но вы старше.

— Нет, нет. Гостю путь, гостю путь. Прошу вас, профессор, прошу. Ну, поехали. Прямо в больницу. Или, может, сначала ко мне, профессор? Закусим немножко, а потом работать.

— Нет, нет. Работа всегда сначала. Как это говорят: делу время — потехе час.

— Да, да. Кончив дело, гуляй смело. (Все засмеялись.) Значит, прямо в больницу.

Конечно, главврач волнуется, нервничает, и за жену переживает, и не знает, как вести себя. Разговор перехватил заведующим:

— Простите, пожалуйста. А почему все же вы здесь оказались, у нас? Каким случаем?

— Я студентов проверяю по всей области. А сюда был вызов, мне и захотелось. Просто, знаете ли, захотелось, и все. Здесь я доктор, и только доктор. Так надоело быть начальником. И скажу, что если сейчас придется оперировать — буду только рад, это даже хорошо. Хочу на природу, на травку, так сказать, назад к земле. Вот и пооперирую у вас на природе. Хорошо. Устал я в Москве.

* * *

— Быстро вы управились... Не оперировали?

— Оперировал. Все в порядке. Сейчас я. Простите. Только попрощаюсь с товарищами. Ну, до свидания, до свидания, товарищи. Будете в Москве, обязательно заходите ко мне в клинику. Приходите.

— До свидания. Спасибо вам большое, профессор. И от меня и от жены, хоть она еще и под наркозом. Очень, очень жалею, что не остались вы у нас до утра. Мы бы посидели вечерок. Жаль, жаль. Спасибо вам, большое спасибо.

— Не надо, не надо никогда говорить спасибо раньше времени. Спасибо только после выздоровления. И вечерок можно только после выздоровления, в крайнем случае после снятия швов.

Все понимающе закивали головами и засмеялись.

— К тому же сегодняшний вечерок надо не сидеть, а идти к жене. Так, коллега? По-моему, так.

Опять посмеялись.

— Я уже вам говорил о льготах, мы их сами должны себе создавать.

— Да, профессор, это вы очень правильно говорили.

— Ну, так вот, у вас сейчас есть возможность создать себе льготу.

— Да, да. Такая возможность у меня появилась.

— Наверное, не пускаете родственников в первый день после операции?

— Да! Ни в коем случае. Никогда.

— Ну, а сами к жене своей пойдите.

— Конечно, профессор. Сам нарушу свой закон, нарушу.

— Ну, до свидания, дорогие коллеги, до свидания. Здесь мой помощник остается в области, в центре, звоните ему. Если что, он к вам прилетит. А я с ним говорить из Москвы по телефону буду. До свидания.

— До свидания. До свидания. Счастливого полета

Начальник легко, словно кавалерист в седло, вспрыгнул в кабину самолета.

— Здесь хорошо закрыли? Проверьте. Ну, полетели. Что это вы притихли, молчите?

— Сам не знаю. И чувствую я себя неважно что-то последнее время. И что-то грустно стало. Вот здесь я работал нормально. Всего каких-то пару часов, но нормально. Я не начальник был, интриг тоже не было, держать никого в руках не надо было. Операцию сделал. Прошла она хорошо. И заботы только лечебные, хирургические. Грустно стало. Болит что-то все. А приеду — опять интриги. интриги. Да и с кем, против кого? Иногда подумаешь — сам с собой играю.

— А вы с нами побольше полетайте. На эту на вашу нормальную хирургическую работу. А у нас, думаете, нет интриг? Тоже. Больше вылетов, меньше. Рейсы. Машины. А как сына родила, поубавилось раздоров этих. Дома сын ждет, а тут как посмотришь вниз, увидишь, что висишь над пустым, а внизу твердое, — страшно станет, какие уж тут раздоры. Я и вниз смотреть не хочу. Вы и меня что-то настроили на такой неполетный лад. Нельзя это.

Начальник посмотрел вниз. «Да-а. Ра-аз... и все интриги. Страшно. Вон какое колесо здоровое в пустоте, над пустотой висит».

— Как-то перед полетом назвала командира дураком, а потом вот так же вниз посмотрела и пожалела. И сразу мысли полетели: что кому-то сто рублей должна, пора отдавать, и что сына хотела застраховать, не сделала... Ну вас, профессор, это тоска ваша на меня подействовала. Вон уже аэропорт. Прилетели почти. Слава богу.

— А хотите, я вам на память о хирурге-профессоре напишу стихок?

— Сами?

— Сам.

— Напишите.

— Что смеетесь?

— Сейчас приземляемся.

— Вот и хорошо. Посидим чуть — я напишу, а в голове он уже готов.

— Прекрасно. Сели. Порядок. Пишите.

Начальник стал писать, а она поглаживала пальцем надписи на приборной доске.

— Нет, не буду, ладно. Будьте счастливы, небесный волк. Может, когда на каком-нибудь следующем вылете встретимся! — И он выпрыгнул из кабины и побежал.

— Чудной мужик. Больной какой-то.

СПАСИТЕЛЬ-II

— Кровотечение! — Начальник аж покраснел. — Откуда?

— Не ясно. Вроде бы язвенное, но раньше никогда не болел.

— Когда началось?

— С ночи.

— Какого ж рожна не сказали ничего?!

— На конференции доложили...

— Ну вот! Видите! Я ж говорил — после конференции немедленно все мне доложить. Вот ваши порядочки, товарищи начальнички! Я узнаю последний! Что делали больному?

— Уже все. И переливали все, и гемостатику, и лед.

— Лед, лед! Сильнее кошки зверя нет.

Начальник стал считать пульс и ушел от всех: он держал больного за руку и, по-видимому, думал, а не считал удары.

Опять покраснел.

— Что делать будем?

— Уже все начали, все делаем.

— Но кровь-то льет! Кровотечение продолжается. Гемоглобин?

— Сорок восемь.

Непонятно было, почему Начальник так злится по такому банальному случаю. Впрочем, никто из его помощников никогда не мог определить причину изменчивости его настроений. Один из них как-то ему сказал: «Вы соскучиться не дадите. Никогда не знаешь, по какому поводу и как и за что вы стукнете по голове. Только подумаешь, что все правильно сделал, и вдруг раз! — в дальний от вра-

таря угол». Начальник тогда тоже засмеялся: «А я нарочно. Вижу, начинаете привыкать — срочно меняю тактику. Вас держать надо в постоянной мобилизационной готовности». И все тоже засмеялись. Давно привыкли к тому, что повороты его настроения лучше не анализировать. Да и действительно, это только мешает хорошим деловым отношениям.

— Кровотечение-то продолжается. Меры ваши — пшик!

Больной лежал, казалось, безучастно. Начальник накинута на лечащего врача.

— У вас тяжелый больной, а вы сидите в коридоре, пишете эти никому не нужные истории болезни. Ваше место здесь!

Больной оживился. Помощники заволновались. Один из них шепнул, стоя за спиной Начальника:

— Тшш. Больной слышит.

— Вы что, с улицы пришли? Что за шип?! И не подсказывайте мне. Я сам знаю, что надо говорить и когда! Страна должна знать своих героев. А если вы понимаете больше меня, милости прошу, врачей нехватка в любом городе. Вакансий для самостоятельной работы полно.

Вступил другой:

— Может, пойдем обсудим?

Головы так и летели: только обсуждение, только говорильня! вам диплом дан не для словопрений, а для рукодействия.

Острота несколько уменьшила его внутреннее напряжение. Ему стало немного неприятно. Помощники все ж старались найти причину такого взрыва. Еще за минуту, еще в коридоре он был спокоен и приветлив.

— Пошли.

Все двинулись вслед за ним, но в дверях он остановился, поглядел на больного и сказал:

— Придется делать вам операцию, и немедленно.

— Сейчас?!

— Да. Срочно. Вообще, мы стараемся сначала вывести из такого состояния, прекратить кровотечение, но у вас продолжается. Выхода нет.

— А кто будет оперировать, профессор?

Больной растерянно смотрел на обруганных помощников.

— Я.

— Спасибо, спасибо, профессор! Надо, так надо, что делать.

— Помогать мне будете вы и вы.

Оба обруганных помощника пошли к выходу, наверное переодеваться.

— Подождите. Мне, по-вашему, переодеваться не надо?

Все вышли в коридор.

— Вы начнете. Когда вскроете живот, позовете.

Через полчаса больной уже спал на столе. Живот закрашивался йодом.

— Давай простыни.

— Ты сверху накрывай, я снизу.

— Ничего настроеннее-то? Ух, сейчас нам и достанется.

— И не говори, крику будет не от равнодушия.

— Готовься терпеть. И не трепись. Не дай бог, вякнешь что.

— Да ты что? Дурак я? Не понимаю?

— А в чем дело, ты не знаешь?

— Так же, как и ты. Начинай давай.

— Вы, наркозная служба, можно?

— Валяйте.

— Скальпель.
 — Дайте пеленки обложиться.
 — Угу.
 — На угол прикрепляй еще один зажим.
 — Вот язва. А спаек мало, хорошо.
 — А язва ничего себе.
 — Поменьше остри, а то по инерции... Позовите профессора. Давай пока мобилизовывать. Все равно ж резекция.
 — А вчера ничего у него не было? Не знаешь?
 — Откуда? Может, утром кто заходил? Шелк дай.
 — Да нет, пожалуй, он еще в коридоре был нормален.
 — Не угадаешь. Ты вчера на защите был?
 — Был. Даже на пьянке после.
 — Угу. Ножницы не убирай.
 — У Сергея, не знаешь, как дела?
 — Дня три не видал.
 — Ну, как дела, ребятки? — Начальник уже помылся.
 — Вот язва. Здоровая. Мы начали мобилизовывать. Ничего?
 — Молодцы. Продолжайте. Я сейчас оденусь, включусь.
 Операция шла молча.

Начальник посмотрел вокруг:

— Почему студенты так плохо стоят? Им же ничего не видно. Подвиньте эти ступеньки. Так. И смотрите, товарищи, и, что непонятно, спрашивайте. Разрешаю. Если увидите, что много ругаться стал, — помолчите: значит, трудно, сложно что-то. Подвиньтесь. Ну, вы молодцы. По большой кривизне уже сделали? Только здесь осталось? Хорошо. И быстро, быстро. Не тянуть. *Festina lente*. Спешить медленно, как говорили римляне. Смотри, какая язва. Хорошо, ребята, хорошо помогаете. Товарищи студенты, обратите внимание: вот язва. Желудок должен быть мобилизован, то есть все эти связки должны быть пересечены. Он должен держаться только на двенадцатиперстной кишке и частью, которая должна оставаться. Теперь мы отсекаем его от кишки. Культия кишки ушивается двухэтажным швом. Смотрите, смотрите — все увидеть сами должны. Ты вчера на защите был?

— Был.
 — Без эксцессов все?
 — Полный ажур.
 — Слава богу. Председательствовал кто?
 — Дмитрий Михайлович.
 — Ну, это хорошо. А я вчера никак не мог. Дайте салфетки. Нет, большие — обкладываться. Сегодня приходите. Сегодня хороший матч. Товарищи студенты, сейчас мы отсечем здесь, вот по этому зажиму, и останется подшить кишку, создать анастомоз — и мы на коне. Остальное за больным. Ах ты! Вот сволочь! Только похвалился — и сразу закровило. Этот зажим, этот! Мой зажим! Вот так. Что вы стоите истуканами! Помогать надо. Без вашей помощи я ничто. А хорошо — просто пооперировать. Срочно, без плана, без разговоров и просьб. И распоряжения чисто локальные: подай, держи, отрежь. Распоряжения, так сказать, без широких последствий. А если виноват — извиняешься, а не оправдываешься. А оправдываешься благородно — действием правильным. Все равно вы ничего не поняли. Я сейчас кончу анастомоз и пойду, а вы приходите ко мне в кабинет после, кофейку попьем. Операцию запишите потом. Шить, шить давай, девочка, одну за одной подавай, не тяни.. Ну вот, товарищи студенты, основное закончено. Они тут зашьют сами. А вы идите со мной, поговорим о том, что видели. Сколько времени?

Сколько мы оперировали? Час двадцать. Вполне приемлемо. А вам бы, ребята, по каждому поводу говорильню устраивать. Ну ладно, жду вас в кабинете. Кофе будет готов.

ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА — ХОЧЕТ БОГ

Десять часов. Сестра входит в палату и говорит:

— Спать пора.

Обычно Сергей в это время включает маленькую пятнадцатисвечовую лампочку с колпачком-абажурчиком и кронштейником, прикрепляющимся прищепкой непосредственно к книге, и читает.

Вообще-то больным не разрешают читать после отбоя, но для Сергея как для врача делали исключение. Впрочем, исключение делали для всех желающих, но желающих читать по вечерам было мало. А вот о том, что в больнице не было телевизора, жалели многие.

Часто в палате, когда наступала темнота, завязывались длительные беседы, которые почему-то без света были теплее и терпимее. Если в палате при этом никто не спал, то и сестры на эти недопустимо длинные разговоры в темноте смотрели сквозь пальцы.

Палата маленькая — четыре человека всего, и, как правило, можно было всегда договориться о вечернем времяпрепровождении.

Разногласия в палате возникали, лишь когда вставал вопрос о форточке. Взгляды на проветривание были разные. Сергей обычно старался сглаживать эти форточные противоречия, рассказывая к случаю какую-нибудь байку, как говорится, «тискал роман» собственного сочинения из жизни докторов. Однако в нынешнее, так сказать, отчетное вечернее время такого повода для дебатов не было, все жители палаты были настроены мирно.

— А нехорошо все ж, доктор,— больные часто называли Сергея доктором, хотя он был такой же больной, как и они,— вот вам говорят все анализы, а нам нет. На обходе врач садится около вас, показывает историю болезни. Нечестно. И пускают к вам больше, чем к нам.

— При чем тут честность? — Сергей продолжал мирно отвечать на мирные упреки.— Просто я понимаю, и скрывать от меня значит зародить во мне подозрения без всяких к тому оснований. А пускают — верно, но ведь, опять же, доктор я, ребята, не судите, свой, до костей своих свой я им, а!

— А мы-то тоже люди — нечестно. Мы тоже хотим знать, что у нас. Скажите, а если б не было в этой больнице вашего знакомого доктора, все равно б давали анализы и пускали?

— Конечно.

— А ты, доктор, в эту больницу из-за нее, из-за Людмилы Аркадьевны, что ли, лег? — вступил в дискуссию еще один больной.

— Я ж рассказывал вам: инфаркт у меня в машине, в такси случился — шофер отвез в ближайшую больницу. Я не смотрел куда — худо мне было. А мы с ней раньше вместе работали. Она сюда совсем недавно перевелась.

— Да, удивительно, Сергей Павлович, как нас настигают болезни. Вот вас в машине. А я урок вел. И, надо сказать, довел его до конца. Лишь в учительской я некоторым образом сдал, и пришлось звонить в неотложку.

— Доктор, а вы язву желудка резали?

— Конечно. Оперировал.

— Мне говорят, что если сейчас лечение эффекта не даст — надо

резать. Соглашаться? Вот я и говорю про честность — показали бы мне анализы. Меня же резать! Несправедливо резать, не объясняя.

— Вы ищите или справедливости, или здоровья. Они вам объясняют, но не могут они вам, как мне, показывать. Мне, например, показывают электрокардиограмму и говорят: «Зубец Т стал положительным, а зубец КУ практически исчез». И я понимаю. А что вам говорить? «Вот посмотрите, на задней стенке луковицы ниша». Так? Ерунда ведь для вас?

— Верно, но лучше бы они не при мне вам все про вас говорили.

— Это, может быть, и верно.

— А ты как, доктор, почему заболел, расскажи?

— А черт его знает как... Были вот у меня неприятности всякие на работе. Да и сам в чем-то виноват был, а потому болезнь, так сказать, расцениваю как наказание.— Сергей улыбнулся.— Ехал я так вот в такси, думал обо всем этом, и вдруг как схватит, сожмет сердце, пот сразу выступил, хоть зима и холод, еле языком ворочать стал, только и сказал шоферу, что плохо мне, чтоб в ближайшую больницу гнал. Он и не спрашивал меня больше ни о чем, видно, выглядел я достаточно красноречиво, сюда и привез. Вот и все. Так что не по блату, а по чести и справедливости, а также по велению судьбы я и попал сюда.

— Честно. Никто и не говорит про нечестность. А у доктора в любой больнице блат сам по себе получается.

Вскоре все заснули, а Сергей продолжал читать. Он еще полчаса почитал, потом погасил лампочку, встал, оделся и вышел в коридор. Сестры сидели у столов и занимались обычными делами: подклеивали анализы, вкладыши, чертили листы для назначений.

— На всю ночь клейка? — Сергей по праву коллеги вопросы задавал деловые.

— Нет, осталось немного.— Ответ подтвердил его право.

— Тяжелых больных нет?

— Сегодня спокойно.

— Дежурный терапевт на посту бдит или на посту спит?

— Спит пока. Тыфу-тыфу не сглазить — все спокойно. Вам всего неделю как разрешили ходить, а вы уже и удержу не знаете, Сергей Павлович.— Девочки все же поставили его на место.

— Так меня, по моему соображению, на две недели больше в лежке держали, чем следовало.

— А с вами, докторами, сами знаете как.

— Это верно. С нами лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорят солдаты.

— А вы на хирургию опять?

— Умница. Сегодня Людмила Аркадьевна дежурит.

— Только ненадолго, Сергей Павлович.

— Нет. Что ты, детонька. Немножко окунуть в пену хирургического моря — и в постельку.

— У вас сегодня вон сколько народу было! И товарищи и с работы, наверное?

— Вот как раз с работы-то и не было, потому и тащусь в хирургическое поговорить со своими. Только дежурному — ни-ни.

Сестра засмеялась, а он тихим ходом направился в хирургический корпус. Хорошо, что переход в тот корпус начинается с этого же этажа. Сергей вроде бы и не боялся, даже легкомысленно ко всему относился, а перед лестницей почему-то испытывал страх. Мистический страх, основанный, по-видимому, на обычном отношении к инфаркту.

Люся сидела в ординаторской и писала историю болезни.

— Много работы? Привет.

— Здорово, Сережа. Прибежал? Нет, мало. Дописать только эту вот, и все. И еще один аппендицит. Ребята его без меня сделают.

— Говорить, что я прибежал,— явное преувеличение. Просто удивительно, как люди поддаются страху при инфарктах. И ведь знаю это — все-таки не могу себя перебороть: боюсь. Ползаю, а не хожу.

— Ну, ничего, Сережа, скоро уже домой. Восстановишься. А я рада, что коль тебе уж так не повезло, так хоть попал в эту больницу, где я.

— Да, не хотел бы я попасть туда, к нам. К нам... К «бывшим нам». А ведь это просто удивительно распорядилась судьба. Я ведь даже не знал, что ты здесь теперь работаешь. Последний раз, когда я с тобой говорил, ты еще искала место. Да?

— Нечего о судьбе говорить. Не люблю, когда инфарктники начинают о судьбе говорить. Хватит. Скоро домой.

— Люсенька, раз ты гуманист — должна мне помочь. Ладно?

— А что тебе?

— Ты согласна, что инфарктные больные должны себя взнуздывать и должны сами суметь отринуть от себя страх болезни? Инфарктные больные особенно; особенно супротив всех других болезней.

— Ну?

— Так помоги.

— Ты ж говоришь — сами, как же я могу помочь?

— Дай сделать этот аппендицит, что ждет очереди.

— Ты что?! Если бы я была ты, я б сказала: «Офонарел?» Ты что хочешь, чтоб я грудь рассекла мечом и сердце трепетное вынула?

— Вот именно. И почти в пушкинском смысле. Сделай божескую милость. Не иди по канонам, Люсь, прошу тебя. Я ж боюсь даже по лестнице ходить. А, Люсь?

— Да как я могу?! А если что случится? Я ж повешусь.

— Люсенька, ну что может случиться! Инфаркт же пустяковый, ты знаешь. Ничего ж не будет. Ты только захоти помочь. Ты же знаешь главное: «Чего хочет женщина — хочет бог». Люсь, я уже не человек — я больной, только больной. По существу, здоровый, а боюсь всего, как больной. Люсь, мне нужна операция. Я понимаю, что мне ничто не может помочь, разве только вы с Пушкиным.

— Да как я это сделаю? Что я скажу своим ребятам?

— А ты с кем дежуришь?

— Двое ребят молодых. Кстати, один твой бывший студент.

— Тем более! Неужели не договоришься с ними?

— Сережа, я боюсь просто.

— Да-а. Ну, ладно. Вообще-то, права, наверное. Если уж решил биться головой о стенку, так биться надо только своей головой.

— Ну, хорошо, Сергей. Давай позовем моих ребят, проведем с ними консилиум, посчитаем тебе пульс, измерим давление, и если будет общее согласие, тогда... Но предварительно ты все равно пригласи нитроглицерин. Договорились?

— Люся, милая ты моя девочка, я на все согласен. Я знал, что только ты могла бы...

— Ладно тебе...

* * *

Сергей уже зашивал живот, когда мысли его пришли в некоторый порядок и он стал думать о всей ситуации.

В общем, он поступил как сволочь. Он поставил в жуткое поло-

жение Люсю. Сейчас он стал понимать, что явно бился головой о стенку, и не только своей головой. Он решал за других — он решал за Люсю; может ли она рисковать и чем может она рисковать. Он стал клясть себя, он бичевал и корил себя, но, с другой стороны, в нем рождалась новая сила, вернее, возрождалась старая сила, сила, которая была еще и до болезни, еще и до всех историй, происшедших с ним за последнее время. Нет, все же другая сила. Он сильнее стал. «Все-таки какая я сволочь! Только Люся могла на это пойти».

Сергей положил последний стежок. Сестра сказала ему:

— Идите, доктор, я заклею. А говорят, вы больной. Все бы больные так оперировали. Вы приходите к нам работать после.

«И она хочет приятное сказать», — подумал Сергей и вслух:

— Если бы вы не были стерильная, я б вас расцеловал. Впрочем, не уверен, что вам это нужно, вернее, уверен, что не нужно, но сейчас я о себе только думаю. — Тихонько рассмеялся. — Спасибо ж вам всем большое, ребята. Ну такое спасибо!

— Ну ладно, ладно, Сережа, иди в палату. Я без тебя запишу. Люся проводила его до отделения.

— Иди, Люсь, иди. Все в порядке.

— Нет, милый мой, ты при мне ляжешь и примешь опять нитроглицерин, тогда я спокойно пойду дедежуривать.

— Ну хорошо, я согласен на все, что ты ни скажешь. Ты ж меня родила, понимаешь! А ничего плохого быть и не могло, по-моему, все было истинно, честно. Правда? Главное, чтоб ты хотела помочь. Я это точно знаю: «Чего хочет женщина — хочет бог».

НАКЛАДКА

«За двадцать лет восемь случаев самостоятельного излечения! Я и не думал, что так много. Это только в одном институте. Все случаи достоверны. Надо печатать эту статью, надо. Сколько же у меня скопилось их! Надо успеть все прочитать. Это чудо будет для редакции, если они сейчас, сразу, получают все рецензии от меня. Бывают же чудеса. Бывает же, что чудо на чуде сидит и чудом погоняет. Статьи сам прочту. Диссертации ребятам раздам. Кроме этой. Эту сам прочту и сам отзыв напишу. Давно я сам отзывы не писал. Ребята у меня хорошие, не отказывают. А имеют право отказать. Впрочем, должны же они мне помогать. Присылают мне, но это коллективу. Мое имя — вывеска только. Да и болен я. Трудно мне. Мне трудно не от болезни — от работы. Они ж не знают ничего. Тоже чудо, что не знают. Надо написать рецензию. Выздоровливают все ж. Выздоровливают».

Начальник повернулся к машинке и стал выстукивать:

«Статья написана на чрезвычайно актуальную тему. Ясно, что любые сообщения об излечениях от злокачественных новообразований должны в обязательном порядке быть доступны широкому кругу практических врачей. Стиль изложения удовлетворительный. Анализ материала соответствует требованиям. Материал может быть опубликован».

Стук в дверь.

— Я ж просил до часу никому ко мне не заходить.

— Вас срочно в приемное отделение вызывают.

— А что, уж никого, кроме меня, нет в клинике?

— Старший просил.

— Черт! Скажите, иду.

«Может, еще и ошибка. Поеду туда, в институт. Хорошо, что я не здесь снимки делал».

Начальник закурил, очень недолго смотрел в окно, а затем быстро пошел к дверям.

Бежал по лестнице как обычно — быстро и через ступеньку, как бегают все здоровые сотрудники клиники.

— Черт побери! Вечная история. Куда меня?

— В малую операционную.

Он ткнулся в дверь...

— Я ж просил позвать Начальника!

— Не кричи. Что случилось?

— Здравствуйте. Простите, что позвали, но больной тяжелый и какой-то непонятный.

— Я для того здесь и нахожусь. А сам что, маленький?

— Не пойму. Упал с лесов. Сорок лет. Слева перелом голени и предплечья. Закрытые. Давление семьдесят. Пульс сто двадцать. Пот холодный. Вроде шок. С другой стороны, возбуждение. Давление поднять не можем.

— А как живот? Он как упал?

— На бок, на левый. На руку и ногу.

— Так и сломано. А живот вообще-то мягкий.

— Вот я и говорю.

— Говоришь. Говоришь! А слева-то притупление. Кровь?!

— Не похоже на притупление. Не похоже.

— Почему кровь в один канал льют? Наладьте в ногу тоже. Пусть в два канала идет кровь. Сами не понимаете, что ли?.. Ты, парень, не суетись. Во всяком деле, как и в жизни, главное всегда что-то должно быть. Сейчас главное — жизнь этого мужика. Чудес на свете не бывает. А может, бывает. Селезенка здесь! Срочно оперировать, пока не упустили. Какое давление?

— Шестьдесят пять.

— Видишь. Усильте струю и наркоз давайте.

— Здесь?!

— А куда ж ты его повезешь?! Давление падает. Начинайте наркоз. Я начинаю мыться. А он мне поможет.

— Сами будете?

— Ну что вопросы ненужные задаешь? Я здесь что, к обеду мыться буду? — Начальник пошел в предоперационную, старший — распорядиться.

— Иди мойся. Самому помогать будешь. — Старший нашел второго дежурного.

— Да он что?!

— Что, что! А я знаю? Свет переворачивается.

— А что там?

— Говорит, селезенка. Не трепись! Иди мыться быстрее. Ведь даст свечу сейчас.

Второй дежурный подошел к Начальнику:

— Можно мыться?

— Господи! Да вы что, играете в вопросы и ответы? Если я уже моюсь, то тебе по закону давно пора у стола мытым стоять. Давай быстрее... А ты не уходи — будешь на стреме. Может, рук не хватит. А потом, я давно экстренную травму не оперировал.

Старший:

— Я здесь. Куда ж я уйду?

Когда вскрыли живот, оттуда полилась кровь.

— Вот он, твой живот спокойный.

— Каюсь. Но ведь был спокойный. Вы ж сами говорили.

— Говорили, говорили! Говорил бы — не стал оперировать. От-

тяги крючком — посмотрю селезенку. Нет, сначала пощупаю. Как давление?

— Шестьдесят пять.

— Конечно. Разорвана селезенка. Оттягивай. Дай-ка зажимчик. Еще. А теперь федоровский дай. Оттяни получше. Вот. Так, так. Все. Зажал. Давай отсос. Кровь уберем и посмотрим, что там еще. Живот спокойный! Давление?

— Семьдесят.

— Ага! Теперь спокойная работа. Сосет хорошо? Впрочем, и сам вижу. Не торопись. Потихоньку сейчас вытрем, потом уберем сгустки, а тогда посмотрим остальное. А что наверху, в операционной? Все, здесь сухо? Дай-ка ножницы. Вон! Смотри какая! Пополам разорвана. Ну-ка, а что делается еще здесь? Сюда крючок. Так, ничего. Сюда. Тоже спокойно. Давление?

— Восемьдесят пять.

— Видишь! Все в порядке. Надо зашивать. Я спрашивал же, что наверху делается?

Старший вышел и у двери встретился с одним из оперировавших наверху.

— Что там у вас? Нач селезенку убрал. Здорово! Молодец он. И в диагнозе попал, и операцию сделал будь здоров. А я не угадал.

— Фитиль вставил?

— А что ж: он в яблочко, а я в молоко. Его правда.

— Сейчас мне фитиль будет.

— Что? С диагностикой? Или маху дали руками?

Ничего не ответил, лишь рукой по воздуху плеснул и пошел в дверь.

— Ну, как у вас? — Начальник обреченно ждал ответа.

— Накладка у нас.

— Что еще?

— Ничего не оказалось.

— У кого?

— Три раза на рентгене смотрели...

— У кого?!

— У рака желудка — нет там ничего. Нет рака, и ничего. Вроде бы мы все сделали...

— Накладка! Бога благодарить надо! Накладка. Это ж везение. Господи! Они еще недовольны! Да вы должны думать категориями судебных больных, а не только своего дела. Здоров, значит! Две недели — и в жизнь! Зашьешь сам. Я пойду. На таких чудесах и держится мир. Накладка! Где больной? Пошли к нему. Как же у него протекало все?

— Он спит после наркоза.

— Все вам дело, дело. А тут человека жизнь. Пойдем ко мне. Я тебе диссертацию дам на отзыв. Мне уже уезжать надо.

— Сегодня совет?

— Какой совет! В онкологический институт.

— На консультацию вызывают?

— Пойдем. Накладка!..

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Все эти последние дни Сергей вспоминал и заново переживал свой последний разговор с Начальником. Еще не обрушился на них тогда весь каскад конфликтов и болезней. Сергей снова и снова — дома и на работе, днем и ночью, один и на людях — начинал воспроизводить этот их последний день. Он снова обращался к Начальнику,

но сейчас уже на «ты» — сейчас это было можно. Это был еще добрый и «здоровый» разговор. Спокойный, медленный, тихий.

...Ты говорил, что не любишь ездить на работу городским транспортом: толкаешься, тебя толкают. С утра заводишься. В клинику приезжаешь как оголтелый. А тогда обязательно надо на ком-то сорваться, чтобы в норму себя привести. А то на весь день остаешься на взводе. Плохо будет всем и в конечном итоге тебе самому.

Как многие, ты подходишь к окну, когда хочешь отвлечься от своих мыслей, а может быть, побольше на них сосредоточиться, а может быть, скрыть свою реакцию от других, а может быть, просто не желая видеть и угадывать реакцию собеседника на твои слова или мысли...

Ты отошел к окну и дальше говорил, повернувшись ко мне спиной:

— Вот так утром нападу на первого подвернувшегося и знаю, что зря обижаю человека, а уж ничего не могу поделать. И обижаю дальше. А потом уж довожу до конца, и даже не появляется у меня желания загладить несправедливость. Да и, в конце концов, какого черта обижаться? Обида — это тупость. Обида не имеет права на существование! (Тут ты единственный раз за весь разговор повысил голос.) Либо надо человека принимать какой он есть, либо просто иметь с ним дело постольку, поскольку необходимо.

А дальше ты говорил тихо то, что обычно выкрикивал:

— Какого же черта, сам подумай? Вот сегодня прихожу утром. Встречает дежурный и говорит: «Со вчерашней резекцией плохо». А что плохо? Надо меня тоже понимать. Я ж оперировал ее. Ну, хорошо, разошлись швы анастомоза, но прежде все-таки надо сказать, жива больная или нет. Почему обо мне никто не думает? Я и накричал. А в это время второй мудрец — слышит ведь, о чем речь идет, и тем не менее говорит, что болен, но остается работать. Скажи, на черта мне его героизм? Болен — пусть идет и гниет. Ну конечно, все безумно обиделись. Теперь обид у всех неуправляемый.

Я слушал и удивлялся необычайной тихости твоих слов. Успокаивала только прежняя многоречивость. Я ж не знал, что ты уже болен, болен смертельно, что я буду отлучен от нашей работы, что это наш последний, спокойный разговор. Поэтому я слушал, как всегда, вполуха и сейчас с трудом восстанавливаю этот наш последний разговор. У меня ощущение, будто я возражал через каждую фразу, но почти не помню своих возражений. Я ведь часто возражал про себя и редко вслух. Как было в тот раз — не помню. А ты продолжал так же с жаром и так же непривычно тихо и плавно:

— В конце концов, мне не нужны помощники, которые справнее всего обижаться умеют. Все вы безумно эмоциональны. А мне не нужны эмоции. Нужны знания. Ох уж эти эмоциональные! — никогда не знаешь, что они устроят через пять минут. А мне нужно правильное понимание происходящего с последующим правильным действием. Так или не так?

«А кто же судья, что считает именно это понимание правильным, именно это действие правильным?» Эту свою реплику я не произнес. Она только пришла мне в голову. Вслух же я согласился:

— Конечно, так.

— Они думают, что наиболее правильное действие вытекает из непосредственной эмоциональной реакции. А вот и нет. Эмоции появляются тогда, когда происходящее выходит за пределы знаний. Вот любовь, например. Зачем и почему люблю? Ответишь? Никогда. (На этот раз я согласился совершенно искренне.) Хирургу страшно на

операциях, пока не знает и не умеет. А настоящий, знающий хирург оперирует и не боится. Не боится, а делает что знает, вернее, что может. И никаких эмоций.

Я точно помню, что удержался и ничего не сказал об очень даже эмоциональных криках в операционной. Я был с тобой совершенно согласен. Значит, крик на операциях — это или игра, или распушенность, или тяжелый несчастный случай, когда не знаешь, удастся справиться или нет. Или неуверенность. А у тебя это скорее всего была игра. Хочется думать, что игра. Ты ведь любил играть. Я помню твои слова: «Играй больше — так жить легче. Тебе щи, а ты деревянную ложку проси». И конечно, распушенность. Ведь не на всех орал. И все, и сам ты в их числе, прекрасно знали, на кого ты позволял себе орать, а на кого и нет. На кого орать можно было, обижая, оскорбляя, а на кого лишь покрикивать. Но даже в распушенной злобе ты, слава богу, все-таки играл. И хотя операция не место и не время для игры, мы все-таки все немного играем. Как же: «Я такой творец, делатель!» А игра у разных проявляется по-разному — в зависимости от характера, культуры и еще чего-нибудь.

Ты же продолжал:

— Да-а! Никаких эмоций. Надо — так надо. И делай что надо, без эмоций. И как надо. А если что мешает — убрать.

Я понял, что ты опять заводишься. Еще три минуты назад ты был даже вял, а теперь — Юпитер!

И я возразил — занудно, ведь очень приятно резонерствовать в такие вот моменты покойной самодовольной беседы... А теперь простить себе не могу...

— Все-таки убирать надо с осторожностью. Невинного так можно трахнуть. Или того, кто еще человек, в ком человеческого много. Ан все — уже убрали. Вы ж Начальник. Вы ж должны думать о тех, кто работает с вами.

Я видел, что ты хоть и взорвался, но смолчал и продолжал сидеть спокойно. Наверно, тебе тоже не хотелось портить разговор. Когда еще удастся? Ведь и вправду всем приятно поговорить спокойно, пофилософствовать, полюбомудрствовать. И ты слушаешь, и тебя слушают, и сам себя тоже — и все с удовольствием. А взорвешься — и кончен разговор.

...Ты стал с интересом смотреть в окно и куда-то унесся со своими мыслями, оставив меня одного со всей нелепой моей риторикой. Я тоже подошел к окну. Твое лицо помягчело, расслабилось. На улице девочки прыгали через веревочку. Ничего интересного, а в лице у тебя появился живой интерес. Веревочка крутилась все быстрее и быстрее, девочка прыгала все быстрее и быстрее, и когда она все ж таки задела, ты был явно огорчен. Твои интересы были, наверное, где-то там, куда мне доступа еще не было. А я все еще пытался с тобой говорить совсем на другом уровне. Да и ты тоже еще пытался говорить на прежнем уровне, уже уйдя, по-видимому, от всего этого, а в разговоре хотел вернуться к прошлому, как потом и в действиях вдруг иногда возвращался к прошлому.

— Смотрю я на детей и думаю: все-таки очень силен материнский инстинкт у женщин. Они даже любят, когда их близкие болеют, особенно если это взрослые дети. Они снова утверждают в мысли, что без них не обойтись. Они себя снова чувствуют носителями жизни, собственно, каковыми они и являются. Поэтому плохо, когда у нас вместо сестер в больнице появляются братья. Они физиологически не могут ухаживать за больными. А вот дети требуют максимального ухода, заботы и пока здоровые тоже. — Ты посмотрел на

меня внимательно и пусто. Посмотрел куда-то еще, за меня, и сразу заторопился домой.

Когда же мы вышли на улицу, ты забыл, что торопился домой, и тихо и спокойно предложил пойти пообедать в ресторан.

Мы сели в такси, я сел сзади и приготовился к разговору с затылком, а ты повернулся ко мне полным фронтом.

— Знаешь, Сережа, настроение у меня что-то... Ничего, что ты со мной пойдешь? Не спешишь?

«Просьба начальства — уже приказание» — вспомнил я один из твоих любимых афоризмов. Я думал по привычке, по шаблону.

В ресторане мы заказали себе водки. Заказали много, ты заказал много, и я, живя по твоему шаблону, думал, что, как всегда, ты пить не будешь, будешь бояться сказать лишнее, хотя если б я думал как внимательный товарищ, без предвзятости, я бы понял, что водка тебе необходима для поддержания тона нашего разговора, а я все еще считал, что придется пить в основном мне. Тогда я так ничего и не понял. Еще не понял.

Ты сразу же начал пить. Пить помногу и не дожидаясь, когда нам принесут есть. Тогда я понял, что тебе хочется развязать свой язык.

— Скажи, Топорик, что во мне главное?

— А все. Если пришло время спать, сон — главное в этот момент. Надо есть — еда становится главным, — ушел я от ответа.

— Нет, как судить обо мне будут? Путаюсь я в себе весьма. Другие мне яснее. Знаешь, мне почему-то легче думать да и исправлять чужие грехи, чем свои.

— Другие нам всегда кажутся яснее, чем мы сами себе. Поэтому и советуют мудрецы не судить других.

— Да. А я сужу. Так само получается, по работе так получается. Очень мешает жить это идиотское понятие «престиж». Сколько душ сгубила забота о престиже. Престиж так часто становится выше истины.

— Что это вы? Расстроены чем-то?

Я сказал это механически, бездумно.

— Знаешь, как увидишь себя, так сказать, с грязной стороны, как подумаешь, что люди, близкие мне люди, могут обо мне плохо думать — тошно становится. Ты говоришь: не суди, а обо мне, наверное, тоже судят. И ты судишь. А мне хочется крикнуть всем: «Не думайте обо мне плохо, пока я жив. Ведь жив — значит, всегда могу хорошее сделать. Не надо мне меня грязным показывать, а то и я начну о себе только грязно думать. Тогда все, тогда путей к улучшению не будет». Ведь пока я жив, я не безнадежен, а? Не говори, даже жалея, плохое, пока человек жив. Как-то ты говорил: «Пожалей ближнего своего, как самого себя»? При жизни, да?

— А если умер, тем более: «О мертвых или ничего, или хорошо».

— Вот это-то и неправильно, Сергей. О мертвых можно говорить что угодно. Они уже никогда не исправятся — полная безнадежность. Мертвый — застыл. Вот тогда если немоготу — суди. Что было, то было. Во всяком случае, судимому ты уже плохого не сделаешь ничего. Да? Так?

Мы помолчали, и ты сказал: «Дурак родился», — а у меня уже язык развязался:

— Знаете, что плохо? Раз уже пошел такой разговор. Вы все время считаете, обдумываете каждый шаг, даже не пьете, чтобы лишнего не сказать. А можно ли так?

— А как иначе? Раз я живу активно и что-то делаю — приходится считать.

— Тогда чистота дел всегда будет под сомнением. Вот, например, банальную заповедь «не лги» всегда свято соблюдаете?

— Эх, милый ты мой! Я-то считаю, что в принципе все это надо соблюдать с максимальной скрупулезностью. Но жизнь есть жизнь и если я начальник, то чистеньким остаться не могу. Ведь сам Христос не удержался в рамках. И прощение, и «не лги», и «не убий», и подставление разных щек, и «не суди» — все на поверку не совсем так, когда дело до жизни доходило. Он, оказывается, и с мечом, а не с миром пришел, и готов отделить отца от сына, и поднять брата на брата, и соблазнившегося из его учения, он думает, что лучше в воду с мельничным жерновом на шее, и смоковница, которая ему своих плодов не дала, проклята им и засохла на вечные времена. Видишь, по линии терпимости и у него недоработочка. И обещания неосуществимые, пропагандистские: «Истинно говорю вам: иные из ныне живущих войдут в царство божие». А ведь это люди мечту человеческую пытались пропагандировать. Что ж ты от меня хочешь, Сергей?! Раз вошел в жизнь, в мир сей — думай над каждым шагом своим, считай — не грех. А правила для того придумывают, чтобы знать, как по жизни ходить.

— Я, кажется, пьян, но я бы сказал: оставьте меня в покое с вашими правилами, христами, иудами, буддами. Вам надо убивать для чего-то — убивайте, я не сужу вас; лгать — лгите, и я вам верю, что выхода другого нет. Действуйте, действуйте, но меня оставьте в покое. Я буду жить своим миром, и если это убийственно для меня — ну что ж: я готов, как вы говорите, платить за все полной ценой. А вы за всех считаете, никого простить не можете, потому думаете, что вас тоже не простят, а потому еще пуще никого не прощаете... Бойтесь? Впрочем, совсем я запутался. И поучать даже стал — резонер несчастный, алкаш.

— Эх ты! Слюняй и дерьмо ты, Сергей, не живешь ты, а волочит тебя по жизни. А я вот думаю так же, как и ты, только плыву по жизни с веслом в руках.

К этому моменту выпили мы уже изрядно.

— Я что-то засыпаю, Сергей. И не понимаю уже, что ты мне говорил и что я тебе... говорил и говорю. Спасибо тебе, Сергей, мне как-то и легче стало. Убери деньги, Топор. С кем обедаешь! Каждый сверчок знай свой шесток. Я плачу.

— Помните анекдот? «Джонни, ты платил за завтрак — я плачу за «кадиллак». Я вас отвезу домой.

— Вот и хорошо, Сергей, хорошо. Спасибо, Топорик, спасибо. Хорошо посидели. Да?

ПОХОРОНЫ

Топорков стоял на краю платформы метро, и смотрел на мелькавшие мимо окна вагонов и фигуры в них, и думал о том, что умер Начальник и что жил он как все и цели у него были как у всех, а умер он не как все. Впрочем, наверное, только на войне люди умирают одинаково (и этим тоже война отвратительна). А вообще-то, все умирают не как все, хоть и наступает смерть у всех «при явлениях падения сердечной деятельности и остановки дыхания», как пишут в историях болезни.

Умер. «Экзистировал». Глупый жаргон, глупый термин: экзистировал — умер. Это же неправильно. Exitus — исход...

Поезд остановился. Перед Сергеем замер ряд молодых людей, стоящих вдоль вагона и одной рукой держащихся за поручень над головой, а другой — за газету. Они были в светло-зеленых плащах,

белых рубашках, темных галстуках, детали не видны, да и несущественны. Все, наверное, спешили на работу, все читали.

«Наверное, в газетах есть объявление. Кажется, в «Вечерку» сдавали. У кого же утром увидишь ее?» Сергей проталкивался по вагону и вдруг увидел нужную газету и нужное объявление. «Привет! С какой стати они написали «скоропостижно скончался»? Полагается «после тяжелой и продолжительной болезни» или, в крайнем случае, «безвременно скончался». Ничего себе скоропостижно. Если бы скоропостижно. Скоропостижно. Странно. Никогда не думал, откуда это слово. Чего же он постиг скоро? Наверное, правильное «скорый постиг». Совсем глупо. Смерть постиг скоро. Не мучился, не думал о близком конце, а сразу постиг его. А может быть, скоро почил, а превратилось в скоропостижно. А он думал о конце, да как еще думал. Кошунство писать про его смерть как про смерть скоропостижную. Я бы про него написал «безвременно скончался». Нет, если бы я уже писал, так я бы написал просто — умер такой-то человек. Нет, я бы, пожалуй, совсем не писал. Зачем? А ведь безвременно тоже неправильно. Что он, в безвременье умер? Тогда другое дело. Он умер до своего времени. «С прискорбием извещает о довременной смерти...» Да-а, безвременно скончался мой Начальник».

На подходе к эскалатору, как всегда, была давка. Наконец его вынесло в переход между станциями. У стенки стояла небольшая группа юношей с прическами средневековых пажей, в однотипных, расширяющихся книзу брюках, в руках они держали папки, портфели, и у одного была спортивная сумка.

А Сергей все шел, шел, потом ехал. И приехал в больницу много раньше времени.

В конференц-зале устанавливали гроб, а ему велели быть на входе и, встречая, указывать путь в зал. Рассчитывали, что приедет Сам тоже. Ох как не любил его Начальник! Начальник многих не любил.

А потом Сергей пошел по комнатам и в зал. Вокруг хлопочут. Жена сидит, она его любила, наверно, боялась, жила им — как ей будет без него.

А вот и дети, и им тяжело. Они-то любили его за что-то. А он детей любил так. Ни за что. Как и все родители, бескорыстно. Просто за то, что они дети, его дети. А сейчас они плачут. Слез-то нет — воспитание... А плачут.

А вот ученики, помощники, сотрудники. Они ходят вокруг гроба, тихо переговариваются. Им тоже плохо. Ведь никто из них не может претендовать на освободившееся место. Слишком рано, слишком быстро для них, слишком до времени. А новый... может, выгонит, а может, работать не даст. Новый начальник — новая клиника, новые установки, принципы, новые операции, наверное, нужны будут новые люди. Его-то здание развалится. Им тоже тяжело.

Сергей смотрел на них уже отвлеченно, уже не как свой сотрудник, а как полусвой коллега. Вспоминал, кто как рос, как барахтался, кто кого толкал, кого отталкивал, кто как сам толкался. А дела их вспомнить не мог. Тяжело сейчас его ученикам и помощникам.

Ну, а вообще, о чем здесь говорят? Вон в той комнате — целая группа. От них идет легкий гул.

- Знакомо мне все это, знакомо.
- Да. Цена всему.
- Вот не бережем здоровье.
- Что имеем — не храним, потерявши — плачем.
- Молодость не знает — старость не может.
- Ну уж старость. Молодой.
- Да это я вообще.

- Ел мало?
- Все ж деньги на еду и уходили. Ведь жизнь прожил, а ничего не приобрел.
- Да. Жизнь — копейка.
- Судьба.
- Все там будем.
- Все.
- Пауза. Все молчат. И снова:
- Жизнь его примером была.
- Всегда всем уступал, навстречу всем всегда шел.
- А Бориса Сергеевича помните?
- Ну как же, как же!
- Умер. Плохо ему вдруг стало. Приехала неотложка. При враче и умер сразу.
- Неотложка призвана, наверное, смерть не откладывать.
- Очень странная организация.
- Лежит как живой. Странно видеть его в гробу.
- Странно, странно.
- ...Без очков. Очень непривычно.
- Опять помолчали.
- Но и молодые болеют.
- Болеют, болеют.
- Ничего не определяет возраст.
- Судьба.
- Сие от нас не зависит.
- Диалектика. Все течет, все изменяется.
- Да-а. Диалектика, диалектика.
- Все мы не молодеем. Закон природы.
- Что делать? Бог дает — бог берет.
- Помолчали.
- Вот де Голль! А? Ну, дела!
- Он думал — умнее всех.
- Ан нет, конечно. Вся страна бастует. Дал маху, конечно.
- Жестко больно брал.
- Да и во всем мире все с ума посходили.
- Опять ненадолго притих гул-шепоток.
- Еще одна группка. Ученики-помощники. Сергей включился в беседу:
- Да-а. Мы больше думали, как он нас любит или не любит, и совсем не думали, как мы любим его. А потому простим ему все преступления вольные и невольные.
- А он искал любви? Искал, наверное.
- Искал, но своим путем, каким-то странным.
- Пути человека ведь неисповедимы.
- Человека. Да-а.
- Бог дал — бог взял, так вроде говорят?
- «Ну пусть поговорят. А вот что он говорил перед смертью? Что? Перед самой смертью люди иногда вдруг резко мудреют. Это я иногда замечал».
- Сергей отошел и от группы помощников и учеников.
- А потом, как обычно, начался митинг-панихида.
- Говорили, что Начальник свой труд и жизнь отдал советской брюшной хирургии.
- Какой-то друг-приятель начал свою речь: «Мне выпало большое счастье... работать с ним три года». Бестактные люди. А жене и детям — стой и слушай про какое-то счастье его. Вот ей выпало большое горе. Жаль, у них нет еще внуков. Сейчас бы она пришла

домой, а дома маленький мальчик или девочка — они бы живо отвлекли. Они чудовищно бестактны, дети, и никто, как они, не может столь неумолимо отвлечь от мыслей и при этом с невероятной объективной деликатностью.

Скоро речи сказываются — скоро и дела делаются. Уже пора в крематорий, что говорить и договариваться, что готовить и приготавливать. Сергей хоть и не работал уже в клинике, но остался своим. Все остальные беды как-то сгладились. Он был уже не настолько свой, чтоб ехать в машине с гробом, но свой настолько, чтобы не ехать в обозе, поэтому его и послали в крематорий вперед, для организации.

Во дворе крематория стояло много народу, и по некоторым полузнакомым лицам, по всему Сергей понял, что они ждали его Начальника. Были даже больные, которых он почему-то узнал. А обычно он их не узнавал на улице в цивильном платье. Когда они снимали свои больничные одежды, узнать их было трудно. А тут вдруг узнал.

Как это нелепо — больные хоронят своего врача.

Еще нелепее — хирурга.

Когда гроб стали вносить в главный зал, навстречу вывалилась толпа уже похоронивших. А дверь узкая. Кому же уступать дорогу? Мертвому или живому? Людям, которые несут тяжелое тело, чужое в гробу, или старушкам, которые еле тащат свое тело?

Разобрались. Разминулись. Разошлись.

Общее помещение перемешивало разные и чужие скорби, объединяло и обезличивало.

Какие-то женщины ткнулись к гробу Начальника.

— Не-е. Это мужик какой-то.

— А когда ж мальчик-то?

— Сегодня, а когда — не говорят.

Жена Начальника извинилась и обошла этих женщин.

У колонн, символически отделяющих эту часть зала от самой что ни на есть главной, похоронной части, стояли две старушки.

— Вот отсюда смотри. Отсюда. Вон внутри, видишь, гроб на штучке такой повыше стоит? Сейчас, как все попрощаются, сразу и опускать начнут. И туда. Вот как у нас в Москве! — В голосе чувствовалось торжество.

— А самоубийцев куда?

— Сюда. У нас их отдельно не хоронят.

— Тьфу ты, господи! Прости меня, грешную. Пойдем отсюда. Даст бог, не доживу, чтоб и у нас завели такое.

Жена Начальника стояла молча и смотрела поверх голов в противоположную сторону. Дети Начальника стояли с матерью рядом и смотрели на отца, который не был уже их отцом.

В углу у дверей стояла Люся. Она почти ни о чем не думала. Она вспоминала, но ничего не могла вспомнить... Мысли уходили в сторону, в какие-то далекие области...

А Сергею непонятно почему вспомнилось, что санитары из морга не хотели ехать балзамировать его, своего.

Вдруг резко, словно сигнал бедствия, раздался крик в той, главной, части зала — это опустили гроб и начали расходиться предыдущие похороны.

Жена Начальника вздрогнула, выпрямилась и стала смотреть на мужа. Он не любил, когда кричал кто-то, — себя он не слышал.

Кто ж теперь знает, что он любил, а что не любил? Мы думали, что шум вокруг себя любил и любил говорить о себе и о своих делах, а он, когда обнаружил у себя смертельное заболевание, никому ничего не сказал, а тайно лечился с полной безнадежностью. Мы

видели, что он человек необязательный и самодовольно не думающий ни о ком, а он перед смертью стал расплачиваться с долгами — писал на залежавшиеся у него статьи и диссертации рецензии, которые до его болезни писали всегда мы. Нам казалось, что в науке он любил только себя, что мы все в основном работали на него, а он перед смертью вызвал всех своих знакомых и поручил им следить за успешным проталкиванием статей и защитой диссертаций своих помощников. Мы представляли себе его думающим лишь о теориях, а не о людях, которых, как мы полагали, он считал лишь движущими и движимыми элементами теории, а он перед смертью старался помочь каждому отдельному человеку, плюя на все теории и принципы. Мы считали его непьющим, а он незадолго до того, как окончательно слег, несколько раз великолепно напился и вопреки обыкновению наговорил при всех много лишнего, по нашим представлениям, считавших себя не умирающими и не знавшими, что он-то уже... Он ни у кого не просил прощения, но предпочитал перед смертью больше всего разговаривать с теми, кого терзал, обманывал, ругал.

Перед смертью он, что ли, понял ценность свою человеческую, полюбил себя как человека, а не дельца, а это, наверное, и есть мера любви к другому. А может, он такой был всегда?



ВЕРА КЕТАИНСКАЯ

★

ВЕЧЕР. ОКНА. ЛЮДИ*

Однажды северным летом

Да, однажды северным летом, в час, когда блеклый шар солнца по-ночному низко проползает над самыми сопками «того берега», и трудно уснуть, и нелепо маяться без сна,— в такой вот муторный час я скатилась по склону от нашего дома к железнодорожному полотну, перескочила через рельсы, по которым еще недавно ходили и перестали ходить поезда Мурманск — Петроград, затем скатилась с насыпи и побежала к заливу, на самый длинный причал, чтобы бухнуть оттуда вниз головой, потому что все хорошее осталось позади и жить не имело смысла.

«Все кончено» в двенадцать лет! Теперь я улыбаюсь, с той ночи прожита долгая и ох какая нелегкая жизнь, вместились в нее так много «всякого разного», столько предельного счастья и столько страданий — иногда до приступов отчаянья, но ни разу больше... нет, если быть честной до конца, один раз, в мою двадцать шестую весну, на площадке детскосельского дачного поезда, сердце когтила такая мука, что на миг засасывающее кружение колес поманило избавлением... коротенький миг перед тем, как отшатнуться и захлопнуть дверь. Что ж, тот миг мне понятен и теперь, ведь утраченное тогда — по глупости, из самолюбия — оказалось утратой навсегда. Но девочка, еще заплетавшая волосы в две торчащие косички?!

Иногда я думаю, что старость — это забвение себя самого молодым, а молодость души — умение помнить и не затаптывать первоначальное жизнеощущение и понимать «новый вариант» молодости в новых поколениях. Занятно, как мы отнеслись бы, если б кибернетики придумали запоминающую машину, которая сохраняла бы наши мысли и чувства от рождения до зрелости? Удивились бы, как проникновенно воспринимают окружающее и страстно ищут решений в детстве? А может, не поверили бы? Или сломали машину, чтоб не бередела душу та юная бескомпромиссность?..

Маленький двенадцатилетний человек стоял один перед недобрым миром, где все светлое рушилось, где побеждали предательство и ложь. И та к о й жизни не принял.

А ведь перед тем был год — нет, одиннадцать месяцев — счастливого напряжения всех душевных сил! С того дня, когда по улицам Симеиза прошла горсточка раненых фронтовиков с небольшим красным флагом на бамбуковой палке. Они пели: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою!» — и мы с Гулей побежали рядом и

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 3 с. г.

подхватили песню, гордясь, что давно знаем ее слова, что разучивали их с Софьей Владимировной на пустынном берегу моря, вполголоса, потому что она запрещенная, а теперь эту песню можно петь во весь голос, в Петрограде — революция, все запреты полетели вверх тормашками, теперь все будет по-другому, еще неизвестно — как, но наверняка интересней и лучше! На повороте к Лимене, над Монахом и Дивой, солдаты остановились, высокий тонкий солдат произнес речь. «Мы затопчем в грязь мировую буржуазию!» — выкрикнул он, притопнув ногой.

Это было необычно и захватывало грандиозностью цели. С того дня события жизни — и общей и нашей собственной — пошли с нарастающей мощью, в музыке это обозначалось моим любимым знаком — крещендо.

Мы устроили свою домашнюю революцию, ложились спать, когда спит сон, а вскакивали чуть свет, чтобы ничего не пропустить, и без спросу бегали на все митинги, — они были такими праздничными, эти митинги в городском парке, будто над курортом непрерывно звучал вальс Кликко с веселыми всплесками звуков. Даже курортные дамы щеголяли в красных бантах и прикалывали на шляпы красные цветы. Кто против революции? Никто! Все — за!

Но как и что делать? Мы бегали на почту за газетами и за программами партий, тогда было много партий и у каждой — своя газета и своя книжечка-программа, мы с Гулей изучали их и выбирали себе по вкусу. Каждая партия по-своему понимала — что и как делать. Правые партии мы отвергали, а в других меня смущал пункт о конфискации помещичьей земли, стало жаль бабушкин дом и старый сад на Каче. Гуля закричала на меня:

— Как тебе не стыдно! Революция — а ты сад жалеешь!

Я устыдилась. А Гуля — послушная, разумная Гуля! — объявила себя анархисткой и не жалела ни-че-го. Я завидовала — опять она первую выбрала самое интересное! Впрочем, и Керенский был неплох, он казался мне Наполеоном с обложки толстой детской книги, которую я недавно прочла, он даже руку закладывал по-наполеоновски за борт френча, вот только треуголок уже не носили. Зато он был главой Временного правительства Свободной России и произносил такие речи, что, как писали газеты, один солдат даже упал в обморок, слушая его!..

— А есть ли у нас свобода? Не рано ли праздновать?

Вопрос был неожидан и резок. Митинг был особенно многолюдный, в парке, летний зал под открытым небом был заполнен до отказа курортной публикой, а в задних рядах и по краям сидели и стояли фронтовики из госпиталя, многие были на костылях, в бинтах, в лубках... На сцене под оркестровой раковиной сидели семь необыкновенных людей, от которых я не могла оторвать взгляда, — настоящие «политические» из Сибири, из песни о «тюрьмах и шахтах сырых», — их привезли сюда лечиться. Какую оvation им устроили! А они выступали один за другим и славили завоеванную свободу, дамы бросали им цветы, гимназисты выкрикивали лозунги, и все кричали троекратное ура. А потом выступил седьмой, невысокий бритоголовый человек с нездоровым румянцем на впалых щеках, — и бросил в зал свои неожиданные вопросы:

— А есть ли у нас свобода? Не рано ли праздновать?

Он говорил о войне, где миллионы рабочих и крестьян в солдатских шинелях гибнут ради интересов мировой буржуазии, о десяти министрах-капиталистах, о том, что революционная борьба только начинается. По нарядной толпе прошелестело: большевик! И только раненые солдаты вызывая громко хлопали ему.

Нет, он мне не понравился, этот первый живой большевик, он внес диссонанс в праздничный хор, он был резок. Но почему так хлопали ему раненые солдаты? Значит, для них его слова — правда? В тот день впервые поколебалось мое представление о единстве всех и вся...

В конце августа на три дня приехал папа. «Аскольду» предстояло охранять северную коммуникацию, базируясь в Кольской губе (оказалось, что губа — это длинный-длинный залив), поэтому папа хотел, чтобы осенью мы переехали в Мурманск. Про войну папа сказал, что раз уж мы вели эту бездарную войну три года, надо бы довести ее до победного конца, но ведь ни солдаты, ни матросы воевать не хотят, они хотят глотнуть свободы, вернуться домой и получить землю. Гулин анархизм он высмеял, а моего Керенского вообще всерьез не принимал — «наполеончик из адвокатов». Но самое интересное мы узнали вечером, когда мама загнала нас в постели. Уснуть мы не могли — ведь рядом папа, папа, которого мы не видели больше года! Все окна были открыты, мы припали к подоконнику и слушали папин голос в соседней комнате. Какие странные вещи он рассказывал! Оказывается, недавно на «Аскольде» всей командой судили папу за какое-то «тулонское дело», судить приехал кочегар Самохин, которого еще до приезда папы списали с «Аскольда» вместе с группой революционных матросов. Самохин стоял на мостике, скрепив руки на груди, и задавал вопросы, а папа отвечал. Он был очень «настроен против» папы, этот Самохин, но в конце сам предложил «оправдать Кетлинского и оставить командиром».

— Он большевик? — спросила мама.

— Думаю, что да, — сказал папа.

И неведомый Самохин представился мне похожим на того бритоголового, что выступал на митинге.

А месяца через два, когда мы ехали в Петроград в переполненном вагоне, куда на станциях вламывались без билетов солдаты, ринувшиеся с фронта по домам, и где круглые сутки шли споры о войне, о земле, и о том, что же дальше? — будто тот, бритоголовый, заговорил десятками голосов! Любопытство пересиливало страх перед возбужденными и озлобленными людьми, я шныряла по коридору, останавливаясь там, где спор был особенно яростен. То, что было написано в книжечках-программах, у каждой партии немного по-иному, в этих спорах оказывалось жизненно важным, разделяющим людей до полного разрыва, до вражды: кому владеть землей, воевать ли до победы или кончать войну немедленно... «Три года вшей кормили, хватит! — закричал пожилой, обросший бородой солдат и вдруг острожно опустил ладонь на мою голову. — Моя старшенькая, поди, с нее уже, а я и не помню, какая она, можешь понять, лица не помню! Вышибло!» Сжавшись под тяжелой ладонью, я не то чтобы поняла, но сердцем ощутила, что он имеет право решать и судить...

Петроград встретил нас ветром, морозящим дождем и неистовым накалом страстей, бушевавших на мокрых, холодных улицах. Митинги возникали, распадались и вновь завивались воронками — возле двух заспоривших, возле мальчишки-газетчика, продающего левую или правую газету, возле очереди у булочной... По улицам шагали отряды красногвардейцев — винтовки и патронташи поверх штатских пальто и кожаных курток... Проносились грузовики с матросами — ветер трепал ленты бескозырок, торчали из-за плеч дула винтовок... Откуда-то доносились выстрелы...

Мы готовились ехать дальше, на север, папу произвели в контр-адмиралы и назначили начальником Мурманского укрепленного рай-

она и отряда судов, мама бегала по делам, а мы сидели в гостинице с ворохами газет и журналов от кадетских до анархистских, мы пели во весь голос частушку:

Как однажды Агафон
Так влюбился в Ленку,
Что для Ленки этой он
Разменял керенку,—

и со смехом повторяли строки сатирического стихотворения: «Под рев мужской и даже женский на белой лошади проследовал Керенский»,— недавний кумир лоблек, стал анекдотом, «наполеончиком из адвокатов». Завернувшись в одеяла, мы открывали окно и часами глядели на привокзальную площадь и взбудораженный Невский, где из множества голосов, из гудков машин и мерного топота сапог, из революционных песен и выстрелов рождалась грозная и победная музыка. Мы ждали каких-то неведомых событий, а величайшее событие уже свершилось, но дошло до нас как случайное явление: большевики захватили власть, они не продержатся и двух недель. Меня рассмешило, что созданный большевиками Совет Народных Комиссаров расположился в Смольном институте благородных девиц — то-то разбежались кисейные барышни! А на стенах домов и на тумбах для афиш были расклеены декреты этой непрочной власти о земле и о мире, и такие же солдаты, как те, в поезде, читали-перечитывали их, шевеля губами...

И снова мы ехали, ехали по недостроенной Мурманской железной дороге, и снова в вагон на всех станциях вламывались солдаты и матросы, и снова в коридоре вагона с утра до ночи шли ожесточенные споры, но иногда споры разом прекращались — все население вагона шло грузить уголь или дрова для паровоза. Тащились мы до Мурманска недели полторы, если не больше. Местами рельсы были уложены прямо на болотистый грунт, рядом со строящейся насыпью, поезд качался и тарахтел дрыгающими шпалами. Мосты он проходил еле-еле, словно не дыша, чувствовалось, как дрожит под тяжестью вагонов временное бревенчатое сооружение... Однажды проснулись от непривычной тишины: мы стоим, в окно видна пустынная белая равнина с торчащими из-под снега чахлыми кустиками — тундра. Ни станции, ни разъезда. И паровоза тоже нет! Оказалось, ночью поезд разорвало пополам, несколько вагонов, в том числе и наш, остались посреди перегона. Вот это приключение! Мы выскочили из вагона на нетронутую белизну — здесь уже снег! Снег был влажный, мы начали катать снежные комы — и вдруг с гоготом и шутками к нам присоединились самые непримиримые спорщики, на полчаса превратившись в беспечных детей, они поставили у путей гигантскую снежную бабу, обозначили глаза угольками, а в щель рта воткнули махорочную «козью ножку». Эти озлобленные, раздраженные люди на самом деле добрые и веселые — такое открытие я сделала за часы вынужденной стоянки в тундре. К вечеру за нами пришел паровоз и потянул нас на станцию, где наши вагоны присоединили к головной части поезда. И тут, на станции (кажется, то была Кандалакша), разразился скандал. Начальник станции прислал нам в купе горячий обед. Мама, конечно, не подозревала, что он из-за этого не отправляет поезд, поезда на всех станциях стояли подолгу. Но именно так начальник станции объяснил задержку пассажирам — и к нам в вагон ворвалась распаленная толпа солдат и матросов. Перепуганная мама объясняла, что она здесь ни при чем. Вряд ли ее послушали бы, но за нас вступились другие матросы и солдаты, завязалась перебранка, и тут мы узнали поразительную новость: наш папа признал Советскую

власть! Ту самую, что «на две недели»! Мы — семья советского начальника!

Навсегда врезалось в память: приехали — а в Мурманске нас никто не встречает. За окном темень полярного утра, сеет мелкий снежок, мы одни в вагоне, ждем папу. И вот он врывается в вагон — большой, с короткой светлой бородкой, оживленный. Он целует маму и Гулю, а меня подкидывает в воздух, как маленькую, но мне так хорошо, что и не стыдно. А мама уже задает шепотом свой недоуменный вопрос:

— Это правда... ты работаешь с большевиками?

— Представь себе, совершенная правда! — Папа улыбается, а потом говорит очень четко: — Это единственные люди, которые знают, что делать, и не дадут разграбить Россию по частям.

Много дней я крутила так и эдак папины слова «знают, что делать» и особенно «не дадут разграбить по частям»... Кто и почему хочет разграбить Россию по частям?..

В Мурманске все было необыкновенно: солнце показывалось на какие-нибудь полчаса и скоро должно было скрыться совсем до 6 января, в доме весь день горело электричество, а дом был одноэтажный, из толстых потрескавшихся бревен, если понюхать стену — пахло лесом, сосной. У нас было две комнатки с окнами на залив, где стоял «Аскольд» и другие корабли, а в третьей, большой комнате был папин кабинет, но туда нам строжайше запрещалось входить. Через коридор были другие комнаты штаба главномуру и столовая, которая по-флотски называлась кают-компанией. В кают-компанию мама вносила деньги из папиного жалованья, и мы там обедали и ужинали вместе со всеми. Возле кухни в будке жили вместе собачонка-дворянка и очень смешной медвежонок, который играл с собачонкой и охотно боролся со всеми желающими, медвежонок можно было кормить всем, кроме сырого мяса, чтобы он «не озверел» (позднее какой-то злой человек бросил ему сырого мяса, и в тот же день медвежонок задрал собачонку и стал на всех кидаться, так что его пришлось, как мы ни плакали, пристрелить). Мы, южанки, учились ходить на лыжах и катались со всех склонов на санках, а склоны были прямо от дома — к железной дороге и дальше — до залива, где у обындевелых причалов билась холодная, но незамерзающая вода Кольской губы.

Все это было интересно и ново, но еще интересней было то, что папа не на корабле, а рядом, в служебном кабинете, и что с ним там находятся два комиссара — военно-морской и гражданский. А политическая власть в Мурманске — у ревкома и у Центромур — Центрального комитета мурманского отряда судов, во главе там стоит Самохин, тот самый аскольдовец Самохин, который судил папу.

Новизна происходящего ударила в души — и уже не отпускала. Дети по возрасту, мы все больше и больше отрывались от детских интересов. Навострив уши прислушивались и приглядывались к большевикам, с которыми работал папа. Предревкома Аверченко, питерский рабочий с Путиловской верфи, — совсем еще молодой, круглолицый и курносый, в кожаной куртке и кепочке, он иногда напускал на себя строгость, но все равно выглядел добродушным (да и было ему в ту пору всего двадцать шесть лет!). А вот Самохин — какой он? Я ждала, что он будет бритоголовым и резким, как тот большевик в Симеизе. Но увидела крупного, кряжистого матроса с кудрявой головой и внимательными глазами — он как будто все время что-то рассматривал и взвешивал. Центромур помещался в соседнем доме, мы часто видели Самохина входящим в дом или беседующим с кем-либо у дома, иногда папа ходил в Центромур, иногда Самохин приходил к папе

в кабинет, один или с товарищами. Мы прирастали к двери, толкаясь, чтобы заглянуть в замочную скважину — лучше всего была видна папина спина, он сидел прямо напротив двери и заслонял тех, кто сидел по другую сторону стола, но иногда нам удавалось увидеть и Самохина — серьезное лицо с насупленными густыми бровями и все тот же внимательный, взвешивающий взгляд исподлобья. Мы слышали его низкий голос, всегда мягкий и сдержанный: «Нет, Казимир Филиппович, лучше сделать иначе...», «А я считаю, Казимир Филиппович, что будет правильней...» Сути спора мы не улавливали, но нам нравилась его интонация, уважительная и одновременно неуступчивая. И сам Самохин нам очень нравился. Папе он тоже нравился. «Самородок! — говорил он. — С ним очень интересно!» Однажды мы проникли на большое собрание, где выступал Самохин. Он не был красноречив, он как бы размышлял вслух — задаст сам себе трудный вопрос, взвесит, что и как, и ответит, очень понятно ответит, а за этим ответом как по цепочке вытягивается новый вопрос... Потом все собрание пело «Интернационал». Одни мужские голоса, почти сплошь низкие, и несколько теноров, выпевающих свою звонкую партию: «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем».

Нам тоже хотелось разрушать до основания и строить наш, новый... Нам было невтерпез ожидать, когда мы подрастем. Дети?! Нет, мы отвергали это унижительное слово, мы — молодежь, мы хотим самостоятельности и готовы на все, хоть на баррикады, как парижский Гаврош! Встречаясь на улице с ребятами нашего возраста и постарше, катаясь вместе на лыжах и санках, мы размышляли: надо объединить революционную молодежь в организацию, ведь у всех вокруг есть свои союзы, комитеты, собрания! Мы даже нарисовали цветными карандашами схему союза молодежи — и не какого-нибудь, а всероссийского! На том бы, возможно, все и кончилось, если бы не Коля Истомин. Это был шустрый паренек лет шестнадцати, он жил внизу, за железной дорогой, но как-то умудрялся появляться везде, где собирались подростки, и выделялся таким веселым нравом и такой притягательной энергией, что естественно становился центром любой компании, верховодил в любых играх и прогулках, и если Коля Истомин предлагал кататься на лыжах с самого крутого склона, которого все боялись, мы подавляли страх и вслед за Колей устремлялись вниз по склону, падали, зарываясь в сугробы, отряхивались, откапывали лыжи и снова тащились наверх и снова катились вниз. Коля помогал выбираться из сугроба и подбадривал: «Ничего, следующий раз уже не упадешь, ты, главное, держи равновесие!» До сих пор помню свою радость, когда мне впервые удалось скатиться с этого склона не упав, и Коля сказал: «Ну, вот видишь, сумела!» Если на отдыхе Коля заводил серьезный разговор, все прислушивались к тому, что он скажет. А Коля говорил, что пора браться за настоящие дела, помогать революции, мы уже не дети; а однажды сказал, что надо создать союз молодежи, сейчас нас отпихивают — «подрастите сперва!» — потому что мы не объединены, но организацию не отпихнут, с организацией должны будут считаться. Эта мысль увлекла всех, но никто не знал, как взяться за дело.

— Я уже думал, — сказал Коля, — начать нужно с общего собрания всей мурманской молодежи.

— А как ее собрать?

— Очень просто. Каждый скажет тем, кого знает, а я пробегу по домам и баракам, оповещу — придут!

А где собраться? Решили, что лучше всего собраться в Морском клубе, недавно построенном матросами, клуб находится в центре

Мурманска, и там большой зал. Разрешат ли моряки? Тут мы заверили всех, что разрешат, и повели Колю в Центромур, к Самохину. Самохин разрешил и посоветовал: соберите всех рабочих подростков, их много в депо и в порту, а к весне хорошо бы устроить спортплощадку. Это очень понравилось Коле и другим мальчишкам, они даже зимой гоняли на пустыре футбольный мяч. Наш папа добавил: надо бы городской сад, хоть небольшой. Что ж, нам все казалось по силам — и спортплощадку сделать, и сад, лишь бы не сидеть сложа руки в такое деятельное время. Гуля предложила даже водопровод проложить, но папа расхохотался: «Это уж без вас, пигалиц! Летом с матросами — сделаем!»

Таким я его и запомнила — веселым и полным планов.

Дочки моряка, мы с младенчества видели отца урывками, а когда он бывал в плавании, подолгу не видели совсем. Теперь же он был почти всегда рядом, стоило прикинуть к двери — слышался его голос и голоса тех, кто к нему пришел, иногда удавалось разобрать, о чем они говорят, а если поглядеть в замочную скважину — в двух шагах его светловолосая голова, его спина, обтянутая кителем, его правая рука, короткими взмахами подкрепляющая слова... Конечно, под дверью мало что уловишь и поймешь, зато вечерами, когда всей семьей пили чай уже не в кают-компании, а у себя за круглым столиком, — как жадно слушали мы все, что папа рассказывал маме! Видимо, папе это нравилось, он с улыбкой поглядывал на нас и время от времени к нам обращался:

— Помните, когда ехали сюда, временные мосты?

Еще бы не помнить!

— Если их не заменить до весны настоящими мостами из железных ферм, весной их может снести п а в о д к о м.

Потом он спрашивал, видали ли мы лопарей. Ну, конечно, видали, лопари в меховых м а л и ц а х и расшитых у н т а х изредка приезжали в Мурманск на узких санях, запряженных оленями, мы гладили оленей и пытались кормить их сахаром, но нам сказали, что олени любят соленое, и мы давали им с л а д о н и кусочки крепко посоленного хлеба. Так вот, папа сказал, что лопари живут впроголодь и у них ужасающая с м е р т н о с т ь, особенно среди детей, надо им помочь и объединить их в а р т е л и, но для этого нужны государственные с с у д ы. И рыбаков на побережье он тоже хотел объединить в артели, чтобы их не грабили архангельские купцы, но для этого опять же нужны ссуды, то есть деньги. И вообще Мурманску очень нужны деньги — для расплат с уезжающими строителями железной дороги, и на жалование военным, и на строительство р а д и о с т а н ц и и...

— Вы Горелую гору знаете?

Как ее не знать! Горелая гора возвышалась над Мурманском приземистой махиной, только следов пожара мы на ней не разглядели, да и как могла гореть такая голая, каменистая гора?..

— На Горелой горе встанет радиомачта, — сказал папа. — Мачту должны привезти из Петрограда, а в гору ее придется тащить волоком, на полозьях, пока не стаял снег.

И еще папа хотел весной начать осушение болот, чтобы завести хоть небольшое сельское хозяйство, сажать картошку и сеять к о р м о в ы е травы, а для этого в Петрограде надо было найти м е л и о р а т о р о в, которые согласятся работать на севере.

Мы усвоили, что очень многое надо сделать до весны и почти все зависит от Петрограда, поэтому папа еще в ноябре послал туда лейтенанта Веселого с д о к л а д н о й запиской и множеством поручений. Мы видели Веселого всего несколько дней, но запомнили его странно белое лицо с высоким лбом под черными, будто прили-

занными волосами. Веселого был всегда подтянутый и такой вежливый, что в кают-компании подходил здороваться за руку не только с мамой (ей он неизменно целовал руку), но и с нами, и говорил нам, девчонкам, «вы»!.. Сумеет он добиться в Петрограде всего что нужно? Папа сказал, что приказал ему без денег, радиомачты и железных ферм не возвращаться. И еще папа ждал от Веселого очень важных известий о каких-то переговорах с немцами в Бресте и о том, что будет на Ледовитом океане. Ледовитый океан — мы смотрели по карте — оказался совсем близко, в него впадала река Кола со всей Кольской губой, а на выходе в океан стоял военный городок Александровск, куда папа часто посылал кого-либо из своих штабных для разговоров по прямому проводу. Мы никак не могли понять, что это за провод такой, но зато хорошо поняли, что повседневной связи с Петроградом не будет, пока на Горелой горе не поставят радиомачту.

Ледовитый океан и переговоры в Бресте были как-то связаны с тем, будут или не будут в Мурманске англичане, французы и недавно появившиеся здесь американцы. Их корабли стояли на рейде, их старший начальник, английский адмирал Кемп, приезжал к папе. Мы рассмотрели Кемпа еще на улице, когда Кемп подходил к штабу главномура — невысокий, толстый, с красно-бурым лицом в крупных морщинах. Папа, кроме комиссаров, пригласил и Самохина, разговор шел через переводчика, чтобы поняли комиссары и Самохин. Адмирал Кемп настойчиво предлагал высадить на берег английскую морскую пехоту, «чтобы помочь в возможной защите от немцев».

— Нет,— сказал папа,— думаю, мы справимся сами.

— Нет,— сказал Самохин.— Да и где они, немцы?

Кемп ушел сердитым. Когда он проходил под нашим окном, его лицо было еще краснее и бурее.

Вечером папа говорил:

— Понимаешь, чего он хочет?

О визите Кемпа в тот вечер только и говорили, но дальнейший разговор в памяти не сохранился, осталось лишь впечатление, что мама была чем-то встревожена, а папа доволен. И еще мне запомнилось, как папа не без гордости сказал:

— До меня ведь русские начальники сами к Кемпу на прием бегали, а теперь вот Кемпу приходится.

...28 января днем на улице раздалось несколько предательских выстрелов из-за угла — и через несколько минут нашего отца не стало.

Мы возвращались с лыжной прогулки, слышали даже какие-то выстрелы, но не обратили на них внимания. Мамы не было дома. Мы сели решать арифметические задачи, которые задал нам папа. И вдруг появилась мама и почему-то позвала нас в папин кабинет, в углу там стоял диван и два кресла, мама притянула нас на диван, обняла обеих, прижала к себе.

— Девочки, будьте мужественными,— сказала она, а у самой по лицу бежали и бежали слезы,— в папу стреляли... Папа ранен.

Не знаю, поняла ли Гуля, но она ничего не спросила, а я не поняла и со всею детской верой в то, что любая беда должна кончиться хорошо, воскликнула:

— Но он же поправится!

И тогда мама сказала:

— Нет. Он очень тяжело ранен... Он умер.

Черная пелена застлала свет. Я физически ощущала эту черную пелену, как бы отделившую меня от всего, что было вокруг. Сквозь нее я еле различала гроб, который поставили в кабинете на странно развернутом и выдвинутом на середину комнаты письменном столе,

и мерцание свечей, и священника, бормотавшего молитвы и размахивавшего дымящим кадилом, и там, на столе, острый нос и закрытые глаза кого-то совсем не похожего на папу... Поздним вечером я ускользнула от мамы и сестры и пробралась одна в кабинет, чтобы убедиться — папа ли там. В темноте горело несколько свечек. Какой-то шорох за окном заставил меня взглянуть туда, и я тотчас отчаянно закричала — приплюснутые к стеклу, в окнах торчали какие-то незнакомые раскосые лица...

Утром мама проследила, как мы одеваемся, свела нас в кают-компанию завтракать, а потом ушла. Когда мы позавтракали, мы нашли ее в кабинете — она сидела у гроба, припав головой к его стенке, никого не замечая, ничего не слыша. В доме штаба толпились сотрудники и совсем незнакомые нам люди, все были растеряны, говорили вполголоса, мы уловили, что никто не знает, что же теперь делать, кто и как будет хоронить...

И вдруг к дому подъехал Веселого — с чемоданом, в теплой шине и шапке. Молоденький работник штаба мичман Робуш сказал: « Попрошу, чтобы он выяснил насчет похорон » — и пошел по коридору вслед за Веселого. Через некоторое время Веселого вышел из своей комнаты и быстро, даже не зайдя в кабинет постоять у гроба, как делали все, проследовал на улицу, сел в ожидавшие его сани и уехал в сторону порта. Через некоторое время появился Робуш и смущенно сказал, что Веселого поехал на крейсер «Глори» к адмиралу Кемпу. В том состоянии оцепенения, в котором мы находились, я бы не обратила на это внимания, если бы новость не произвела такого впечатления на окружающих — никто ничего не сказал, но все смолкли и как-то многозначительно переглядывались, усмехались, пожимали плечами... Дети очень чутки в таких случаях, и я ощутила, что произошло что-то странное и неприличное.

Затем пришел матрос Носков, папин военный комиссар, и сказал, что сейчас соберется Центромур и решит, как и где хоронить. Кажется, никакие отголоски обсуждения, развернувшегося в Центромуре, до нас не дошли, просто часа через два в штабе появился Самохин и стал распоряжаться, а у гроба в почетном карауле встали матросы. Много лет спустя я разыскала в Военно-морском архиве листок рукописного протокола того заседания Центромура и не могу не сослаться на него. Все члены Центромура сходились на том, что убийство — дело контрреволюционеров, но матрос Радченко твердил, что все офицеры одинаковы и никого из них нельзя уважать, с ним спорили, а потом решили «хоронить со всеми почестями революционного долга». У меня и теперь сжимается горло, а тогда...

За нашим домом среди низкорослых березок у края глубокой ямы стоял гроб, покрытый красным флагом. Я смотрела на этот длинный ящик и не верила, что там навсегда скрыт мой папа. Наша непоседливая мама как встала у гроба, крепко стиснув наши руки, так и застыла — не шевелясь, не плача. Отпел, откадил свое священник. Матросский оркестр заиграл «Вы жертвою пали...». Потом были речи, в них повторялось — контрреволюция, провокация, происки, — а мне все казалось, что надо встряхнуться, очнуться от этого ужаса — и все будет по-прежнему. Но вышел вперед Самохин, положил большую руку на край гроба и сказал очень просто:

— Вот ведь адмирал, а пошел с народом, честно пошел. И за это его убили.

За это — убили?.. «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» А Самохин сурово и торжественно произносил клятву отомстить за это преступление и отдать жизнь делу революции — до победы. Матросы повторяли — клянемся. И я повторяла про себя: клянусь!..

Недели через две или три, когда мы шли на первое собрание мурманской молодежи, мне представлялось—выполняю клятву, вступаю в борьбу роковую... Но все получилось проще. Собрались подростки и мелкота вроде меня, долго спорили, как назвать нашу организацию, и наконец решили: союз рабочей молодежи «Восход солнца». Но какая же организация без знамени и круглой печати?! Объявили сбор средств, чтобы послать Колю Истомина в Питер. Рабочие ребята вносили деньги из заработка, остальные выпрашивали у родителей. Мы не очень-то задумывались над тем, почему мама перестала вносить деньги в штабную кают-компанию, где мы до сих пор столовались, и почему расклеила объявления об уроках музыки; мы смело попросили денег на поездку Коли, мама смутилась, покраснела, но немного денег дала. Из Питера Коля привез печать с названием нашего союза и великолепное красное знамя с золотой бахромой. Печатью мы по очереди баловались целый вечер, ставя ее отпечатки на клочках бумаги, на столах и даже на собственных ладонях. А со знаменем гордо прошли по улицам, было нас человек сорок, зато пели мы во весь голос — для внушительности. Привез Коля и устав, но устав успеха не имел, там был неприемлемый пункт — «с 14 лет», а у нас половине членов еще не было четырнадцати!.. Думали-гадали, куда приложить силы. Самохин уехал в Питер, а оттуда на фронт, под Псков, не с кем стало посоветоваться...

Но тут началось то, что спустя несколько месяцев и погнало меня на причал. В жизнь вошла ф а л ь ш ь... Сперва я стала примечать, как изменились некоторые люди, которые раньше лебезили перед мамой и заигрывали с нами. Потом стало ощутимо, как что-то изменилось в жизни Мурманска — и Совет существует, и Центромур, а все зыбко, неясно. А потом...

Мы живем в каком-то странном положении — с нами вежливы и нас сторонятся. Всем заправляет Веселаго, но он, как слуга, бегаёт за разрешениями к адмиралу Кемпу, без него — ни шагу. У нас кончилось единовременное пособие, выхлопотанное Самохиным, мама снова расклеила по столбам объявления об уроках музыки. И вдруг к ней приходит Веселаго, чуть ли не впервые после папиной гибели. Они сидят в кабинете, мы прислушиваемся — тишина. Заглядываем в замочную скважину — мама что-то читает. Мы отходим. И вдруг раздается крик — мама кричит на Веселаго, мы никогда не слышали, чтобы она так кричала:

— Это неправда! От начала до конца — ложь! Я не позволю! Вы хотите прикрыться именем покойного!

Мы прирастаем к двери. Мама еще кричит, а Веселаго стоит молча. Потом мама затихает, и тогда Веселаго говорит очень спокойно:

— Неужели вы не понимаете, Ольга Леонидовна, к чему все идет? Подтвердите, и вам помогут. Захотите — уедете за границу. Или вы рассчитываете, что большевики обеспечат вас и ваших девочек?

Мы смотрим в скважину, отпихивая друг друга. Только что мама была вся красная от волнения, теперь она очень бледна. И молчит. Молчит. Молчит.

— Ваша подпись совсем не обязательна,— говорит Веселаго,— я это предложил для вашего собственного блага.

И тогда мама говорит незнакомо жестким голосом:

— Я не торгую честью мужа. Уйдите.— И срывается на крик: — Уйдите!

Потом мама плачет, как подружка, в наших объятиях и говорит, что Веселаго подлец, написал меморандум — историю своего предательства и хотел прикрыться папиным именем. Я думаю об этом не-

сколько дней — как же так? Был у папы помощником, такой всегда вежливый, и вдруг — подлец? История предательства?..

...Просыпаемся от грохота и слышим из-за стены протяжный мужской вопль. За окном — серый рассвет. Мы мчимся в коридор, в дверях своей комнаты стоит Веселаго и повторяет:

— В меня бросили бомбу! В меня бросили бомбу!

Окно в его комнате распахнуто, стекла вылетели, бревенчатый угол разорван силою взрыва так, что в проем видно небо и березки. На полу — обугленная дыра, кровать скручена чуть ли не узлом... А Веселаго невредим, только задирает штанину кальсон и показывает всем небольшую, с монету, ранку, как бы прижатую чем-то... Но тут нас замечает мама:

— В одних рубашках?!

Мы устыдились, бежим одеваться — и видим в окно своей комнаты, что английские солдаты цепью окружают Центромур, а несколько солдат врываются в дом. Между взрывом и появлением этих солдат прошло не больше пяти минут, но в середине дня было объявлено, что «в ответ на покушение» английскому командованию пришлось высадить войска «для поддержания порядка»! Застигнутые врасплох, в этот день были арестованы члены Центромура, многие матросы «Аскольда», большевистски настроенные рабочие депо... Мы видели, как англичане с берега расстреливали шлюпку, которая в семь часов, как всегда, отвалила от «Аскольда» за хлебом. Мы видели, как под охраной английской морской пехоты проводили по улице арестованных матросов — со скрученными назад руками...

В те дни я узнала новые слова: инсценировка и предательство. И не могла понять: ну, Веселаго — предатель, но ведь не он один устроил инсценировку? Кемп — пожилой человек, английский адмирал, как же он-то мог?..

...Митинг у здания Совдепа. По городу ползут странные слухи, поэтому вся горушка возле здания усеяна людьми. Мы с Гулей пробираемся поближе к высокому крыльцу, и вдруг за нами возникает глухой, злобный шум — ни слов, ни выкриков, а толпа гудит: невеста откуда появились английские солдаты и цепью окружили митинг. Но в это время на крыльцо выходит с неизменной гнутой трубкой в углу рта председатель Совета эсер Юрьев, а с ним — адмирал Кемп, французский полковник де-Лягатинри и еще какие-то военные. Юрьев говорит складно, с простецкой повадкой, о защите революции и Советской власти... слова знакомые, близкие людям, поэтому не сразу доходит их неожиданный смысл: Мурман могут захватить немцы, без союзников Мурман не отстоять, но центр далеко и этого не понимает, поэтому нужно временно отделиться от центра... Снова — глухой шум, теперь можно разобрать и отдельные выкрики: «Ловко!», «Уж этот спасет революцию!», «Продался!» Вслед за Юрьевым выступает адмирал Кемп, переводчик выделяет из его речи слова — «вы будете сыты»...

И на следующий день в обращении «союзников» к населению Мурманска, расклеенном на стенах и столбах, жирным шрифтом выделено — вы будете сыты! Мы читаем у столба эту оскорбительную листовку, где отделение от центра проскальзывает почти незаметно за приманкой сытости, а по улице идет столляр Степанов, длинный, худющий, мы с ним знакомы, он мастерит инкрустированные шкатулки, мама купила у него одну шкатулку, потому что у него чахотка и он кормит большую семью. Мы говорим: «Доброе утро!» — он отвечает: «Уж такое доброе, дальше некуда!» А навстречу Юрьев со своей трубкой. Юрьев широким жестом протягивает руку, Степанов резко отводит свою за спину, говорит: «Предатель!» — и плюет

Юрьеву в лицо. И шагает дальше. А Юрьев, озираясь, вытирает лицо рукавом...

В ту же ночь, а может в следующую, не помню, во всяком случае вскоре после митинга, сгорело здание Совета. Подожгли его, видимо, с четырех сторон, оно сразу запылало высоким факелом. Северными ночами, когда солнце не уходит с неба, спится плохо, и через короткое время множество людей высыпало на улицы. Мы тоже выбежали из дому — горюшка со зданием Совета близко, наискосок от штабного дома. Мимо нас прогрохотала бочками пожарная команда — но что она может сделать с таким факелом?! В блеклом свете низкого солнца полыхание огня не ярко, но грозно, слышно, как трещат горящие бревна, как завывает пламя. Рухнула крыша, взметнув в небо тысячи огненных брызг. А толпа стоит вокруг горюшки молчаливым полукольцом. Одни злорадно улыбаются, другие смотрят равнодушно, третьи — с любопытством, но все так или иначе понимают, что пожар — неспроста, что это — факел отмщения.

...Из Архангельска, где создано «правительство» генерала Миллера, прибыл «помощник генерал-губернатора» Ермолов. С ним — всякое начальство с дореволюционными званиями. О Совете и разговора нет, Юрьев куда-то исчез. Все организации распущены, наш «Восход солнца» тоже. Мы сидим дома. Мама мечется — уроков мало, в Мурманске нет роялей. Мама подала документы на пенсию, Ермолов сказал ей: «Конечно, я могу переслать ваше заявление в Архангельск, но ведь ваш супруг служил Совдепии!»

...Каждый день — новые аресты. Увели столяра Степанова. Жена плачет: «Ну, большевик, но ведь он кровью харкает, а его — в Иоканьгу!» Иоканьга — страшное место на побережье: с одной стороны — студеное море, с другой — болотистая тундра, а между ними тюрьма — подземная, в скалах. Туда увезли всех арестованных в Мурманске матросов и рабочих. Об Иоканье говорят шепотом: убежать оттуда невозможно, а выжить еще невозможней...

...Рассылный принес предписание из управления порта: О. Л. Кетлинской с детьми в двадцать четыре часа освободить штабную квартиру и переехать в город Александровск. Никакого города там нет — несколько десятков домов среди скал, военный пост при входе в Кольскую губу. Где там жить? Чем зарабатывать? Но нашу измученную, запутавшуюся маму больше всего потрясает, что бумагу подписал Дараган — морской офицер! Были знакомы! Она не понимает, что революция делит людей по-своему, и старается жить в не этого деления. Бегает, хлопочет, получает обидные отказы — и снова бегает, добилась отсрочки, потом разрешения остаться в Мурманске, потом — двух комнат в бараке. Ей идут навстречу, потому что она очень привлекательна и к тому же отличная пианистка. Она старается не замечать обид, зато радуется, как девочка, каждому доброму слову. Наивность? Или страх, что останется с нами без всяких средств?.. А нам горько и стыдно — лучше б уж уехать в двадцать четыре часа!..

...Вечер. Мама еще не пришла с урока, мы хозяйничаем на кухне. Кто-то быстро входит со двора и говорит: «Здравствуйте, девочки, мама дома?» Человек в потертой матросской робе, глаза тусклые, будто подернутые пленкой, лицо серое и такое худое, что торчат скулы. «Не узнали?» Он усмехается, и мы вдруг узнаем матроса с «Аскольда» Федорова: как председатель судового комитета он часто бывал в штабе, только был он раньше молодой, красивый и глаза у него сияли такой яркой синевой — ну, как южное море в солнечный день. Я стою, обомлев, а Гуля решительно говорит: «Пойдемте в комнату!» — и выглядывает в окно, не видел ли кто. В комнате Федоров тихо сказал, что убежал из тюрьмы, его переправят дальше, надо пе-

ребыть вечер... Мы его покормили своей стряпней. И тут пришла мама. Сидя так, чтобы в окно не увидели, Федоров скупно рассказывал, что аскольдовцы живут вместе, их загнали в подземелье без света, почти без пищи. Когда выдадут кусочек сала, его жгут, и все сидят кругом и смотрят, чтоб не ослепнуть совсем. Помирает много, а цинга у всех подряд. Бежать — некуда. Ему страшно повезло, что зашел пароход, послали выгружать, а там оказались знакомые ребята, кое-как переодели и спрятали под углем...

Как мы ни противились, мама послала нас спать. Уснуть казалось немислимо, все мерещились матросы — здоровые, веселые аскольдовцы, и вот — под землей, мрак, сидят и смотрят на чадный огонек, чтоб не ослепнуть, а глаза уже подернуты пленкой... Да как же это можно? Что же это за люди, придумавшие Иоканьгу?! Когда мы проснулись, Федорова уже не было. Мама сказала, что ночью его «переправили дальше» и никому о нем рассказывать нельзя, — будто мы и сами не понимали!..

...Гуля встретила кого-то из старых членов нашего союза и пришла возбужденная — надо вести пропаганду среди иностранных войск! Ей еще нет четырнадцати, но она высокая и кажется старше, и английским владеет неплохо, не то что я, лентяйка! А иностранных солдат и матросов стало много, вечерами они бродили по улицам — плитка шоколада в руке или женские чулки на шее. Правда, чулки носили американцы, реже — англичане, а французы и итальянцы только скалили зубы, задевая девушек. Когда Гуля храбро вышла на улицу навстречу английским матросам, я с завистью смотрела в окно: остановились... разговаривают... медленно пошли вместе... Я не заметила, что там произошло, увидела сестру уже мчащейся назад. Никто ее не догонял, но она мчалась во весь дух, а вошла — разревелась от злости и обиды: «Им только и ходить с чулками на шее!»

Все было подло — до тошноты.

Нет, не в тот вечер я побежала на причал. Прошло еще несколько дней и вечеров, когда ничего плохого не было и вообще ничего не было, день за днем — ни-че-го! Разве что мама начала давать уроки английского наизусть дочке, пожелавшей научиться «разговорному языку, только разговорному!». Гуля замкнулась и целыми днями читала, она и в тот вечер легла в постель с книгой, да и заснула с нею. А я лежала без сна и вдруг с отчаянной определенностью сказала себе, что все хорошее кончилось и жить нет смысла.

Вскочила, оделась как попало, выскользнула в окно, прикрыв его, чтобы Гуля не проснулась от ночного холода, и опрометью понеслась к заливу. Минута ужаса, захлебнуться и — конец.

Бежала-бежала и с разбегу остановилась, потому что на оконечности причала сидел пожилой дядька с удочкой. Но как только я остановилась и огляделась, вся прелесть существования внезапно открылась мне — сама не знаю почему.

Солнце, которое каруселило себе по небу круглые сутки, в этот полуночный час было таким блеклым, смиренным, что можно смотреть, не жмурясь, как оно медленно переползает с одной сопки на другую. Знакомые зеленовато-бурые сопки казались густо-лиловыми, как акварель на детской картонной палитре, а небо — огромное, без единого облачка — нежнейше сияло всеми оттенками желтого, розового, золотистого, зеленовато-серого с легкой примесью голубизны над Горелой горой, в противоположной стороне от солнца. Все эти оттенки переходили один в другой неуловимо. Я, конечно, знала, что обычное впечатление свода — обман зрения, но в тот час увидела, что его действительно нет, а есть прозрачная бесконечность — и это было прекрасно. А вода залива была глянцево-серой, только там, где угадыва-

лось ее легкое движение, скользили многоцветные блики — и это тоже было прекрасно. И рыболов был хорош — зюйдвестка грибом, темные неподвижные руки, ноги в разношенных башмаках на фоне блестящей воды...

Пробили склянки на транспорте «Ксения» и почти одновременно на «Аскольде», затем на миноносце и еще, еще — на кораблях, скрытых выступом берега. Этот милый флотский звук будто разбудил все другие звуки, полнившие тишину: поскрипывала оставленная на плаву лодка и, пришепetyвая, обтекала ее корму вода, с шелестом касаясь прибрежных камней и поцокивая о сваи причала. Неподалеку, на одном из рыбацких суденышек, молодой мечтательный голос совсем не страшно выпевал угрозу красавице, если она будет неверна: «В наказание весь мир содрогнется, ужаснется и сам сатана!» А в трюмной глубине «Ксении» кто-то бессонный пилил, пилил по металлу — вззиг-вззиг...

Жизнь была хороша сама по себе, как бы ни портили ее люди, и зачем же ей продолжаться — без меня? Какая ни на есть — она моя, не отдам ни одного дня, ни одного оттенка и звука, они мои, может быть, никто другой и не замечает их — вот как этот дядька с удочкой!

Новые звуки были грубы — топоча ботинками на толстенных подошвах, по причалу шли три американских солдата. Патруль. Я твердыми шажками подошла к рыболову и встала рядом. Дядька не шелохнулся. Громко переговариваясь, солдаты подошли и заглянули в ведро, где трепыхалось несколько рыбешек. И тогда дядька свободной от удочки рукой переставил ведро по другую сторону от себя, подальше от солдат. Те потоптались немного, один что-то проворчал — и все трое пошли назад, должно быть, не хотели связываться. А дядька покосился им вслед, плюнул в воду и с хитроватой усмешкой впервые взглянул на меня. И я впервые увидела его лицо — темное и жесткое от ветра, солнца и морской соли, с редкими, но глубокими морщинами, с короткими седеющими усами над сухим ртом, — обыкновенное и мудрое лицо человека, который долго жил и всему знает конечную цену.

— Чего бегаешь ночью? — сказал он хрипловатым голосом. — Иди спать.

Вроде и не случилось ничего в ту давнюю солнечную ночь, а помню так, будто была она вчера.

Жить! Но как?..

Мы впервые попали в церковь. В годовщину папиной смерти мама вдруг решила заказать панихиду, хотя религию в нашей семье не чтили. Она дала объявление в газете, но народу пришло мало, день был темный и ветреный, жалкие шатучие огоньки свечей не могли перебороть мглу — тускло сияла лишь позолота на иконах. Мама была огорчена, а нам с сестрой по душе пришлось и таинственная мгла бревенчатой церкви, колеблемая шатучими огоньками, и распевный бас священника, гудящий в пустоте. Будто спасительный островок открылся — в неустроенности нашей жизни, среди мерзости белогвардейщины и бестолочи интервентов (понаехало их видимо-невидимо, даже сербы и греки, даже шотландцы в клетчатых юбках!), будущее неясно, настоящее горько. Так, может, спасение в религии?.. Все окружающее — суeta суeta, есть высший судия, высшая правда, она — примирение и утешение?..

Потихоньку от мамы, боявшейся инфекций, мы бегали в церковь, даже к исповеди. Перед тем я перебрала все свои «грехи» и собралась выложить их без утайки, но громадный бородатый священник, при-

крыв чем-то мою голову, удовлетворился признанием, что я грешна, пробормотал отпущение грехов и подтолкнул меня к выходу. Я старалась не растерять благостного чувства, но обида осталась: хотела очиститься от проступков и сомнений, а богу не нужно?..

— В религии надо разобраться,— сказала обстоятельная Гуля,— пойдем к священнику, попросим книги.

Священник жил неподалеку от дома, возле которого убили папу. Мы прошли мимо, стараясь не глядеть на крыльцо, куда папа всползал, истекая кровью, и на окно чужой комнаты, где он умер. Но, может быть, он не пропал навек в той глубокой мерзлой яме, может, все-таки есть какой-то другой, неземной мир, где умершие встречаются, и сегодня я об этом узнаю?..

До нашего прихода священник, вероятно, лежал на койке, поверх смятого одеяла валялась раскрытая книга. Комната была узка, как щель, на бревенчатых стенах — ничего, только в углу — икона с потухшей лампадой. Священник усадил нас на табурет и стул, сам присел на койку. В церкви он казался громадным и даже страшным, а теперь я увидела толстого, расплывшегося квашней, неопрятного дядьку — рыжеватые с проседью волосы взлохмачены, глаза добрые и подпухшие, на ветхой рясе лоснятся пятна, из-под рясы торчат растоптанные валенки. Самый обычный домашний старик, к тому же, как видно, ложится на постель в валенках. Может ли быть, что именно он знает что-то самое главное?..

— Книги эти — скучные и непонятные,— выслушав Гулю, с улыбкой сказал он,— вижу, вы стали ходить в церковь, большего от вас и не требуется. А почитать...— он вытащил из тумбочки две потрепанные книжки без обложек,— вот это увлекательно! Возьмите, только меня не выдавайте... чтение-то не божественное!

Дома мы обнаружили, что он дал нам похождения сыщика Ната Пинкертон. Пинкертон мы прочитали, а с религией все кончилось — без терзаний, враз.

Жили мы уже в бараке, занимали там две комнаты с маленькой кухней. В кухне мы прожили среди всего нашего скарба месяца два, пока уцелевшие от арестов асольдовские матросы обшивали стены досками, засыпали за доски шлак, складывали добротные печи. Не знаю, как расплачивалась с ними мама, денег у нее было в обрез, но к вечеру мы варили суп погуще, с мясными консервами, матросы каждый раз отказывались, потом усаживались вокруг стола впритык друг к другу, а мы с ногами забирались на кровать — больше некуда было. Слово за слово — начинались разговоры да воспоминания, чаще всего — о жизни дома, до службы. В этой их жизни все было незнакомо мне, а потому интересно, — город ли, деревня ли, что я знала? Еще интересней было смотреть, как споро и весело матросы обстругивают доски, как ладно подгоняют их одна к другой, обшивая дом, но всего лучше было, если они разрешали помогать. Из банки с гвоздями нужно было отобрать гвоздь с гладким, не расплюснутым острием и быстро вложить его между двумя протянутыми пальцами шляпкой вверх, острием вниз, пальцы тут же приставляют острие к доске, молоток звонко ударяет, гвоздь с двух ударов вонзается по шляпку в упругую древесную плоть, а пальцы уже протягиваются за новым гвоздем — не зевай!

Когда утепление нашего жилья было закончено, мы с мамой поселились в одной комнате, а в другой, примыкающей к сеним, открылась библиотека. О библиотеке хлопотал еще папа, часть книг успели привезти из Питера, они лежали у нас дома в связках и с нами переехали в барак. Кое-что мама собрала «с рук» в Мурманске, затем поехала в Архангельск — хлопотать о пенсии и заодно раздобыть

литературу; пенсию так и не дали, а книг мама привезла несколько ящиков, мы втроем разбирали их, расставляли по полкам, писали карточки. Чтобы получить помощь, мама действовала от имени «литературно-художественного кружка», но, честное слово, кроме нас троих, не было никого, кто тут приложил бы руку. Первая мурманская библиотека была общедоступной и бесплатной, но и мама — ее библиотечкарь — ничего не получала, она продолжала бегать по урокам, а мы дежурили в библиотеке — я и Гуля, только теперь Гуля протестовала против своего детского имени, требовала звать ее Тамарой, к чему мы с трудом привыкали.

Библиотека оказалась для меня и счастьем и злом. Учиться было негде, мама время от времени пыталась заниматься с нами, но толку было мало: наша музыкантша понимала в математике и физике немногим больше нас, а ее попытки поставить физический опыт, описанный в учебнике, кончались беспомощным возгласом: «Ну, не знаю, почему он не получается!» — и общим хохотом.

С открытием библиотеки все наши интересы сосредоточились в ней. Посетителей было немного, но один молоденький солдатик из портовой охраны приходил почти каждый вечер, долго изучал каталог и уносил с собою не меньше двух книг. С другими читателями мы охотно болтали, а с этим стеснялись — уж очень молод и симпатичен. Солдатик тоже стеснялся нас. Иногда мне казалось, что он и не читает, просто книги — повод прийти.

— Неужели вы успели прочитать? — однажды решила спросить я, получая две толстые книги, взятые им два дня назад.

— Раз принес — значит, прочитал, — краснея, ответил солдатик.

— Как же вы успели?

— Ну, как! Если каждую свободную минуту читать, многое успеешь.

Мы решили тоже не терять времени зря — и быстро втянулись в новый режим. Посоветоваться было не с кем, поэтому мы начали с первой полки, по алфавиту. Собрание сочинений Аксакова, потом книжечка стихов Апухтина, потом Арцыбашев (этого мы, не сговариваясь, читали так, чтоб не увидела мама), затем сразу Байрон, Байрон — наше открытие, наша бессонница! Мы бредили Чайльд Гарольдом, плакали над «Шильонским узником», нас ошеломил Каин.... Затем мы дружно, на первом же томе обширного собрания, отвергли Боборыкина и надолго погрузились в мир Бальзака... Глотая понятное и непонятное, жадно вчитываясь в неведомую жизнь и в сложные человеческие взаимоотношения, — сколько раз я замирала над страницей, потому что она прекрасна, или оттого, что она открыла мне что-то совсем новое, или хорошо знакомое предстало по-новому ярко! Но пленяясь одной книгой и скучая над другою, я надолго поверила, что такого-то писателя знаю «от корки до корки», а другого читать не стоит. Много лет спустя, взявшись перечитывать «знакомое», я по-настоящему открыла для себя многих писателей и поняла, как подводило детское восприятие. И все же я с признательностью вспоминаю тот год чтения «по алфавиту»!

Из недетского затворничества в бараке на краю пустыря запомнились только два прорыва — два предвестника.

Маму привлекли к участию в концерте в пользу строительства детского приюта. Приглашению она явно обрадовалась, — хотя ее и возмущал наплыв интервентов (из патриотизма, а еще больше потому, что помнила — папа был против вмешательства иностранцев, готовых «разграбить Россию по частям»), но собственных политических убеждений у нее не было, ей хотелось жить вне политики, принося по-настоящему пользу детям, раненым, людям, тянущимся к книге. А по

живости характера отчужденность ее тяготила. В подготовку концерта она втянулась со свойственной ей энергией. Заправлял организацией приюта дамский «комитет общественного призрения» во главе с объемистой и препротивной дамой, супругой какого-то начальника. Фамилия дамы была Сахарова. И вот из ее разговора с мамой мы узнали, что приют уже строится на том берегу залива и Сахарова завтра утром поедет туда, а к вечеру вернется — рейсовым пароходиком. Мы не удержались — возьмите нас! Мы никогда не были на том берегу, мы вообще нигде не были!.. Видимо, мамино участие в концерте было необходимо — Сахарова согласилась и показала нам почти симпатичной. Но стоило нам отплыть от причала, как она начала портить нам все удовольствие: «отойдите от борта!», «стойте рядом со мной!», «куда вы лезете!», «не вертитесь!» — ну, репей!..

За поселком Дровяным, на склоне сопки, выкладывали фундамент приюта. Сахарова дотошно все проверяла, ругалась со строителями, но и нас успевала поругивать: зачем отошли то нее, зачем собирали ягоды и вообще ведем себя «не так, как должны вести себя девочки из хорошей семьи!». Кажется, это был намек на то, что семья все же не вполне хорошая.

— А ну ее к черту! — шепнула я сестре. — Убежим?

И мы убежали. Бродили по лесу, взбирались на сопки, чтоб увидеть длинную-предлинную ленту Кольской губы, в ложбинах находили чернику и голубику, а в одном месте напали на морошку — янтарную, терпкую на вкус. Затем мы заблудились. Знакомые звуки морской жизни — гудок буксира, грохот лебедки в угольном порту — вывели нас к заливу, но, как оказалось, далеко от Дровяного. Пока мы карабкались вверх-вниз, вверх-вниз, времени прошло много. Наконец мы услышали зычный голос Сахаровой — она звала нас и ругалась неадаскими словами. Идти на ругань? Нет, спасибо, выйдем прямо к пристани.

На пристань мы опоздали — рейсовый пароходик на наших глазах отвалил от нее и почалпал к Мурманску, неся на палубе объемистую тушу разгневанной дамы. Не знаю, заметила ли она две фигурки, застывшие на пригорке, но она потрясала могучими руками и явно недоброе говорила о нас немногочисленным пассажирам.

Выяснилось, что пароходик — последний, следующий пойдет в шесть утра. Мама будет волноваться... нет, Сахарова скажет, что мы опоздали и приедем утром. А ночевать где? И есть хочется. Домашние бутерброды мы съели давным-давно. Ягоды перебили аппетит, но теперь... что же делать теперь?

Мы еще побродили по сопкам, но ягоды куда-то запропастились, солнце ползло низко, под деревьями сумрачно. И хотелось спать. Гудели ноги.

Гуля решила — попросимся на сеновал. Мы постучали в один дом — никто не отозвался. Постучали во второй — дверь открыла чернобровая-черноглазая в белом платочке, охнула и пропела мягким украинским говорком:

— Господи, таки гарненьки девчата на вулице ночью!

Она постелила нам настоящую постель, взбила подушки до шарообразного состояния, а потом всплеснула руками:

— Та вы же голодненьки! А ну, сидайте за стол.

И сама присела к столу, глядя, как мы едим, и говорила с нами как с равными и о себе, и о муже — машинисте с буксира, и о том, что черти понесли их на Мурман, а здесь их «захлопнули» с этим отделением от центра, чтоб им провалиться, гадам-предателям, они у англичан... лижут, а честные люди сиди тут возле их дерьма... Крайне сочно она говорила — не пересказать, от этого мы чувствовали себя

взрослыми, свободными людьми. А дала она нам по миске рассыпчатой гречневой каши и по кружке сырого молока. С тех пор нет для меня лучшей еды — в ней навсегда закрепился вкус свободы.

...В Мурманске, переполненном белогвардейцами и интервентами, — революционная демонстрация!.. Было ветрено, тепло и сыро, снег все валил и валил мокрыми хлопьями, и сквозь эти хлопья по улице Базы шли плотными рядами, по восемь человек в ряд — матросы, портовики, женщины... Во главе — красный флаг, где-то в середине рядов — самодельный красный плакат. Не помню ни точного повода, ни даты, но, вероятно, трудовой Мурманск вышел на улицу, чтобы «поторопить» уход интервентов, — тогда, в 1919 году, интервенты держались уже непрочно, ходили слухи, что английские рабочие отказываются грузить суда, идущие в Мурманск с оружием и припасами для английских войск, что во многих странах началось движение «Руки прочь от России!».

Когда мы прибежали на Базу, демонстрация была не так уж велика, но она росла на ходу — люди выходили из барачных корпусов, нерешительно шли рядом, демонстранты приветливо размыкали строй — и вот уже новичок включен в ряд, и ряды выглядят грозно и мощно, потому что все идут, взявшись под руки, по лужам, по слякоти, по месиву грязи — раз-два, раз-два! Мы искали знакомых матросов, сквозь снегопад никого не разглядели, но и незнакомые добродушно приняли нас как больших. Шире шаг, шире шаг! Я старалась идти в ногу, по лужам так по лужам, подумаешь! — с двух сторон меня поддерживают под локти крепкие руки, все поют, и я пою как можно громче и суровей, потому что такова песня:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе!..

Гуляя тоже где-то тут, в другом ряду, я ее не вижу, впереди и рядом — черные бушлаты и полушубки, обветренные лица с настороженными глазами, что-то высматривающими сквозь хлопья снега... Что там, впереди? Может быть, нас ждут за поворотом? Может быть, вот-вот грянут выстрелы?.. От этого и страшно, и жарко, и весело — да, весело и необычно хорошо, я же не одна, мы идем все вместе, рука об руку, и дух крепнет в борьбе, «час искупленья пробил», меня приняли как равную, мы идем — что бы ни ждало нас впереди, «кто честен и смел, пусть оружие берет!» — а у матросов есть оружие? Револьверы в карманах или под бушлатами — «лимонки»? Тогда пусть «они» попробуют сунуться! — вон как нас много стало, понемногу прибавлялось, а теперь — сила! И женщин много, вот сзади, наискось от меня, между двумя матросами шагает Люша, отчаянная Люша из нашего барака, она и сейчас хохочет, показывая свои яркие зубы, ей не страшно!.. А там кто? — да это же Коля, Колька Истомин, и с ним еще ребята из нашего «Восхода солнца», разогнали нас, а мы все равно есть, и никого не боимся, почему я думала, что все кончено? — вот дура была! — мы тут, мы идем —

Нас ждет или смерть, или победа,
Вперед, товарищи, вперед!

Выстрелов не было. Перед нами пустели улицы — будто ни белогвардейцев, ни интервентов нету, вымерли, будто победа уже вот она — наша! И так странно было часом позже, когда мы шли домой, видеть на тех же улицах, где проходила демонстрация, множество военных патрулей — белогвардейских, английских, американских... Значит, испугались?!

Я нарочно шла прямо на них, заносчиво вскинув голову, но они равнодушно пропускали меня, они просто не знали, что я уже взрослая, что я только что как равная шла в рядах! И я не знала, не догадывалась, что приобрела что-то очень важное, может быть самое главное — и на всю жизнь, — в этот метельный день, когда выстрелов не было, но они могли и быть.

Жизнь начинается сегодня

«Ветер, ветер — на всем божьем свете!» — эти слова уже были написаны Александром Блоком, только я их не знала. И еще не были написаны ни «Песня о ветре» Луговского, ни «Ветер» Лавренева. Но образ возникал естественно из порывистой размашистости революции, этим буйным ветром выдуло из Мурманска интервентов и белых. А всю нашу жизнь просквозило и переиначило. Захотелось передать это ощущение в стихах — их тогда сочиняли много и пылко. «Ветер, ветер, стремительный ветер» — так я написала, но рифмы к ветру не нашла и... ну и черт с нею, с рифмой, когда этот самый ветер подхватил и закружил меня, когда вокруг все создается заново и от молодежи не отмахиваются, а зовут ее, и уже существует большая молодежная организация — РКСМ, Российский коммунистический союз молодежи, и у нас вот-вот будет своя комсомольская организация, 21 марта собрание!

Среди маминых книг был роман под названием «Жизнь начинается завтра». Мне казалось, что название относится ко мне: все — завтра, а оно, это «завтра», очень далеко, еще надо расти и расти... И вдруг — уже! Не когда-то там, а сегодня начинается жизнь!

И все-таки появилась закавыка, тот же несчастный пункт устава, теперь уже всероссийски утвержденный — с четырнадцати лет. В докладе на собрании было уточнено: «начиная с года рождения 1905-го»... А если у меня — шестой?

К столу, где записывали в члены комсомола, выстроилась веселая очередь. Я тоже встала в очередь, готовясь спорить и требовать, а если надо — ругаться... Только бы не зареветь! За столом сидели молодые ребята, они придирались не будут, но сбоку стоял незнакомый взрослый человек, лобастый и глазастый, в каждого так и впиывается взглядом, каждому задает вопросы... Я тихонько спросила — кто такой? Говорят — из укома большевиков. Ох! Как ни старайся выглядеть постарше, он вопьется взглядом и скажет: «А ты куда, мелюзга?»

Фамилия, имя...

— В «Восходе солнца» была? — спросил глазастый.

— Была.

— Значит, опытный товарищ, — улыбнулся он.

Жуткая минута приблизилась вплотную:

— Год рождения?

Я начала обстоятельно и медленно:

— Одна тысяча девятьсот... — И после паузы: — Пятый!

— Распишись.

Старательно расписалась и отошла вприпрыжку. Нечестно? Ничего подобного! Идет революция, все — на слом, «мы наш, мы новый мир построим!» — и вдруг какие-то старорежимные ограничения, еще бы церковную метрику спросили! И при чем тут год рождения, ведь я-то знаю, что смогу все, чего потребует революция, не хуже этих, которые пятого и четвертого года!

Рассказывая, я злоупотребляю восклицательными знаками? Но вся жизнь тех дней шла на восклицательных знаках.

Ждали — не без трепета — партизанский отряд Ваньки Каина. Про Каина рассказывали всякое, рисовался он чем-то вроде прогремевшего на Украине батьки Махно. Знали, что со своим отрядом он захватил белогвардейский бронепоезд, прошел с ним по линии, громя остатки белогвардейщины, а теперь на том же бронепоезде движется к Мурманску. Ждали «грозу», ведь недаром он взял себе имя — Каин. А приехал совсем не страшный, немногословный дядя из архангельских крестьян, Иван Константинович Пospelов, начал мирно работать в Совете, а в комсомол из его отряда пришли двое — четырнадцатилетний, маленького роста, но на редкость ширококостный, весь квадратный Кирик Мاستинин и дочка Ваньки Каина, шестнадцатилетняя Аня Пospelова, застенчивая девушка с русой косой, заговорят с нею — краснеет, теряется, а ведь участвовала в боях!.. Я завидовала ей, но особенно Кирику: всего на шесть месяцев старше меня, а полтора года воевал!

Привезли мурманчан из иоканьгской тюрьмы. Сколько лет прошло, а помню отчетливо — долго-долго швартуется пароход, а на палубе почти пусто, наконец наводят сходни, запрудившая весь берег толпа подалась вперед, готовая и рукоплескать и плакать, а иоканьгцев все нет... все нет... и вдруг на палубе, а потом на сходнях появляются... да что же это?! — они не идут, их ведут под руки, вместо лиц — страшные белые маски с заплывшими глазами, руки тоже одутловатые, как подушки, а ноги как тумбы. Раздался отчаянный женский вскрик — и тишина, такая тишина, будто онемели все разом. Вслед за теми, кто хоть как-то мог идти, понесли на носилках тех, кто уже не мог двигаться... и таких было больше. А еще потом стали выносить тех, для кого освобождение пришло слишком поздно.

— Девочки, я не приду ночевать, — с какой-то отрешенностью от нас сказала мама.

Госпиталь для иоканьгцев был наскоро оборудован в Морском клубе. Мы часто забегали к маме, но она выходила только на минуточку — в белом халате и косынке, побледневшая, с красными от бессонницы глазами. Торопливо спрашивала, как мы управляемся одни, и рассеянно пропускала мимо ушей наши ответы, она была всеми помыслами тут, в госпитале, — некоторых больных уже нельзя было спасти, каждый день кто-то умирал, а другие и не умирали и не поправлялись, их надо было кормить с ложечки и помалу, у всех была цинга, голодные поносы, истощение предельное... Только в блокаду я поняла, что это такое. А тогда я вглядывалась в их опухшие лица и не узнавала никого, хотя были среди них знакомые матросы. Мало их дожило. И столяр Степанов не дожил.

Дней через десять пришел из Петрограда санитарный поезд, и всех иоканьгцев отправили «в Россию». А тех, кто не выжил, хоронили в центре Мурманска в большой братской могиле. Недавно я побывала в Мурманске, постояла в молчании у памятника жертвам интервенции... Я уже знала, до чего может дойти человеческая жестокость и низость, я уже знала фашизм, войну, блокаду. А в день, когда в разверстую мерзлую яму опускали гроб за гробом, я еще ничего такого не знала и мучительно думала, думала, думала — как могут одни люди, кто бы они ни были и что бы их ни отделяло от других, содейть такое с другими людьми?..

За время, что мама работала в госпитале, мы набрались самостоятельности, но и мама отвыкла опекать нас, да и некогда ей было... в библиотеку хлынули новые читатели. Красноармейцы, матросы, рабочие, молодые партийные агитаторы жаждали книг. Нарасхват шли Горький и Толстой, Джек Лондон и Гоголь, спрашивали «нединные пьески, чтоб не много действующих лиц» (мама давала чеховские «Мед-

ведь» и «Предложение»), спрашивали Ленина и Маркса — их не было. Зашел как-то «на огонек» молодой комиссар Красной Армии Чумбаров-Лучинский, в разговоре выяснилось — питерский поэт, печатает стихи в газетах; в тот же вечер в библиотеке он прочитал несколько своих стихотворений. Чумбаров-Лучинский помог маме получить кое-какую политическую литературу, заходил все чаще, сидел все дольше, но с мамой говорил ершисто: «Вы же из чуждого класса, что вам наша революция? Вы что же — решили снизить до нас?» Мама рассердилась: «Я — у себя дома и делаю полезное для всех дело, а вы почему приходите — снисходите до меня?» Он покраснел: «Не сердитесь, я пробую разобраться, что вы за человек...» Пришел он как-то вечером, а в его кудлатых, давно не стриженных волосах — кусочек сала. Мама сказала ему об этом. «А вас коробит? Привыкли к напояженным аристократам?» Нас обижало, что он так говорит с мамой, но когда мы ей об этом сказали, мама с улыбкой покачала головой:

— Он не со зла. И сало — нарочно. Он очень чистый, хороший юноша, очень убежденный, ему у нас нравится, но он боится подпасть под «чуждое» влияние.

Как ни радовало нас, что в библиотеку ходит столько народу, сидеть целый день над карточками мы не хотели, за стенами барака становилось все интересней, в комсомоле начинались наши собственные дела, где мы были не при мамочке, а сами по себе. К нашему удовольствию, руководители Морского клуба предложили маме передать библиотеку в клуб и поступить туда библиотекарем. Мама охотно согласилась. И через неделю уже занималась не только библиотекой, но и подготовкой концерта, и хором, и даже кружком рояля. Кружок ее смущал:

— Есть очень музыкальные матросы, у одного абсолютный слух, тонкое восприятие музыки, но пальцы! Пальцы! Их же надо ставить с детства!

На каждом занятии кружка она проводила беседу о музыке, о композиторах, сама играла наиболее доступные отрывки, готовилась к этим «показам» не менее старательно, чем к концертам... На ее беду, в клубе полюбили ее — и это узнал Радченко, тот самый матрос, который считал, что «все офицеры одинаковы и никого нельзя уважать». При белых он продолжал служить в Кольской роте, в начале интервенции даже участвовал в переговорах с адмиралом Кемпом, позднее был арестован, но в Иоканьгу его не отправили, а вскоре и совсем освободили. Зато теперь он был «революционнее всех революционеров», гремел на собраниях и вот — понес всякую околесицу про «адмиральшу, которая пробралась в клуб, чтобы отравлять сознание матросов». А людей, знавших, что за человек был адмирал Кетлинский и что произошло в начале революции на Мурмане, почти не осталось — после воссоединения с Советской страной тысячи мурманчан устремились «в Россию», домой. Вместо них приезжали люди новые, копать в прошлом им недосуг было, зато многие повоевали против белых генералов и адмиралов.

Маму арестовали на работе, в библиотеке. Тюремь в Мурманске не было, под нее приспособили один из английских барачков, мы разговаривали с мамой через окошко, передавали ей разные домашние вещи. Для женщины ее воспитания арест был трагедией, но мы не видели маму ни потрясенной, ни унылой, может, она хотела подбодрить нас, а может, ее выручала неистребимая жизнерадостность. Улыбаясь нам, она говорила, что ее, наверно, задержат «до конца гражданской войны», но ведь гражданская война уже кончается! Главное, девочки, будьте разумными и заботьтесь друг о друге, скоро мы снова

будем вместе. Это все Радченко, он написал ужасное заявление, ни слова правды... а как доказать?.. Если бы найти аскольдовцев!..

Аскольдовцев мы не нашли — те, кто уцелел, уехали домой или ушли воевать. Эх, был бы Самохин, он бы этого Радченко!.. Но Самохин так и затерялся на фронтах гражданской...

Клевета Радченко ошеломила меня — зачем? Он же понимает, что написал гнуснейшую ложь! А мама арестована... Это была первая несправедливость, с которой я столкнулась в моей новой жизни — и как раз в то время, когда все вокруг радовало и увлекало. Нашелся злой человек... но почему же ему поверили? Видимо, все же не поверили, а то осудили бы маму или расстреляли как заклятого врага... но почему же все-таки решили задержать «до конца гражданской войны»?..

Днем меня занимали самые разные дела, но вечерами я подолгу не могла заснуть в нашей опустевшей комнате, где без мамы стало неуютно, холодно. Лежала и думала, стараясь понять... нет, оправдать случившееся. Гражданская война, говорила я себе, это борьба двух классов, борьба насмерть. Юденич, Колчак, Деникин, Миллер — вплоть до мурманского Ермолова... да, они враги, они-то никого не щадили. Я же видела «инсценировку» Веселаго, предательское лицемерие адмирала Кемпа, жестокость белогвардейцев и интервентов, я своими глазами видела, что они сделали с большевиками в Иоканье! В разгар борьбы в каждом человеке не разберешься. Значит, если принадежишь к враждебному классу, посиди до конца боев там, где ты навредить не можешь?.. Все это было правильно, логично, но... но это коснулось мамы, моей мамы, такой простодушной и откровенной, что даже если она соврет в мелочи, у нее на лице написано: «вру!» Как же этого не видят те, кто решает ее судьбу?.. Наверно, им некогда, идут бои, теперь вот белополяки выступили на смену Колчаку и Деникину...

Так я рассуждала сама с собой. И никому не жаловалась, ни о чем никого не просила, даже у себя в комсомоле не искала ни сочувствия, ни помощи в беде — мне было неловко, будто я сама совершила несправедливость и не знаю, как ее истолковать.

Маму увезли в петрозаводскую тюрьму. Перед отъездом ее отпустили домой за вещами. Она отобрала свои лучшие платья, шарфики, всякие женские пустячки. «Ведь Петрозаводск — большой город, там есть театр и даже музыкальная школа!» До нее как-то не доходило, что ее везут в тюрьму, она была полна оптимизма и волновалась только о нас — как мы проживем без нее, будем ли разумными...

Мы не были разумными. Мы глупо рассорились с Тамарой. Еще до маминого ареста она начала работать в каком-то культпросветучреждении, а теперь почувствовала себя главой семьи и попробовала командовать мною, ругала за беспорядок в комнате и непостиранное белье, за то, что я ничего не сготовила к ее приходу. Стерпеть такое я не могла — и решила жить самостоятельно. Объявлений о найме на работу было много, я побежала по первому, где нуждались в «хорошо грамотной сотруднице на должность журналистки» — нет, к журналистике эта работа отношения не имела, нужно было всего-навсего записывать в журналы «входящие» и «исходящие» бумаги. Называлось мое учреждение Опродкомбриг 2—1, что означало — Особая продовольственная комиссия 2-й бригады 1-й дивизии 6-й армии. Комиссия брала на учет продовольственные и фуражные запасы, оставшиеся на Мурмане после ухода интервентов. Меня посадили за стол, где лежали два журнала, — и началась моя трудовая деятельность ограниченная четырьмя часами согласно советскому закону о труде подростков. Солидные военные дяди, работавшие в комиссии, называли меня дочкой и в час дня усиленно гнали домой, но я шла вместе с ними в армей-

скую столовую, а после обеда частенько возвращалась на работу. Мне нравилось мое новое положение, и мои начальники, и столовая (не надо готовить дома!), и хотелось насолить сестре — пусть не задается!

А Тамара взяла и уехала. Не помню уж на какую конференцию ее выбрали, но однажды она деловито сообщила, что завтра уезжает в Архангельск, пароход должен уйти днем, «ты, наверно, не сможешь проводить?».

— Как же я уйду с работы! — внутренне дрогнув, сказала я.

— Может, останусь работать в Архангельске, — то ли всерьез, то ли пугая меня, проронила Тамара, укладывая свои немногочисленные одежды.

— Конечно, там интересней.

На том разговор и кончился — коса на камни! А ведь она действительно осталась в Архангельске, оттуда ее послали в Мезень — и встретились мы с нею только год спустя, у мамы, начисто забыв нелепую ссору. А тогда я и на пристань не пошла, сидела над своими журналами и старалась забыть о том, что Гуля уезжает. Отвальные гудки парохода донеслись отчетливо. Я сорвалась с места и выскользнула в коридор, откуда был виден кусочек залива, — по этому серо-зеленому кусочку проплыли трубы и мачты, медленно проплыли и скрылись... И такая тоска вдруг защемила душу...

Но веселый птенец, жаждавший независимости, тотчас заворочался, заверещал, выбиваясь на волю из скорлупы детства. Не оттого ли мы и рассорились? Два юных человека ринулись в самостоятельную жизнь, отпихивая все, что могло помешать, — сестру так сестру! В молодости тянешься не к тому, что уже есть, а к тому, что будет. Крутя любопытным носом, я стояла одна перед необъятным простором — и готовилась расправить крылышки. Семья распалась, все домашние постромки оборваны... Что же теперь?

Самостоятельность началась с пишущей машинки. Я и не думала о «повышении квалификации», и не собиралась оставаться конторским работником, да и Опродкомбриг был организацией временной: подсчитают запасы, сдадут отчеты — и прости-пощай! Пока же Опродкомбригу была остро нужна машинистка. Но откуда взять в маленьком Мурманске незанятую машинистку? А громадный «ундервуд» под тяжелой металлической крышкой стоял у окна на низеньком столике, и на пыльной крышке можно было рисовать рожицы, что я украдкой и делала, пока однажды не подумала: а почему я не сумею? Все когда-нибудь начинают! Сразу подошла к начальнику:

— Можно, я научусь на машинке?

— Ты?

— Ну да. Поупражняюсь — и буду вам печатать.

Кажется, все до единого сотрудника помогали мне снимать крышку, вытирать пыль и разбираться в устройстве машинки — где какие буквы и знаки, для чего разные кнопки и колесики. Они были славными людьми, опродкомбриговцы, хотя несколько разочаровали меня — поступая в армейское учреждение, я по молодости лет ждала встретить каких-то особых, почти легендарных героев, ведь Красная Армия три года воевала против множества государств — и победила! А повстречала я людей простых, не очень-то грамотных, не очень-то здоровых, кроме муки, сахара, овса и сена, занимавших их время и мысли, говорили они о самых обычных житейских вещах, даже обсуждали, как лечить «проклятый ревматизм», и только постепенно выяснялось, что один из них был трижды ранен, другой бежал из белогвардейского плена, а тот, с проклятым ревматизмом, заработал его в болотах Прионежья, в партизанах... Рассказывать о своих подвигах они не умели, отделялись скупыми ответами: «Ох, и не спра-

шивай, такого хватили!» — или: «Считай, был уже покойником, вторую жизнь живу!» А вокруг пишущей машинки они вели себя как ребята, добравшиеся до часового механизма.

Хотя я была девчушкой, меня ценили за то, что я почти всегда могу подсказать, как пишется трудное слово. И когда я начала выстукивать по белым клавишам с черными буквами строку за строкой, они с уважением поглядывали, прислушивались и не мешали — если нужно записать «исходящее», запишут сами. А я стучу да стучу одним пальцем — тюк! — пауза и снова — тюк! Потом пошло быстрее — тюк-тюк-тюк! — покручу пальцем в поисках редкой буквы и снова, еще быстрее — тюк-тюк-тюк-тюк! — а со всех сторон одобрительные взгляды и улыбки. Через несколько дней я уже не искала буквы, они сами попадали под пальцы. И как раз в это время понадобилось напечатать длиннейшую сводку с надписью в правом углу — с о в е р ш е н н о с е к р е т н о. Обычно с такими сводками обращались в штаб бригады, а потом долго ждали, пока их перепечатает перегруженная работой засекреченная машинистка. Что значит засекреченная? Мне представлялось, что она укрыта под семью замками в какой-то никому не известной комнате. И ее надо искать, а она прячется. И поэтому ее прозвали Ведьмой.

— Хватит пресмыкаться перед Ведьмой, — сказал мой главный начальник, — пусть Верушка перепечатает. Все равно ничего не поймет.

Меня не обидела мотивировка — очень-то нужно понимать эти нудные столбцы четырехзначных цифр! А вот напечатать их без опечаток... Семь потов сошло с меня, пока одолела сводку. И уж, конечно, опечаток хватало. Но с тех пор я печатала все секретные и несекретные сводки и письма, действительно мало что понимая в них; только под конец моей службы в Опродкомбриге я посмела спросить, что означает загадочное слово *ф у р а ж*, и как же я изумилась, ко всеобщему веселью, узнав, что это те самые овес и сено!

— Ты еще здесь? — восклицал иногда начальник, увидав меня во второй половине рабочего дня. — А если из-за тебя меня под суд отдадут?!

Он так и не узнал, что подсуден вдвойне, так как мне нет еще и четырнадцати лет. Но я была увлечена своей новой, ответственной ролью в Опродкомбриге. Да и что делать дома?

В комнате, где была библиотека, еще при маме кто-то поселился. А наша большая, прежде такая уютная комната приобрела нежилой вид. После отъезда Тамары я старалась приходить только на ночлег, но иногда некуда было деть себя — комсомол не имел помещения, собирались мы где придется, чаще всего на улице у Морского клуба, если погода позволяла. Но погода часто не позволяла.

Однажды вечером ко мне зашла наша соседка по барaku, отчаянная Люша.

— Так и живешь одна? Хо-зй-ка!

Заглянула в кастрюли, пошарила по полкам, взяла тряпку и ве-ник — не успела я ответить на все ее расспросы, как пыль была вытерта, пол подметен и вымыт, простыни сменены, грязное белье замочено в корыте. Тем временем сварилась пшенная каша и закипел чайник. От себя Люша принесла шпик, накрошила, обжарила, замешала в кашу.

— Садись, ешь!

Обычно я не ела вечером, считала — хватит и обеда, а тут навалилась и съела все дочиста.

— Вот что, Верушка, — сказала Люша, — тебя все равно уплотнят, так лучше мы к тебе переждем.

И они въехали ко мне — Люша с мужем и двумя ребятишками.

Ох и заголосили другие соседки! Чего только не наговорили мне про Люшу — бессовестная она, чужой бедой воспользовалась, на вещи позарилась, гляди, обдерет тебя как липку... Я слушала их и не могла понять, то ли они завидуют Люше, то ли сплетничают от нечего делать. Зачем они так? Я и тогда чутьем угадывала и теперь уверена, что была Люша чудеснейшей женщиной, работающей и отзывчивой, я от нее ничего, кроме добра, не видела, а уж насчет вещей, так именно ее заботами уцелели мамины пальто и платья — перетряхнула и нафталином пересыпала. А уж мои одежды и починит, и пуговицы закрепит, и на моих «мальчиковых» ботинках, полученных по ордеру, заставит соседа-сапожника срочнейше подбить подметки.

Люша отгородила меня двумя шкафами, получилась комнатка с одним окном, самым солнечным и интересным, из него были видны сопки того берега, и залив с кораблями, и много мурманского многокрасочного, всегда неожиданно нового неба. Но шкафы не были преградой для звуков, и я слышала всю жизнь Люшиной семьи, а она была громкая. Я даже не предполагала, что такое может быть, мама с папой никогда не ссорились, не повышали голоса; а Люша «шумела» и на мужа, и на детишек, и сама говорила: «Уж я такая, шумлю!» Много лет спустя я вспоминала ее, когда писала в «Мужестве» свою Танюшу — Грозу морей. Из-за шкафов мне иной раз казалось, что она вот-вот побьет мужа, выгляну — а Люша потчует мужа всякими вкусными вещами и, ругая его, весело посверкивает глазами, рабочая блуза мужа уже выстирана и сушится над плитой, Люша успевает и детишек уложить, и между делами что-то зашить, что-то прибрать, ну и языком не забывает работать, а муж ест-похваливает ее стряпню да посмеивается, молчаливый он был человек, Люша наговаривала за двоих.

С жильем в Мурманске становилось все трудней, понаехало много народу, так что меня еще «уплотнили». Сперва вселили старушку, приехавшую с каким-то учреждением, она была одинокой старой девой, очень тихой и какой-то неприметной — ее кровать и стул в двух шагах от меня, а ее вроде и нет. Мышка. Люша пошумела, что «дите стиснули», и стала заботиться о Мышке тоже — чайку предложит, бельишко «заодно» простирнет. Потом ко мне вселили пожилую машинистку, тоже приезжую, но тут уж нельзя было пожаловаться, что она неприметна. Большая, нескладная, с крупным, лошадиным лицом под самодельными кудряшками, перехваченными лентой, она ко всему относилась брезгливо-обиженно и всячески подчеркивала, что создана для иной жизни. На вопрос Люши, была ли она замужем, новая жилища с предельной брезгливостью ответила:

— Нет, конечно.

Только она прошла за шкаф, Люша заплясала на месте и подняла два пальца — дескать, две старых девы! Но жилища, видимо, увидела или догадалась, она разгневанно выскочила на Люшину половину:

— К вашему сведению, я не старая дева, я двадцать раз могла выйти замуж, ко мне сватались богатые, порядочные люди, я сама не захотела, потому что презираю мужчин.

— Да уж как их не презирать, лежебок, — давясь смехом, согласилась Люша и мимоходом шлепнула мужа, отдыхавшего на кровати.

Новую жиличку она с первого дня окрестила Лошадью.

Я совсем не тяготилась уплотнением. Последние скорлупки детской замкнутости в семейном мирке с треском упали, и я вступила в житейский мир, где было столько разных и занятных людей. Одна только отчаянная Люша с ее характером, с ее неистребимой веселой силой была для меня открытием. Зато от Мышки я однажды услышала, что она всю жизнь работала переписчицей в управе, что ее

ценили за аккуратный почерк и «заработка на жизнь хватало». Она этим тихо гордилась. А под словом «жизнь» понимала еду и одежду. И все?! От Лошади я узнала, какими крупными делами ворочали на севере лесопромышленники (она была родственницей одного из них) и какие богатые были рыботорговцы, купцы первой гильдии (все до одного — ее отвергнутые женихи!). По вечерам, когда мы укладывались в своем закуте, я любила наблюдать, как новая жилища накручивает волосы на папильотки, а затем нахлобучивает белый ночной колпак, похожий на перевернутый горшок. По утрам, когда Люшин муж уходил на работу, а нам пора было вставать, она садилась в постели, еще не открывая глаз, одним и тем же движением стаскивала колпак и яростно восклицала:

— Тьфу, проклятая жизнь!

Я хихикала в подушку, пока однажды не представила себе, какво жить такой некрасивой и одинокой, никого и ничего не любя, теща себя хвастливыми выдумками о былом богатстве и женихах, прожить всю жизнь, день за днем, год за годом, да так и умереть...

Вскоре я почти перестала бывать дома. У нас появился клуб — свой собственный, настоящий комсомольский клуб! В Мурманске это было сказочной роскошью.

Надо представить себе, каков был Мурманск тех дней. Ведь еще в 1913 году здесь стояла одна-единственная избушка помора Семена Коржнева, а у берега — одна лодка, на которой старик выходил забрасывать сети в незамерзающие воды Кольской губы. Правители царской России пренебрегали сообщениями первых исследователей Кольского полуострова о богатствах его недр, о ценных породах рыб в его быстрых реках и омывающем его студеное море. Но в первую мировую войну остро понадобился свободный морской путь (выходы из Балтики и из Черного моря через проливы были перекрыты противником) и незамерзающий порт, через который союзники России могли бы снабжать ее вооружением и боеприпасами. Лихорадочно, в нескольких местах сразу, началось строительство железной дороги от столицы до конечной станции у глубоководья Кольской губы — станция называлась Романовом в честь царской фамилии, после Февральской революции ее переименовали в Мурманск. Одноколейный путь вился вдоль берега залива, на самом берегу выросли причалы и склады, к ним лепились бараки для рабочих и наспех построенные из бревен конторы. Тут, возле портовых причалов и станции, образовался главный трудовой центр будущего города.

В 1920 году Мурманску было пять лет от роду и называть его городом можно было только из доверия к перспективам его развития. Страна еще не выбилась ни из гражданской войны, ни из разрухи. Порт обслуживал немногочисленные военные корабли (которые не успели увести с собою интервенты) и пароходы, кое-как поддерживавшие связь и снабжавшие поморские поселения вдоль Кольского побережья от норвежской границы до Белого моря. Вокруг станции штабелями лежали строительные материалы. Из мастерских доносились стук молотков, лязг железа, извечные «раз, два, взяли!» — там самоотверженно латали старые, отжившие срок паровозы и одряхлевшие вагоны.

Стоило подняться от неказистого вокзальчика вверх по склону — туда, где сейчас лучшие кварталы города, — и глазам открывался унылый кочковатый пустырь, поросший мхами, с проложенной по нему из конца в конец грунтовой дорогой. Огибая горущку и глубокий овраг, дорога вела на Базу — площадку над береговым склоном, где выстроились две-три улочки одноэтажных и двухэтажных рубленых домов разных учреждений и квартир высшего начальства, а за

ними, в сторону горы Горелой и Варничной сопки — ряд угрюмых, перенаселенных рабочих бараков. Другой конец дороги упирался в Нахаловку — беспорядочное скопление домишек и лачуг, «нахально» возведенных кем попало и как попало. Пустырь, деливший городок на три части, даже в долгую полярную ночь никак не освещался, ходить через пустырь в одиночку избегали.

Сразу после революции матросы построили посреди пустыря Морской клуб. По сравнению с железнодорожным, который был простым бараком без перегородок, с дощатой сценой, Морской клуб казался в тех условиях очень большим, почти роскошным, он нарушил унылое безлюдье пустыря, по вечерам он приветливо сиял освещенными окнами. Наискосок от Морского клуба, как бы утверждая, что город будет расти здесь, именно здесь, горделиво встал наш комсомольский клуб.

Собрали его так быстро, что я, работая до пяти часов вечера, так и не увидела, как он вырос. Дом был одноэтажный, сборнощитовой, в нем разместилось несколько небольших комнат и одна очень большая — «зал». Снаружи щиты были покрашены защитной, а нам казалось — ликующе-веселой зеленой краской, по фронтому тянулась крупная надпись: «Боже, царя храни!» Не знаю, верно ли, но говорили, что дом предназначался для царской ставки на фронте, только царь предпочитал отсиживаться в Зимнем дворце с царицей и Распутиным, потом царя скинули, а вагоны со щитами почему-то загнали в Мурманск. Как бы там ни было, теперь мы, комсомольцы, завладели царским чертогом. Первым нашим радостным делом было замазать краской нелепую надпись, в которой нам были одинаково чужды и бог и царь. Укрепив длинные ноги на шаткой стремянке, матрос Глазов всю орудовал малярной кистью, а стремянку и ведро с краской держало столько рук, сколько могло ухватиться.

Пожалуй, каждому человеку доводилось в жизни справлять или хотя бы видеть чье-то новоселье — всей семьей обстраивают новое жилье, тут подкрасят, там вобьют крюк или приладят выключатель, азартно втаскивают, расставляют и переставляют разные вещи, пока все не установится наиудобнейшим образом, причем все, даже лентяи, охвачены жаждой деятельности. Так было и у нас с нашим комсомольским домом. Прямо с работы мы мчались в клуб и сами искали себе дело: таскать, мыть, пилить, приколачивать, выносить мусор, писать лозунги — что угодно, лишь бы приложить руки или подставить плечо. «За что братья?» — с этим вопросом чаще всего вбегали в дом, где призывно пахло краской, клеем и свежими стружками.

Среди тех, кто знал, за что именно братья, запомнился тот же долговязый матрос Кузьма Глазов — так всегда запоминаются люди, которые многое умеют. А Глазов был не только расторопным мастером «на все руки», он умел еще и научить любого несмышленища: как бы между прочим покажет, даст попробовать самому, необидно подправит, подбодрит — и ты уже работаешь, стараешься, а он нет-нет да и поглядит, так ли. А если работа ладится, улыбнется и подмигнет — видишь, как пошло!

Запомнился и еще один морячок, но совсем по другой причине. Его имя и фамилия казались мне прекрасными: Гордей Бронин. Не знаю, что из него вышло потом, может, повзрослев, стал достойнейшим человеком? Но что было — то было. Когда он впервые появился у нас, Аня и я — две единственные комсомолки — так и обмерли, не оторвать глаз: высокий, стройный, лицо точеное и смуглое от морского загара, а глаза синие-пресиние, прямо-таки неправдоподобной синевы. Только одни такие глаза я видела — у аскольдовца Федорова, того, что ночевал у нас после бегства из Иоканьги, но у Федорова они лу-

чилились застенчивой добротой, Федоров всегда как бы стеснялся, что им любуются, а Гордей... о-о, Гордей знал цену своей неопишуемой красе и любил испытывать ее неотразимость. Ну, казалось бы, зачем ему смущать двух девчушек-недоростков? Но, заходя в клуб, он принимал картинные позы и пристально смотрел на нас — то на одну, то на другую, так что у нас все валилось из рук.

— Ну чего стоишь как в витрине? Все работают, а ты красуешься! Так незлобиво сказал ему Глазов. И неопишуемая краса нашего обольстителя вдруг померкла: действительно, манекен в витрине!

А потом он — один из всех! — не пришел на наш первый воскресник, и в своей рукописной стенной газете мы нарисовали карикатуру на него, и кто-то, может быть и я, сделал подпись: «Не гордился бы, Гордей, что красив, постыдился бы людей, что ленив!» — а когда он потом пробовал оправдаться отсутствием подходящих сапог, вид у него был жалкий, лживый, и я тогда впервые подумала, как мало значит красота сама по себе.

«У меня нет подходящих сапог!» — стало у нас ходовым выражением и всегда вызывало смех. Подходящих сапог не было ни у кого, ходили кто в чем, иной раз подвязав подметку провололочкой, и какие бы ни были обутки, у каждого они были единственными на все случаи жизни. А уж не пойти на комсомольский воскресник — такое и в голову не приходило!

Первый наш воскресник был на станции — мы выгружали дрова из длинного состава теплушек. Бревна-двухметровки были сырые, очень тяжелые и к тому же мокрые, вероятно, обледенели и вывалились в снег при погрузке, а теперь оттаяли. Вагоны были набиты ими под крышу — не подступиться, хоть плачь. Приходилось, стоя в дверях, осторожно вытягивать верхние бревна и еще осторожней опускать их на плечи парней, стоявших внизу. Дело пошло немногим быстрее и тогда, когда в теплушке образовалась площадка, где можно развернуться. Но вот кто-то из ребят разыскал за путями доски-горбыли, у одного вагона приладили их в наклон, тотчас приладили такой же скат у другого, у третьего и по всему ряду вагонов; в каждом вагоне двое встали наверху и двое внизу; берешь с напарником бревно за концы и скатываешь по подпрыгивающему скату, а там двое подхватывают — и в штабель. Ритм родился сам собой, бойкий ритм марша: раз-два — взяли! раз-два — покати! Там, там, тра-та-там! Там, там, тра-та-та-там! Бревно за бревном, бревно за бревном! Рукавиц ни у кого не было, натерли мозоли на ладонях и нахватали заноз, но куда ни посмотришь — движения слаженные и лица веселые, разрумянившиеся на холоде, и чувствуешь, что у тебя лицо такое же и движения уточнились, и общий маршевый ритм этих движений отзывается в душе музыкой, особенной, будоражащей, чеканной музыкой, и ничего больше не надо, только не выбиться из общего лада. А когда закончили — спину не разогнуть, ноги гудят, руки саднят царапины, все тело будто налито тяжестью, а голова легкая, ясная — и так хорошо! Расходиться по домам? Нет уж! Кто жил близко — сбегали помыться да перехватить чего-нибудь, кто далеко — в клубе кое-как отдраили руки и еще долго куролесили, пели, даже плясали, усталости как не бывало. Кто такого не испытал, потерял многое.

К лету началась прокладка первого мурманского водопровода — до тех пор воду развозили по домам и баракам: бочку на колесах тянула неторопливая коняга, а хозяйки заранее выбегали с ведрами и караулили, чтоб не пропустить водовоза.

Копали траншеи всем городом, субботниками и воскресниками. Комсомол взял целый участок — от Нахаловки и примерно через тот район, где теперь городской плавательный бассейн. Субботник — это

так называлось, а работали мы каждый вечер недели три подряд. С ночной темнотой уже распрощались до осени, незакатное солнце светило сутки напролет — «знает, что нам без света нельзя!». Но север есть север, в срезях земли поблескивал лед, на дне траншеи хлюпала ледяная вода, а однажды июньским вечером повалил снег — и продержался до утра, все вокруг было белым-бело, только в траншее сразу образовалось месиво грязи.

Поначалу копать было нетрудно, и мы довольно быстро проложили из конца в конец своего участка всю «нитку». Но траншею приходилось делать глубокой, чтоб не заморозило трубы, и чем глубже мы вгрызались в каменистую землю, тем тяжелей и грубей становилась работа: долби ломом, налегай на лопату, чтоб вогнать ее в тугой грунт, подцепи, сколько силы хватит подкинуть, — и кидай на отвал, а отвал уже выше твоей головы, мокрые комья и камешки то и дело скатываются назад — знай уворачивайся! Ты уже вся забрызгана и, наверно, выглядишь так же, как твои соседи справа и слева — лица в темных веснушках. От сильных движений жарко, но ботинки промокли насквозь, ноги коченеют. «Подходящих сапог нет!» — мы перешучиваемся и хохочем, не желая сдаваться. Когда парни предлагают мне и Ане уйти, «не для девушек такая работа», мы оскорбляемся, мы такие же комсомольцы, можете уходить сами, если выдохлись! Мурманску нужен водопровод? Да, конечно, оттого мы его и прокладываем. Но разве дело только в водопроводе?! Каждый взмах лопаты — ну прямо-таки удар по мировой буржуазии, по всей контрреволюционной нечисти!.. Так мы чувствуем. И кто же может нас отстранить?! А лопата, как назло, все тяжелей, еле-еле подкидываешь...

И вдруг возникает песня. Она возникает где-то далеко и бежит вдоль траншеи как огонь по запальному шнуру. Запальный огонь песни доходит до тебя, ты его подхватываешь и перекидываешь дальше, то ли поешь, то ли азартно выкрикиваешь слова — и вроде легче стало, вроде и ноги уже отошли, и грунт мягче, и силы еще — о-го-го! А мимо траншеи проходят люди, они не видят нас, но слышат песню.

— Комсомол строит!

Кто-то невидимый кричит нам сверху:

— Молодцы, ребята, молодцы!

Похвала приятна, однако все, кто не трудится вместе с нами, кажутся нам бездельниками, и мы вызывающе кричим в ответ:

— Прыгайте сюда, лопату дадим, тоже молодцом будете!

Мы еще не знаем горделивого счастья, счастья захлеб, которое придет к нам поздней осенью, когда из кранов водоразборных колонок впервые хлынет вода, с шипением выталкивая из труб воздушные пузыри, вода поначалу рыжая, мутная, а потом прозрачная, холодная, голубоватая от горней чистоты, и мы будем пробовать ее из ладоней — до чего вкусна! — и брызгаться ею (так же, как нефтяники брызгаются нефтью из новой скважины), и плясать вокруг колонок танец диких — вода! На ша вода! Это еще впереди, но и в сырых траншеях, мокрым и усталым, нам все равно хорошо, мы хохочем даже над тем, что отлетела подметка на единственных ботинках. Подумаешь, что такое подметка в масштабах мировой революции!..

Мы уходим из траншеи вразвалочку, в рыжих веснушках, мы шагаем по улицам хозяевами жизни, ее главными героями (так в тридцатые годы ходили по Москве первые метростроевцы и метростроевки). Мы поем осипшими на холоде голосами. Теперь мы — это действительно мы, коллектив, одно целое. Кто этого не испытал — жалею беднягу, жалею и чуть-чуть презираю, потому что все же сам человек делает свою жизнь и во все времена есть люди без подхо- дящих сапог!..

А нам то ли в награду за старание, то ли просто так — отвалили целый штабель отличных досок, и мы сколотили из них в клубном зале крепкий помост — сцену. Затем кто-то спроворил скамьи и табуреты, мы их несли на головах ножками вниз — так удобней; получилась диковинная процессия, прохожие останавливались и, стараясь разглядеть наши лица, спрашивали, куда столько и зачем, а мы торжествующе выкрикивали из-под своей драгоценной ноши:

— Для комсомольского клуба!

Клуб? Это было средоточие нашей жизни, а не только клуб.

Первый взрослый друг

Причудливая она труженица — память! Обходит целые месяцы, а порой и годы, начисто выпускает сотни людей и происшествий, но цепко держит все, что поразило ум и потрясло душу, будь то важнейшее событие, перевернувшее жизнь, или ветреное море, расцвеченное закатом и вдруг увиденное во всей его пронзительной красоте, или несколько строк из книги, давно прочитанной и в остальном забытой... Она необъективна, память, потому что закрепляет не точный факт, а впечатление от него, личное восприятие. И она милосердна — замечает песком то, что немислимо нести в себе всю жизнь.

Детские и отроческие годы помнятся свежо и подробно. С годами количество впитываемых впечатлений и воздействий (или, как теперь говорят, информации) настолько велико, что память все энергичней просеивает эту напирющую массу, сохраняя лишь самое яркое. Но и сохраняя, память своевольничает, перетасовывая даты и подробности, сближая или растягивая события сообразно внутренней сути и логике жизни, ей чужда календарная бесстрастность.

Когда своевольница возвращает меня в мой первый комсомольский, 1920 год, предопределивший всю дальнейшую жизнь вплоть до нынешних дней, мне кажется, что Коля Ларионов был главным в том году почти с самого начала. Коля Ларионов, недавний партизан, солдат и разведчик, успевший поработать в Подпорожском волостном Совете народных комиссаров, и отсидеть около года в страшной англо-белогвардейской тюрьме на острове Мудьюг в Белом море, и поработать в тылу врага, и как следует повоевать в архангельских лесах и болотах... Когда он был народным комиссаром волости, ему было восемнадцать лет, когда он вместе с частями Красной Армии прибыл в Мурманск и работал в военной разведке Мурманского укрепрайона, ему только что стукнул двадцать один год. Как часто бывало в то время, Коля сперва вступил в партию, а уж затем, в Мурманске, в комсомол и очень скоро был нами избран руководителем уездкома РКСМ. Опубликованные теперь документы уточняют, что случилось это в ноябре 1920 года, а перед тем Коля Ларионов лишь ненадолго приезжал в Мурманск из своей дивизии и, видимо, выступал у нас на уездной комсомольской конференции, его речь я запомнила отчетливо — она была неожиданной и заставляла задуматься.

О том, что в ту пору он был так молод, я тоже узнала недавно, по документам. Для меня, да и для всех нас он был взрослым. Опытный. Больше всех знающий и понимающий. Представитель революционной России, от которой мы были оторваны больше полутора лет. Он как-то сразу врос в нашу шумливую среду и стал ее центром.

Высокая, худощавая фигура в длинной шинели, озабоченные и улыбочивые светлые глаза, желтоватая щетинка на впалых щеках, негромкий рассудительный голос, неторопливая повадка... Был ли он действительно высок ростом? Может, и нет, но таким он запомнился, ведь я-то была четырнадцатилетней девчонкой!

Опродкомбриг подсчитал все трофеи и прекратил существование, что было для меня очень кстати,— на конференции меня выбрали членом уездного комитета комсомола и сразу же предложили работать там секретарем — техническим, конечно, оформлять прием новых комсомольцев, собирать взносы и вести протоколы. Кроме того, меня сделали «зав. отделом печати» — как хорошо грамотную, к тому же умеющую писать заметки и подписи под карикатурами. Вся наша «печать» — небольшая стенгазета, но мы решили выпускать и рукописный журнал.

Так вот, с приходом Коли Ларионова все наши начинания приобрели новый смысл и энергию. По малолетству мы чувствовали себя такими страшно сознательными передовиками. Коля Ларионов это понял и ничуть не осудил, но в первой же своей речи напомнил, что, кроме нас, в Мурманске много молодежи, никак нами не охваченной, а кроме того, существовал уезд, большой, разбросанный, с оленьими стадами и рыбными промыслами, с железнодорожными станциями и разъездами, с почтами, сельсоветами, школами и фельдшерскими пунктами,— и везде есть молодежь.

— Для них — праздник, если из Мурманска приедет комсомолец или придет письмо, а тем более посылка.

Сколько сил мы потратили, доставая литературу и все, что нужно для молодежи уезда! Больше всего оттуда просили грим и парики, везде возникали драмкружки, а что могут сыграть подростки без грима и париков? Был спрос и на музыкальные инструменты, струнные и духовые, мы их тоже понемногу добывали. Как ни странно, меньше всего заботились о пьесах — в то время, не мудрствуя лукаво, их писали сами, худо ли, хорошо ли, но революционно и о том, что волновало, чем жили.

Труднее было с журналом: я не находила авторов, а раз взялась — журнал должен выйти. Отпечатав на машинке на узких полосах бумаги основной материал, я попросила Колю Ларионова написать передовицу.

— Ну-ка покажи, что у тебя есть.

Робея, я раскинула перед ним еще не расклеенные на листах тетради бумажные полоски и сделанные нашими «художниками» рисунки. Коля уткнулся в заметки о всяких комсомольских делах, усмехнулся:

— Небось сама настрочила?

— Так ведь не пишут! Прошу, прошу...

Теперь он читал «поэму», где в смертельной схватке сцепились две аллегорические фигуры — толстый буржуй и богатырь-кузнец.

— Твоя?

— Моя,— покраснев, призналась я.

Дошла очередь до рассказа, уж не помню о чем.

— И это — ты?

Я только вздохнула.

— Здорово ты подняла активность масс,— улыбаясь глазами, сказал Коля,— а псевдонимов-то наизобретала, хоть литературный кружок создавай.

Передовицу Коля все же написал, даже помог хорошо расположить, «сверстать» материал. Но я уже сама поняла, что так делать журнал не годится, и передовица была все о том же — надо влиять на всю молодежь, мы не должны замыкаться в своей комсомольской среде. Были там слова — дословно, конечно, не помню, но смысл был тот, что уметь привлекать к себе молодежь должен каждый, кто носит почетное звание комсомольца.

Как редактор и «типограф», я выделила эти слова заглавным

шрифтом, мне они очень понравились. И не вызвали никаких тревог. А испытание близилось...

Коля Ларионов затеял провести в разных пунктах города массовые собрания молодежи, чтобы привлечь новых членов. На заседании уездкома мы долго обсуждали, как это сделать получше, решили все собрания провести в один «общегородской день молодежи» и широко оповестить о нем — через комсомольцев, а также развесить повсюду красочные объявления. Потом намечали пункты собраний: порт, депо, база, Нахаловка... Я старательно записывала наши решения в протокол, когда Коля сказал своим напористым голосом:

— Доклады должны делать все члены уездкома, на то их и выбрали. Давайте решать, кто куда пойдет.

Еще через минуту я услышала:

— А на железную дорогу пойдет Верушка.

— Правильно, — сказал Костя Евсеев, — она у нас еще не выступала.

«У нас еще не выступала!» Я никогда и нигде еще не выступала. От одной мысли о том, чтобы выйти на трибуну, меня бросало в дрожь. А Костя Евсеев посмеивался, ему шел уже двадцать четвертый год, он был железнодорожным комиссаром, этот черноглазый, веселый и очень симпатичный парень с хорошо подвешенным языком. В своем кругу и у меня язычок был дай бог! Мы с Костей любили поупражняться в острословии, поддевая друг друга. Но сейчас мне было не до шуток.

— Я не могу! Не умею! Я провалю собрание!

— Не провалишь, — беспощадным голосом сказал Ларионов, — какой же ты комсомольский активист, если боишься с молодежью говорить? А еще на фронт просилась, вояка!

Был такой случай весной того же 1920 года: шла комсомольская мобилизация против белополяков, все записывались добровольцами, даже Кирик Мاستинин, я тоже записалась, но меня вычеркнули да еще и высмеяли: девчонка! Я вспылила: «Если я комсомолка, то имею право умереть за революцию не меньше, чем другие!» И получила в ответ: «Чудачка! Зачем же умирать? Надо уметь победить!».

И тут опять хочется сказать о прихотях памяти. Я была уверена, что это сказал Коля Ларионов, и словечко его — уметь. Но теперь я знаю, что в апреле Коли еще не было в Мурманске, значит, ответил мне кто-то другой, может, тот же Костя Евсеев (перед началом записи он рассказывал нам о панской Польше и наступлении белополяков) или Кузьма Глазов, который выступил первым: «Запишемся все как один!» Все лучшее, что я жадно впитывала в тот год, слилось для меня в личности Ларионова — первого большевика, с которым я общалась повседневно, первого взрослого друга. Друга? Это я потом поняла, каким настоящим другом он был, а на том заседании уездкома он казался мне жестоким, безжалостным, он даже мое искреннее стремление пойти вместе со всеми на фронт (и откуда узнал?) истолковал против меня же:

— Умирать не боялась? Так наберись храбрости и сделай доклад.

— Даже если ты плохой оратор, стрелять в тебя не будут, — добавил Костя Евсеев.

Не помню уж, сколько дней тянулось ожидание, но все дни до собрания жизнь во мне еле теплилась: ни есть, ни спать, пересыхает горло, то и дело возникает отвратительная дрожь в коленках. Вероятно, Коля заметил мое состояние, но не пожалел, не выручил, только давал советы, о чем рассказать молодежи, как составлять заметки для памяти. Надо ли говорить, что тогда никому в голову не пришло бы читать доклад по бумажке!

И вот он настал, день страшного испытания.

Одна, подавляя желание убежать и спрятаться куда-нибудь, пошла я к железнодорожной станции. Еще издали, с горки, увидела: со всех сторон идет к рабочему клубу молодежь — и какая! Взрослые ребята в промасленной или черной от угля рабочей одежде, все — громкоголосые, озорные! Станут ли они слушать меня, девчонку с косичками?! И смогу ли я произнести перед ними хоть одно слово?!

Кости Евсеева не было, он делал доклад в другом месте. Комсомольцы из депо встретили меня как надо, без насмешек, провели прямо на сцену. Глянула я оттуда в зал, заполненный молодежью, — ну, хоть плачь, хоть умирай, не смогу я выйти на трибуну!..

И тут появились Костя Евсеев и Коля Ларионов. Коля только поглядел, много ли собралось молодежи, пожелал мне успеха и ушел на другое собрание. Костя Евсеев пошутил по поводу моего «бледного вида», а затем дружески сказал, что сделает вступительное слово сам, чтоб я успела собраться с духом.

Говорил Костя просто и весело, я слушала и разумела — вот как надо. Рассказав о задачах комсомола, Костя объявил:

— А теперь Вера Кетлинская расскажет вам, как мы создали свой клуб и что мы там делаем. Вы не смотрите, что Вера маленькая, она у нас большая активистка.

Ребята заулыбались, а я осмелела, без страха вышла на трибуну и начала рассказывать. Даже разговорила, отвечала на вопросы, отшучивалась, поймав озорную реплику. Позднее я узнала, что Ларионов и Костя придумали все это заранее — как говорится, с воспитательной целью. Но это я узнала позднее, а события того вечера еще не кончились.

После собрания Костя предложил зайти к нему выпить кофе. Настоящий кофе был тогда редкостью, а Костя уверял, что варит его каким-то особым способом (как известно, в свой особый способ верят все любители кофе). Впрочем, черного кофе я ни разу не пробовала, да и при чем тут кофе! Меня рапировало счастье — все позади и все прошло хорошо! И я была зверски голодна — от страха со вчерашнего дня не ела.

— Понятно, — сказал Костя, — есть хлеб и шпик.

Мы зашли в маленькую холостяцкую комнату Кости в одном из барачков возле станции, Костя сделал мне толстенный бутерброд и приступил к кофейному священнодействию, я вонзила зубы в неподатливый шпик... и в это время вошел Коля Ларионов.

— А ты зачем здесь? — отнюдь не ласково спросил он меня.

Костя залепетал насчет кофе, Коля мрачно уселся и заявил, что тоже выпьет кофе, а потом отведет меня домой. Подробности собрания его не заинтересовали, он подозрительно поглядывал то на Костю, то на меня и очень скоро поднялся:

— Давай пошли, уже поздно.

Мы вышли на пустынную дорогу между железнодорожной станцией и так называемой Базой — тогдашним центром Мурманска. Огромный пустырь таинственно мерцал, залитый светом полной луны. Ларионов был необычно хмур, шагал крупными шагами, я семенила рядом, невольно притихнув. Как только мы миновали последние дома, Коля сказал своим беспощадным тоном:

— Так вот, чтоб этого больше не было. Ходить к ребятам не смей!

Я оскорбилась:

— Костя мой товарищ! Комсомолец!

— И прекрасно. А ходить не смей! Ишь ты, нашел приманку — кофе.

Чуть не плача, я довольно решительно высказалась по поводу мещанства, самодурства и буржуазных предрассудков.

— Спасибо, — смеясь, поблагодарил Ларионов, — пусть я мещанин,

самодур и буржуй, а вот говорю тебе — не ходи! В некоторых вопросах и очень сознательные парни бывают подлецами.

От негодования я взбежала на свое крыльцо, не простившись с Колей. Но заходить к парням больше не смела, да и Костя не приглашал и шутил со мною сдержанней, косясь на Ларионова, — видно, ему попало.

Признаюсь, меня не только рассердила, но и тайно взволновала эта история — значит, я и в самом деле уже взрослая, не девчонка, а девушка? Я как-то вдруг осознала суть одного случая, которую раньше не уловила: летом нужно было что-то срочно передать Глазову, под рукой никого не оказалось, и мы с Аней побежали в порт — забыла, на каком корабле Глазов служил, то ли на посыльном судне, то ли на тральщике, но его корабль стоял у стенки. По пирсу болтались несколько девиц, на мой взгляд очень странного вида — юбочки «до аппендицита», физиономии размалеваны, походка вертлявая. Они громко окликали матросов, болтавшихся на палубе, те зубоскалили с ними или отругивались. Мы подошли к трапу и попросили вызвать Глазова. Глазов почему-то побагровел от смущения, куда-то побежал (за разрешением, наверно), потом торжественно провел нас на корабль и с изысканной вежливостью, обращаясь к нам на «вы», пригласил в кубрик, позвав с собою двух товарищей; они угощали нас чаем с галетами — и все держались церемонно, как английские лорды. Через полчаса тот же не похожий на себя обычного Глазов проводил нас за пределы порта.

Вряд ли я задумывалась тогда, что такое дружба и товарищество, диспуты на эту тему еще не вошли в моду, но среди будоражащей новизны того года открылась мне и прелесть впервые познанной дружбы и бескорыстного товарищества. Каждое утро я спешила в уездком, как на праздник, и уходила из нашего комсомольского дома поздно вечером, когда дом закрывался. Вокруг были друзья, я наслаждалась и гордилась этим, хотя проявления дружбы облекались порой в грубоватую форму: «Ну-ка, отдай лом, неумеха, разве так долбят!» Возьмет парень лом, заметив, что мне тяжело, раздолбит закаменевший грунт, подтолкнет к лопате: «Давай выгребай!» — а сам долбит дальше. Или увидят ребята, что я, вся в краске и в клею, одна заканчиваю стенгазету, позовут умельцев: «А ну, бездельники, за дело!» — и уже толпятся помощники, клеют, рисуют, а я иду отмы-ваться.

Конечно, я бы ни за что не призналась, что боюсь вечером идти одна через пустырь — разве может комсомолка бояться?! А я боялась — стыдилась этого, презирала себя за трусость, но стоило мне выйти в темноту, начинали мерещиться и движущиеся тени, и шорохи, сердце замирало, а потом начинало колотиться так громко, что стук его я принимала за чьи-то шаги... и пугалась еще больше. Но возвращаться одной мне пришлось всего раза два или три, да и то вначале, пока мы плохо знали друг друга. При демонстративном подчеркивании нашего равенства и гневном отрицании «мещанского» ухода, никто не предлагал «проводить домой», да я бы и не согласилась: что я, маленькая, беспомощная?! Нет, об этом и речи не было, но ребята все же оберегали меня, и каждый вечер будто невзначай кто-либо подходил к выходу одновременно со мною: «Ты на Базу? Пошли вместе!» — или: «Мне надо забежать на «Ксению», нам по пути!» А то еще и так: «Ну и темень! Ты что-нибудь видишь? Потопали, если видишь» — и споткнется нарочно, показывая, что моя помощь необходима, скажет: «Дай пять!» — и получается, что это я веду его за руку. Только за руку, по-товарищески, «под ручку» — мещанство и пережиток!

Мы многое отметили как пережитки, теперь это кажется наивным, но может ли революция обойтись без крайностей и преувеличений?.. «Мы наш, мы новый мир построим!» — значит, все прошлое — на слом, во всяком случае — под сомнение, и да здравствует н о в ы й б ы т! А каким он должен быть? Спорили об этом страстно, но для всех было несомненно, что отныне должно быть равенство, равенство во всем, и в любви тоже, поэтому мы отрицали ухаживания, свадьбы, любую «регистрацию чувств» как нечто унижительное. Приехавшая из Москвы Наташа Груецкая, пропагандист, девушка начитанная и «совсем взрослая» (ей было, вероятно, около двадцати пяти лет), — Наташа подвела под наше отрицание теоретическую базу, читала нам Маркса, и Энгельса, и Бебеля. На место буржуазного брака как формы купли-продажи и закабаления женщины мы ставили свободную любовь равноправных борцов, признавая только общность интересов и влечение полов...

Мы говорили об этом громко и вызывающе, я — тоже, хотя имела о влечении полов весьма смутное, чисто книжное представление. Вероятно, со стороны могло показаться, что мы пользуемся этой свободой вовсю, ничем не сдерживаемые. Но, честное слово, я не знаю отношений более чистых и товарищеских, чем наши. А уж ко мне, девчонке веселой и доверчивой, никем и ничем не защищенной, отношение ребят было на редкость бережным. Попробуй кто-либо воспользоваться моей доверчивостью, уверена — не один кулак поднялся бы на мою защиту. А ведь организация наша росла, приходили новые ребята из воинских частей, с кораблей, с железной дороги, после того, как Аня Пospelова уехала домой, я часто бывала единственной девчонкой в шумной компании парней, ежевечерне заполнявшей клуб.

Зимой у нас появился рослый, краснощекий шестнадцатилетний юноша Коля Филимонов. Был он родом из Шенкурска, и его сразу, дружно, прозвали Шенкуренком. Кончив в Архангельске курсы, он приехал в Мурманск ни больше ни меньше — заведующим отделом народного образования! Задачи у него были в основном организационные — «выбивать» помещения и открывать школы для детей, а главное — организовать широкую сеть кружков ликбеза для взрослых, так как неграмотность и малограмотность были тогда вопиющие. Энергии у Шенкуренка хватало, он и комсомольцев, кто пограмотней, втянул в дело ликбеза. А комсомольцы, ликвидируя неграмотность, быстро заметили, что завгороно влюбился и надо не надо торчит возле техсекретаря комсомола. И Ларионов заметил, но не мешал этому детскому роману, Шенкуренок был очень славным и серьезным пареньком, искренним и застенчивым. Все, что он хотел мне сказать, он высказывал в письмах, и не меньше как в двух ежедневно: одно заносил мне утром по дороге на работу, другое писал на работе и, придя вечером в клуб, старался незаметно засунуть конверт в мой карман. Нам казалось, что никто этого не видит, но однажды утром, когда я, переписывая протокол, скашивала глаза в открытый ящик стола, где лежало очередное недочитанное письмо Шенкуренка, Коля Ларионов вдруг сказал:

— Ладно уж, сперва дочитай. Может, там важные новости, ведь с вечера не виделись!

Несколько лет спустя, когда Коля Ларионов работал секретарем Новгородского губкома комсомола, он разыскал меня в Ленинграде и в разговоре, вспомнив Шенкуренка, упрекнул: «Что ж ты, уехав, не писала ему? Он ведь ждал, переживал...» Но все же, я уверена, в Мурманске Ларионов немного тревожился и чувствовал себя ответственным за девочку, которая целыми днями крутится среди такого количества ребят. И, вероятно, предпочитал, чтоб эта девочка жила

не одна, хотя бы и в «стародевичьем питомнике», а под присмотром мамы.

Коля Ларионов был единственным человеком, кто не стеснялся говорить без обиняков: «Уже поздно, пойдем, провожу». И вот однажды вечером, провожая меня, он вдруг спросил, когда и почему мы переехали из штабного дома в такой неказистый барак. Я рассказала, как нас выселяли «в 24 часа» и как мы утепляли свою часть барака. Коля задал еще несколько вопросов, чувствовалось, что он уже кое-что знает об этом и только уточняет, как все было. Я рассказывала охотно и во всех подробностях — происшедшее было живо в памяти.

— Так, так,— сказал Коля,— ну, беги к своим девам.

В другой раз Коля спросил, откуда у нас взялась библиотека. Я рассказала, как еще папа хлопотал об открытии библиотеки и написал книги, как потом мама достала еще книг и открыла эту маленькую, первую в Мурманске библиотеку и как мы с сестрой дежурили там, пока мама ходила давать уроки.

— Так, так.— И Коля переменил тему.

Через некоторое время он сказал мне:

— Ну вот что, Веруша. Мы проверили. Твою маму арестовали по глупейшему доносу. Скоро ее освободят.

Теперь я знаю, как я обязана большевистской вдумчивости двух Ларионовых — Коли Ларионова и Ларионова-старшего, Александра Михайловича, двух однофамильцев, двух однополчан, двух разведчиков. Ларионов-старший, начальник разведки Мурманского укрепрайона, тогда же, в 1920 году, по найденным документам и по свидетельствам живых участников событий пристально изучил, что происходило на Мурмане во время революции и в период интервенции, изучил он и все, что относилось к Кетлинскому, настолько тщательно, что впоследствии написал большую историческую справку о нем, использовав многочисленные подлинные документы и свидетельства. Как я понимаю, обоих Ларионовых (Александр Михайлович в том же году стал руководителем уездкома партии) не совсем обычная фигура контр-адмирала заинтересовала еще и потому, что его вдову недавно арестовали, а его дочка была активной комсомолкой: что все это значит и с кем мы имеем дело?.. Двум работникам разведки, двум большевикам-руководителям было не так уж трудно разобраться. А разобравшись — сделать то, что следует.

— Скоро ее освободят,— сказал Коля,— а пока съезди навестить ее. Не пугайся, что в тюрьму, она работает и выходит свободно. Я уже договорился, железнодорожники возьмут тебя на питерский поезд и высадят в Петрозаводске, а на обратном пути захватят обратно.

Никогда не забуду эту поездку!

Железнодорожники устроили меня с предельным для того времени комфортом — не в теплушку, а в пассажирский вагон, удержали для меня нижнюю полку и поручили меня заботам старичка, устроенного напротив. Со старичком мы по очереди караулили свои полки и по очереди бегали на станциях за кипятком, причем я всегда первую хваталась за чайник, так как удерживать нижние полки было намного трудней. Вагон был «4-го класса», то есть трехъярусный, и забит он был до отказа. Полагалось ли так в «4-м классе», или вагон был переоборудован по тогдашним потребностям, но и на вторых и на самых верхних полках были еще откидные половинки, с грохотом соединявшиеся железными крюками; на каждом «этаже» лежали по четыре, а то и по пять человек. Во всех проходах тоже сидели и лежали люди, так что и на день верхние полки не откидывались, там ели, спали, разговаривали, иной раз люто ссорились. Случалось, оттуда капал в щели неосторожно пролитый кипяток, а где ехали детишки — и кое-

что похуже. Ночью в двух концах вагона в тусклых фонарях горели свечные огарки, еле освещая проход с распростертыми или скорчившимися на корзинах людьми и торчащие с полок ноги в разношенных сапогах... Храп, бормотанье, детский плач, материнское шиканье или напевки, ругань сквозь сон — и тяжелый запах пота, овчины, мокрой кожи и бог весть чего еще... Страшно мне было ночью — вертись, вертись, не заснуть... А днем было удивительно интересно: столько разных судеб, столько жизненных историй — только слушай! Ехали рабочие «с Мурманки» (со строительства железной дороги), моряки и демобилизованные солдаты, один из них — помешанный после контузии, ехали ходатаи из деревень и стойбищ, всякий командировочный народ, ехали целые семьи с ребятей, самоварами и хозяйственным скарбом — возвращались домой, «в Россию». Тут же вертелись воришки (одного поймали и после длительных криков сдали на ближайшей станции), сюда же вламывались пассажиры, едущие на короткое расстояние, — их встречали как врагов, яростно пытались выпихнуть, а через полчаса все утрясалось и начинался разговор мирный, приятельский — куда да зачем?.. Грубости кругом было много, запросто сыпались слова, от которых я содрогалась, но чем дольше я ехала среди этих людей, тем меньше боялась их грубости, тем больше примечала доброты и сердечной отзывчивости. Тяжело в такой тесноте с ребятами, а тут еще помешанный мотается взад-вперед и бормочет чепуху, — но всегда находился кто поможет, кто последит. А уж делились и кипятком и сахарином, и сухарь ломали пополам, хотя время было голодное.

Вечером перед самым Петрозаводском за мною пришел один из железнодорожников, записал на бумажке, в какой день и час выйти к поезду и кого спрашивать...

И вот я одна на быстро пустеющем перроне. Расспрашиваю, как добраться до центра (тюрьму называть неловко), говорят, город от станции далеко. Куда я пойду в потемках? Решаю пересидеть до утра на вокзале. Какая-то добрая женщина сама подошла, спросила, почему я сижу, кого жду, ей я все рассказала как есть, она без спросу взяла мою котомку:

— Иди за мной, переночуешь.

В деревянном домике, каких в то время было полно не только в пристанционном поселке, но и в центре Петрозаводска, эта добрая женщина опять же без спросу налила мне в таз теплой воды, дала мыло и полотенце:

— Мойся получше!

Потом пошарила у меня в волосах, взяла частый гребень, постелила бумагу:

— Наклони голову, вычешу, теперь в поездах без вшей не проедешь...

Потом поставила на стол миску с какой-то застывшей серой массой малопривлекательного вида, отрезала и вывалила на тарелку большой кусок, полила молоком:

— Ешь!

Оказалось — овсяный кисель. Сы-ыт-но!..

— Питерский на рассвете приходит, — сказала она утром. — Накануне с вечера придешь прямо ко мне, слышишь? Переспшишь, разбуду когда надо, а то он опаздывает частенько, чего зря вскакивать.

Тюрьма была точно такой, какой я ее представляла себе по «Воскресению» Толстого: безрадостные ряды окон в решетках, тяжелые глухие ворота. Когда я несмело подошла к проходной калитке, к ней как раз приближалась группа людей, сердитый старик охранник яростно закричал на меня:

— Чего встала?! Давай назад!

Я отпрянула и увидела, что люди эти вооружены, а между ними — молодой парень, руки за спиной, вид отнюдь не преступный, пожалуй, даже веселый. Мы с ним встретились глазами, и он игриво подмигнул мне.

— Нагляделась на душегуба? — уже беззлобно спросил старик, когда парня провели в тюрьму. — Куда тебе надобно?

Канцелярия тюрьмы была рядом с проходной. Я робко вошла. Несколько человек стояли у окна, глядя, как по двору ведут того парня, и среди них спиной ко мне стояла женщина в мамином легком синем шарфе на голове. Женщина обернулась и вскрикнула: «Верушка!» — и я оказалась в маминых судорожно сжимающих меня руках, и прильнула к ней, и заплакала, и вдруг поняла, как мне было трудно без нее, без ее рук, и губ, и голоса...

Подошел пожилой дядя — начальник тюрьмы, мама меня представила ему, и он тут же сказал:

— Если ей негде, пусть у вас ночует, разрешаю.

Один из тех вооруженных, что привели подмигнувшего мне парня, зашел подписать какую-то бумагу, начальник расспрашивал его, как прошло утреннее заседание, мама с интересом прислушивалась, еще обнимая меня за плечи, но как бы забыв обо мне.

— Очень интересный суд, — виновато объяснила она, когда все было рассказано, — такое ужасное преступление!..

Я сказала, что столкнулась у входа с преступником, что он совсем молодой и даже подмигнул мне, мама охнула и шепнула, расширив свои и без того большие глаза:

— Двух человек зарезал. С целью ограбления.

И тут же начала рассказывать подробности. Работая в канцелярии тюрьмы, мама многое слышала, даже читала наиболее интересные дела и со свойственной ей эмоциональностью уже вся вошла в новый для нее мир горя и преступлений. И как прежде, будто я была ее подружкой, спешила рассказать мне то, что поразило ее воображение.

На обеденный перерыв мама повела меня «к себе». Мы шли по длинному тюремному двору, ветер подхватил концы ее синего шарфа и заиграл ими за ее спиной.

— Осторожно взгляни на окна, — не поворачивая головы, сказала мама, — они знают мои часы и всегда смотрят.

Во всех окнах белели между прутьев решеток лица. А мама шла легкой походкой, подтянутая и оживленная — женщина, всегда остающаяся женщиной. Я это впервые так ясно почувствовала, мне стало стыдно и больно, я заторопилась, заговорила о чем попало, лишь бы она забыла про те лица в окнах, лишь бы снова была мамой, просто мамой...

В конце двора стоял отдельный домик — женская тюрьма. Надзирательница сидела у двери с вязаньем. В первую комнату — то ли переднюю, то ли короткий коридор — выходило три двери с решетками, слева за решеткой была видна маленькая комната, где никого не было, а за другими решетками сразу появились любопытные лица, справа их было много, голова к голове, оттуда сразу понеслись вопросы: кто это? ваша дочка? вот счастье-то вам! а в суде что, не слышали? За решеткой против входа, держась руками за прутья, молча стояла рыхлая женщина с очень странным лицом — стояла и смотрела на меня.

Мама похвасталась приездом дочки и, стоя в центре коридорчика, рассказала все, что узнала о суде над убийцей. Надзирательница тоже слушала и ахала. Было во всем этом что-то домашнее, почти семейное.

Затем мама ввела меня в комнату слева.

— Видишь, как хорошо, койки две, а я тут одна. Тебе будет удобно.

— За что те женщины? — шепотом спросила я.

— Уголовные, — просто сказала мама, — за воровство, одна за убийство из ревности, две за спекуляцию.

— А та, напротив?

— Она одна, потому что у нее сифилис, — вздрагивая от гадливости, еле слышно ответила мама, — видела, у нее нос провалился? Она... ну, ты, наверно, знаешь... проститутка.

Я провела у мамы дня четыре, но в камере оставаться одна боялась — из-за той, безносой, она все пыталась заговорить со мной, звала: «Девочка! Девочка!» Пока мама работала, я выходила посмотреть город или сидела рядом с нею в канцелярии. Однажды отнесла заявление от мамы в музыкальную школу: школа в Петрозаводске была отличная, руководил ею крупный музыкант, впоследствии знаменитый композитор Шапорин, он уже ждал маму и готовил для нее класс рояля. Много лет спустя, в Москве, Арам Хачатурян познакомил меня с Шапориным. Юрий Александрович сразу спросил: «Как здравствует ваша матушка?» — и, узнав, что она погибла в первый год блокады, горестно склонил голову: «Мы с нею работали вместе в Петрозаводске. Ах, какая была талантливая и красивая женщина!»

Простилась со мною мама как-то легкомысленно, наспех, довела до ворот и пошла в канцелярию, хотя рабочий день давно кончился — в суде шло последнее заседание, все ждали, какой приговор вынесут убийце.

— Я тебе пришлю телеграмму, и ты сразу-сразу выезжай, — вот и все, что мне сказала на прощанье мама.

Ей уже присмотрели недорогую комнату неподалеку от музыкальной школы, освобождение должно было прийти в самые ближайшие дни. Мама даже не подумала, что я — самостоятельный человек со своей собственной жизнью, что я могу не приехать, что мне жаль, до слез жаль расставаться с Мурманском... Всю дорогу, на этот раз на верхней полке служебного купе, я думала, думала все о том же — как расстаться?.. Я обрела себя, я выбрала путь, мне хорошо и интересно в мурманском комсомоле, у меня там сотня друзей и... и Шенкуренок тоже. Наконец, меня выбрали в уездком, мне доверили... это же стыдно, из-за личных, семейных дел бросить свое главное дело, комсомольское!..

Не знаю, как бы я решила, если бы телеграмма от мамы пришла очень скоро, когда я еще жила под впечатлением встречи с нею и вновь обретенного тепла ее обнимающих рук — все-таки очень мне не хватало ее!.. Но в Мурманске я снова закрутилась в веселом водовороте комсомольской жизни, а мамино освобождение задержалось — в Кронштадте начался мятеж. Какие-то мутные волны взбаламутились в ответ на мятеж везде, где притаилась разная контра, в Мурманске тоже: особенно нагло и вызывающе держалась та часть матросов, анархистствующих и распущенных, которых называли «жоржиками» и «клешниками», а вместе с ними — спекулянты и хулиганы, затаившиеся было в трущобах Нахаловки. Воспрянула и наша домашняя контра. Однажды вечером, придя домой, я через дверь услышала визгливый голос Лошади:

— И чего вы за нее застываетесь? Она тоже крысомолка, да еще активная!

Люша начала на самой высокой ноте, но смолкла на полуслове — я распахнула дверь.

— Ком-со-мол-ка! Слышите? Ком-со-мол-ка! Прошу произносить правильно!

Я сама не ожидала, что у меня это выйдет так здорово. Лошадь что-то пробормотала и скрылась за шкафом. Ох, как мне противно стало жить рядом с нею в нашем тесном закутке, где — как ни старайся — все время сталкиваешься лицом к лицу! Я утешалась как могла: смотрю ей в лицо, дерзко смотрю, а она прячет глаза и отворачивается. Через несколько дней, когда пришла весть о подавлении мятежа, Лошадь съехала с квартиры. Среди дня прибежала, собрала вещички и исчезла, только смятые папилютки остались на оголенной койке.

— Уползла жаба! — сказала Люша.

Когда я рассказала об этом Коле Ларионову, он усмехнулся:

— Таких, Верушка, еще много ползает. А что жаба — точно. Зачем зря обижать лошадей?

Коле Ларионову я вообще все рассказывала — ну, за исключением того, что писал в своих длинных письмах Шенкуренок, об этом говорить было неловко, хотя иной раз хотелось... С Шенкуренком шла увлекательная игра, полная многозначительных недомолвок, сомнений, выяснений и милой ребячливой чепухи; при всей ее напряженности, я не принимала игру всерьез, видимо, детство не кончилось. А с Колей Ларионовым каждый разговор был всерьез, даже когда он шутил — за шуткой всегда была новая для меня мысль, или совет, или предупреждение; возможно, сам о том не думая, Коля день за днем поднимал меня на новые ступеньки сознания.

Конечно, я ему рассказала о поездке в переполненном вагоне и о людях, ехавших со мною вместе.

— Русский народ, — сказал Коля, — невоспитанный он пока, а добрей его нет.

Рассказала о встрече с мамой и обо всем новом, что увидела в тюрьме, об убийце, о безносой сифилитичке...

— Д-да, — вздохнул Коля и, помолчав, добавил: — Много у нас работы. Может, не на одну жизнь.

Несколько дней я думала, что он хотел этим сказать, а когда поняла, не поверила ему — жизнь казалась мне такой длинной, что все можно успеть.

Мамины слова «пришлю телеграмму, ты сразу-сразу приезжай» я пересказала с трепетом, но Коля воспринял их как должное:

— Само собой!

Значит, он не считает постыдным из-за личных, семейных дел оставить свое комсомольское дело, свою организацию? Как же так? Или он не считает меня взрослой, самостоятельной?..

Когда пришла мамина телеграмма, ликующая и бестолковая, без нового адреса, но с категорическим «выезжай немедленно», после чего следовало «крепко целую пишу», — я обрадовалась за маму, и растерялась, и на этот раз ничего не сказала Ларионову: нужно было решать, и решать самой.

Коля первый заговорил о мамином освобождении — видимо, он как-то следил за ходом дела. Мне бы поблагодарить его за это, а я глупо встопорщилась, уклонилась от разговора. Я уже решила наедине со своей совестью: нельзя бросать, стыдно, по-детски, теперь-то и проверяется, комсомолка я или просто так.

До сих пор не уверена, что это решение было неверным.

К весне я заболела цингой.

— Ну вот что, самостоятельная, — сказал Коля Ларионов так,

будто мы с ним подробно обсуждали мое решение и он знал все мои доводы,—мы тебя отправим в распоряжение Петрозаводского губкоммолла. Климат там получше, овощей побольше, возле мамы быстрее поправишься. А комсомольские активисты везде нужны. И не спорь, поедешь. Я уже договорился с губкоммоллом, тебя ждут.

Кто-то из морячков принес мне луку — от цинги, вечерами я медленно жевала его, стараясь не глотать едучий сок, а напитать им кровоточащие десны. Жевала и лила слезы, и сама себя убеждала — из-за лука.

До сих пор помню дощатый перрон тогдашнего мурманского вокзала и помню, как болело горло от усилий сдержать рыдания. Уже забылись лица и имена многих комсомольцев, провожавших меня, но — как будто не прошло пяти десятилетий — стоит перед глазами худощавая фигура Коли Ларионова все в той же длинной потертой фронтальной шинели, с прощально поднятой рукой.

ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

И снова — Мурманск. И такая же ранняя весна, как в тот день, когда я уезжала насовсем. И на вокзале — комсомольцы, только не провожают, а встречают, это комсомольцы иного, не похожего на наше, поколения, а я числюсь «ветераном» и приехала по их приглашению на пятидесятилетие мурманского комсомолла. Полвека хранила свой первый комсомольский билет, теперь привезла его в подарок юбиляру. Пожелтела бумага, подвыцвели чернила, но то, что там записано, вызывает почтение: № 19, время вступления — 21 марта 1920 года. Странное это ощущение, а для женщины и слегка обидное — зваться ветераном, да еще единственным из самого первого поколения! Остальные приехавшие на праздник — «ветераны» тридцатых, сороковых, пятидесятих годов...

Первый деревянный вокзальчик был под горкой, к нему добирались «пешедралом» через пустырь, а потом тропкой, оскользаясь на спуске. Сейчас большой каменный вокзал с подземными переходами вроде бы приблизился к центру (или центр — к нему?), но никакой горки нет — куда она подевалась?.. Навстречу машине разворачиваются незнакомые улицы, бьет в глаза и в душу множество огней, мне говорят, что меня поместили не в «Арктике», а в гостинице «Северная», там «спокойней»... а в приспущенное мною окно веет беспокойный, знобкий кольский ветер.

Как всегда, когда приезжаешь в родные места через много лет, тянет к сравнениям, ахам и охам. И правда, ничего не узнать, разве что северное переменчивое небо да извилистую линию сопки того берега! На этом, на городском, обжитом берегу — ни одной знакомой приметы. Даже гора Горелая... позвольте, куда же делась Горелая, царившая над Мурманском пятьдесят лет назад? Та самая Горелая, для которой мой отец настойчиво добивался радиомачты, чтобы установить радиосвязь с Петроградом?.. Не сразу я разобралась, что Горелая — вот она, на месте, даже похорошела, украшенная радиомачтами и кружевом антенн, но в одноэтажном городишке она была видна отовсюду, теперь же теряется за каменным многоэтажьем. А Варничная сопка, к подножию которой мы бегали за черникой и голубикой? Ее я обнаружила на пятый день, когда меня повезли выступать по телевидению,—телестудия забралась на вершину Варничной, у подножия какие-то склады и гаражи... И еще я искала нетерпеливым взглядом те сопки, откуда было так восхитительно спускаться на лыжах: миновав домики и бараки тогдашнего Мурманска, пройдешь заснеженным ле-

ском белых-белых, почти припадающих к земле березок, потом долго всползаешь — лыжи елочкой — вверх по склону, на самом гребне отдышишься, поглядишь на дальние мурманские дымки, на сопки того берега и серо-зеленую гладь незамерзающей Кольской губы, а потом напружинишься, подберешься, оттолкнешься и — по-о-шел! — слетаешь с верхнего склона, чуть переводишь дух на снежной террасе, и снова — спуск, namного длинней первого, лыжи разгоняются, ветер свистит в уши... Ну, где те любимые сопки, я догадалась сама, увидав, как все выше и выше, террасами, поднялись новые городские районы, замкнув горизонт. Довелось мне и в гостях побывать в одном из домов на верхнем ярусе — ветрено там, но зато — вид!..

Как всякий быстрорастущий город, Мурманск кокетлив и выделил наилучшую точку обзора. Автомобильная дорога делает на горушке крутую петлю — «восьмерку», и если в машине новый для города человек — шофер обязательно затормозит в наилучшем месте, чтобы гость вышел на обочину и полюбовался широченной панорамой, ахнул и выдал все похвалы, какие хочется услышать городскому патриоту. Конечно, и меня туда привозили, и я ахнула, но не из-за открывшегося вида, а потому, что узнала эту горушку и ее крутой склон, у края которого мы стояли, — именно здесь, по этому головоломному спуску, мы летели вслед за Колей Истоминым!.. Мои спутники не понимали, почему я смотрю не туда, куда полагается, я оторвалась от воспоминаний, огляделась и совершенно искренне восхитилась. Но наибольшее, прямо потрясающее впечатление произвел на меня Мурманск не с «восьмерки», а однажды поздно ночью с противоположного берега Кольской губы: возвращаясь из поездки в Печенгу — Никель по отличной, пустой в тот час дороге, мимо скал и ущелий, где были тяжкие бои с фашистами, мимо памятников погибшим защитникам Мурмана, мы вдруг вынырнули из этой пустынности к побережью залива, и перед глазами развернулось прямо-таки сказочное скопление огней, то полыхающих плотными массами, то вытягивающихся праздничными цепями — от Колы и до самого Североморска; на берегу ли, на многочисленных ли причалах или на кораблях, все огни двоились, отражаясь в черной воде. От сверкающей панорамы огромного, прекрасного и как будто совершенно незнакомого города-порта и впрямь захватывало дух.

«Как будто незнакомого»?.. Действительно незнакомого! Я же не нашла ни нашего комсомольского клуба, ни Морского клуба, ни пустыря, где они стояли, ни штабного дома, где мы жили первые месяцы, ни барака, куда нас выселили, ни горки наискосок, где стояло до пожара здание Совета, ни оврага, где катались на санках, ни запомнившегося берега залива с бревенчатым причалом, где однажды северным летом... Да, берега я тоже не увидела, до серо-зеленой глади воды не добраться взглядом даже с улицы имени Шмидта, протянувшейся над береговым откосом; железнодорожные пути, проходящие ниже этой улицы-набережной, не очень заметны, потому что над всей низовой частью побережья властвует его превосходительство рыбный порт со своими конторами, заводами, складами, мастерскими, причалами и теснящимися у причалов и на рейде различными РТ — большими и средними рыболовными траулерами. Прямо с улицы Шмидта в его обширные владения перекинуты над железной дорогой виадуки, по которым спешит туда-сюда рабочий и служащий народ, иной раз бросится в глаза лихой паренек в щегольской заморской куртке, словно вышедший прямо из романа Георгия Владимова, или пройдут группой парни как парни, одеты обычно, да вот походочка моряцкая, цепкая, чуть вразвалочку. Ночью над этой рыболовецкой империей сияет надпись: «Рыбный порт» — буквы таких размеров, что, пожалуй,

уместно сказать «его величество»... Что ж, все правильно. Мурманск славен рыбным промыслом, богат своей рыбной индустрией, его лодочные корабли и плавучие рыбозаводы можно встретить в очень далеких водах, от Арктики до Антарктики, и все они — тоже Мурманск. Мурманск — на длительной, тяжелой работе.

Гостю города обязательно покажут рыбный порт и сведут в магазин «Дары моря», а потом в специализированный ресторан, где можно полакомиться всевозможными рыбными кушаньями. Гостя обязательно проведут по проспекту Ленина, обстроенному красивыми домами и приманивающему витринами магазинов, гостя задержат на площади Пяти углов, откуда видны перспективы расходящихся улиц, ему покажут Дворец культуры и Дом книги, драматический театр, Дом междурейсового отдыха моряков, краеведческий музей, плавательный бассейн и стадион, Педагогический институт и, само собой, морские училища — Среднее мореходное и Высшее инженерное...

Все это и многое другое с любовью, с гордостью показывали и мне. Но гость ли я?

Разве я не домой приехала — если не к истоку жизни, то к истоку собственной биографии?..

Кое-как выкроив несколько часов, чтобы познакомиться с архивными документами полувековой давности, я заглянула и в тощенькие папки комсомольского архива. Мало что сохранилось, тогда об истории не думали. В самом первом списке комсомольцев нашла себя и свой адрес: фанбарак № 3... Что значит «фан» — фанерный? Вероятно, сооружение было хлипкое... Читаю несколько уцелевших протоколов и заявлений. Постороннему может показаться, что комсомол работал слабо — на собраниях то и дело вопросы дисциплины, выговоры за нарушения. Но это от увлечения, от максимальной требовательности. Вот протокол собрания от 30 июня 1920 года (в разгар наших работ по прокладке водопровода) — «исключить Бронина (значит, исключили-таки красавца Гордея!)... как дезертира трудового фронта»... Ого, и Коле Истомину попало «как члену комитета и кандидату РКП(б) за халатное отношение к субботнику»... Да и мне попало тоже! «Малькову, Парфенову и Кетлинской за то, что ушли с субботника, не убрав инструментов и не сказав организатору субботника»... Смутно вспоминаю, что заторопились мы кончать стенгазету, но порядок есть порядок! Вот ведь Кузьма Глазов, когда был занят на корабельном субботнике, принес об этом справку — Кузьма был человек обстоятельный.

25 августа 1920 года на общем комсомольском собрании меня выбрали в комиссию по празднованию Международного юношеского дня 5 сентября, — чуть брезжит в памяти только вечер в клубе, для которого я писала какую-то инсценировку. А вот и хорошо запомнившееся заседание, на котором Костя Евсеев просил освободить его от должности «зав. информ. орг. отдела уездгоркома» «ввиду массы работы по своим прямым служебным обязанностям». Очень мы огорчились тогда, да и Костя написал «к своему великому сожалению»... Он был железнодорожным комиссаром, а с железнодорожным начальством мы не раз конфликтовали — не хотело оно, начальство, считаться с комсомольскими делами своих работников. Вероятно, оно было право, наладить работу дороги — однопутной, с непомерным грузопотоком — было нелегко, но нам-то казалось, что нет ничего важнее комсомольских дел, а без веселого, огневого Кости ни одна затея не обходилась.

Нашла и решение об откомандировании меня в распоряжение петрозаводского комсомола, и мое заявление, продиктованное Колей

Ларионовым,— до смешного серьезное, убедительное заявление, как будто я была не пигалица пятнадцати лет, а почти незаменимое лицо! И еще забавный документ: в декабре, уже после моего отъезда, для усиления связи с губернскими организациями среди прочих представителей выдвинули Колю Филимонова в состав губисполкома, но тут же, вспомнив о советской конституции, записали: «Если кандидатура т. Филимонова неприемлема ввиду его несовершеннолетия, кандидатом вторым выдвигается...» Бедняге Шенкуренку, уважаемому руководителю народного образования, и в конце 1921 года еще не было восемнадцати лет!..

Заглянула в далекое прошлое — а мысли о сегодняшнем. Даем ли мы теперь, мы, взрослые, достаточную самостоятельность молодым способным ребятам? Не слишком ли долго держим их в детишках? Не притупляем ли чрезмерной опекой самые горячие силы?..

Мне по-особому радостно, что здесь, на родном Кольском полуострове, три лета подряд работал мой сын — сперва врачом и комиссаром, а потом и руководителем студенческих стройотрядов, трудившихся на строительстве Серебрянской ГЭС и на прокладке ЛЭП (линии электропередачи) от Серебрянки до Иоканьги (да, до той самой, когда-то зловещей Иоканьги!). Я немало встречалась и с целинниками и со студентами-строителями. Послушать их, они едут подзаработать — таков стиль нынешнего практического поколения. Кстати, «вкалывают» они не жалея сил и зарабатывают прилично, в студенческом бюджете летний заработок — статья «перспективная», тут обеспечиваются одежды-обутки на зиму и штопаются прорехи студенческого бытия. Но что бы ни говорили эти практические ребята, нелегкий быт и тяжелый труд в студенческих отрядах — одно из лучших переживаний их юности. Почему? Отбросим «громкие слова», мы тоже держали их про себя и пустозвонства не терпели. А вот самостоятельность и реальность дела — и мы любили, и они любят. Нянек над ними нет в отрядах! Сами преодолевают трудности организации и бытовые срывы, сами за себя отвечают — и неплохо отвечают. Два месяца — а возвращаются домой повзрослевшими, набравшимися впечатлений и жизненного опыта, узнавшими цену друг другу не в приятельском застолье, а в труде, в стойкости, в истинном товариществе. Я видела, как лопались дружеские отношения, когда один из друзей не выдерживал проверки «на качество». Молодость — она ведь тоже целина и тоже — стройка! И основополагающий материал в этой душевной стройке — познание радости дел а н и я, гордое сознание, что оставил свой след на земле — будь то бетонированный ток, или жилой дом, или могучие опоры ЛЭП в безжизненной тундре... И еще одно бесценное ощущение — я могу!

— Несколько лет назад для встречи с писателем мы бы взяли большой зал, а сейчас берем лекционный,— сказал мне Володя Пожидаев, вдумчивый и ироничный молодой человек, руководитель мурманского комсомола,— вы говорили, что комсомольский клуб был для вас не просто клубом, а средоточием жизни. Но сейчас у любого юноши несравнимые возможности. Что ему клубные поделки, когда он дома устроится поудобней у «телека» и увидит все, что угодно душе: спектакль с самыми лучшими актерами, модного певца, футбол или хоккей, известных писателей и ученых, конкурс песни или джаза, а то прослушает симфонию или оперу, захочет изучать язык — пожалуйста, захочет лекцию — услышит лучшего лектора, да еще с иллюстрациями. Без понимания вот этого сейчас работать нельзя. Так что битком набитого зала не ждите, придут те, у кого есть вопросы, а это уж, как вы знаете, следующая ступень развития.

Скажу сразу, что Володя не ошибся,— лекционный зал был как раз впору, а вопросов... вопросов хватило на несколько часов.

— Молодежь сейчас избалована,— продолжал Володя,— или кажется избалованной. Но инертна ли она, как иногда говорят? Вот вдумайтесь: стоило в печати появиться сообщению, что на Кольском полуострове будет строиться атомная электростанция, в течение двух недель мы получили больше тысячи заявлений, и все хотели выезжать немедленно, чтобы принять участие в строительстве с самого начала, с первого колышка, с палатки.

Как это знакомо! Когда готовилось к печати первое издание моего «Мужества», кое-кто из редакторов опасался, что в романе «слишком сгущены трудности» и это может оттолкнуть молодежь от новостроек. Но как только роман дошел до читателей, посыпались письма — и почти в каждом была настойчивая просьба сообщить, куда можно поехать, чтобы участвовать в подобном строительстве «с самого начала», «с первого колышка», «с палаток и землянок»...

О с в о е н и е — дело молодежи.

Вот и на кольской земле — куда ни поедешь, всюду видишь молодые лица, слышишь о неотложных молодежных проблемах — стадион, каток, вечерние школы и техникумы, жилье для новобранцев... ну, и проблемы яслей и детсадов, это уж непременно, нигде не увидишь на улицах такого количества детских колясок, как в новых городах, и в каждом вам будут доказывать, что именно в их городе наиболее высокий процент рождаемости,— это я слышала и на Дальнем Востоке, и в Сибири, а теперь и в Заполярном, быстро растущем юном городе в центре печенгской тундры. Едешь-едешь по шоссе среди скал и болот, и вдруг вдали, на высоком плато, как мираж в пустыне, возникает видение многоэтажного города. Заполярный вырос у богатого месторождения медно-никелевых руд, добываемых открытым способом. Строила его комсомольская молодежь. За первые шесть лет в Заполярном было восемьсот свадеб, родилось около двух тысяч новых граждан, а уж новоселий отпраздновано — не счесть. И как же любовно украшают новоселы свой город, как стараются цветовой гаммой внести разнообразие в неизбежную стандартность домов!.. А Дворец культуры в Заполярном таков, что не уступит столичному, декоративная роспись стен сделана и со вкусом, и с точным ощущением северной природы. Расти без старости, новый город юности!

Несколько лет назад я побывала в южной части Кольского полуострова, в Хибинских горах, куда мне хотелось попасть еще в годы первых пятилеток, когда комсомол будто сорвался с места — на Дальний Восток, на Волгу, к горе Магнитной, в Заполярье, в Среднюю Азию — строить заводы, рудники, железные дороги и города, города! Я люблю эти молодые города, необжитые, грубые, как первый набросок углем, с чуть намеченными улицами и пустотами между ними, про которые каждый новожитель (равнодушных тут нет, они не удерживаются) подробно расскажет, что здесь будет построено и когда и каким красивым станет их город — «приезжайте через несколько лет, увидите сами».

Созданный по инициативе Сергея Мироновича Кирова для разработки крупнейших залежей апатитов, город называется теперь его именем. Строила Кировск молодежь — даже начальнику громадного и ответственного строительства Василию Кондрикову было в ту пору двадцать девять лет! Сейчас бывшие комсомольцы-первостроители объединены Советом ветеранов и энергично участвуют в жизни города, а городу стало тесно в котловине между гор, он выплеснулся на равнину

за пределы горной гряды, там есть где развернуться, а разворачиваться необходимо: в Кировске обосновался северный филиал Академии наук, в его институтах комплексно разрабатываются основные научные проблемы севера — от геологии до садоводства. Кстати, Кировский ботанический сад своим маленьким коллективом энтузиастов ведет уникальную работу по созданию и распространению зимостойких цветов и растений для озеленения городов за Полярным кругом. А это дело нелегкое, север есть север.

Мне исключительно повезло — когда я отправилась на Расумчорр, апатитовую гору, был ясный солнечный день, в небе ни облачка. Высокогорное плато, окруженное снеговыми вершинами, казалось мирным и прекрасным, поработал — и катайся на лыжах, загорай на горном солнце! Но такие ясные дни тут редчайшее явление. Ветры и метели почти непрерывно обрушиваются на смельчаков, добывающих богатства горных недр. Раньше грузовики возили руду вниз, на апатито-нефелиновую обогатительную фабрику, по крутому серпантину, где неустанно трудились бульдозеры. Теперь гору «просверлили» вертикальными штреками, и руда летит по ним самоходом, а внизу механизмы загружают ее составы и по тоннелю, прямо «из горы» — на фабрику. Серпантин дороги — для грузов и для горняков Расумчорра, уезжающих в город на выходной день или по делам. Всю трудовую неделю горняки живут тут же на горе, они приспособились и работать и отдыхать не без уюта. Какие здесь веселые, краснощекие люди! Они смелы, но шутить со здешней природой остерегаются — в метель даже из дома в дом в одиночку лучше не ходить, унесет. Был такой случай — влюбленный паренек, презрев законы Расумчорра, решил вечером смотаться в город прямо по склону, кратчайшим путем, на свидание с любимой девушкой. К девушке он не пришел, домой не вернулся. Товарищи бросились на поиски, рискуя жизнями, облазили и прощупали, казалось, каждый метр... Занесенный сугробами труп нашли только весной, когда началось таяние снегов.

Север есть север.

При мне в Хибинах проходили традиционные спортивные соревнования Праздник Севера, на который съезжаются лучшие лыжники страны. Я долго наблюдала слалом-гигант — великолепное сочетание храбрости, мастерства, изящества и силы. Мои спутники никак не могли оторвать меня от этого зрелища. И хорошо, что не смогли! Потому что, как только спустился последний спортсмен, местные мальчишки, обступившие трассу, один за другим стали повторять маршрут слалома, щегольски изворачиваясь между вешками и флажками и показывая изрядное мастерство на своих детских лыжах, привязанных к валенкам.

А назавтра весь город облетело печальное известие: трое маленьких лыжников ушли покататься и не вернулись домой. Старшему — пятнадцать лет, двое других — младшие школьники. Мать одного из малышей в отчаянии корила себя: «Сама отправила, он пришел домой, а я сказала — не вертись под ногами, иди, погуляй до ужина!» Немедленно были мобилизованы работники лавинной службы (есть в Хибинах и такая, защищающая город от снежных лавин, ее работники обследуют опасные скопления снега и, если нужно, расстреливают их из минометов). Радио сообщило всем метеопостам, несущим службу в горах. Отправились в горы комсомольцы-лыжники. Обегали все окрестности — нет ребят! Не было их и наутро, не было и еще сутки... В день моего отъезда все население города ликovalo — ребята нашлись! Оказывается, в начавшейся метели они сбились с пути. Ничего,

кроме спичек, у них не было. Двое суток старший не позволял своим маленьким спутникам ни присесть, ни остановиться, он хорошо знал, что остановка — смерть. Они шли и шли, днем и ночью, сквозь метель, сквозь мрак, и не видно было ни солнца, ни звезд, чтобы определить-ся. На исходе вторых суток они увидели вдали огоньки метеопоста (как оказалось, более чем в ста километрах от Кировска!). Старший разыскал место, где ветром сдуло сугробы, выкопал из-под снега мох, разжег костер, усадил возле него младших — а сам побежал к заветным огонькам. У него еще хватило сил довести метеорологов до костра...

Север есть север. И характер северянина — особый характер.

Уже немало лет назад, когда я писала вторую книгу «Иначе жить не стоит», я решила добраться до изыскательской партии, работавшей западней Кировска, на реке Иова, — там намечалось построить (и построили) гидростанцию. Выехала из Ленинграда вместе с начальником экспедиции Гусиновым, правда, вопреки Ленгидэпу, где пытались удержать меня, так как на Ковдозере что-то случилось со льдом. Когда мы вышли на станции Ковда ранним-ранним утром, сразу перехватило дыхание: термометр показывал сорок пять градусов мороза. На перевалочной базе экспедиции мы наскоро закусили и немедленно собрались в дальнейший путь. К моим валенкам и шубе добавили массивный тулуп. Кое-как уселись в сани, зарыв ноги в сено. За нашими санями шло несколько розвальней, нагруженных мясными тушами и бочками с соляной. Вела санный обоз местная жительница, молодая женщина с крупным лицом, красным от мороза и ветра, с глубокими морщинами, проложенными не возрастом, а тоже морозом и ветром. Одета она была добротно, в ватном костюме, шубейке и повязанном крест-накрест толстом платке. За плечами — вещевой мешок и резиновые сапоги: «А вдруг опять вода?» Она под уздцы свела первую лошадь на дорогу, проложенную по льду Ковдозера, остальные лошади привычно пошли следом. Ехать по озеру из конца в конец его предстояло сорок километров. Мы закутались — только глаза видно, а наша командирша шагала и шагала возле первых саней, приглядываясь к дороге — недавно из-за того, что перекрыли протоку, вода прорвала лед и хлынула поверх своего ледяного панциря, затем этот слой воды тоже покрылся льдом, но еще непрочным, было уже несколько несчастий с обозами. Вскоре мы обошли место недавней аварии — из подмерзших трещин торчат оглобли саней, под корочкой льда виден труп лошади, которая так и не сумела выбраться... Наши лошади испуганно шарахались, возница успокаивающе покрикивала на них, а я... я думала, какая тут глубина и что делать, если сани провалятся, даже если выберешься — промокшая, на таком-то морозе, посреди озера!..

Провалились мы уже в потемках, в трехстах метрах от цели — на берегу приветливо светилось окошко в домике радиста. Минута ужаса... и ноги нащупали крепкий донный лед. Вода заливается в валенки — холоднющая, но обжигает как кипятки. Лошадь рвется к берегу, ломая лед и таща за собой перевернувшиеся сани, кто-то кричит: «Держитесь, берег рядом!» — и мы держимся, все время пытаясь выбраться на верхнюю кромку, но лед обламывается, лучше уж идти по пояс в воде, вслед за лошастью и санями, в ледяном крошеве образовавшейся дорожки... А наша командирша зычно покрикивает на остальных лошадей, выводя обоз в обход. Ее голос действует успокоительно, уже не страшно, вот и на берегу появились люди с фонарями, наперебой дают советы. Мне становится весело, я довольна, а Гусинов сердится: «Не понимаю, что вы нашли интересного!» А я нашла то, ради чего поехала, — случай, во время которого чуть

не погибла моя Галинка, случай, который теперь будет так легко написать!..

Чьи-то руки подхватили меня и вытащили на берег, до радиопоста осталось каких-нибудь шесть-семь метров вверх по склону, но и шагу не сделать: валенки, чулки и портянки, белье и платье, шуба, тулуп — все мгновенно превратилось в негнущиеся ледяные короба. Тащили нас чуть ли не волоком. Жена радиста во что-то обрядила меня, пока моей одежды сохли у раскаленной железной печки. А командирша возилась с лошадьми, сдавала грузы под расписку, требовала, чтобы какую-то тару погрузили немедленно, на рассвете она поведет обоз обратно!..

За скороспелым ужином мы пили водку-спасительницу и много горячего чаю, а потом, глубокой ночью, простились с командиршей и улеглись в тракторный прицеп на вороха сена. Мотаясь вместе с прицепом из стороны в сторону, тащились по ухабистой лесной дороге еще семнадцать километров — на базу экспедиции. Перед трактором, не умея выскочить из луча света, долго мчался перепуганный заяц, тракторист улюлюкал и кричал: «Сворачивай, дура, задавляю!» — пока на повороте фары сами не выпустили бедолагу... Мне было тепло и удивительно хорошо, я думала о том, что обязательно напишу командиршу — настоящий русский, северный характер! Потом, сквозь полудрему, я отчетливо увидела и услышала, как мой Никита, страшно ругаясь, бросился искать «эту сумасшедшую девчонку», ради выполнения его приказа помчавшуюся в одиночку на лыжах по неверному озеру, и как он нашел Галинку, и вытаскивал из ледяного крошева, а потом отогревал в избушке радиста, и как в ту ночь после пережитых тревог, гнева и радости все-таки произошло то, что он несколько месяцев отталкивал с упорством и даже грубостью...

...Я опять — о том, о ненаписанном?..

Но можно ли отвлекаться от жизни с ее болями и трудами, поисками и непрошеными чувствами? А уж эта книга — необычная для меня и, кажется, не очень-то композиционно четкая, — эта книга тем и держится, что пишу как на духу, будто наедине с собой — и с теми читателями, которым доверяю, чьи дружеские глаза вижу.

Итак, север есть север. А на севере чувства не менее горячи, чем на знойном юге, а может, и горячее, ведь в здешней суровости все человеческое — в особой цене.

В нынешних поездках по Кольскому полуострову, при всей насыщенности деловой программы, все время звучала нежная нота — как весенняя капель: дон! дон-дон! донни!.. Обком комсомола отрядил со мною в качестве ангела-хранителя голубоглазую комсомолочку Наташу. Наташа была так привлекательна, что строгие комсомольские руководители запретили ей приходить на работу в ее лучшем темно-голубом платье, которое особенно шло ей, «потому что все отвлекаются от дел и пялят на тебя глаза». Наташа вздыхала: когда же носить его, ведь кручусь в комсомоле и в будни и в праздники?! Но при всей своей юной прелести Наташа «железно» подчиняла себя чувству общественного долга и не давала себе поблажек. Я приглядывалась к ней, слушала ее твердый голосок и думала — кто знает, наверно, и я была когда-то такой вот «железной» комсомолкой, подавляющей соблазны ради общественного долга? А соблазны подавлять ох как нелегко! Наташа недавно вышла замуж, теперь муж грустит, потому что она приходит домой поздно, в воскресные дни у нее то слет, то поход, то семинар, а теперь вот едет к черту на кулички с заезжим писателем...

Я так и не видела Наташиного мужа, но он незримо сопровождал нас. Стоило приехать на новое место и войти в гостиницу, как дежурная говорила:

— Наконец-то! Вас уже дважды вызывал Мурманск.

— Думаю, что не меня,— посмеивалась я.

Наташино лицо розовело, но принимало такое деловитое выражение, словно ее должны вызывать по меньшей мере по вопросам все-союзной важности. Я шла отдыхать на короткие полчаса или час, что были в нашем распоряжении, а Наташа ждала третьего вызова или сама пыталась дозвониться до Мурманска.

Поездки наши были до предела перегружены — жаль что-либо упустить и на месте всегда возникают встречные предложения. Ну, приехали на северный край советской земли, в городок Никель,— само название говорит, чем тут живут. Я не собиралась спуститься в рудник и осматривать производство, так как в рудниках и шахтах бывала не раз, а подобный комбинат уже видела в Мончегорске. Но директор комбината Яков Христофорович Осипов сам пришел за мной, и я поняла, что отказом глубоко обижу человека, потому что... потому что людей, влюбленных в свое дело, я чую сразу. А для Осипова комбинат — его жизнь.

Такая любовь рождается не вдруг.

Осипов впервые увидел комбинат... нет, не так. Когда Осипов появился в этих местах, не было ни комбината, ни рудников, ни поселка. Отступая под натиском наших войск, фашисты взрывали все — шахтный копер и жилые дома, электропечи и рельсы, а полутораста-метровую массивную трубу комбината взорвали с дьявольским расчетом, чтобы она рухнула на плавильный цех, все круша и давя. 4 ноября 1944 года немецкое радио оповестило мир, что их войсками «полностью разрушены при отходе все имеющие какое-либо значение промышленные предприятия. В результате этого большевики на протяжении целого ряда ближайших лет не смогут воспользоваться ими».

Больно инженеру смотреть на бесформенные груды кирпича и бетона, на смятые и перекрученные металлические конструкции, на горестные зевы взорванных печей. А восстанавливать... восстанавливать много трудней, чем построить заново. Особенно когда еще идет война, когда нет ни электроэнергии, ни жилья, ни рабочих квалифицированных рук...

Но никель — это броня. И уже в марте 1945 года горняки выдали на-гора первые тонны руды. Одновременно через тундру тянули к Никелю высоковольтную линию из-под Мурманска, с Туломской гидро-станции. Одновременно разбирали развалины комбината и обезвреживали мины. Одновременно сооружали жилье, сажали капусту и картофель, заводили коров, свиней и даже кроликов. Одновременно... да все делалось одновременно! И не сосчитать, сколько сил человеческих вложено во все эти одновременные дела, сколько страсти и великого упорства!

А труба?! Возведение трубы, равной пятидесятиэтажному небоскребу, дело сугубо специальное. Трубу на «Петсамо-Никеле» возводила американская фирма «Альфонес Кустодис». По договору с той же фирмой осенью 1945 года в Никель прибыли два специалиста, один из них, шеф-мастер Монро, когда-то участвовал в сооружении разрушенной немцами трубы. Условия, выдвинутые американцами, были неприемлемы: строить только летом, предоставить им бригаду опытных верхолазов не старше двадцати пяти лет — ну, и все в таком же роде.

Советские теплостроители решили возводить трубу сами, в передвижном тепляке, работая круглый год. Север есть север, но люди-то были русские, советские, те самые, что выдюжили войну с фашизмом.

1 октября 1946 года возведение трубы было закончено.

30 октября Никель получил по новой электролинии первый ток с Туломы.

В августе в восстановленном плавильном цехе было закончено сооружение первой электропечи, в то время — самой крупной в мире, а 6 ноября 1946 года, под праздник Октября, печь выдала первую плавку...

Осипов сам повез нас по городу, и я понимала, отчего ему так милы и дороги каждый дом, каждая улица. Никель и вправду хорош — небольшой, но симпатичный городок, пленяющий «лица необщим выраженьем»: как-то плавно и нестандартно расположился он по склону сопки, и дома, не бог весть какие, глядят каждый по-своему, и ресторанчик, где мы наскоро пообедали, уютен, кормят вкусно, с витаминными салатами, что на севере особо важно. А в окне магазина на главной улице — цветущий куст, покрытый белыми цветами! Парковая роза? По листьям — не похоже. Так и не успела я узнать имя-отчество этого промелькнувшего чуда.

Комбинат с его трубой-небоскребом виден отовсюду, и Осипов явно торопился добраться до него. В главные, любовно украшенные ворота комбината он ввел нас торжественно, как во дворец. И пусть нет времени переодеться и спускаться в рудник (а времени до встречи с читателями оставалось мало), но Осипов настаивал — ну, хоть до спуска, хоть в бытовки и еще немного... Бытовки на северных предприятиях обставляют со щегольством и выдумкой, чтобы все сверкало и радовало глаз, их любят показывать гостям. А «еще немного» к спуску — зачем? Мы пошли вслед за шахтерами (начиналась вечерняя смена) по длинному подземному переходу. Несколько молодых шахтеров обогнали нас, весело поздоровались с Осиповым и, убежав вперед, остановились кучкой как бы в ожидании чего-то. И вдруг... прямо как в сказке, справа возникла стеклянная стена, а за стеклом сиял, зеленел, приманивал многоцветьем подземный сад. Залитая щедрым «дневным» светом, шахтерская оранжерея, казалось, и через стекла дышала благоуханной свежестью.

Молодые шахтеры полюбовались нашим изумлением и побежали дальше.

— Люди выходят из-под земли и видят зелень, цветы. Им приятно,— объяснил Осипов.

Затем мы пошли в плавильный цех. Признаюсь, металлургия не моя сфера, я робею перед огнедышащими печами и ползущими в лапах кранов ковшами с раскаленным металлом. Мощь? Да. Необходимость? Конечно. Но зрелище более сурово и жутко, чем красиво.

— Этот цех мы восстановили как он был,— объяснял Осипов, ведя нас по металлическим лесенкам и переходам вдоль огнедышащих печей,— а вот его продолжение, по существу новый и больший цех, мы построили заново. Красавец, правда?!

На мой взгляд, он был просторней и несколько светлей прежнего, вот и все. Но глаз металлурга видел его прекрасным, и я согласилась — правда, красавец! — потому что верила Осипову: когда человек любит, он знает и ценит ту красоту, что может не заметить посторонний. Видит же конструктор красоту нового решения какого-нибудь узла машины, а для непосвященных этот узел всего-навсего «что-то железное». Радует же математик красоту формулы, которая для профана — скучный набор цифр и знаков!..

Наташа тем временем бледнела и отставала и вдруг, шепнув мне: «Я подожду на воздухе», опрометью кинулась к выходу.

Позднее я разыскала ее, все еще до синевы бледную, во дворе.

— Наташа, если не ошибаюсь...

— Кажется, да,— шепотом сказала Наташа,— только вы никому...

Наутро мы должны были уезжать, но нами завладел Федор Васильевич Силаев, другой абориген и патриот печенгской земли. Силаев тоже и восстанавливал и строил, теперь он — глава Советской власти района. Здесь его все знают и он знает всех и вся. И отпустить нас он мог не раньше, чем мы побываем у пограничников (ни один писатель не проезжал мимо!) и съездим на Борисоглебскую гидростанцию. «Не поглядеть ее? Да вы сами себе не простите! Дорога, правда, не ахти, но я поеду на своем «козлике», если «Волга» не пройдет, передадите ко мне».

— Наташа, может, останетесь, отдохнете пока?

— И речи быть не может! — твердым голосом отрезала Наташа.

Ну что ж, у нее — характер, но и у меня тоже! Усадив Наташу и других наших спутников в «Волгу», я забралась в неказистую, но безотказную машину, которую у нас любовно прозвали «козликом». Зачем же мне лишаться в долгом пути такого собеседника, как Силаев?! Еще в Мурманске, когда я была у председателя облисполкома Матвеева, он мне посоветовал обязательно познакомиться с Силаевым, потому что Силаев как никто знает печенгский край. Кстати, и к Матвееву я пошла, не имея каких-либо особых дел, именно потому, что все мурманчане меня спрашивали: «А у Матвеева вы были? Вот кто облазил весь Кольский полуостров вдоль и поперек!»

Разговор с Матвеевым шел почти все время у карты, и я воочию убеждалась в том, что разработка богатств полуострова, о которой мечтал еще мой отец, ведется планомерно и широко, хотя Матвеев (сам бывший горняк) не скрывал, что добыча многих полезных ископаемых (а тут их разведано — чуть ли не вся таблица Менделеева!) ведется медленней, чем хотелось бы, в частности запасов никеля и меди. Это и правильно, говорил Матвеев, открыто богатейшее Талнахское месторождение под Норильском, с общегосударственной точки зрения целесообразно пока сосредоточить там главные силы и средства... Он говорил так, потому что давно привык мыслить государственно, но я чувствовала, что в душе он с трудом мирится с таким разумным решением, ведь ему, человеку, отдавшему кольской земле многие годы своей жизни, всю свою энергию, знания и опыт, мила именно эта суровая, исхоженная земля, он хочет именно ее расцвета — по праву любви.

Разговор с ним почему-то вспоминался мне, пока Силаев выводил за город своего проворного «козлика», по-хозяйски поглядывая, хорошо ли очищена от снега дорога и спорится ли работа на строящейся птицеводческой ферме,— и я с внезапной обидой подумала о том, что живешь в сутолоке, всегда не хватает времени, в каждой поездке чем-то обогащаешься, но и во многом себя обкрадываешь; где бы задержаться, войти в незнакомую жизнь, а тебя связывают сроки,— мелькают люди с их делами и судьбами, знакомство с каждым поневоле коротко и успеваешь ухватить лишь что-то одно, наиболее выпуклую черту, а душевный мир человека вмещает многое — сразу не вникнешь. Меня это всегда томило, когда нужно было написать очерк,— тут не домыслишь, как в романе, не обобщишь многие наблюдения в одном образе: очерк — жанр строгий! Может, потому я и писала очерки со скрипом, мучительно, и всегда отставалась

неудовлетворенность, и казалось, что человеку, о котором ты написала, самому неловко, будто он нарочно охорашивался.

Сейчас меня никто не неволит писать о Матвееве, или Силаеве, или Осипове, да и слишком беглы были встречи с ними, но ни глаз, ни чутье тут не обманывают, они все — одной человеческой породы, которую я издавна и доподлинно знаю. Чем труднее условия, чем напряженной работа и чем дальше от благоустроенных центров, тем их больше — или там они видней?.. Меня они всегда притягивали — делатели жизни, ее организаторы и ревнители, для которых многотрудные их обязанности — уже не служба и не карьера, а судьба, отрада, главный интерес, суть личности. Люди как люди, только что влюбленные. Приверженные — к своему краю, к своему делу.

С таким приверженным мы и мчались в то утро по асфальтированному шоссе, а напоследок подпрыгивали на подмерзших колесах в тяжелом весеннем снегу на грунтовой приграничной дороге. Среди заснеженных кустов изредка смутно виднелись лыжники в белых масках, а Силаев напомнил, что весь печенгский район — пограничный, а река Паз, питающая турбины Борисоглебской гидростанции, — сама граница. Он говорил о том, что саами (раньше их называли лопарями) живут здесь с давних времен, а русские люди, новгородцы, селились, промышляли рыбу и пушного зверя, торговали не только с соседями, но и с Англией уже в XI—XII веках, и первый дружеский договор с норвежским королем был заключен еще Александром Невским. У Печенгского залива, не замерзающего даже в лютые морозы, в XVI веке был основан монастырь, именем его основателя Трифона до сих пор называется озеро, даже финны сохраняли это название — Трифоновьярви... В нашем веке, когда в недрах печенгской земли были открыты никелевые руды, вокруг печенгского никеля сплелись интересы международного капитала — канадского, американского, английского, немецкого... Силаев рассказывал, что финны, с 1920 года владевшие печенгским районом, отдали разработку недр иностранным концессионерам, а что нужно иностранным капиталистам? — побыстрее взять наиболее богатую руду и получить побольше прибыли! Недра разведывались кое-как, разрабатывались хищнически, без всякой заботы о разумном изучении и использовании месторождений... Во время войны тут хозяйничали гитлеровцы — еще более хищнически. Отступая, все уничтожали, даже взорвали на реке Паз финскую электростанцию.

— Теперь река Паз — символ добрососедства. В верхнем течении она отделяет нас от Финляндии, в нижнем — от Норвегии. Вы, наверно, знаете, что финская фирма построила для нас три гидростанции на пазерецких порогах?

Да, это я знала. И была на реке Туломе, где впоследствии та же фирма строила для нас четвертую станцию, Верхне-Тулумскую.

— Кроме соображений делового сотрудничества, это помогло финнам дать работу тысячам своих рабочих. Норвежцам понравилось, они нам предложили на тех же основаниях построить гидростанции в нижнем течении. Договорились так: две они строят для нас, одну для себя. Кроме турбин и генераторов, все оборудование поставляют они. Надо сказать, строили они хорошо и отношения были самые дружеские, ни одного недоразумения или конфликта.

Машина сбавляет ход — на дороге две малолетние лыжницы. Завидно краснощекие девчушки заматались, неловко выбираясь на обочину. А впереди, свободно раскинувшись на склоне горы, весь на виду — поселок уютных двухэтажных домиков. Это и есть Борисоглеб-

ская. Самой ГЭС не увидишь, она — подземная, как и многие наши северные гидростанции.

Может, потому, что у меня давнее пристрастие к гидростроительству, но сколько я видела гидростанций, строящихся и готовых, гигантских и маленьких, — у каждой своя неповторимость и свое очарование. Пожалуй, оттого и возникло пристрастие, что ГЭС всегда — изысканная чистота снаружи и внутри, чистая вода и чистое небо без дыма; это, кажется, единственное из промышленных сооружений, которое вписывается в пейзаж, не портя его, а украшая. Гидростанция — архитектура в самом точном и высшем смысле: все сооружение в целом наиболее целесообразно отвечает своей функции и органически увязывается с природой.

Здесь, возле старинной русской церковки Бориса и Глеба, основанной еще при Иване Грозном, не было ничего, кроме крутых скалистых гор и стремглав несущейся по ущелью, с порога на порог, широкой реки. Надежным щитом станции стала гора на нашем, восточном берегу. Светлая плотина сцепила два берега, направляя клочущий поток в восьмисотметровый тоннель — крутить лопасти турбин, откуда, отработав свое, река по отводящему тоннелю возвращается в свое русло, но уже ниже плотины. Машинный зал и пульт управления — под землей, вернее — внутри горы. В зале просторно, светло, тепло, в кадках — лимоны, на изящных подставках — цветы. И, как положено, на всю станцию — один дежурный.

Когда смотришь со стороны нижнего бьефа, видишь только плотину и выступающий из скалы изящный портал — вход на станцию. Левее — поселок. И больше ничего.

Редко встретишь гидростанцию, вокруг которой не вырос бы целый город с подсобными предприятиями, временными и не временными домами и всем, что необходимо в период строительства, когда работает множество людей. Здесь этого нет. Так уж экономно строят норвежцы? Строят они экономно, накладные расходы сведены до минимума, но в данном случае решение было простым: почти рядом, в десяти километрах, норвежский город и порт Киркенес, рабочих привозили на работу оттуда, там же размещались подсобные предприятия. И фирме выгодно, и нам удобно.

Мы обогнули гору и подъехали к мосту, проложенному по бровке плотины. Половина моста — наша, половина — норвежская. Проехали вдоль берега по заснеженной дороге метров сто или двести — ворота, наш пограничник в белом. В стороне — церквушка с могилой какой-то «девицы 45 лет», с надписью: «Спи, сестра, до светлого утра». Монахиня, наверно? В этих краях монахи Печенгского монастыря были когда-то и властью, и добытчиками, и вели торговлю с заграницей.

В сугробах — домики кемпинга, ресторан. Вошли внутрь — красиво отделанный бар, комнаты отдыха, но везде мороз и пустота. Почему кемпинг не используется? Оказывается, поначалу норвежцы могли ездить сюда без заграничных паспортов, и они приезжали на машинах, прибегали на лыжах, здесь всегда былолюдно. Ну и русскую водку не обходили. Потом правительство Норвегии закрыло границу. Норвегию втянули в НАТО.

— Видите вышку? Наблюдатели НАТО.

Действительно, на высокой горе, прямо над плотиной, застекленная вышка. За стеклом — три головы. Поблескивают на солнце шесть кружочков — линзы биноклей, нацеленных на нас.

Поздним вечером, после встречи с пограничниками, а потом — с читателями города Заполярного, я наконец добралась до номера в

отличной новой гостинице — и как же мне не хотелось тут же мчаться дальше! Манила ванна, манила постель...

— Наташа, может, выедем с утра пораньше?

— Если вы предпочитаете...

Наташа так мужественно подавляла огорчение, что мне стало стыдно.

— Он знает, что мы приедем сегодня ночью?

— Нет, — сказала Наташа, — но он надеется.

Я прикинула — езды около двухсот километров, раньше двух, а то и трех часов ночи не доберешься. Гостиница «Северная» в центре Мурманска, а Наташа живет далеко, в новом районе, от проспекта ей бежать одной, темными дворами и переходами.

На мои опасения Наташа, порозовев, сказала:

— Он будет встречать на проспекте.

— Но он же не знает ни часа, ни...

— Он все равно выйдет. На всякий случай.

Что тут скажешь? Поехали.

И снова — та же длинная-длинная дорога и ночная мгла, все меняющая, таинственная и временами жутковатая: лучи фар выхватывают из мглы колющие бока горы — скалы, скалы, скалы...

Погранзастава.

Схватив наши документы, Наташа бежит в сторожку. Побывала там, потом, гляжу, выходит в сопровождении нескольких пограничников. И все они заходят к правой стороне машины. У одного в руках мои документы, он довольно строго спрашивает, кто тут гражданка такая-то...

Высовываюсь из окна: вот она, гражданка, что случилось?

— Извините, — говорит, — никогда еще не видали живого писателя.

Ну, посмеялись, поговорили. Ребята все молодые, пожелала им, как полагается, счастливой службы.

— Вы нам невест хороших пожелайте, — сказал один из них, — чтоб сразу после демобилизации и — без промаха.

Пожелала. Пусть не сразу, но без промаха.

И снова ночь, скалы, скалы... Проезжаем ущелье реки Западной Лица. Немцы прозвали его «долиной смерти». Дальше они не прошли.

Наташа прикорнула на заднем диване. Мы тихонько переговариваемся с шофером Ваней, неизменным спутником наших поездок. Он гонит вовсю, дорога пуста, ни одной встречной машины. Но вот он сбавляет ход, еще сбавляет, останавливаемся. На фоне светлого размытого пятна на небе (только позднее я поняла, что это было дальнейшее зарево мурманских огней) высится строгий памятник. Я уже знаю — здесь похоронен политрук Тимофей Борисёнок, член обкома комсомола, один из героев, заслонивших собою путь к Мурманску в сентябре 1941 года. У комсомольцев традиция: как бы ни спешили — остановиться, постоять.

Остановились. Постояли.

И снова ночь, скалы, редкие огоньки.

А мне все видится Тимоша Борисёнок, не памятник, а живой, веселый паренек, исправный и сознательный комсомолец из тех, что всегда первыми откликаются на любое нужное дело и первыми берут на себя ответственность — не потому, что хотят выделиться, а потому, что развито чувство долга. Накануне подвига он, наверно, ничем не отличался вот от этих славных ребят на заставе и от тех, что днем, в клубе пограничников, задавали вопросы — долго ли пишется

роман, была ли я сама строителем Комсомольска и как я отношусь к Евтушенко... Сколько таких мальчиков, еще не успевших наглотаться величайшей прелести жизни, полегло здесь, среди скал, скал, скал... Ни радости делания, окрыляющей душу, ни такой вот любви и заботы, как у незнакомого мне моряка, что сейчас где-то на ночном проспекте вышагивает взад-вперед, взад-вперед на случай, если приедет любимая...

Среди таких простых мыслей нет-нет да и возникали шесть поблескивающих кружочков на вышке НАТО. Ну для чего норвежцам понадобилось североатлантическое ярмо? Они же испытали и фашистскую оккупацию и предательство Квислинга! Это наши войны выгнали гитлеровцев со всего норвежского севера. В центре Киркенеса стоит памятник советскому солдату «в память об освобождении города Киркенеса в 1944 году». Памятник создан норвежским скульптором, поставлен самими норвежцами. Понимают ли они теперь, куда и зачем их снова втягивают?..

«Река Паз — река дружбы». Да, весь каскад гидросооружений на пазерецких порогах — умные, достойные человека свидетели доброго соседства и победы Разума. Так и должны жить люди. Создавать нужное для жизни, материальной и духовной. И любить. И растить детей. Человек прекрасней всего в созидании и в любви. Как человек трудится и как любит — два признака, определяющих ценность личности. А воинский подвиг? Конечно, в минуту подвига все душевные силы человека собираются для высочайшего взлета, но ведь высочайший взлет доступен только богатой душе! Головорезом (вроде гитлеровских горных егерей, что рвались через долину смерти) можно быть и ничем не дорожа, но чтобы заслонить собою родину, надо многое любить.

И еще мне вспомнился Эль-Аламейн на далеком африканском берегу, в мареве раскаленной пустыни — три кладбища поодаль одно от другого: английское, итальянское, немецкое. Меня особенно тронуло итальянское, где все стены большой часовни испещрены именами погибших и датами их рождения и смерти. Джузеппе, Никколо, Джованни, Марчелло, Паоло... все мальчики девятнадцати, двадцати, восемнадцати! На немецко-фашистском кладбище не было ни отдельных надгробий, ни перечня имен. Наверно, фашисты считали, что настоящие арийцы не должны предпринимать сентиментальных путешествий к могилам сыновей? Но именно там, в Эль-Аламейне, я впервые без ненависти подумала о безымянных немецких юношах, загубленных войной. Не все же они были фашистами, эти мальчики! А если их головы и были одурманены гитлеровской пропагандой, разве дурман не развеивается? Встретила же я в Венгрии двух активистов завода Чепель, они расспрашивали о Воронеже. «А почему вас интересует Воронеж?» — «Да мы были там». — «Когда?» — «В войну». Я невольно отшатнулась. «Так ведь по мобилизации...» Когда попали в плен, было время многое обдумать. Оба стали коммунистами. Меняются люди, случается — в дурную сторону, но ведь нередко и в хорошую! Чего бы мы стоили, строители нового мира, если б не понимали этого?!

Пусть же реки дружбы крутят лопасти турбин, пусть молодые на всей нашей беспокойной Земле поймут...

В это время мы обогнули сопку — и перед глазами возникло дивное — полыхание мурманских огней.

— Наташа! Наташа! Смотрите!

— Теперь скоро будем дома, — счастливым голосом сказала Наташа.

А еще через день мы выехали в противоположную сторону, на восток Кольского побережья. У меня не намечалось там встреч с читателями, не было и каких-либо дел, но на реке Вороньей строилась Серебрянская ГЭС, ниже по течению разворачивалось строительство второй гидростанции, а если куда-то очень влечет, что значат сто двадцать пять километров! Я знала от сына, что дорога уже проложена до самой Серебрянки, и не совсем поняла, почему нам советуют ехать на «козлике». «Козлика» не оказалось, поехали с Ваней на его «Волге». Поначалу пейзаж становился все лучше и лучше — мягкие линии сопков, сосны, рослые прямые березки. Потом повернули на восток и начали подниматься на плоскогорье, и вдруг сосны и березы исчезли, перед нами сколько видит глаз простиралась плоская равнина, по которой, как барханы в пустыне, горбились сугробы, и эти сугробы курились, обдуваемые ветром. На хорошо расчищенном шоссе тоже курились и тянулись под колеса снежные наметы. А утро было ясное, светило солнце, только ветер посвистывал, ударяя в борт машины. Мы обгоняли нагруженные самосвалы, потом навстречу начали попадаться грузовики, идущие порожняком или с пассажирами, укрывшимися брезентом.

— Главное — проехать восьмидесятые километры, — сказал Ваня.

На восьмидесятых в одном из домиков, расположившихся вдоль шоссе, играла музыка. Стояли на отдыхе дорожные машины. Женщина закрепляла на веревке развешанное белье. Самая мирная картина.

— А почему главное — проехать восьмидесятые? — с запозданием спросила я.

— Коварное место, — сказал Ваня.

— Тут часто снежные заряды, — объяснила Наташа.

Что такое снежные заряды, я поняла часа через три, когда мы поехали, уже на «козлике», с начальником строительства Аркадием Федоровичем Павловым к нижнему падуну, где будет вторая плотина. Дорога вилась вдоль реки, в снежном коридоре, который пробил бульдозер. Когда навстречу появился автокран, мы прижались к самому краю, молодой водитель помахал нам рукавицей, о чем-то предупреждая.

— Расчищают? — крикнул Павлов.

Водитель снова помахал, как будто утвердительно, и осторожно разминул с нами, а мы, проехав немного, остановились, Павлов пригласил выйти из машины и начал издали показывать, где падун (его веселый рев был смутно слышен), где вертолетная площадка, откуда идет все снабжение отрядов, возводящих ЛЭП до Иоканьги.

— Тут у нас студенты летом работают, здесь их штаб, у вертолетной.

Я кивнула — что-что, а это знаю.

— Ближе, собственно говоря, подъезжать незачем. — Павлову явно не хотелось ехать дальше, там, видимо, застряли машины. — Давай разворачивай, — сказал он шоферу.

Откуда появился с ясного неба этот снежный заряд, я не заметила, но в лицо вдруг ударило колючим снегом, все вокруг потемнело, в двух шагах не видно капота нашего «козлика».

— Давайте, давайте в машину! — Павлов посадил нас, забрался в машину сам, но машина не двинулась. — Эх, автокран!..

— А что?

— Шофер молодой, понадеется на себя... не перевернулся бы...

Заряд исчез так же вдруг, как и появился, «козлик» сразу равнулся вперед. Светило солнце, оно поблескивало на стреле автокрана, но бедняга автокран так основательно врезался в сугроб на по-

вороте, что теперь безнадежно буксовал. У водителя вид был сконфуженный. Павлов оставил свое мнение о нем при себе и крикнул, что сейчас придет подмогу.

Второй снежный заряд настиг нас, когда мы подъезжали к основным сооружениям. Шофер резко затормозил, включив фары. Встречный самосвал тоже остановился, сквозь мглистую кутерьму тускло подмигивали его желтые глаза.

— Баренцево море — рукой подать. Тридцать километров.

Да, как бы ни смягчало его теплое течение из Атлантики, север есть север. И одну из северных строительных придумок мне показали на верхнем ярусе растущей плотины: вдоль всей насыпи, покоясь между невысокими дамбочками, тянется озерко серо-голубой воды. Кругом снег и лед, а вода чуть дымится и плавают на ее глади белые плиты, припорошенные снегом, и еще какие-то небольшие сооружения — понтоны, соединенные с берегом проводами. А на берегу, подвывая, работает во всю мощь авиационный двигатель, укрепленный на шасси, — на киносъёмках таким способом устраивают метель или бурю, а здесь сильная воздушная струя отгоняет — будто пену с молока сдувая — плавающие белые плиты, — зачем? Подошли самосвалы, сбросили на дамбу грунт, бульдозеры тут же начали сдвигать этот грунт в воду, туда, откуда перед тем отогнали плиты. Вода проберется во все щели, забьет их песком и глиной, уплотнит, утрамбует... А теплая еще и смерзаться не позволит.

— У нас ведь как? «Девять месяцев зима, остальное лето!» По проекту отсыпка морены в ядро плотины производится летом. А потом что людям делать? И механизмы будут шесть-семь месяцев простаивать! Тут и сроки и стоимость строительства... Вот мы и ведем отсыпку круглый год — с подогревом!

Воду накачивают из реки в подготовленное ложе, добавляя горячую из бойлеров. Для поддержания тепла плавают на понтонах электронагреватели. Есть такие бытовые приборчики: сунешь стерженок в кружку — и через несколько минут вода закипела, можно пить чай. Примерно то же и тут, но «стерженьки» во много раз больше. А белые плиты — пенополистирол — тоже сберегают тепло. Дорога ли такая «кухня»? Конечно, дороже, чем летняя отсыпка, на всю плотину — около одного миллиона рублей. А экономия от сокращения сроков строительства — 6,6 миллиона рублей!

Мне было приятно, что придумал этот необычный метод Петр Александрович Букин, талантливый практик-гидростроитель, с которым мы уже встречались на других стройках. Милейший и на редкость немногословный человек, он стеснялся рассказывать о своем изобретении, так что я вряд ли многое узнала бы, если б Павлов не подарил мне журнал с подробным описанием.

И еще запомнились мне рабочие, колдовавшие на этой «теплой кухне», — молодые лица выражали явное удовольствие, ведь интересно, когда что-то делается по-новому, впервые в практике строительства. Чувствуют ли они гуляющий на высоте ледяной ветер, от которого мы с Наташей ежимся? Или радость делания греет их?..

Потом мы подошли к левобережному участку, где в тепляке шло бетонирование, а может, и что-то другое.

В комнатах управления, где в широкие окна можно увидеть и весь каменный поселок Туманный, и туманные дали дальние заснеженной тундры, я рассматривала проекты строящихся станций, вникала в не очень-то понятные разрезы, диаграммы, профили — по-

ка они не открывали своей логичной простоты. Потом Павлов и Букин по карте полуострова показывали уже работающие гидростанции (ого, я была на большинстве из них!), строящиеся и проектируемые. Как всегда, жизнь группировалась вокруг дорог и электростанций. Богатства недр этой суровой земли раскрываются на пользу людям не раньше, чем люди подведут дороги и электрическую энергию. Вот река Поной, перерезающая почти по центру всю восточную часть полуострова,— изрядная сила заключена в ее течении, великие богатства таят окружающие ее земли, поросшие мхами, но все это пока только приблизительно разведано, только начерно подсчитано. Спит холодная земля, бродят по ее однотонным просторам стада оленей, медленная жизнь идет в саамских редких поселениях... Когда же все тут оживет?

Вспомнился большой кабинет в облисполкоме, такая же карта на стене и Матвеев возле нее... Уж ему-то больше всех не терпелось оживить эту спящую царевну! Но, смиряя себя, он сам же и доказывал — местные интересы подчиняются общегосударственным, есть планы, есть очередность... Приспееет пора добраться до этих недр — потянут через горы и тундру дорогу, оседлают падуны Поноя. А пока — не приспела пора. Не все сразу.

— Вы на чем приехали? — вдруг тревожно спросил Павлов, услышав, как задребезжали стекла под напором очередного снежного заряда.

— На «Волге».

— Не могли вам «козлика» дать? Тогда, может, заночуете, и уж с утра?..

Я оглянулась на восторженную Наташу. Так и есть, он ждет. Да и время раннее — начало шестого. Темнеет теперь поздно.

— Тогда поезжайте сразу, — откинув вежливое гостеприимство, сказал Павлов и взял телефонную трубку: — Соедините с Восемьдесят первым километром!

Его разговор с 81-м был краток:

— Что у вас? Из Туманного выходит «Волга». В том-то и дело, что одна. Подстрахуйте, ладно?

Поторапливая нас, он пошел проверить, знает ли Ваня правила на случай зарядов.

— Главное, не стесняйся постоять!

— Да знаю, — отмахнулся Ваня. — Тринадцать лет на севере, а уж вашу дорогу изучил километр за километром, когда ее только прокладывали.

Один заряд настиг нас при выезде со строительства, а больше их и не было. На роковых восьмидесятих из поселка опять донеслась музыка — то ли там крутят пластинки, то ли во всю мочь запускают радио. У дежурного бульдозера стоял водитель, наверно, он и вышел «подстраховывать»?..

Смеркалось, когда мы въехали в Мурманск, и Наташа попросила остановиться возле кинотеатра. Оказывается, он ждет ее на девятичасовой сеанс.

— Но мы же могли не вернуться сегодня или опоздать к девяти!

— Он сказал, что возьмет билеты на всякий случай.

О-ох! Видно, когда двое любят, со «всякими случаями» везет. Без десяти девять...

А мне часы отстукивали деловое: скоро отъезд! все ли ты успела?

Увы, далеко не все! Не выбралась в Ковдор, откуда идет руда на наш Череповецкий металлургический комбинат, не увидела, как начинается атомная электростанция, не побывала в заполярных парниковых и животноводческих хозяйствах, не удалось съездить в Иоканьгу, чтобы поклониться памяти погибших в ее голых скалах (плыть туда по зимним условиям трудно, можно застрять), не хватило времени на поездку в Ловозеро, к саамским оленеводам, и даже в архивах не покопалась как следует.

Накануне отъезда я все же выкроила время и погрузилась в пожелтевшие, выцветшие документы пятидесятилетней давности. Жизнь не раз заставляла меня собирать все, что свидетельствует о первых месяцах революции на Мурмане, о деятельности и гибели моего отца. Я неплохо знаю документы центральных архивов, но и в небольшом мурманском архиве среди известных материалов то и дело мелькало что-то новое, пусть штришок, подробность... Какая сила убедительности заключена в старых документах! Какой революционный заряд хранят клочки бумаги с неумело, от руки, написанными протоколами и резолюциями! Небывалая эпоха говорит в них сотнями возбужденных голосов, все противоречия, заблуждения и открытия, безоглядная смелость и решимость поднятых революцией масс — все отражено в них, если вчитаться и вдуматься. Они кричат и шепчут, перекликаются между собой, сталкиваются и спорят, дополняют и проясняют... и все призывают к историкам: вчитайся! вдумайся! Вот как оно было, вот как боролись, гибли и побеждали люди, вот как они *н а ч и н а л и*... Изучи же нас! Пойми!

Когда я вышла из архива, был поздний вечерний час, какие бывают только на севере в начале белых ночей: легкий сумрак между домами, светлое небо, особая отчетливость линий и красок. Моя гостиница была за углом, но я свернула в другую сторону, на свидание с городом моего детства, и среди множества людей, заполнявших улицы, была, наверно, единственным человеком, перенесшимся на полвека назад, в самое *н а ч а л о* того, что так разрослось сегодня. Я шла мимо больших каменных домов — а видела одноэтажное здание нашего комсомольского клуба с замазанной надписью «Боже, царя храни!» — он стоял где-то здесь, а исчезнувшая горка была то ли слева, то ли справа, но ведь была же! Затем я оказалась перед массивным Домом междурейсового отдыха моряков и остановилась, охваченная внезапным волнением, потому что именно здесь когда-то стояли рубленые дома штаба и Центромюра, а в рощице за штабом был похоронен мой отец. Вот и уцелевшие от бывлой рощицы березы — низкорослые, с изогнутыми стволами, с замшелой корой. Мне рассказывали, что в довоенные годы, когда Мурманск начал быстро отстраиваться, командующий Северным флотом приказал с воинскими почестями перенести прах моего отца на кладбище, а в войну немецкие бомбы так перепахали кладбище, что ни одной могилы не сохранилось. Но разве дело в сохранении надгробья?!

Размышляя на такую невеселую тему, я медленно шла куда ведут ноги, и вдруг где-то между улицей Шмидта и улицей Ленина оказалась среди уцелевших деревянных домишек старого Мурманска, и увидела в просвете узкой улочки прежние густо-лиловые сопки того берега. Казалось, стоит пройти еще немного — и я увижу «фанбарак № 3», и глубокий овраг за ним, а из-за угла возникнет знакомая фигура в длинной армейской шинели, и над рыжеватой щетинкой небритых щек светло улыбнутся присматривающиеся ко мне, сощуренные глаза Коли Ларионова.

— Ну, как ты, Верушка? — спросит он.

— Все в порядке, Коля. Только дряни многовато, еще не перевелась. А ведь мы мечтали уничтожить на земле все горе, всю пасть, какая есть!

У Коли знакомо похолодеет, ожесточится взгляд:

— Разве вы отказались от такой задачи?

— Нет! — воскликну я. — И не откажемся! Но это так трудно! Ты это понимал, наверно, ты говорил: нашей жизни не хватит. А я тогда не поверила тебе, думала — жизнь длинная, все успеем.

— У меня она короткая, — дрогнув губами, тихо скажет Коля.

Я вгляжусь — ну, совсем не изменился с тех пор, как я видела его в последний раз, в Ленинграде. Молодой, увлеченный новой работой, он тогда изумился: «Ты не была в Новгороде?! Приезжай обязательно, это ж такой город — и древний и новый! А люди у нас какие! Познакомлю с женой, вместе все тебе покажем».

Коля, Коля! В Новгород я попала много позже, а с твоей женой — нет, не женой, а вдовой — познакомилась совсем недавно, погрузили вместе о тебе. Седая она уже. А ты не постарел. Мертвые не стареют... Но знаешь, Коля, в Новгороде не забыли своего комсомольского вожака, и в нынешнем Мурманске тоже помнят, в кабинете Володи Пожидаева висит большая групповая фотография, ты — в центре, правда, мало похожий, при увеличении снимок перечертили и ты превратился в брюнета. Но имя твое и дела — помнят...

Так мысленно поговорив с Колей Ларионовым, я повернула за угол — ни фанбарака № 3, ни оврага, да и деревянные дома, если приглядеться, гораздо более поздней постройки, может, даже послевоенной? Ведь Мурманск бомбили и жгли, жгли и бомбили, в краеведческом музее есть большая фотопанорама города, только вышедшего из долгого боя: развалины, остовы сгоревших зданий, трубы над пепелищами... Не один раз, а дважды заново строился Мурманск.

Когда я вернулась в гостиницу, ко мне устремилась дежурная:

— А я жду вас, жду! К вам приходил капитан дальнего плавания, говорит, знал вас еще в детстве! Очень хочет встретиться с вами! Я дала ваш телефон, вы уж, пожалуйста, не уходите из номера, он будет звонить.

Спустя час я пришла в гости... не знаю, как сказать, вероятно так: к одному из прежних мурманских мальчишек. Ребят в те давние годы было совсем немного: ни завербованные строители железной дороги, ни военнослужащие, как правило, семей не привозили, семьями жили только постоянные жители — портовики, железнодорожники, разный конторский люд. Ребята знали друг друга если не по именам, то в лицо, потому что катались на санках и на лыжах с тех же склонов, ходили за черникой и морошкой в те же ягодные места, встречались раз в год у одной и той же рождественской елки. Так вот, я пришла к одному из тех мальчишек. Узнать? Где там! Передо мною пожилой капитан, ходивший в Канаду и в Индонезию, в Буэнос-Айрес и Шанхай, — Андрей Анатольевич Назарьев, за долгую моряцкую жизнь не менявший порта приписки — Мурманска — ни в дни мира, ни в дни войны. Он недавно оформился на пенсию и теперь будет водить теплоход «Петров дворец» в туристские рейсы — Иоканьга, Белое море, Соловки...

Удивительная штука — встреча через пятьдесят лет! Сидишь в гостях у совершенно незнакомого человека, он угощает диковинной, из антарктических морей, вкуснейшей рыбой по фамилии к л ы к а ч, по прозвищу — белая семга. Говорим о том, о сем. Профессия приучила меня быстро находить общий язык с новыми людьми, но тут нечто другое — и незнаком человек, и знаком, даже близок. Кто

еще помнит, как мы ходили, бывало, за три-четыре километра на Семеновское озеро и в летние дни вопреки строжайшим запретам родителей рисковали купаться в нем — ох и холодрыга была! А где оно, то озеро?

— Вы же ездили мимо к военным морякам! Вспомните, проезжали кварталы девятиэтажных домов, а между ними — каток. Не заметили?

Ну как же, видела эти кварталы, за которыми тянутся и тянутся другие новые кварталы под трехзначными номерами (в одном из них живет Наташа), видела и каток, где носились с клюшками будущие Старшиновы и Мальцевы. Так это и есть Семеновское озеро?

А наш овраг? Назарьев вспоминает, что по праздникам не только дети, но и взрослые катались на санях с его крутых склонов — аж дух захватывало! Было так? — да, было! Усядется взрослый дяденька на санки, тебя пристроит перед собой, кто-то сзади подтолкнет — и ухаешь вниз, вниз, а у дяденьки ноги в валенках раздвинуты наготове, чтобы затормозить, иначе улетишь бог знает куда.

А Назарьев уже припомнил детские утренники с елкой, которые устраивала в Морском клубе моя мама.

— Все до единого ребятишки сбегались на утренники! Для многих это было единственным праздником в году! А вашу маму я до сих пор помню, как она с нами плясала, играла, вокруг елки хоровод водила... Она жива?

— Нет. В блокаду. От голода.

Потом мы идем по ночному Мурманску, и впервые все, что я искала и не могла найти, расставляется «по местам», потому что Назарьеву не надо гадать — все малые и огромные изменения города происходили при нем.

— Вот тут, на месте стадиона, и был наш овраг. А наша горка была вот здесь, ее срыли бульдозерами, когда засыпали овраг и выравнивали подъезды к вокзалу. Ваш фанбарак номер три стоял тут, два их было одинаковых, верно? Теперь, видите, на их месте площадь Пяти углов. Бараки держались долго, они сгорели от бомбежки, в войну.

Я спрашиваю, не помнит ли он Колю Истомина, организатора «Восхода солнца», одного из первых комсомольцев, — в обкоме комсомола меня спрашивали, кто он был, а я знаю только, что он жил в железнодорожном поселке. Коля Истомин? Такой худенький, черненький, шустрый? Конечно, Назарьев знал его, отец Коли работал в порту, но жили они действительно у станции, только старый деревянный вокзальчик стоял гораздо ближе к заливу, чем нынешний каменный. Коля Истомин любил футбол, верно? Он и его друзья часто гоняли мяч по пустырю — ну, вот тут, где теперь здания облисполкома, обкома, краеведческого музея...

Так мы стояли на перекрестке ночных улиц — заслуженный капитан дальнего плавания и ветеран первого комсомольского поколения — и, жестикулируя, воссоставляли географию детства. Тихо было вокруг нас — Мурманск уже спал. Мороз пощипывал наши лица — днем подтаивало, оседал набрякший влагою снег, на солнечной стороне с крыш срывалась первая робкая капель, а к ночи прихватил крепкий морозец. Север есть север. И как бы подтверждая это, над куполообразной крышей городского плавательного бассейна в небе прощально вспыхнуло северное сияние — не многоцветное, победно охватывающее полнеба, как зимой, а тоже робкое: занялось над сопками, развернуло над ними блеклую золотистую ленту, лента пока-

чалась, свиваясь и развиваясь, и вдруг истаяла, только один светящийся столбик еще недолго трепыхался под самой Полярной звездой, потом и он погас.

Не знаю почему, но именно там, на ночной улице, я поняла, что не могу расстаться с Мурманом, не написав своего «путешествия через пятьдесят лет» к местам отрочества, где тогда, в крутоверти громадных событий, рождалась новая судьба вот этой холодной кольской земли — да и моя непредвиденная судьба. И еще я подумала, что отроческие представления о том сложном времени, о тех громадных событиях — недостаточны, может быть, в чем-то и непонятны современным читателям, и мне все же придется совершить второе, особенно трудное для меня путешествие — назад, в историю, где моими помощниками и собеседниками будут документы, прежде всего документы.

(Продолжение следует)



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Дважды Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза
Н. И. КРЫЛОВ

★

ОГНЕННЫЙ БАСТИОН

Эта рукопись набиралась в типографии, когда пришла скорбная весть о кончине автора «Огненного бастиона», выдающегося военного деятеля Николая Ивановича Крылова.

От красноармейца до маршала — путь, который прошел Н. И. Крылов, вступил шестнадцатилетним юношей в Красную Армию.

Его первая книга «В боях за Одессу» была опубликована в 7, 8 и 9 номерах «Нового мира» за 1968 год.

Чутьем большого художника А. Т. Твардовский предвидел, что книга завоеует признательность читателя, и в своем послесловии к первой части воспоминаний Н. И. Крылова писал: «Человек, по роду своей работы знакомящийся с той или иной литературной новинкой до того, как ее машинописные страницы становятся печатными, не лишен способности чисто по-читательски воспринимать прочитанное, быть взволнованным, растроганным или восхищенным. Иными словами, редактор — тоже читатель, и прежде всего — читатель. И ему свойственно испытывать тот самый позыв к высказыванию, который побуждает читателя писать письма в редакцию по поводу опубликованных в журнале вещей.

«В боях за Одессу» — один из тех счастливых случаев, когда профессиональная придирчивость или привередливость редактора решительно уступает место читательской взволнованности и признательности автору за проведенные с ним в беседе часы».

...20 июня 1941 года полковник Н. И. Крылов, обосновавшийся по месту новой службы в приграничном городе на юге Бессарабии, встречал свою семью. Не прошло и суток, как «на рассвете красноармеец-оповеститель из нашего штаба разбудил меня резким стуком в окно...».

С тех памятных дней ведет свой рассказ Н. И. Крылов, тщательно выявляя и строго отбирая факты и документы.

«...Записки Н. И. Крылова заставляют читателя, признательного автору, с большим интересом ожидать возможных в будущем воспоминаний о боях за Севастополь и Сталинград», — писал А. Т. Твардовский.

С этого номера мы начинаем публикацию (в журнальном варианте) второй книги Н. И. Крылова — «Огненный бастион», посвященной боям за Севастополь.

В ней читатель встретит и тех, с кем он познакомился на страницах первой книги, и новых для него героев — участников обороны Севастополя.

І. КУДА ИДТИ АРМИИ?

Тридцать первое октября 1941 года. Хмурый, ранний из-за ненастья вечер. Бурая осенняя степь в центре Крымского полуострова. Распластавшись над нею, ползут низкие сумрачные облака.

На севере, откуда, прорвав Ишуньские позиции и рассекая наш фронт, развивается наступление 11-я немецкая армия фон Манштейна, не смолкает артиллерийская канонада. Но те, кто сейчас не на передовой, настороженно прислушиваются к отдаленным орудийным выстрелам в другой стороне — на западе, где расположены Евпатория и Саки. Слышны они уже и на юго-западе... Что это озна-

чает, всем понятно: частью своих сил противник обошел левый фланг нашей Приморской армии.

В степной поселок Экибаш (после войны — Велигино) километрах в сорока севернее Симферополя с разных направлений въезжают запыленные «газики» и «эмки». С прошлой ночи здесь находятся КП и штаб 95-й Молдавской стрелковой дивизии. А сегодня к 17.00 командарм И. Е. Петров вызвал сюда командиров и комиссаров всех остальных дивизий — и основного состава Приморской армии, и вступивших в подчинение ему в сложной обстановке последних дней.

Прифронтовой поселок пуст: все жители эвакуированы. На улицах только караулы, за окраиной — боевое охранение и огневая позиция противотанковой батареи. Прибывающие командиры группируются у крыльца стоящего на отлете дома, где, кажется, помещалась раньше сельская больница. Многие не виделись с тех пор, как полторы недели назад выступили из Севастополя, и, закулив, обмениваясь новостями — увы, невеселыми.

Положение в Крыму, давно уже грозное, за последние двое суток резко ухудшилось. Вражеские соединения вырвались в степь, и задержать здесь ударную группировку противника — без хорошо подготовленных рубежей, при расширившемся, да и не сплошном больше фронте — стало явно не по силам наличным нашим дивизиям, поредевшим в тяжелых боях под Ишунью, Воронцовкой, Джурчи. Не сознавать этого военные люди не могли.

За несколько минут до назначенного срока на крыльцо вышел генерал-майор Иван Ефимович Петров. Он быстро пожал каждому руку, смотря сквозь толстые стекла пенсне прямо в глаза, и негромко сказал:

— Очевидно, больше ждать некого. Кто не прибыл — значит, не мог. Не будем терять драгоценного времени. — И жестом пригласил в дом.

Все заняли места в просторной комнате с голыми стенами, вероятно, бывшей больничной палате: командарм, член Военного совета бригадный комиссар М. Г. Кузнецов и еще кто-то — на табуретках у стола с развернутой картой, остальные — на поставленных вокруг скамьях.

Я составляю список присутствующих и представляемых ими соединений. Из «старых приморских» дивизий, оборонявших Одессу, представлены 95-я, 25-я Чапаевская, 2-я кавалерийская... Нет никого из 421-й дивизии, временно перешедшей в непосредственное подчинение командующему войсками Крыма. Зато прибыли комдив 172-й стрелковой, командиры и военкомы 40-й и 42-й кавалерийских. Эти дивизии из 51-й армии были переданы к 24 октября в состав Приморской армии. Мы надеялись, что будут представители еще двух дивизий, оказавшихся в таком же положении, но связь с ними прервалась.

Присутствуют также начарт армии со своим начальником штаба, помощник начальника оперативного отдела штаба. Всего около двадцати человек.

Открывая совещание, генерал Петров заметно волнуется. В таких случаях напоминает о себе давнишняя контузия Ивана Ефимовича — он непроизвольно не в такт речи покачивает головой и принужден поправлять сползающее от этого пенсне.

Но вряд ли кто-нибудь из сидящих здесь вполне спокоен. Хотя большинство еще не знает, для чего им приказано явиться в Экибаш, каждому понятно, что для срочного сбора командиров в такой момент должны быть причины особой важности.

— Мы вызвали вас, — говорит командарм в наступившей глубокой тишине, — чтобы совместно обсудить создавшееся положение и посоветоваться о дальнейших действиях армии.

Он кратко излагает обстановку по данным на этот час. Захватив Джанкой, противник преследует 51-ю армию, отходящую к Керченскому полуострову. Перед фронтом Приморской армии натиск врага сейчас ослабел. Однако определяющим фактором является глубокий охват нашего левого фланга, охват, предотвратить который не удалось из-за недостатка сил. Сегодня утром немецкие танки появились в нескольких километрах южнее Симферополя. Положение в районе Бахчисарая неизвестно, однако дорога, идущая через него на Севастополь, по-видимому,

уже где-то перерезана. Что касается Симферополя, то нет никакой уверенности, что этот неукрепленный город останется в наших руках еще в течение суток...

У каждого перед глазами карта — та, что развернута на столе, или своя, вынутая из планшета. Но карта даже и не нужна, чтобы оценить эти факты и осмыслить главное: противник у нас в тылу.

Связи с командованием и штабом войск Крыма, добавляет генерал Петров, у армии сейчас нет. Из Симферополя они убыли. Последние указания сводятся к тому, что Приморская армия, сдерживая противника, отходит на очередной условный, то есть необорудованный, степной рубеж, а 421-я дивизия выделяется для прикрытия Алуштинского перевала.

Карта показывала: после изменений в обстановке, происшедших за последние часы, тактика планомерного отхода со сдерживанием продвижения врага на относительно широком фронте утратила свой смысл. Противник нас обошел и находился уже с трех сторон. Да и степь скоро кончалась. Дальше — предгорья и горы. Три гряды их, словно отгораживая степь от моря, протянулись по южной и юго-восточной части Крыма километров на полтора, от Севастополя к Феодосии. И дальнейший отход так или иначе подвел бы армию к ним.

Но отходить к горам можно по-разному. Направление, маршрут, тактика должны подчиняться конечной цели маневра, которую — так уж получилось — приходилось определять самим.

И командарм переходит к самому главному:

— Практически перед нами два пути: на Керчь и на Севастополь. Путь на Керчь еще не закрыт — есть примерно сорокакилометровый проход, воспользовавшись которым, мы могли бы за ночь достигнуть Керченского полуострова и занять там оборону. Однако туда, как вы знаете, отходит Пятьдесят первая армия, и, думается, будет достаточно, если на Ак-Монайских позициях закрепится она... Свободного пути на Севастополь уже не существует, во всяком случае для всей армии. Идти туда — значит, идти с боями. Но Севастополь — это главный порт Черноморского флота. Удержать его необходимо ради сохранения нашего господства на Черном море. Не секрет, что с суши город не прикрыт — полевых войск там нет. Если к нему не пробьется Приморская армия, если значительные силы противника ее опередят, Севастополь может пасть. Давайте же с учетом всего этого обсудим, куда следует идти армии. Мнение каждого командира и комиссара будет записано и принято во внимание.

Давая всем собраться с мыслями, командарм делает паузу. Затем решительно поворачивается к сидящему с краю командиру 161-го стрелкового полка 95-й дивизии:

— Полковник Капитохин! Начнем с вас, с левого фланга. Прошу!

Единственный на совещании командир полка, младший здесь по должности, но не по годам, Александр Григорьевич Капитохин — участник гражданской войны, вернувшийся в армию после многих лет руководящей партийно-хозяйственной работы. И хотя в его облике и манере себя держать еще сквозит что-то «штатское», он уже под Одессой показал себя умелым командиром. Кажется, Капитохин не ожидал, что ему придется высказывать свое мнение первому, однако к ответу готов.

— Я за то, чтобы мы шли оборонять Севастополь.

— Запишите, Николай Иванович! — кивает мне командующий, и я проставляю против фамилии Капитохина в своем списке названный им город.

— Полковник Пискунов! — обращается командарм к соседу Капитохина по скамье, начальнику артиллерии 95-й дивизии.

— Считаю, что нужно идти защищать Севастополь.

Подняв голову от списка, я вижу, как помрачнел, услышав ответы двух своих подчиненных, сидящий справа от меня командир 95-й дивизии генерал-майор В. Ф. Воробьев. Значит, Василий Фролович думает иначе?

Тем временем неторопливо встает степенный, богатырского роста генерал-майор Трофим Калинович Коломиец, недавний начальник тыла армии, а с начала октября — комдив 25-й Чапаевской.

— Я думаю, идти надо к Севастополю, — басит он.

Такого же мнения и военком Чапаевской бригадный комиссар А. С. Степанов.

— Слово имеет полковник Ласкин, — объявляет командарм.

Комдива 172-й стрелковой я вижу впервые. Его дивизия, именовавшаяся сперва 3-й Крымской, сформирована в сентябре из местных контингентов запасников и хорошо показала себя под Перекопом и Ишунью. Переданная затем из 51-й армии, она теперь оказалась в составе Приморской. Что скажет этот незнакомый, молодой еще полковник (и, насколько я знаю, совсем молодой комдив) с быстрыми, живыми глазами? Пожалуй, не удивительно, если его потянет в Керчь: там дивизия вернулась бы в прежнюю свою армию.

— Я также за то, чтобы идти на защиту Севастополя, — твердо заявил Ласкин. — Представляется выгодным, если, конечно, успеем, занять оборону по реке Альма. Имею некоторые соображения об организации марша...

Генерал Петров жестом разрешает ему продолжать, и полковник Ласкин излагает очень четко и ясно предлагаемый им порядок движения колонными путями, расположение на марше штабов, артиллерии, обозов, отрядов прикрытия. Продумать все это он успел, очевидно, уже сидя здесь.

— Учтем, — заключает командарм, заметно обрадованный этим выступлением, и предоставляет слово следующему.

Первым, против чьей фамилии я поставил «Керчь», был полковой комиссар И. И. Карпович, военком 40-й кавдивизии. Он разошелся во мнении со своим комдивом: полковник Ф. Ф. Кудюров, колоритной внешности конник, уже в летах, но статный и щеголеватый, с тремя боевыми орденами на груди, решительно подал голос за Севастополь.

Вслед за тем трое подряд высказываются за отход на Керченский полуостров — командир 95-й дивизии В. Ф. Воробьев, ее военком полковой комиссар Я. Г. Мельников и начальник штаба подполковник Р. Т. Прасолов. Главный их аргумент сводится к тому, что такое решение позволит сохранить армию.

— Мы не знаем истинного положения в районе Бахчисарая, — объяснял свою точку зрения генерал-майор Воробьев. — Весьма вероятно, что немцы успели продвинуть туда порядочные силы. Имея противника справа и слева, армия рискует втянуться в мешок, который потом окажется завязанным с севера. К тому же у нас мало снарядов, чтобы отбиваться. Мы почти неизбежно потеряем свои тылы. А в сторону Керчи еще можно пройти свободно. Вот почему я за то, чтобы идти туда и обороняться там.

Слушать это было как-то странно. Так и хотелось спросить Василия Фроловича: «А флот? Значит, бросить на произвол судьбы его главную базу? Разве Керчь заменит морякам Севастополь?» Казалось, и у командарма готова сорваться какая-то реплика, но он молча выслушал доводы Воробьева до конца.

Представителям штаба армии высказываться на совещании не требовалось: наше мнение, единодушное в пользу Севастополя, командующему и Военному совету было известно.

Через полчаса генерал Петров подводил итог совещания:

— Четверо из присутствующих высказались за отход к Керчи. Остальные, то есть подавляющее большинство, за Севастополь. Это большинство поддержало, не зная о нем, решение, к которому Военный совет армии в принципе уже пришел минувшей ночью в Сарабузе. Тем увереннее можно быть в том, что вставшая перед приморцами нелегкая задача будет с честью выполнена. — Голос командующего зазвучал по-приказному: — Итак, мы идем прикрывать Севастополь. Отвод главных сил с обороняемого рубежа начнем с наступлением темноты. Направление — на Камбары, Булганак, с выходом к утру на рубеж Альмы. А дальше — как покажет обстановка. Командиров дивизий прошу к моей карте!

В 17.45 31 октября в Экибаше был подписан боевой приказ № 0043. Им определялись колонные пути движения дивизий, уравнильные рубежи, позывные колонн, условные радиосигналы. Указания, которые не могли вестись в приказ, командиры дивизий получили устно. Тут же они перенесли с карты командарма на свои все, что касалось их соединений и соседей справа и слева.

Комдивы и комиссары быстро разъехались. Под покровом спускавшейся на степь ночи войска начали отрываться от противника на севере, чтобы как можно быстрее выйти ему навстречу на юге.

Не все получилось так, как думали и планировали мы в тот вечер. Первоначальный план вывода армии на новое операционное направление претерпел в процессе его выполнения немало изменений, причем первые коррективы в маршрут пришлось вносить уже через несколько часов. Но цель, которой все это подчинялось — защитить Севастополь, не допустить захвата его врагом, — оставалась неизменной.

И вспоминая короткое военное совещание в затеряншемся среди степи поселке, совещание, не оставившее следов в архивах, но сыгравшее тогда очень важную роль в развитии событий в Крыму, надо по справедливости сказать: для нас, приморцев, оборона Севастополя началась с Экибаша.

Чтобы читателю было яснее положение Приморской армии, вернусь теперь на две недели назад.

Первый наш день на крымской земле — 17 октября — запомнился удивительной после Одессы, забытой там тишиной. Ни гула орудий, ни разрывов бомб. Только верезжали на крутых подъемах севастопольских улиц забавные маленькие трамвайчики. С безоблачного неба сияло еще по-летнему теплое солнце, золотя гладь широких бухт, где спокойно стояли на якорях корабли.

В Севастополе, как и вообще в Крыму, я раньше не бывал. Мои представления об этом городе основывались на том, что довелось о нем читать, и были прочно связаны с обороной его в прошлом веке от англичан, французов и итальянцев, с временем Нахимова и Корнилова. Город оказался не таким, как рисовался в мыслях. Он был обширнее, разбросаннее. И выглядел новее, моложе — я ожидал увидеть больше памятников старины.

Зато все напоминало, что здесь — большой военный порт, флотская столица: и корабли на рейде, и морская форма повсюду, которую носили, лишь без нашивок на рукавах, также многие гражданские люди, в том числе городские руководители. Наверное, близостью к флоту, слитностью с ним определялся тут и общий строй жизни — четкий, строгий.

И все же в этом солнечном и строгом городе было очень спокойно. Он управлял в боевые походы корабли. Уверенно отражал редкие пока налеты фашистских самолетов. Местные предприятия работали на нужды фронта. Однако что до фронта всего километров полтора по прямой, как-то не ощущалось. И насколько серьезно положение там, на севере Крыма, многие в Севастополе, может быть, не представляли.

Должен сказать, что и мы, старшие командиры Приморской армии, в день, когда ее войска выгружались с транспортов, имели довольно скудную информацию о военной обстановке в Крыму. Знали еще в Одессе: противнику удалось овладеть Перекопом... Знали: 51-я Отдельная армия, наделенная правами фронта, в подчинение которой поступали и мы, держит оборону на Ишуньских позициях. И хотелось верить — теперь уже держит крепко.

А нашим дивизиям, отведенным на посадку в Одесский порт прямо с перовой, было насущно необходимо некоторое время если не для отдыха — о нем вряд ли кто помышлял, — то для приведения себя в порядок, для пополнения недостававшим вооружением и разным войсковым имуществом. Мы надеялись иметь несколько дней на приведение войск в полную боевую готовность.

К сожалению, сделать все, что надо было для этого, мы не смогли, не успели. Недолгая пауза на севере Крыма 18 октября кончилась: Манштейн тремя корпусами, поддерживаемыми крупными силами авиации, атаковал части 51-й армии на Ишуньских позициях и там завязались тяжелые бои.

В тот же день поступило приказание выдвигать на север наши дивизии в таком состоянии, как они есть.

Ставка образовала командование войсками Крыма во главе с замнаркома Военно-Морского Флота вице-адмиралом Г. И. Левченко, а его заместителем по

сухопутным войскам стал генерал-лейтенант П. И. Батов. Наша Приморская, которую начали было именовать «группой генерала Петрова», вошла в состав войск Крыма целиком — как армия, только, конечно, уже не отдельная, с прежними своими дивизиями, прежним командармом и Военным советом и сокращенным наполниту управлением.

Новому командующему в Крыму Гордею Ивановичу Левченко досталась в наследие обстановка, про которую даже спустя много лет, когда пишутся эти строки, хочется сказать: не позавидуешь!

Вклинившись в нашу оборону на Ишуньских позициях (уже 20 октября была занята Ишунь), противник форсировал устье реки Чатырлык и начал прорываться на левом фланге дальше — по побережью Каркинитского залива. Иными словами, с рубежей на северокрымском приозерном плато, пусть не особенно выгодных, но все же таких, где при определенных условиях, настойчиво укрепляя еще не слишком широкий фронт, казалось бы, можно держаться, бои уже перемещались в глубь полуострова, в голую степь, где положение наших войск быстро ухудшалось.

Разбор боевых действий на севере Крыма — не тема этой книги. Но даже если касаться их вскользь, в той лишь мере, в какой это нужно для объяснения всего дальнейшего, трудно не высказать горькой мысли о том, что в октябре не были сделаны все необходимые выводы из сентябрьских уроков Перекопа.

Ведь и до прибытия из Одессы приморцев не так уж мало имелось в Крыму войск. Собрать бы их вовремя в кулак, создать заслон покрепче там, откуда следовало ждать главного вражеского удара! Не приходилось же рассчитывать, что немцы, овладев перекопскими воротами полуострова, надолго там остановятся.

Между тем в Крыму увлеклись своего рода круговой обороной. Держали значительные силы не только на Чонгаре, у Сиваша, на Арабатской стрелке, но и на побережье у Евпатории, Алушты, Судака — на случай морского десанта. А во внутренних районах — на случай воздушного... Такое распыление наличных сил обошлось дорого.

Слов нет — когда все позади, судить и рядить легче. Думается, однако, можно было и тогда более трезво оценить, велика ли реальная вероятность крупных десантов, в особенности с моря. А на суше противник уже стоял одной ногой в Крыму...

Я ни в чем не могу упрекнуть тех, кто дрался на Ишуньских позициях. Части оборонявшей их опергруппы генерала Батова сражались мужественно, не раз отбрасывали немцев контратаками. Но у противника был слишком большой численный перевес, особенно в танках и артиллерии, над полем боя господствовала его авиация.

И пока подошли из Севастополя приморцы, положение успело стать критическим — назревал прорыв фронта.

Первой из наших дивизий — вечером 22 октября — вступила в боевые действия на севере Крыма 2-я кавалерийская полковника П. Г. Новикова. Через день — 95-я стрелковая генерал-майора В. Ф. Воробьева и один полк чапаевцев. 25 октября сражалась уже вся армия.

Но обеспечить на фронте перелом, чего от нее ждали, она не могла.

Полки и дивизии спешно вводились в бой, по мере того как выгружались на степных станциях за Симферополем и форсированным маршем выдвигались на исходные рубежи. На марше вручался командирам и боевой приказ. Задача: наступать, отбить у врага только что оставленную Воронцовку, а затем и Ишунь, восстановить положение, существовавшее неделю назад.

Нам говорили: «Быстрее вперед, иначе противник займет весь Крым». И тут уж не принималось во внимание ни то, что часть артиллерии еще где-то в пути, а для остальной только начали подвозить снаряды, ни неясность с авиационной поддержкой — то ли будет, то ли нет.

Наступать без должной подготовки, с ходу, было еще труднее оттого, что наши дивизии, как ни закалились они в испытаниях Одесской обороны, опыта наступательных действий, по существу, не имели.

И все же приморцы наступали. В ожесточенных встречных боях, в рукопашных схватках отбывались где сотни метров, где километр-полтора сухой крымской земли. 287-й полк Чапаевской дивизии решительной атакой обратил противника на своем участке в настоящее бегство. Наши части ворвались в Воронцовку, хотя овладеть ею полностью и не удалось, продвинулись на ряде участков к Чатырлыку. 25 октября, в день, когда вступили в бой все наши дивизии, немцам пришлось перейти к обороне.

Однако этот успех, достигнутый дорогой ценой, оказался непрочным. Развить его или хотя бы закрепить у нас не хватало сил.

И 26 октября инициативу снова захватил противник. Подтянув резервы, Манштейн двинул в наступление на сравнительно узком участке семь пехотных дивизий, поддерживаемых танками и самолетами. У нас же все еще не подошли к фронту некоторые не обеспеченные тягой артполки, плохо было и с подвозом боеприпасов.

Как ни трудно бывало на Одесском плацдарме, как ни давил и там численный и огневой перевес на неприятельской стороне, мы привыкли уже чувствовать себя подготовленными — конечно, в пределах возможного — к отпору врагу. И именно эта наша подготовленность все в большей мере определяла исход боев. А воевать так, как здесь, приморцам на моей памяти вообще не приходилось.

Глядя на все происходившее из нынешнего далека, видишь и осознаешь, что выдвижение Приморской армии на север Крыма и введение ее там в бой, как ни плохо это было обеспечено, дало все-таки немало. Противник был задержан — дорогой ценой, но задержан — на самом краю полуострова на несколько лишних дней, и, быть может, уже там, у Ишуни и Воронцовки, начал срываться расчет врага захватить с ходу Севастополь: небольшой его гарнизон смог использовать эти дни для непосредственной подготовки к обороне города. Но тогда мы думали еще не только о Севастополе — ведь шли с тем, чтобы не пустить врага в Крым...

Прикрывавшие наш левый фланг кавалерийские дивизии, в которых осталось по несколько сот бойцов, не смогли задержать моторизованные части немцев, двинувшиеся от Каркинитского залива на Евпаторию. На правом фланге, также обойденном противником, мы утратили контакт с соседом — 9-м стрелковым корпусом. С трудом отражались попытки врага вклиниваться в стыках дивизий и полков, но отдельные танки и группы мотоциклистов прорывались и тут. Чтобы не потерять связи со штабами соединений (им, как и штабам, приходилось часто переходить на новое место), наши направленцы день и ночь носились по степи.

Они доставляли все более тревожные сведения о состоянии ряда частей, о сокращении числа активных штыков. Как всегда в ближнем бою, выбывало из строя много командиров.

Это в те дни был сражен горячий и бесстрашный подполковник Амбиос Кургинян — недавний начальник штаба 241-го стрелкового полка, только что залечивший свои одесские раны и вернувшийся в тот же полк командиром. Увезли в Симферополь тяжело раненного капитана Василия Барковского — известного всей армии командира нашего лучшего противотанкового артдивизиона. Чапаевцы потеряли своего начальника штаба подполковника Николая Павловича Васильева. В двух полках дивизии Воробьева были убиты или ранены все комбаты.

Последовала директива Военного совета войск Крыма о переходе к сдерживающим боям с постепенным отходом на промежуточные рубежи в глубине полуострова, для Приморской армии — в южном направлении. Это означало, что возможность вернуться на Ишуньские позиции и отстоять Крым в целом уже исключается.

Затем связь с командованием войск Крыма прервалась. Было лишь известно, что из Симферополя оно выехало (как потом оказалось — в Карасубазар, а оттуда в Алушту). Так настал момент, когда Военному совету Приморской армии потребовалось в сложной и не вполне ясной обстановке самостоятельно принять решение, от которого могло зависеть — в этом мы отдавали себе отчет — гораздо большее, чем судьба самой армии.

Наверное, Иван Ефимович Петров тяжелее, чем любой из нас, переживал то,

что произошло с приморцами на севере Крыма, и в силу особой своей ответственности командарма, и потому, что был по натуре человеком эмоциональным, принимавшим все близко к сердцу. Горечь и боль от сознания, что армия, пусть не по своей вине, не смогла выполнить поставленной задачи, побуждали Петрова еще напряженнее думать над тем, как все-таки не дать противнику достичь его основных целей на крымском театре военных действий. В решении Ставки об эвакуации наших войск из Одессы возникшая угроза Крыму рассматривалась как угроза базированию Черноморского флота. Значит, имелся в виду прежде всего Севастополь — в конечном счете одесские дивизии нужны были здесь для того, чтобы враг не захватил главную военно-морскую базу страны на юге.

Из этого, считал генерал Петров, следует исходить и теперь.

— В Керчи нам делать нечего, наш тыл — Севастополь! — убежденно говорил он, когда Военный совет армии в первый раз, в узком составе, обсуждал, куда следует вести войска. Это было в ночь на 31 октября, в глинобитном сарае, на окраине Сарабуза, где находился наш КП.

Насколько помню, тогда только Шишенин осторожно высказал некоторые сомнения насчет того, явится ли отход к Севастополю единственно верным решением. Остальные полностью разделяли точку зрения командарма.

Среди нас не было моряков. Но говорили больше всего о флоте, о том, что ему необходимо сохранить свободу действий на всем Черном море, возможность наносить удары по коммуникациям и портам противника и не подпускать неприятельские десанты к нашим берегам. И поэтому армия, которая не зря называется Приморской и уже обороняла вместе с моряками Одессу, должна, пока еще не поздно, стать на защиту Севастополя.

Через двенадцать—тринадцать часов состоялось военное совещание в Экибаше, с которого я начал. К тому времени наш штаб наметил маршруты движения соединений, определил уравнильные рубежи, рассчитал время выхода к ним головных колонн. Был подготовлен и боевой приказ, подписанный сразу после совещания.

Как уже сказано, командарм решил вывести армию на Альму. На моей рабочей карте он сам наметил красным карандашом будущие полосы обороны дивизий на ее южном берегу.

Эта река, а по понятиям Средней России — речка, устремляющаяся с холмов Бахчисарайского плато почти прямо на запад и вошедшая в историю благодаря известному сражению 1854 года, образовала на своем пути к морю резко очерченную, местами довольно глубокую долину, которая представлялась выгодным рубежом на дальних подступах к Севастополю. Тем более что невдалеке за нею протянулись в том же направлении, словно запасные позиции, долины еще двух полугорных-полустепных рек — Качи и Бельбека.

Но занять оборону на Альме нам не пришлось. Когда все три дивизии уже начали марш (сняться с позиций, как ни мало было на это времени, почти всем удалось в срок), стало известно — с опозданием больше чем на сутки из-за отсутствия связи с Севастополем, — что еще накануне, 30 октября, передовые части противника прорвались по приморской дороге в междуречье Альмы и Качи, где как будто остановлены огнем флотской береговой артиллерии.

Поступили и достоверные сведения о том, что немцами занят Бахчисарай, также находящийся по южную сторону Альмы, ближе к Каче. Иными словами, вопрос об оборонительной позиции на Альме стал беспредметным: враг нас опередил.

Иногда спрашивают: а нельзя ли было все-таки идти прямо, принять где-то под Бахчисараем бой и пробиться уже не на Альму, а дальше — к Каче, не сворачивая с кратчайшего пути? Так ли уж значительны были преградившие этот путь неприятельские силы?

Подобные вопросы возникали и тогда. А ответ на них диктовался состоянием наших войск, характером местности, общей обстановкой.

Да, мы с самого начала сознавали, что без боя на севастопольские рубежи не выйдем. Однако бой бою рознь. Вступать в него ночью в голой степи, да еще с ходу, имея мало боеприпасов, и без танков, не зная к тому же, сколько их у противника и каковы его силы вообще (а быстро выяснить это мы не могли), — не слишком ли велик риск? Попытка пройти к Каче напролом, даже если бы это вообще удалось, могла обернуться такими потерями, после которых от армии, и так уже очень поредевшей, было бы под Севастополем мало проку.

Оценив новую обстановку, командарм около полуночи принял решение направить дивизию на восток и юго-восток от Симферополя, чтобы, перекрывая для противника дороги на Ялту и Алушту и путь в горы из долины Альмы, обойти предгорьями его силы, прорвавшиеся на юг. Конечная цель этого маневра — выход на рубеж Качи.

Дабы не терять времени, приказ об изменении маршрута передавался в каждую из колонн сперва устно и во избежание сомнений и переспросов — самыми ответственными лицами. Командиру 95-й дивизии командарм объявил приказ лично, застав его у Деревни Камбары, где тот поджидал подхода своих частей. Мне было поручено «повернуть» 172-ю дивизию.

В ночной степи, озаряемой разгоравшимися где-то на западе пожарами, у развилки дорог я во второй раз встретился с полковником Иваном Андреевичем Ласкиным, которого впервые увидел несколько часов назад в Экибаше. Там поговорить с ним не пришлось, а теперь во время короткой встречи мы успели немного познакомиться. Для меня это было важно: его дивизия, отходя с нами на Севастополь, окончательно становилась «приморской».

Ласкин производил хорошее впечатление: подтянутый, собранный, явно со строевой жилкой и, как видно, наделен живым умом, быстрой реакцией — схватывает все с полуслова. Должен сказать, что такое представление о нем у меня в дальнейшем только укреплялось (вдобавок он оказался человеком большой личной храбрости и очень решительным командиром).

Объяснять полковнику Ласкину новую задачу было легко. Притом он отлично понимал, что раз маршрут удлиняется, важно форсировать движение как только можно.

Мы разговаривали у моей «эмки», пропуская мимо дивизию — артиллерийские упряжки, повозки и машины, стрелковые подразделения в пешем строю, снова орудия... Но всего не так-то много, даже с учетом того, что тылы пошли отменно. А особенно людей в строю.

Беспокоило состояние других дивизий — в каком составе идут они? Полных сведений об этом штаб пока не имел и мог получить, видимо, еще не так скоро.

Пора пояснить, что тем маршрутом, о котором до сих пор велась речь — сперва прямо на юг, к Альме, а затем в район к юго-востоку от Симферополя и дальше в горы, — шли основные силы Приморской армии, но не вся она целиком.

Армейские и часть дивизионных тылов, тяжелая артиллерия были с самого начала направлены по шоссе Симферополь — Алушта, чтобы выйти к Севастополю по южному берегу Крыма, через Ялту. Для артиллерии на тракторной тяге это был практически единственный возможный путь, и после совещания в Экибаше командарм приказал снимать ее с позиций в первую очередь — пока еще можно выйти на шоссе.

Затем по югобережному маршруту отправилась, как первая помощь гарнизону Севастополя, спешенная, но посаженная на машины, благо представилась такая возможность, 2-я кавалерийская дивизия, точнее то, что от нее осталось: 800 бойцов, сведенных в один полк под командой капитана П. И. Петраша (из Ялты этот полк оказалось необходимым повернуть в горы — для прикрытия Ай-петринской дороги). Южным берегом пошли и остатки полков 40-й и 42-й кавдивизий, объединенные под общим командованием, после того как выполнили задачу по прикрытию выходов на Ялтинское шоссе. Позже — когда последует приказ — предстояло этим же путем догонять армию 421-й стрелковой дивизии, которой командование войск Крыма поручило оборонять район Алушты: здесь надо было во что бы то ни стало задержать врага насколько можно.

Предвижу, что у некоторых читателей, знающих Крым, может возникнуть вопрос: не являлся ли маршрут через Алушту и Ялту, хоть и кружный, самым выгодным для быстреешего сосредоточения под Севастополем всей Приморской армии? Как-никак, шоссе...

Но, во-первых, шоссе, идущее по южному берегу Крыма, было в 1941 году далеко не таким, каким стало теперь. Оно представляло собой тогда узкую горную дорогу с бесчисленными крутыми поворотами, дорогу ограниченной пропускной способности и к тому же очень уязвимую с воздуха, почти без всякой возможности объездов в случае повреждений и заторов. Пустить всю массу войск и обозов по югобережному шоссе означало бы закупорить его, помешать пройти здесь и тому, что пройти могло. А во-вторых, не следует забывать: наши стрелковые полки того времени были пехотой в самом прямом смысле слова, и лишняя сотня километров означала для них совсем не то, что для нынешних моторизованных частей.

Путь основных сил армии оказался в конечном счете тоже далеко не прямым и гораздо более долгим, чем представлялось сперва. Маршрут 95-й, 25-й и 172-й дивизий и следовавшей за ними 7-й бригады морской пехоты (только что сформированная в Севастополе и спешно выдвинутая к Ишуньским позициям, она была затем подчинена командарму Приморской) складывался постепенно, под воздействием противника и изменяющейся обстановки.

Но определение этого маршрута, все вносимые в него поправки диктовались одним стремлением — быстрее выйти к Севастополю и успеть прикрыть его с севера. И не покидавшей нас надеждой, что все же удастся если не на дальних, то хотя бы на ближних подступах к нему упредить врага.

Через полсутки после начала марша мы снова имели связь с командованием войск Крыма. Оттуда было получено краткое боевое распоряжение генералу Петрову, подписанное в 11.25 1 ноября заместителем командующего П. И. Батовым: «Начните отход на Симферополь, в горы. Закройте горы на Севастополь...» Таким образом, приказание старшего начальника совпало с решением, принятым Военным советом армии и уже выполнявшимся.

1 ноября три наши дивизии втягивались в горы. День пасмурный, хмурый, временами с дождем. Зато войскам не досаждала неприятельская авиация. Для основных соединений армии (я не говорю о частях прикрытия) этот день обошелся без серьезных столкновений и с наземным противником.

Штарм с утра находился в селении Шумхай (ныне Заречное) невдалеке от Алуштинского шоссе, движение войск контролировала оперативная группа. Под вечер начался артиллерийский обстрел северных подступов к Алуштинскому перевалу, и потребовалось заботиться о том, чтобы на шоссе, по которому сплошным потоком шли обозы, не возникало пробок.

Что касается дивизий основного состава армии, то по итогам дня складывалось мнение, что через сутки они смогут выйти в долину Качи южнее Бахчисарая, то есть достигнут первых севастопольских рубежей, представление о которых связывалось у нас в то время именно с Качей. Исходя из этого, например, дивизии генерала Воробьева — она теперь возглавляла общую колонну — была поставлена задача: к исходу 2 ноября занять на Каче оборону к западу от Шуры (Кудрино). В Заланкое (Холмовка) намечалось развернуть 3 ноября командный пункт армии. Мы не предвидели в тот момент, насколько осложнится все дальнейшим быстрым продвижением противника.

Помню разговор у командарма в ночь на 2-е, его взволнованные размышления вслух. Иван Ефимович Петров переносил мыслями в Севастополь, к которому, как следовало полагать, Манштейн двинул основную, или, во всяком случае, очень значительную, часть своей ворвавшейся в Крым армии.

Петров сознавал: организация сухопутной обороны города, очевидно, так или иначе ляжет на его плечи. Непрестанно об этом думая, он мучился оттого, что не знает ни состояния оборонительных рубежей, ни какова там обстановка вообще. У Ивана Ефимовича возникал вопрос, не следует ли ему для пользы дела поспе-

шить в Севастополь с полевым управлением, чтобы к подходу основных соединений уже быть на месте.

Вопрос этот, трудный для командарма, поскольку речь шла об его отрыве (хотя и, казалось, коротком) от главных сил армии, был решен после того, как И. Е. Петров встретился в Алуште с командующим войсками Крыма вице-адмиралом Г. И. Левченко.

Гордей Иванович, старый моряк, жил в те дни судьбой Севастополя. Он был убежден, что теперь и его место там (и действительно прибыл туда очень скоро). А Петрову дал не только «добро» на отъезд быстрее-шим путем и способом, но и прямое указание — ехать немедленно, поторопиться.

— У вас есть генералы, которые доведут войска, — сказал Левченко Ивану Ефимовичу, — а вам надо сейчас быть в Севастополе и вместе с командованием флота создавать надежную оборону.

Эти подробности их алуштинской беседы я узнал от Петрова, впрочем, уже потом.

Связных самолетов армия не имела. Быстрее-ший путь в Севастополь — путь по южнoбережному шоссе, в обгон наших обозов и потока гражданских машин из разных концов Крыма. Так и поехал командарм вместе с М. Г. Кузнецовым, Г. Д. Шишениным, Н. К. Рыжи.

Вслед за командованием отправился основной состав штаба армии, в том числе и я со своими помощниками по оперативному отделу: командарм считал, что все мы нужны в Севастополе и должны там встретить наши войска. Перед самым отъездом из Алушты мы узнали от товарищей из штаба Левченко, что немцы уже в Феодосии.

2. СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН

Промелькнул в стороне от шоссе маленький Гурзуф у каменной глыбы Медведь-горы. Осталась позади притихшая, тревожная Ялта, где мы сделали короткую остановку. Там распоряжался Петр Георгиевич Новиков — наш приморец, командир 2-й кавдивизии, принявший по приказу адмирала Левченко обязанности начальника местного гарнизона. Должность сугубо временная, «на перепутье», но весьма ответственная уже тем, что в Ялте сходятся дороги — приморская и с Ай-Петри, — и к тому же это последний перед Севастополем порт.

За Ялтой и Ливадией пошли курортные городки и поселки совсем мне неизвестные. В другое время, наверное, постарался бы рассмотреть их и запомнить, а сейчас не до того. Красоты Южного берега Крыма только растравляли душу. Ведь уже невозможно помешать тому, чтобы сюда пришел враг. Прорыв обороны на Ишуньских позициях решил на какое-то время и судьбу солнечной полоски земли между горами и морем со всеми этими дворцами и парками.

Мы обгоняли много обозных колонн, однако армейскую артиллерию на марше не видели. Значит, нигде не застряла и идет впереди!

А шли целых три тяжелых артиллерийских полка. Правда, 265-й артполк майора Н. В. Богданова, главная наша огневая сила с самого образования Приморской армии, лишился своего третьего дивизиона: тот поддерживал на севере Крыма соседние части 9-го корпуса и, как видно, пошел с ними к Керчи. (Так это действительно и было, и потом мы узнали, что на основе дивизиона богдановцев на Кавказском фронте создан новый артиллерийский полк.) Зато с нами оказались два приданных артполка из 51-й армии. В сложившихся обстоятельствах их уже никто не мог взять обратно, если бы даже и захотел.

С армейской артиллерией получилось как будто неплохо — удачно вывели ее на шоссе под носом у противника, и вот она, должно быть, уже подходит к Севастополю. Но это было пока единственное, что доставляло хоть какое-то удовлетворение.

О чем ни подумаешь — охватывало острое чувство беспокойства. Как продвигаются там, за стеною гор, наши дивизии? Что происходит под Севастополем?

Как развернулись моряки с сухопутной обороной, какими располагают на первый случай силами?

Выяснить все это можно было только прибыв на место. И вероятно, потому дорога казалась томительно долгой.

За Байдарскими воротами наконец увидели открытые по обе стороны шоссе окопы и краснофлотцев в черных бушлатах, обтянутых крест-накрест пулеметными лентами, — вероятно, боевое охранение севастопольского гарнизона. На контрольно-пропускном пункте нас ждал командир от начальника тыла армии А. П. Ерилова, прибывшего сюда на сутки раньше и приготовившего для штаба временное помещение в Балаклаве.

Оттуда командарм поспешил к командующему флотом.

За две недели, минувшие после того, как Приморская армия двинулась на север Крыма, и особенно за последние четыре-пять дней, в Севастополе и вокруг него успело произойти много событий. Расскажу о самом важном из них.

...29 октября, когда прорыв гитлеровских войск в крымские степи стал фактом, Военный совет Черноморского флота объявил Севастополь на осадном положении. Еще за три дня до этого был образован городской комитет обороны под председательством первого секретаря горкома партии Б. А. Борисова. А 30-го во второй половине дня до северных окраин города глухо донеслось уханье частых орудийных выстрелов.

По звуку люди поняли: стреляют не зенитки, а береговая артиллерия — севастопольцы привыкли слышать ее на флотских учениях. Теперь эти пушечные выстрелы возвестили о том, что на дальних подступах к Севастополю, за Качей, идет бой.

С тем, что такое береговая артиллерия, мне довелось познакомиться в Одессе. Стационарные дальнобойные батареи, которые в принципе предназначались для защиты порта от морского противника, уверенно били и по наземным целям, эффективно помогая нашим войскам. Береговые артиллеристы носили морскую форму, называли себя по-корабельному — комендорами, и весь стиль у них был корабельный: та же подчеркнутая, несколько щеголеватая четкость, точность.

В районе Севастополя флот имел батареи значительно мощнее одесских — вплоть до двенадцатидюймовых. Их главное назначение тоже состояло в том, чтобы не подпускать врага с моря, и на это всегда делался основной упор в боевой учебе. Однако необходимость повернуть орудия в сторону суши не застала севастопольских артиллеристов врасплох. Они заблаговременно подготовили к этому материальную часть и схемы огня, выдвинули наблюдательные посты.

Первой — в 16.35 30 октября — открыла огонь по врагу береговая батарея № 54 старшего лейтенанта Ивана Заики. Она стояла «на отлете» — километров за сорок от Севастополя, у деревни Николаевка, прикрывая равнинный участок побережья, удобный по рельефу для высадки десанта. Но стрелять пришлось не по десантным судам, а по танкам, броневикам, машинам с пехотой, появившимся на прибрежных дорогах.

Огонь четырех 102-миллиметровых орудий преградил путь неприятельскому авангарду — подразделениям сводной моторизованной бригады Циглера. Сорвана была и новая попытка противника продвинуться на этом направлении, предпринятая в тот же день с наступлением темноты.

После этого немцы подтянули свою тяжелую артиллерию, бросили на мешавшую им батарею пикировщиков, атаковали ее пехотой и танками. Не имея перед собой стрелковых подразделений, на открытой позиции с незавершенным инженерным оборудованием (лишь несколько дней назад закончилось строительство самой батареи), а под конец в окружении, 54-я вела бой трое суток. Тысяча двести снарядов, которые она выпустила, существенно задержали рвавшегося к Севастополю врага. Он потерял здесь до тридцати танков и броневиков, сотни солдат. Потерял и время, темп.

Это был первый заслон на кратчайшем для немцев пути к городу, и уже тут проявилась севастопольская стойкость. Батарея Ивана Заики действовала, пока не

вышли из строя все до одного орудия. После этого артиллеристы отбивались ружейно-пулеметным огнем и гранатами. Вместе со всеми сражались женщины — жены комсостава. Чтобы вывезти людей, доблестно выполнивших свой долг, к Николаевке послали тральщик, но до него смогла добраться на шлюпках только часть личного состава. Остальные, в том числе командир и комиссар батареи, прикрывали отход товарищей. Впоследствии стало известно, что им удалось уйти в горы.

Вслед за 54-й были введены в действие батареи, стоящие ближе к Севастополю, — 10-я капитана М. В. Матушенко и 30-я капитана Г. А. Александра; последняя — одна из двух самых мощных, «линиковского» калибра.

Эти батареи враг подавить не мог, а для них были досягаемы его войска на большом пространстве от устья Альмы и почти до Бахчисарая, не говоря уже о долине Качи. Благодаря вынесенным на высоты корпостам батареи точно накрывали колонны машин и танков на дальних участках Симферопольского шоссе.

Командир одной из наших дивизий, пробывавших в это время к Севастополю, рассказывал потом, как удивились его разведчики, обнаружив где-то недалеко от Булганак множество разбитых немецких автомашин. Это несомненно была работа береговой артиллерии. Продвигаясь по горным дорогам, приморцы не раз слышали в стороне разрывы тяжелых снарядов, но чьи это снаряды, могли только гадать. Докуда достают севастопольские батареи, в армии представляли тогда плохо, а о существовании таких, как 30-я, пожалуй, еще не знали вообще.

Задним числом, когда наши артиллеристы близко узнали флотских, пришлось пожалеть о том, что знакомство не произошло раньше. Взаимодействие идущей к Севастополю армии с наиболее дальнбойными его батареями, пожалуй, было возможно уже с ночи на 1 ноября, и это позволило бы приморцам быстрее и легче преодолевать преграды, которые создавал на их пути противник. Конечно, только при хорошей связи (а армия начала марш, не имея связи с Севастополем совсем), при такой координации действий всех наличных сил, какой в те дни в Крыму не было.

Но если даже какие-то возможности и остались неиспользованными, трудно переоценить то, что сделали севастопольские артиллеристы в конце октября — начале ноября. «В отражении первого вражеского удара по Севастополю, — писал впоследствии генерал И. Е. Петров в «Красной звезде», — решающую роль сыграли батареи береговой артиллерии. В результате их успешных действий враг оставил на поле боя немало танков и бронемашин, потерял много живой силы. Наступление фашистских войск с ходу захлебнулось. Героические действия флотских артиллеристов позволили выиграть время...»

Под канонаду береговых батарей выдвигались на рубежи обороны скромные силы севастопольского гарнизона.

Когда над городом, до того относительно далеким от фронта, так стремительно нависла непосредственная угроза, в Севастополе находились два полка морской пехоты и местный стрелковый полк, все — неполного состава. Из Новороссийска ожидалась (и прибыла на кораблях 30—31 октября) 8-я бригада морской пехоты полковника В. Л. Вильшанского, только что сформированная на Кавказе. Батальон моряков снимался с Тендровской косы, удерживать которую уже не было возможности, да и практического смысла.

Этих частей, как их ни расставляй, не хватало, чтобы прикрыть подступы к городу. И в Севастополе стали спешно создавать новые батальоны и отряды — из всех резервов, какие были под рукой. На формирование и подготовку к выходу на передовую давались считанные часы.

За три-четыре дня число бойцов, защищающих город на суше, удалось довести примерно до 20 тысяч. Как и при формировании частей морской пехоты в Одессе, возникали трудности с оружием: на месте не оказалось нужного количества винтовок. Но кое-что нашлось в ближайших кавказских базах флота и было доставлено оттуда. Пошли в ход также собранные в городе 2800 учебных винтовок, которые рабочие оружейных мастерских быстро превратили в боевые.

Остро недоставало артиллерии: как ни мощны береговые батареи, они не мог-

ли заменить полевых, особенно противотанковых. Ни одного орудия не имела самая крупная стрелковая часть гарнизона — 8-я бригада морской пехоты. Курсантский батальон училища береговой обороны выступил на фронт с тремя пушками, взятыми с училищного полигона.

В какой-то мере выручала артиллерия ПВО, которой в Севастополе было довольно много — до двухсот орудий, считая снятые с оставленных флотских аэродромов в центре Крыма. Две трети имевшихся зенитных орудий придали флотским батальонам как полевые, прежде всего — на танкоопасных направлениях.

В резерве имелся достраивавшийся на Морском заводе бронепоезд — знаменитый впоследствии «Железняков». На платформы, обшиваемые листовой корабельной броней, устанавливали пушки с поврежденного эсминца и минометы.

Продержаться с тем, что есть, пока подойдут приморцы, — такова была задача, говорил потом обо всем этом контр-адмирал Гавриил Васильевич Жуков.

На него, недавнего командующего Одесским оборонительным районом, легла в критические дни, когда Манштейн рассчитывал овладеть Севастополем с ходу, ответственность за то, чтобы сорвать этот замысел силами, какие были в городе, отбить первый вражеский натиск. Подчинив вице-адмиралу Г. И. Левченко все войска Крыма, Ставка одновременно тем же решением назначила Г. В. Жукова заместителем командующего Черноморским флотом по обороне главной базы. Он же являлся начальником севастопольского гарнизона. Он подписал первые боевые приказы и распоряжения о занятии частями оборонительных рубежей перед городом. В ряде случаев Гавриил Васильевич сам и выводил, ставил на эти рубежи только что сформированные батальоны.

Этот волевой, решительный человек, организаторские способности и энергия которого во всю силу проявлялись именно в трудных положениях, много сделал для Севастопольской обороны на ее напряженнейшем начальном этапе. Не вернулся он на своем новом посту «по-одесски» (это выражение у нас было тогда в ходу и в него вкладывался большой смысл), упусти время — не дни, а часы, — и последствия могли быть непоправимыми.

Этим я, разумеется, не хочу сказать, что своевременное выдвижение на севастопольские рубежи тех сил, какие можно было собрать в городе, — единоличная заслуга контр-адмирала Жукова. Все вопросы обороны главной базы решал находившийся в Севастополе Военный совет флота. (Правда, командующего флотом вице-адмирала Ф. С. Октябрьского с 28 октября по 2 ноября — как раз когда под городом начались бои — там не было: он ушел на эсминце в Потти для организации, как говорили моряки, базирования кораблей в кавказских портах.) Мобилизовать людские резервы помогал и городской комитет обороны. Наконец, опорой Жукова, его первым заместителем был комендант береговой обороны Черноморского флота и главной базы генерал-майор П. А. Моргунов, с которым читатель вскоре познакомится. Сейчас поясню лишь, что «комендант» в данном случае означает командующий.

Передовые части севастопольского гарнизона встретили наступающего врага под Бахчисараем. 31 октября здесь уже вел бой батальон училища береговой обороны под командой полковника В. А. Костышина. Курсанты, закрепившись на высотах по правому берегу Качи, держались стойко, и на следующий день гитлеровцы предприняли на этом участке гнусную «психическую атаку»: перед своими цепями они гнали толпу женщин и детей. Но это не помогло извергам — огнем с флангов курсанты сумели отсечь фашистских солдат от их жертв. Со своей позиции курсантский батальон отошел лишь по приказу двое суток спустя, когда возникла угроза окружения.

Бои на дальних подступах к Севастополю — сперва еще за линией, намеченной в качестве передового рубежа обороны, — носили сдерживающий характер, и иначе быть не могло.

Вслед за своим авангардом — бригадой Циглера — Манштейн бросил к городу передовые подразделения 54-го армейского корпуса. А им навстречу выдвигались наспеш сформированные батальоны моряков, отважных и самоотверженных, но не очень хорошо вооруженных, без автоматов и минометов, без танков,

почти без полевой артиллерии, заменить которую не могла поддержка мощных, но далеких береговых батарей. Да и оборудованных позиций за передовым рубежом не было.

Под натиском превосходящих сил врага пришлось оставить Качу — поселок в нескольких километрах за устьем одноименной реки, — станцию Сюрень, близ которой от Симферопольского шоссе ответвляется дорога на Ялту, Заланкой, где командарм Петров намеревал развернуть свой КП, если бы удалось занять оборону по Каче. Завязались бои у Дуванкоя (Верхне-Садовое) — там немцы вышли к передовому рубежу севастопольского обвода.

За счет последних формирований контр-адмирал Жуков уплотнил насколько было можно боевые порядки на определившихся наиболее опасных направлениях. Истощав на этом свои резервы, он отдал частям гарнизона приказ, в котором требовал удерживать во что бы то ни стало занимаемые рубежи до прихода Приморской армии. Враг находился в семнадцати—восемнадцати километрах от центра города.

В первой оперативной сводке за 3 ноября, прочтенной мною в штабе береговой обороны, отмечалось, что противник продолжает накапливать пехоту и мототанковые силы в Северном и Северо-восточном секторах. 8-я бригада морской пехоты и местный стрелковый полк отбивали атаки передовых частей врага в районах Дуванкоя и Аранчи, три батальона, еще находившиеся за передовым рубежом, вели тяжелые бои в долине Качи. Скопление неприятельских войск штурмовала флотская авиация. Фашистские бомбардировщики — они, несомненно, действовали уже с крымских аэродромов — совершили десять налетов на город и бухты.

Общее положение было очень напряженным. Сутки спустя вице-адмирал Октябрьский послал в Ставку телеграмму, где говорилось, что флот поставил на оборону своей главной базы все, что имел, и единственная надежда — на подход через день-два армейских частей, а если этого не будет, то противник ворвется в город. Об этой телеграмме командующего флотом я тогда не знал. Но как ждуть севастопольцы Приморскую армию, мы ощутили сразу.

Наш начальник тыла Алексей Петрович Ермилов, добравшийся до Севастополя на день раньше штаба, сообщил, что ввиду сложившейся обстановки на рубежи обороны отправлен по его собственной инициативе личный состав прибывших с ним хозяйственных подразделений. В боях под Дуванкоем, где враг рвался в Бельбекскую долину, уже участвовал разведбатальон Чапаевской дивизии под командованием капитана Михаила Антипина — самая первая боевая часть приморцев, вышедшая в район Севастополя. С ходу выводились на огневые позиции прибывавшие артиллерийские полки.

Однако ждать основные силы армии пришлось не день и не два: противник сумел еще раз преградить путь основной группе наших дивизий. Но об этом немного дальше.

4 ноября командарм, вернувшись с флагманского командного пункта флота, протянул мне бумагу с отпечатанным на машинке текстом:

— Вот, читайте.

Это был приказ прибывшего в Севастополь вице-адмирала Г. И. Левченко о новой организации управления войсками Крыма. В связи со сложившейся на полуострове обстановкой создавались два оборонительных района — Керченский и Севастопольский. О последнем в приказе говорилось:

«В состав войск Севастопольского оборонительного района включить: все части и подразделения Приморской армии, береговую оборону главной базы Черноморского флота, все морские сухопутные части и части ВВС ЧФ по особому моему указанию.

Командование всеми действиями сухопутных войск и руководство обороной Севастополя возлагаю на командующего Приморской армией генерал-майора г. Петрова И. Е. с непосредственным подчинением мне».

Далее я прочел, что начальником штаба Севастопольского оборонительного района назначается полковник Крылов.

Был также пункт о назначении генерал-майора Шишенина начальником штаба войск Крыма, а генерал, занимавший эту должность до тех пор, отстранялся от нее как несправившийся. Фактически Гавриил Данилович Шишенин уже выполнял задания адмирала Левченко, а это назначение, по-видимому, означало, что из штаба Приморской армии он уходит окончательно.

Командарм, следивший за тем, как я читаю приказ, сейчас же подтвердил:

— Да, да, это касается и вас. Вы стали сразу начальником двух штабов. Впрочем, пока это одно и то же.

Внизу перед подписью Левченко почему-то значилось: «Командующий вооруженными силами Крыма». Не войсками Крыма, как было до сих пор, а «вооруженными силами». Но недоумение вызывало не это, а кое-что более существенное.

— Здесь не поставлены задачи флоту, его корабельным соединениям, — заметил я. — Не определена и роль командующего флотом — за что в Севастополе отвечает теперь он.

— Большая часть кораблей перебазирована на Кавказ, — пояснил Иван Ефимович, — тут им теперь не дала бы жизни немецкая авиация. Адмирал Левченко считает, что Военному совету флота также целесообразно перебраться туда. Того же мнения и адмирал Октябрьский. А Левченко намерен быть со своим штабом в Севастополе.

Признаться, я не очень удовлетворился тем, что услышал. Где бы корабли ни базировались, без их участия длительная оборона изолированного приморского плацдарма немыслима — это мы слишком хорошо знали по Одессе. А раз так, почему же в таком важном приказе флот, по существу, обойден?

Очевидно, вполне понимая меня, но не желая продолжать разговор на эту тему, командарм сухо вато сказал:

— Мы с вами солдаты и обязаны принять и выполнять приказ таким, каков он есть. Главное сейчас, Николай Иванович, — привести в строгую систему управление всеми обороняющими Севастополь силами, и как можно быстрее. Об этом и надо думать, а остальное так или иначе образуется. — И Иван Ефимович перешел к вопросам практическим: — Я договорился, что мы разместимся на командном пункте береговой обороны, у Моргунова. Будет тесновато, но это не беда. Зато там налаженная связь с частями — все, что стоит сейчас на севастопольских рубежах, управляется оттуда. Тыл и начальники родов войск, кроме начарта, останутся пока в Херсонесских казармах. Кстати, примите к сведению, хотя приказом это еще не отдано: генерал Моргунов с сего дня является моим заместителем, а начальник штаба береговой обороны полковник Кабалюк — вашим. О том, что контр-адмирал Жуков вступил в командование здешней военно-морской базой, вы уже прочли.

Так начал организационно оформляться Севастопольский оборонительный район — СОР. Приказ адмирала Левченко, готовившийся, вероятно, в большой спешке, далеко не во все внес ясность. Как увидит читатель, структура СОР, объявленная 4 ноября, оказалась не окончательной, чего и следовало ожидать.

Но командарм был прав: при всех условиях, при любой структуре общего руководства обороной, главное заключалось в том, чтобы обеспечить четкое, гибкое боевое управление. Пока оно затруднялось уже тем, что на многих участках оборону держали батальоны и отряды, не сведенные в более крупные части, весьма неодинаковые по численности, вооружению, подготовке и плохо обеспеченные связью. Так получилось вынужденно — хорошо, что успели сколотить эти подразделения и занять ими рубежи! Однако раздробленность фронта не могла не ослаблять его.

И все же до прибытия основных сил армии крупные оргмероприятия исключались. Даже ограниченные перегруппировки на отдельных участках требовали предельной осмотрительности: когда противник нажимает, а резервов нет, любой просчет может стать непоправимым. В кратчайший срок требовалось досконально изучить обстановку, «впитать» ее в себя, чтобы свободно в ней ориентироваться.

За это мы в штабе взялись с первого же часа пребывания в Севастополе. Но

как я ругал себя, что не нашел времени познакомиться с местностью вокруг города и оборудовавшимися позициями в те двое суток, которые провел тут после Одессы! Тогда были другие заботы, да и не верилось еще, что придется воевать под Дуванкоем, у Федюхиных высот или Балаклавы...

Войти в курс дел нам активно помогали севастопольские товарищи из береговой обороны. Я очень обязан в этом отношении генерал-майору Петру Алексеевичу Моргунову и особенно полковнику Ивану Филипповичу Кабалюку, с которым меня сразу тесно связала начавшаяся совместная работа.

Вряд ли кто-либо в тот момент знал положение под Севастополем — я имею в виду обстановку на суше — лучше, чем эти два командира. До образования СОР и прихода приморцев все нити руководства боевыми действиями, развернувшимися на подступах к главной базе флота, все данные о событиях на каждом участке фронта сходились именно к коменданту береговой обороны и в его штаб.

К тому же Моргунов и Кабалюк были севастопольскими старожилами, которым все вокруг знакомо и близко.

Соприкасаясь с флотскими командирами-береговиками, я и раньше замечал, что это народ более оседлый, чем наш брат армеец, вечно кочующий из гарнизона в гарнизон, — очевидно, потому, что морских баз и укрепрайонов не так уж много. И место, где прослужены долгие годы, естественно, становится для таких командиров родным. А тем более такое, как Севастополь. Большая привязанность к нему, гордость за него, с которой переплелись теперь тревога и боль, очень чувствовались в наших новых боевых товарищах.

Потом я узнал, что генерал Моргунов, в юности слесарь на московском заводе Гужона и красногвардеец, участник штурма Кремля в 1917 году, пришел к Черному морю в бригаде красных курсантов-артиллеристов, сражавшейся против Врангеля. А в береговой обороне Черноморского флота, которую за два года до войны возглавил, прошел все служебные ступени, начиная с командира огневого взвода.

Полковник Кабалюк был старше своего начальника и успел побывать солдатом в окопах первой мировой войны. Севастопольцем же стал тоже с тех дней, когда Крым очищали от белых. Командовал здесь батареями и дивизионом береговой артиллерии, служил в штабах, преподавал в течение ряда лет в училище береговой обороны, откуда вернулся на штабную работу большего масштаба.

Иван Филиппович Кабалюк носил пышные усы, говорил неторопливо и чуть-чуть певуче. При всей своей командирской подтянутости, он напоминал немолодого украинского крестьянина, спокойного и добродушного (и как оказалось, действительно родился и вырос в приднепровском селе). Но этот медлительный на вид человек отличался большой собранностью, знал цену минуте.

После того как мы, в первый раз встретившись, представились друг другу, он тотчас же подошел к карте и без всяких предисловий начал:

— Вот что мы имеем под Севастополем...

Жирные резубцы, нанесенные на карту по кромке суши от Николаевки, уже занятой противником, до Балаклавы, обозначали позиции стационарных береговых батарей. Их было девять, но одна — 54-я старшего лейтенанта Заики — больше не существовала. И еще три подвижных. На всех, вместе взятых, меньше 50 орудий. Зато калибр до 305 миллиметров, вдвое крупнее самого тяжелого армейского, и большая дальность. Словом, артиллерия крепостная.

Эта огневая мощь накапливалась десятилетиями. Некоторые батареи существовали еще до революции, а свои позиции унаследовали от более давних, защищавших севастопольские бухты со времен Суворова, когда только закладывались тут город и порт. Но были и совсем новые, поставленные в предвоенные годы. В том числе самые мощные 30-я и 35-я — башенного типа, с укрытыми под землей и бетоном пунктами управления, казематами, погребами, по существу — целые форты. (Немцы в своих документах почему-то именовали их «Форт Максим Горький-1» и «Форт Максим Горький-2», хотя эти батареи никогда так не назывались.)

Даже на карте огневое прикрытие морских подступов к главной базе флота выглядело внушительно. Пока эти батареи существовали, вероятно, никакой десант высадиться вблизи Севастополя не мог. Обороняться, однако, пришлось от противника, подошедшего с тыла, с суши. Береговая артиллерия, как и под Одессой, начала взаимодействовать с пехотой. И поддержка батарей, расположенных к северу от города (остальные огня пока не открывали), уже помогла морским пехотинцам выстоять в первых боях.

Но поддержка поддержкой, а что представляет собою сам фронт обороны? Что есть за спиной у батальонов, сдерживающих врага на передовом рубеже или еще дальше? Это волновало больше всего.

Первоначальное представление о системе севастопольских рубежей, до того как увидел их в натуре, я получил у той же карты Кабалука.

— Вот основная, главная линия обороны, с которой мы начали строительство укреплений, — объяснял Иван Филиппович. — Начинается она, как видите, за Балаклавой, идет через Кадыковку, по склонам Федюхиных высот, через Инкерманскую долину и Камышловский овраг, затем по высотам за Бельбеком и упирается в море у устья Качи... На этой линии сейчас шестнадцать железобетонных дотов с орудиями от сорока пяти до ста миллиметров, больше полусотни пулеметных дотов и дзотов. По фронту рубеж имеет до тридцати пяти километров. Глубина оборонительной полосы невелика — двести — триста метров, тут еще многое надо сделать... Огневых точек тоже должно быть больше. Пока ими наиболее насыщен центральный участок — тут такая пересеченная местность, что требовалось сразу ставить их почаще...

Я слушал Ивана Филипповича, смотрел на карту, закрепляя в памяти расположение главного рубежа, а сам старался понять: почему он так близко от города, особенно в центральной части обвода — всего в семи-восьми, а кое-где даже в пяти километрах, и только на флангах несколько дальше? Ведь, подойдя к этому рубежу, немцы смогут держать весь город под артиллерийским обстрелом.

Пусть существовал еще передовой рубеж в виде опорных пунктов, прикрывающих подступы к главному. Но главный есть главный. Можно ли рассчитывать, что он надолго останется у наших войск в тылу?

Лично я пришел тогда к убеждению, при котором и остался: севастопольские рубежи оказались такими, а не иными прежде всего потому, что, намечая их, сперва думали не столько о сухопутной обороне в широком смысле слова (тем более не о длительной), сколько о преградах для сброшенного воздушного десанта. Пусть крупного, но не располагающего, например, тяжелой артиллерией. Это и определяло дистанции, масштабы.

В ходе работ многое в первоначальных планах корректировалось, дополнялось. Пример тому — опорные пункты передового рубежа. Однако пересматривать основное уже не было времени. Главный рубеж прошел там, где его наметили перед войной.

Чтобы больше не возвращаться к этой теме, скажу, что при ознакомлении с позициями на местности приходилось еще не раз подавлять чувство огорчения и досады. И передовой и главный рубежи проходили так, что большинство командных высот находилось на стороне противника. А доты были расставлены слишком уж открыто, будто напоказ, представляя хорошие цели. Причем примерно треть готовых артиллерийских дотов и такая же часть пулеметных точек приходились на тыловой рубеж (строительство его форсировали опять-таки на случай воздушного десанта). Главный же на ряде участков правой его половины фактически был лишь обозначен. В строительстве передовых опорных пунктов до начала боев не успели завершить и того, что считалось планом-минимумом.

Останавливаясь на этом, дабы читатель знал, как обстояло дело, я далек от того, чтобы недооценивать сделанное строителями севастопольских рубежей. Они выполнили за короткий срок очень большую по объему работу, трудоемкость которой умножалась природными условиями, неподатливостью каменистого, местами скального, грунта. А недоделки объяснялись острой нехваткой не только времени,

но и инженерно-заградительных средств — колючей проволоки, противотанковых и противопехотных мин.

И при всех недостатках системы укреплений, созданной к ноябрю, прорваться через них к городу враг не смог.

Строительство и совершенствование сухопутных рубежей продолжалось. В эту работу (руководство ею перешло к генерал-майору инженерных войск Аркадию Федоровичу Хренову, ставшему заместителем командующего СОР по инженерной обороне) включились затем инженерные и саперные батальоны Приморской армии. Да и каждая наша стрелковая часть внесла свой вклад в полевую фортификацию на подступах к главной базе флота.

И в конечном счете рубежи обороны сделались такими, что противник стал называть их крепостными, хотя никаких крепостей в обычном смысле слова на суше под Севастополем не было.

Командный пункт береговой обороны помещался на холмистой западной окраине города в переоборудованных подземных казематах старой, давно упраздненной батареи.

Теперь здесь Амурская улица, выросли новые здания. А в 1941 году был малолюдный Крепостной переулочек — несколько домиков, побеленных снаружи, как украинские хаты, с тихими, оплетенными виноградом двориками за каменными оградками.

Казалось, этот уголок Севастополя остался таким, каким выглядел лет девяносто назад, в первую оборону. О той поре напоминали сохранившаяся на углу кирпичная кладка старинного укрепления с квадратной пушечной амбразурой и название соседней улицы — 6-я Бастионная.

Место это довольно высокое. За деревьями и крышами карабкающихся по склону улочки открывались взгляду морские дали. Справа виднелись центральная часть города, рейд за плавучим боновым заграждением, Северная сторона с Константиновским равелином...

А в каземате старой батареи, под толщей бетона, все похоже на наше одесское подземелье. Так же не доносятся сверху никакие звуки, так же никогда не выключается электричество. Только потеснее, чем было в просторных хранилищах шустовского завода, да и не так глубоко.

Флотские береговики по-братски разделили с нами помещение, которое готовили на военное время для себя. Наш командный пункт на «втором этаже», то есть на самом нижнем. Справа как войдешь — «каютка» командарма: деревянный топчан у стены, рабочий стол, два стула — и больше уже ничего не поместилось бы. В такой же «каютке» в глубине каземата помещаюсь я. Более просторный «кубрик» (моряки любят и на берегу называть все по-корабельному) слева от входа отведен оперативному отделу. Там же дежурная служба, рядом узел связи.

А этажом выше, над нами, начальник артиллерии армии со своим штабом. Командование береговой обороны — Моргунов, Кабалюк и оперативная часть их штаба — находится по соседству, под общей с нами бетонной крышей, но у них есть отдельный выход наверх.

Главное достоинство нашего КП — налаженная уже связь. Со всеми батареями и многими другими объектами базы — особо надежная, по подземному кабелю. Стараниями армейских и флотских связистов к нему постепенно подключали и стрелковые части, и потом мы напрямую соединялись с командирами полков.

Командарм согласился, что оставаться мне дальше также и начальником оперативного отдела нет необходимости. Начопером назначили майора Михаила Юльевича Лернера, работавшего в отделе с первых дней Одесской обороны, — отличный, вдумчивый штабист, спокойный и добродушный человек. Помощниками его оставались знакомые читателям моих одесских записок капитаны И. П. Безгинов, К. И. Харлашкин, И. Я. Шевцов — наши боевые направленцы.

К ним прибавился майор А. И. Ковтун-Станкевич, о котором я писал тогда как о начальнике разведки Чапаевской дивизии и временном командире одного из ее полков. Командарм Петров, знавший Ковтуна-Станкевича как бывший комдив

Чапаевской, сразу после Одессы взял его в шторм, сказав тогда мне: «Тут он очень пригодится!»

Майор Ковтун (вторая половина его фамилии в обиходе обычно опускалась, против чего он никогда не возражал) был в штабе едва ли не самым старшим по возрасту. Он участвовал в гражданской войне, в 20-е годы служил начальником штаба кавалерийского полка, а затем лет пятнадцать работал в сельском хозяйстве — директором совхоза, директором МТС. В кадры армии вернулся из запаса всего около года назад, но перерыв в службе у него как-то не чувствовался — очевидно, помогал старый военный опыт в сочетании с богатым житейским. Инициативный и решительный, быстро схватывающий и трезво оценивающий обстановку, он сразу стал использоваться в качестве «офицера для особых поручений», хотя в нашем штате такой должности и не значилось.

Когда положение на севере Крыма сделалось очень напряженным, Ковтун, имея в своем распоряжении отдельный разведбат Чапаевской дивизии, отвечал за прикрытие армейского КП. С этим батальоном он прибыл и в Севастополь первым из штаба армии и, выполняя задание командарма, немедленно приступил к развертыванию передового командного пункта на Мекензиевых горах, у кордона Мекензи № 1.

На картах значились еще два кордона Мекензи, а также хутор Мекензия. Как объяснили моряки, все эти названия (читатель будет встречаться с ними и дальше) произошли от фамилии адмирала, который в давние времена, при зарождении Севастополя, имел касательство к строительству всяких флотских служб на берегу Северной бухты. Должно быть, кордоны Мекензи играли тогда роль каких-то застав, а теперь оставшиеся от них старые дома были просто ориентирами на местности.

Считая район Мекензиевых гор ключевой позицией на ближних подступах к Севастополю, генерал Петров и сам поехал прежде всего туда. Майор Ковтун, успев разобраться в обстановке и установить связь с оборонявшимися на этом направлении батальонами и отрядами, уже подготовил рекомендации о первоначальных мерах по упорядочению управления ими. И первые боевые распоряжения в качестве командующего СОР генерал Петров отдал именно там, причем писал их, как не раз делал это и под Одессой, прямо на картах комбатов.

Оборона была пока весьма неплотной, на передовой с нетерпением ждали свежих сил. Но с Мекензиевых гор Иван Ефимович вернулся повеселевшим, воодушевленным. Он с удовлетворением говорил о боевом настроении людей, с которыми там встретился. Потом я слышал от морских пехотинцев, что их, в свою очередь, ободрило появление на переднем крае армейского генерала, хотя тот и не привел с собой крупных сил — основные части приморцев еще не пришли.

По моим наблюдениям, моряки, ставшие на защиту Севастополя, вообще очень хорошо встречали сухопутных командиров и подчинение им принимали с радостью, очевидно, сознавая, сколь это важно для успеха боев. Подтверждение этому я нашел и в авторитетном флотском документе, познакомиться с которым имел случай впоследствии. Начальник Главного политуправления Военно-Морского Флота армейский комиссар 2-го ранга И. В. Рогов, прибывший в те дни в Севастополь, телеграфировал наркому ВМФ: «Характерно отметить, что краснофлотцы, отобранные в морскую пехоту, просят назначить командиров, знающих сухопутные операции».

На Мекензиевы горы И. Е. Петров наметил поставить Чапаевскую дивизию, в стойкость которой очень верил. Дивизия была еще в горах, но капитаны Безгинов и Харлашкин — они вслед за Ковтуном осваивали этот сектор — заранее получили задание быть готовыми встретить чапаевцев и провести на предназначенные им участки.

На этом же направлении занял огневые позиции уже прибывший 265-й — богдановский — артполк. Временно, пока отсутствовали начарты дивизий, майор Н. В. Богданов был облечен правами старшего артиллерийского начальника на всей северной половине севастопольского фронта.

Мне, как, впрочем, и Лернеру, реже, чем другим, удавалось отлучаться с КП, особенно на первых порах. Познакомившись мало-мальски с обстановкой, мы сели вместе с Иваном Филипповичем Кабалюком за подготовку боевого приказа № 001 по Севастопольскому оборонительному району. Его подписали командующий СОР И. Е. Петров, член Военного совета М. Г. Кузнецов и я как начальник штаба в ночь на 6 ноября.

Останавливаться на этом приказе особенно подробно я не буду. Он был нацелен на повышение роли секторов как важнейшего звена в управлении силами обороны. Однако поставить во главе каждого сектора опытного общевойскового командира мы еще не могли. Таковых на месте не было, и приходилось ждать наших комдивов. Только в Первом секторе прежнего коменданта, по званию капитана, сменил два дня спустя полковник П. Г. Новиков, освободившийся от своих временных обязанностей в Ялте.

И 6 ноября и 7-го положение было напряженнейшим. Враг расширял фронт атак по обводу передового рубежа, явно рассчитывая не тут, так там прорвать нашу оборону, пока она еще не окрепла, пока не соединились севастопольский гарнизон и Приморская армия.

Отбиться любой ценой и выиграть время — к этому сводилась ближайшая задача.

В такой обстановке наступила двадцать четвертая годовщина Великого Октября. Несмотря ни на что, праздник чувствовался. Из Москвы, под стенами которой также шли бои, транслировалось, как обычно, торжественное заседание... А наутро, тоже как обычно, только в более ранний час, состоялся военный парад на Красной площади. Его не ждали, о нем и мысли не было — ведь Москва сделалась прифронтовым городом. Но парад состоялся, на Красной площади перед войсками выступил Сталин... Что значил в тот момент самый этот факт — трудно передать, это надо было пережить. Октябрьские дни сорок первого года остались незабываемыми. Они прибавили людям сил для борьбы с ненавистным врагом, укрепили уверенность в нашей победе.

Под Севастополем 7 ноября ознаменовалось активными действиями 8-й бригады морской пехоты полковника В. Л. Вильшанского.

Ей приходилось держать оборону на почти десятикилометровом фронте. На значительной части этого участка было пока относительно спокойно, но командование бригады имело смутное представление о том, какие неприятельские силы ей противостоят, чего от них можно ждать. А когда собственные боевые порядки жидковаты и огневых средств мало, особенно опасно плохо знать конкретного противника.

Чтобы познакомиться с ним поближе, и предприняли разведку боем — пятью усиленными ротами. Им ставилась также задача улучшить позиции бригады захватом трех высот между Бельбеком и Качей. Так как у Вильшанского своей артиллерии не было, короткую артподготовку произвели одна береговая батарея и одна из богдановского полка.

Враг такой активности от нас явно не ожидал, однако быстро начал оказывать возрастающее сопротивление. Тем не менее атакующая группа, действуя решительно и напористо, заняла все три высоты (одной немцы через несколько часов овладели вновь), истребила свыше двухсот гитлеровцев, захватила пленных и трофеи, в том числе 3 орудия, 10 минометов, 20 пулеметов. Нелишне сказать, что сама морская бригада имела на тот день 29 пулеметов, считая и ручные, на все десять километров своего фронта.

Было установлено: на этом участке находятся части 132-й немецкой пехотной дивизии и 5-й мотополк румын, добыты и другие полезные сведения о противнике. Но значение «большой разведки», первой такой под Севастополем, заключалось также в том, что она показала, как можем мы бить врага при всем его численном и техническом перевесе. Для бойцов бригады Вильшанского — запасников, воюющих всего неделю, — почувствовать это было особенно важно.

А на центральном участке передового оборонительного рубежа, в районе Черкез-Керменского опорного пункта, 2-й и 3-й Черноморские полки морской пехоты весь день отбивали ожесточенные атаки гитлеровцев. Противник начал наступать здесь еще накануне, стремясь прорваться в долину Кара-Коба и на Мекензиевы горы. И это наряду с продолжавшимся натиском в районе Дуванкой представляло сейчас наибольшую опасность. Становилось все очевиднее, что враг стремится расчленить наш фронт, пробиться к Северной бухте.

Несмотря на поддержку морской пехоты береговыми батареями, несмотря на то, что расчеты дотов и дзотов — правда, тут их было немного — держались до последнего, 6 ноября немцы заняли Шули (Терновка), Черкез-Кермен (Крепкое) и соседнюю высоту Ташлык. Батальон 3-го морского полка отбил ее контратакой, но вернуть остальные позиции не хватило сил. Передового опорного пункта на восточном направлении фактически больше не существовало.

К вечеру 6-го у нас появилась возможность усилить оборону долины Кара-Коба только что вышедшим к Севастополю — впереди остальных частей Чапаевской дивизии — 31-м Пугачевским стрелковым полком подполковника К. М. Мухомедьярова. Полк невелик, нуждался в доукомплектовании и приведении в порядок после тяжелого марша по горам и посылался в этот район как страховочный резерв. Но ввести его в бой понадобилось уже на следующее утро, и он помог морским пехотинцам остановить здесь противника.

Однако левее по фронту немцы вновь продвинулись. Во второй половине дня 7-го в их руках оказался хутор Мекензия, расположенный всего в восьми километрах от оконечности Северной бухты.

Обеспокоенный ухудшением положения на Мекензиевых горах, И. Е. Петров выехал на передовой КП, где по-прежнему находился Ковтун. Иван Ефимович, как всегда, испытывал потребность лично познакомиться с обстановкой там, где она осложнилась. И, очевидно, хотел на месте удостовериться, что следует направить именно туда (предварительное решение об этом он уже принял) 7-ю бригаду морской пехоты, которая в эти часы сосредоточивалась за Южной бухтой, на Корабельной стороне.

Бригада — «коренная» севастопольская. Около месяца назад ее сформировали из моряков-добровольцев с кораблей и из береговых подразделений главной базы и считали основным войсковым прикрытием города. Когда гитлеровцы прорвали Ишуньские позиции, командование войск Крыма потребовало отправить бригаду туда вслед за нашими дивизиями. Оттуда она вместе с Приморской армией начала обратный марш к Севастополю, но из-за перебоев в связи иногда выбирала путь самостоятельно. В ночь на 7 ноября основную часть бригады приняли на борт в Ялте высланные из Севастополя эсминцы, а небольшой отряд с командиром во главе выходил в это время горными тропами в Байдарскую долину.

Так 7-я бригада морской пехоты, поредевшая (два ее батальона попали в окружение, из которого вышли лишь мелкие группы), но все же насчитывавшая без малого две тысячи бойцов, вернулась в Севастополь. Командовал ею полковник Евгений Иванович Жидилов, черноморский ветеран под стать Моргунову и Кабалуку: он тоже пришел в эти края двадцатилетним командиром взвода, когда освобождали Крым от врагелевцев.

Еще не познакомившись с командиром бригады (встретаться с Жидиловым до Севастополя в крымских степях мне не приходилось), я узнал ее комиссара Николая Евдокимовича Ехлакова. Прибыв с теми батальонами, что шли из Ялты морем, он, не дожидаясь комбрига, явился к нам на КП — коренастый, широкоплечий, в кубанке и армейской шинели, из-под которой виднелся стоячий синий воротник морского кителя, а черные флотские брюки заправлены в пехотные кирзовые сапоги.

Перед командующим батальонный комиссар Ехлаков держался нескованно, непринужденно. Чувствовалось — человек он прямой, по характеру независимый, и если дело касается боеспособности части, насущных ее нужд, выложит без обиняков любому начальству все, что считает необходимым. Люди такого склада нра-

вились генералу Петрову, и он слушал военкома бригады с заметной симпатией к нему, позвав и меня с ним познакомиться.

Позже мне стала известна примечательная деталь родословной Ехлакова: в первой обороне Севастополя участвовал его дед — солдат Суздальского пехотного полка, того самого, от которого получила тогда название гора Суздальская, теперь снова ставшая боевым рубежом. Вот какие глубокие «севастопольские корни» оказались у этого комиссара морской пехоты, родом сибиряка. И уж когда он говорил бойцам о традициях русских воинов, сражавшихся на крымской земле, это шло от самого сердца!

На КП Ехлаков докладывал о состоянии прибывших батальонов. Его заботили виды на доукомплектование и получение противотанковых средств. Вопросы были вообще-то «командирские», но комиссара касалось все, и раз он появился тут первым, он их и ставил. И, понятно, интересовался, какую задачу получит бригада.

Командующий сказал, что ее по всем правилам следовало бы вывести сейчас в резерв и пополнить как положено, однако с этим придется обождать. До полуночи пусть люди отдохнут, а за это время последует боевой приказ.

Перед рассветом бригаду Жидилова на машинах перебросили на Мекензиевы горы. Утром 8-го она контратаковала немцев, имея задачу вернуть хутор Мекензия и продвинуться к Черкез-Кермену.

Но я должен еще рассказать о том, что происходило 7 ноября у Дуванкоя. Здесь противник находился несколько дальше от города, однако характер местности позволял шире, чем на восточном направлении, использовать танки. И важнее всего было не дать им прорваться вдоль Симферопольского шоссе и по Бельбекской долине.

В день Октябрьской годовщины тут принял боевое крещение, поддерживая морскую пехоту, вступивший в строй бронепоезд «Железняков». Действовал он успешно: огневymi налетами с выгодных позиций помог сорвать, по крайней мере, две попытки гитлеровцев вклиниться в нашу оборону. Однако полагаться на то, что поддерживающая артиллерия, в том числе береговая, выручит во всех случаях, стрелковым подразделениям не приходилось. А противотанковой артиллерии, как и вообще полевой, находящейся в боевых порядках пехоты, было мало. Готовясь к отражению танковых атак, командиры размещали впереди занимаемых рубежей, по возможности подальше, группы бойцов-истребителей с зажигательными бутылками и гранатами.

Одну такую группу из 18-го батальона морской пехоты возглавлял политрук Николай Дмитриевич Фильченков. Группу выдвинули вперед в предвидении того, что противник может направить танки в обход обороняемой батальоном высоты. С Фильченковым пошли краснофлотцы Иван Красносельский, Даниил Одинцов, Юрий Паршин, Василий Цибулько.

Ныне эти имена известны далеко за пределами Севастополя. А там каждый школьник укажет дорогу к памятнику пяти героям — коммунисту и четырем комсомольцам, которые 7 ноября 1941 года ценою своих жизней остановили рвавшиеся к городу фашистские танки. Уже подорвав несколько их и не имея иной возможности задержать остальные, политрук и краснофлотцы, обвязавшись последними гранатами, бросились под танки сами...

Такова была решимость защитников города остановить врага во что бы то ни стало. Пожалуй, достаточно вдуматься в один этот факт, чтобы понять, почему гитлеровцы не смогли с ходу ворваться в Севастополь, несмотря на немногочисленность его гарнизона и незавершенность оборонительных рубежей.

Тридцать лет спустя подвиг политрука Фильченкова и его товарищей ожил на экране — с него начинается посвященная Севастопольской обороне кинокартина «Море в огне», выпущенная недавно «Мосфильмом». Мне кажется, этот пролог фильма помогает людям нового поколения ощутить героическую атмосферу тех дней.

Должен тут же сказать, что о подвиге у Дуванкоя, которому суждено было стать бессмертным, мы узнали тогда не сразу. Во всяком случае, ни 7 ноября, ни в ближайшие после этого дни донесений о нем не поступало. Схватка моряков с танками произошла за передним краем, на «ничейной» земле. Санитар, добравшийся туда, когда один из пяти героев — Василий Цибулько — был еще жив, сам получил тяжелое ранение и не успел или не смог никому передать до отправки в госпиталь то, что он услышал от умирающего краснофлотца.

Как все было, выяснилось лишь через некоторое время. Но то, что какие-то бойцы остановили вражеские танки, видели с соседних высот, из расположения других подразделений, и о подвиге этих бойцов, сперва безымянных для всех, разнеслась молва.

На войне не раз бывало, что в легенду превращалось событие уже хорошо известное. Здесь же получилось наоборот: подвиг группы Фильченкова сначала стал героической легендой, передаваемой из уст в уста, из окопа в окоп, а потом уже обрел достоверность восстановленного во всех подробностях факта. И пятеро славных севастопольцев были посмертно удостоены звания Героя Советского Союза.

Вернуть Черкез-Кермен нам не удалось. Весь день 8 ноября шли упорные бои за хутор Мекензия, но и он оставался в руках противника. Крайне напряженное положение сохранялось на фронтовых участках Бельбекской долины. И все же стало чувствоваться, что натиск гитлеровцев идет на спад.

Они овладели двумя из четырех опорных пунктов нашего передового рубежа. Всего семь километров отделяло их от края Северной бухты. Однако продвинуться дальше противник не смог, его попытки развить наступление от Дуванкоя и от Шулей остались безуспешными. Прорвать фронт Севастопольской обороны не удалось.

«В этих условиях, — констатировал потом фон Манштейн в своих мемуарах, — командование армии должно было отказаться от своего плана взять Севастополь внезапным ударом с ходу...»

Оправдываясь в провале этого плана и стараясь объяснить, как его 54-й корпус оказался остановленным на ближних подступах к городу, командующий 11-й немецкой армией, между прочим, утверждает: «...Противник счел себя даже достаточно сильным, чтобы при поддержке огня флота начать наступление с побережья севернее Севастополя...»

До наступления ли было нам тогда! Но так или иначе, столкнувшись со стойкой и активной обороной севастопольцев, он пришел к выводу, что сил, первоначально выделенных для овладения городом (50-я и 132-я пехотные дивизии, сводная мотобригада Циглера и румынские части), недостаточно. «Потребовалось, — пишет Манштейн, — перебросить сюда для подкрепления 22-ю пехотную дивизию из состава 30-го армейского корпуса».

Тогда мы не знали, какие именно новые части подтянет гитлеровское командование к Севастополю. Однако в том, что оно будет усиливать действующую против нас группировку, сомневаться не приходилось.

Но росли и наши силы — на рубежи Севастопольской обороны выходили основные соединения Приморской армии.

В этой главе я до сих пор говорил только о том, что происходило непосредственно у Севастополя, вводя читателя в обстановку, с которой знакомились мы сами. Естественно, однако, что все эти дни непрерывного внимания штаба армии требовало продвижение наших войск в горах.

Кажется, совсем невелик Крым! Треугольник Симферополь — Алушта — Севастополь, вмещающий всю южную часть полуострова, можно объехать на машине за несколько часов. Но обманчивы короткие крымские расстояния, если надо пересекать этот треугольник через горные хребты и их отроги. А тем более если приходится прокладывать себе путь с боем.

Противник проявил больше мобильности, чем мы от него ожидали, когда в ночь на 2 ноября намечали в Шумхае маршрут движения основных сил армии по долине Качи через Бия-Сала, Шуры (теперь Верхоречье, Кудрино). Как стало потом известно, Манштейн, бросив свой 54-й корпус прямо на Севастополь, поставил частям 30-го корпуса задачу не выпустить из гор Приморскую армию. Быстро реагируя на маневр наших войск, немцы сумели занять Шуры раньше, чем туда подошли приморцы.

Попытка чапаевцев и 95-й дивизии сбить вражеский заслон днем 3 ноября кончилась тем, что южнее захваченного противником селения прорвался лишь один стрелковый полк — 31-й Пугачевский, благодаря чему он и смог раньше других выйти к Севастополю, а сутки спустя уже сражался в долине Кара-Коба.

Спешно подтянув из Бахчисарая подкрепления, немцы заткнули пробитую пугачевцами брешь, и остальным нашим частям пройти здесь уже не удалось. Занял противник и селение Мангуш (Партизанское), которое наши войска недавно оставили позади. Приморцы оказались в полуокружении, под угрозой вражеских атак с трех направлений.

Таково было положение к вечеру 3-го, когда из Балаклавы, куда мы только что прибыли, командарм связался по радио с Василием и Трофимом (кодовые псевдонимы генералов В. Ф. Воробьева и Т. К. Коломийца). Положение это требовало от войск самых решительных действий, и притом без всякого промедления.

Учитывая личные качества командиров, находившихся в горах, командарм приказал возглавить дальнейший марш комдиву Чапаевской генерал-майору Коломийцу, указав кратчайший маршрут — на Керменчик, Ай-Тодор, Шули. Допускалось, конечно, что обстановка может заставить отклониться от этого маршрута.

К утру поступили донесения о ночном бое у селения Улу-Сала (Зеленое). Там приморцы внезапным ударом нанесли урон вставшим на их пути частям 72-й немецкой пехотной дивизии. Было захвачено 18 орудий и другие трофеи. А главное — обеспечена возможность продолжать движение к Севастополю. Замысел врага — блокировать и уничтожить наши войска в горах — срывался.

Но наши тревоги за основные силы армии на этом не кончились. И пройти оставшуюся часть пути кратчайшим или хотя бы относительно коротким маршрутом основной колонне (95-я дивизия, два стрелковых и артиллерийские полки Чапаевской и некоторые подразделения 172-й) опять не удалось.

После того как эта колонна миновала Биюк-Узенбаш (Счастлиное), откуда уже совсем близко до выхода в равнинную часть долины Бельбека, противник еще раз преградил ей путь в районе Гавро (Отрадное), успев завладеть господствующими над горным проходом высотами. Однако наши войска пробились и здесь, хорошо используя гаубицы и минометы и нанеся врагу значительный урон.

5 ноября у селений Гавро и Коккозы (Соколиное) колонна с боем вышла на шоссе, ведущую через Ай-Петри на Южный берег Крыма.

Еще недавно казалось, что дорога эта войскам не понадобится и они ее только пересекут. До севастопольских рубежей оставалось по прямой меньше двадцати километров... Но район Ай-Тодора (Гористое) находился уже в руках противника, и успешный прорыв через него представлялся сомнительным. Тем более что у артиллеристов подходили к концу боеприпасы.

А перехватить Ай-петринскую дорогу враг уже не мог. В сложившейся обстановке этот кружной путь сделался единственным надежным.

«Отходите быстрее на Алупку», — радировал командарм генералу Коломийцу. Навстречу колонне из Ялты высылались горючее для машин, продовольствие, фураж. Пограничники, которые еще несли дозорную службу на Ай-Петри, и партизаны, уже начавшие сосредоточиваться в горах, помогли организовать прикрытие марша.

Сроки выхода к Севастополю основных сил армии, все время отодвигавшиеся возникавшими перед войсками новыми и новыми препятствиями (многократные вынужденные обходы увеличили весь их путь в конечном счете почти до двухсот пятидесяти километров), 6 ноября наконец стали довольно ясными.

— Максимум послезавтра все должны быть тут! — с облегчением говорил Иван Ефимович Петров, вглядываясь в последние мои отметки на карте.

Затянувшийся отрыв полевого управления от наших дивизий все мы переживали тяжело.

Как ни ждали войска под Севастополем, частям, спустившимся в ночь на 7-е с Ай-Петри, был разрешен короткий отдых в Ливадии. Этого требовало состояние людей, измотанных недель труднейшего горного марша.

Чтобы дать хотя бы некоторое представление о том, чего стоило протащить через горы артиллерию и другую технику, я обращаюсь здесь, поскольку сам в этом марше не участвовал, к воспоминаниям, переданным мне начартом 95-й дивизии полковником Д. И. Пискуновым.

«Злоключения начались, — рассказывает Дмитрий Иванович, — на переходе между реками Альма и Бодрак. Узкая горная дорога, пролегающая среди густых зарослей дубняка, имела крутые подъемы и спуски, была размыта дождями. Чтобы пропустить по ней артиллерию, автомашины, повозки, приходилось засыпать промоины, вырубать дубняк. Машины и орудия преодолевали подъемы только с помощью толкавших их людей. У тракторов много раз слетали гусеницы. Еще труднее давался спуск техники под уклон — на лямках, на канатах...»

Это было еще самое начало пути, войска только-только втянулись в горы. По мере углубления в них трудности возрастали. Однако накапливался и опыт передвижения по горам, которого наши части сперва совсем не имели. Вот как описывает далее Д. И. Пискунов спуск с высоты 655 уже после соприкосновения с противником в долине Качи:

«Пехотинцы шли под гору зигзагами на широком фронте, собираясь на нижней террасе в отделения и взводы и немедленно укрываясь в зарослях. А полковые и противотанковые орудия спускали таким образом: между спицами колес просовывался кол — так, чтобы серединой он упирался в лобовую часть станины, к проушине станины привязывался конец каната, обмотанного вокруг толстого дерева, и орудие спокойно скользило вниз на заторможенных колесах. Потом, спуская пушки и гаубицы дивизионной артиллерии, попробовали для экономии времени отказать от торможения колес и придерживать пушки канатом только до середины склона, а дальше они катились свободно, тормозясь лишь сошниками. Одно или два орудия опрокинулись, но все были спущены без повреждений».

Единственное, что пришлось оставить в горах, это несколько легковых автомашин, которые, конечно, не следовало туда с собой брать. Всю остальную технику люди самоотверженно провели, пронесли через горные кручи, хотя в ряде случаев путь, обозначенный на карте как дорога, на поверку оказывался едва протопленной тропой.

А ведь за эти дороги и тропы, за то, чтобы иметь возможность ими воспользоваться, нужно было еще вести бои!

Тщетные попытки запереть армию в горах обошлись врагу недешево. Я не привожу фигурировавшие в тогдашних сводках данные о потерях, которые противники наносили противнику, сбивая его заслоны, — те цифры могли быть и недостаточно точными. Упомяну лишь, что в бою за выход к Коккозам наши передовые подразделения уничтожили, в частности, штаб 301-го пехотного полка 72-й немецкой дивизии, причем среди убитых был обнаружен и его командир. Само присутствие наших войск в горном районе к югу от Бахчисарая отвлекало и сковывало значительную часть армии Манштейна — почти половину ее боевого состава. Тем самым ослаблялся ее первый натиск на Севастополь.

Севастопольский гарнизон и Приморская армия, шедшая защищать город, соединились позже, чем мы рассчитывали. Но действия приморцев в горах, завершившиеся выходом основных сил армии на Южный берег Крыма, не позволили и немцам собрать в кулак и одновременно сосредоточить против Севастополя их ударные силы. И ни та неприятельская группировка, которая должна была овладеть городом с ходу, ни та, которой ставилась задача не подпустить к нему наши

дивизии, успеха не достигли. Таким образом, приморцы, пробиваясь к Севастополю, уже существенно влияли на начавшуюся борьбу за город.

Отдых войск в Ливадии пришлось ограничить несколькими часами. Около полудня 7 ноября они были подняты по тревоге, чтобы продолжать марш.

К этому времени два полка нашей 421-й дивизии, которые трое суток вместе с пограничниками сдерживали противника у Алушты и понесли там тяжелые потери, заняли оборону уже под самой Ялтой, а немцы были в Гурзуфе.

Тревожным стало и положение в Байдарской долине, куда гитлеровцы начали проникать небольшими группами с севера, угрожая Ялтинскому шоссе. Его прикрывала здесь немногочисленная конница — только что прибывшие остатки 40-й и 42-й кавдивизий. Словом, надо было форсировать движение войск, пока шоссе в наших руках, пока на него не вырвались фашистские танки.

Через горы перевалили с севера тучи, шел дождь, и вражеская авиация появилась над дорогой лишь изредка, когда ненадолго светлело. Во второй половине дня 8 ноября все части 95-й и 25-й Чапаевской дивизий миновали Байдарские ворота. Полки 172-й дивизии, обогнавшие основную колонну еще в горах, прошли этот рубеж раньше. Утром 9-го, пропустив последние обозы, достигли Байдар подразделения, прикрывавшие марш.

В этот день на позициях под Севастополем стало несколько спокойнее. Противник, как видно, поняв, что овладеть городом не так-то просто, накапливал силы. Атаки, продолжавшиеся на отдельных участках, успешно отбивались. И если двое суток назад части, выходявшие из гор, сразу же выводились на передовую, то теперь мы смогли дать дивизии генерала Воробьева отдых — конечно, недолгий — в казармах зенитного училища, отправить людей в баню.

С нетерпением ожидая выхода войск, в штабе армии беспокоились, конечно, не только о том, когда они придут, но и о том, в каком придут составе.

Тревожиться было о чем. Особенно после того, как вслед за разведбатом чапаевцев до Севастополя добрался еще 4 ноября первый стрелковый полк — 514-й из дивизии Ласкина. Его командир подполковник И. Ф. Устинов, явившись к нам на КП, смущенно доложил, что с ним пришло 60 красноармейцев, 13 младших командиров, а всего, считая штаб и санчасть, 103 человека... Смущался он не потому, что чувствовал себя в чем-то виноватым, — просто ему было неловко называть все это полком. Тем не менее решено было считать, что 514-й стрелковый продолжает существовать, и через день он, немного пополненный, занял оборону у селенья Камары.

К счастью, состояние других прибывавших частей и соединений оказалось более отрядным. В дивизии Воробьева насчитывалось до четырех тысяч бойцов и командиров, почти столько же в Чапаевской. Все части нуждались в основательном доукомплектовании, но даже в наиболее поредевших сохранились в значительной мере командные кадры, работоспособные штабы. Артиллерийские полки, участвовавшие в горном марше, сберегли, как ни трудно это было, почти всю свою боевую технику.

Скажу тут же, что за последующие недели наши части (в том числе и стрелковый полк Устинова) пополнились не только новыми, но также и... старыми своими бойцами. Не все, кого уже вычеркнули было из списков, выбыли из строя окончательно!

В горах и еще на подходе к ним, в крымской степи, немало приморцев оказывались отрезанными от своих, попадали в окружение. Те, кому удавалось из него вырваться, двигались дальше самостоятельно. Куда держать путь, они знали: предвидя, что в складывавшейся обстановке таких случаев вряд ли удастся избежать, командарм еще в Экибаше распорядился, чтобы командиры объявили всему личному составу: армия идет к Севастополю.

В течение почти всего ноября через фронт, который еще не везде был сплошным, в Севастополь пробивались и мелкие и довольно крупные группы бойцов, а нередко и целые подразделения во главе со своими командирами. Одну из групп, успевшую установить связь с партизанами, привел артиллерийский майор

А. А. Бабушкин, назначенный вскоре командиром 51-го арtpолка. С другой группой бойцов пробился, тоже с помощью партизан, батальонный комиссар П. С. Праворный — будущий военком богдановского полка.

В большом числе — их набралось в конечном счете до полутора тысяч! — и очень организованно, с легкой артиллерией и минометами выходили из гор пограничники, в основном из состава 184-й дивизии, оборонявшей побережье за Алуштой. С ними прибыл и майор Г. А. Рубцов — в дальнейшем командир одного из наиболее отличившихся в Севастопольской обороне полков.

Но и тогда, когда пришли все, кто смог прийти, мы недосчитались многих-многих боевых товарищей. Не одна тысяча приморцев, ветеранов сражений под Одессой, высадившихся в октябре на крымскую землю, сложила головы еще до того, как разгорелась борьба за Севастополь.

Потери большинства соединений на самом переходе к севастопольским рубежам были, в общем, невелики — это окончательно стало ясно, когда подсчитали, сколько подошло отбившихся и оставших. Но бои в степном Крыму стоили Приморской армии дорого.

Среди тех, кому не довелось стать в наш боевой строй под Севастополем, был полковник Яков Иванович Осипов, герой Одесской обороны, командир 1-го морского, а затем 1330-го стрелкового полка. Об этом отважном и талантливом командире-самородке, который, имея уже полсотни лет за плечами, не захотел в военное время ведать портовым хозяйством во флотских тылах и добровольно пошел сражаться на суше, я рассказывал в прошлой своей книге. Жизнь старого моряка оборвала вражеская пуля недалеко от Симферополя, в крымском предгорье.

Полк Осипова входил в 421-ю дивизию полковника Г. М. Коченова. Она вела тяжелые бои, прикрывая отход армии и коммуникации Южного берега Крыма, и пришла в Севастополь примерно в таком же незавидном состоянии, как и 2-я кавдивизия, остатки которой, как уже говорилось, были еще до марша через горы сведены в один полк.

Рассчитывать, что удастся пополнить и ту и другую дивизию, не приходилось. И было решено 421-ю расформировать. А 2-ю — восстановить при первой возможности, но в качестве уже не кавалерийской, а стрелковой (в нее влились в дальнейшем и подразделения бывшего осиповского полка).

Войска занимали назначенные им участки фронта. На Мекензиевы горы, где до сих пор действия отдельных частей и подразделений координировала оперативная группа штарма, прибыл со своим штабом комдив Чапаевской генерал Коломиец, отныне отвечавший за это направление. Майор Ковтун, встретив там чапаевцев, ввел их в обстановку.

Выслушав по телефону доклад об этом, я передал Ковтуну от имени командарма, что его миссия на Мекензиевых окончена. А от себя посоветовал Андрею Игнатьевичу по пути на армейский КП завернуть в баню, а затем, пока есть такая возможность, выспаться.

Вспомнилось, как три дня назад я посылал Ковтуна к майору Богданову лично объяснить, что от огня его арtpолка на мекензиевском направлении может зависеть в ближайшие часы судьба Севастополя. Казалось, это было уже давно. За эти дни многое изменилось. Прорваться к Северной бухте немцам не дали, фронт приобретал устойчивость.

С прибытием основного состава армии можно было завершить организацию боевого управления силами обороны. Оценив характер местности и общую обстановку, мы пришли к выводу, что вместо первоначально созданных трех секторов обороны целесообразнее иметь четыре. Секторное деление плацдарма распространялось на всю территорию Севастопольского оборонительного района от передового рубежа до центра города. В ночь на 9 ноября И. Е. Петров, М. Г. Кузнецов и я подписали боевой приказ № 002, которым новая организация вводилась в действие.

Четыре сектора в установленных тогда границах существовали в течение всей обороны, и потому на них следует остановиться подробнее. Но сперва необ-

ходимо сказать о происшедших к тому времени изменениях в структуре СОР в целом, в его командовании.

7 ноября в Севастополе была получена директива Ставки, требовавшая в целях сковывания сил противника в Крыму и недопущения его на Кавказ через Таманский полуостров считать активную оборону Севастополя, а также Керченского полуострова главной задачей Черноморского флота. «Севастополя не сдавать ни в коем случае и оборонять его всеми силами», — приказывала Ставка.

Из всего, о чем я успел рассказать, явствует, что о сдаче города никто и не помышлял. Но такая формулировка в документе Верховного Главнокомандования, как и то, что в нем определялось место обороны Севастополя в решении стратегических задач войны, имела, конечно, большое значение, вносила в наше положение ту наивысшую, исключающую всякие сомнения ясность, которая очень нужна людям в трудной обстановке.

Важно было также то, что в директиве подчеркивалась ответственность, которую несет за Севастополь Черноморский флот.

Была ли необходимость это подчеркивать? Ведь моряки и так стояли на севастопольских рубежах насмерть. И не мне говорить о том, чем был для черноморцев Севастополь — их твердыня, их гордость и слава, символ их революционных и боевых традиций. Я знаю, что на кораблях, когда там отбирали добровольцев в морскую пехоту (а отпустить даже с крейсера можно было максимум несколько десятков человек) и командиры спрашивали, кто хочет идти защищать Севастополь, шагал вперед весь строй...

Но речь не об этом. Напомню, сколько недоумения вызывала односторонность того приказа адмирала Левченко, из которого мы узнали об образовании СОР.

Оборона города, осажденного с суши и сообщаемого с тылом только по морю, требовала широкого и хорошо координируемого взаимодействия сухопутных и морских сил. Между тем из сил флота там упоминались лишь береговые и авиационные части. Об использовании же кораблей, без которых не обойтись, о поддержке ими наземных войск не говорилось ничего, как и о том, за что в дальнейшей обороне Севастополя отвечает командование флота. Почему не определены его задачи на этот счет, понять было трудно, даже если предполагалось, что Военный совет и штаб флота перейдут на Кавказ.

В кавказские порты перебазировались основные корабельные соединения. На рейде Северной бухты, где раньше стояли линкор «Парижская коммуна», новые крейсеры и другие крупные корабли, виднелись лишь облепленные чайками железные швартовые бочки. Эскадра покинула севастопольский рейд в последних числах октября, и, как говорили моряки, вовремя: сразу после этого начались сильные налеты вражеской авиации.

Те корабли, которые появлялись в Севастополе в первые дни ноября, занимались переброской из Ялты и других мест воинских подразделений, вывозили на Большую землю раненых, жителей и различные материальные ценности. За то время, как здесь находился шторм, корабли впервые поддерживали войска: сначала эсминец «Бойкий», а затем крейсер «Червона Украина». Стреляли корабельные артиллеристы хорошо.

Слов нет, корабли следовало беречь — пополняться ими в военное время Черноморскому флоту неоткуда. И все же иногда думалось: не слишком ли их берегут? Ведь построены-то они для боя.

Конечно, я не моряк. Но подтверждение тогдашним своим мыслям об этом нашел в одной телеграмме заместителя наркома Военно-Морского Флота адмирала И. С. Исакова, которую смог прочесть много времени спустя уже в качестве архивного документа.

Адмирал Исаков, находясь где-то на юге, докладывал 4 ноября 1941 года в Генеральный штаб маршалу Б. М. Шапошникову свои соображения по поводу обстановки на Черном море и некоторых решений Военного совета флота. В частности, он писал: «Боевые корабли из Севастополя всегда успеют уйти и

должны уйти последними». И предлагал вернуть туда все три старых крейсера и все старые миноносцы с соответствующим числом тральщиков, а новые крейсера и линкор использовать для усиления Севастополя из Новороссийска — ближайшей кавказской базы.

Не знаю, какую роль сыграли эта телеграмма и мнение ее автора. Как бы там ни было, в директиве Ставки, пришедшей три дня спустя, имелся специальный пункт, предписывавший держать все старые крейсера и миноносцы в Севастополе. Совпадали с рекомендациями адмирала Исакова и указания об использовании новых кораблей.

И наконец, Ставка решила, что командующему флотом надлежит быть в Севастополе, и возложила на него руководство обороной города. Так командующим Севастопольским оборонительным районом стал — возможно, несколько неожиданно для него — вице-адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский.

В этом назначении была своя логика. Оно вытекало из того, что оборона Севастополя объявлялась главной задачей Черноморского флота. Очевидно, учитывалось и то, что Севастопольский плацдарм мог держаться только при налаженном снабжении по морю, полностью от флота зависящем.

К тому же сам Севастопольский оборонительный район становился объединением качественно иным, уже не только сухопутным, береговым, как сперва: в него включались теперь также и находящиеся в главной базе корабли.

Командарм Приморской И. Е. Петров стал заместителем командующего СОР по сухопутной обороне. 8 ноября это было объявлено приказом комвойсками Крыма Г. И. Левченко, а затем подтверждено Ставкой.

Но в командование СОР Ф. С. Октябрьский вступил лишь 10 ноября, когда завершилась приведенная в стройную систему внутренняя организация боевого управления. Приказ № 002 о создании четырех секторов и составе сил каждого И. Е. Петров подписал 9 ноября еще как командующий оборонительным районом, а я — как начальник штаба СОР. Этот приказ, как и первый, мы готовили вместе с П. А. Моргуновым и И. Ф. Кабалюком. Проект его рассматривался на Военном созете флота.

Выступая в 1966 году на военно-исторической конференции, посвященной двадцатипятилетию Севастопольской обороны, Петр Алексеевич Моргунов справедливо отметил, что после назначения Ставкой нового командующего менять внутри СОР (имеется в виду управление сухопутными его силами) было, по сути дела, нечего. Боевой организм обороны успел уже сложиться. И если должности некоторых из нас, армейцев, стали называться иначе, то обязанности практически остались прежними.

В моей работе ничего не изменилось от того, что, пробыв шесть дней по совместительству начальником штаба СОР, я снова стал только начальником штаба армии. Ведь штаб Приморской и штаб СОР в начале ноября было одно и то же.

Созданный адмиралом Октябрьским новый штаб оборонительного района во главе с капитаном 1-го ранга А. Г. Васильевым представлял собою оперативную группу штаба флота (остальную его часть перевели в Туапсе), которая не имела в своем составе общевойсковых командиров и занималась исключительно морскими вопросами. Ведать всем, касающимся боевых действий на суше, продолжал наш штаб. А вопросы престижного порядка — кто кого старше — волновать не могли.

Командующему войсками Крыма адмиралу Левченко Ставка приказала наводиться в Керчи, и он отбыл туда морем со своим штабом. СОР некоторое время еще числился в его подчинении, однако лишь формально.

События под Керчью развивались неблагоприятно, создать там прочную оборону не удалось, и неделю спустя противник овладел городом. После этого единственной территорией на Крымском полуострове, не захваченной врагом, единственной силой, сковывавшей здесь армию Манштейна, оставался Севастопольский оборонительный район.

Итак, СОР имел теперь четыре сектора. Комендантом каждого являлся командир одной из дивизий Приморской армии. Штадивы становились одновременно штабами секторов.

Первый — правофланговый — сектор, оборонявший балаклавское направление, как уже говорилось, возглавил П. Г. Новиков. Как видно из документов, мы все еще продолжали числить Петра Георгиевича полковником, не зная, что 12 октября ему присвоено звание генерал-майора. Этот сектор имел самый узкий из всех фронт — всего шесть километров, — но и войск пока один стрелковый полк, притом еще только формировавшийся. Восстановление дивизии Новикова было делом будущего. Правда, это направление прикрывали еще конники Кудюрова, развернутые в качестве подвижного заслона на подступах к передовому рубежу, в районе селения Варнутка. Пока в наших руках оставались Байдары да и шоссе за ними, Первый сектор находился как бы в тылу и в боях не участвовал, но сейчас положение тут должно было резко измениться.

Комендантом Второго сектора, десятикилометровый фронт которого пересекал долину реки Черной и Ялтинское шоссе, стал полковник И. А. Ласкин. Здесь, опираясь на укрепления Чоргуньского опорного пункта, заняли оборону его 172-я дивизия в составе двух полков, пополненная флотскими формированиями, и 31-й полк Мухомедьярова, временно отделенный от Чапаевской дивизии.

Дальше влево шло боевое мекензиевское направление — Третий сектор с генерал-майором Т. К. Коломийцем во главе. Кроме двух полков чапаевцев, двенадцать километров секторного фронта обороняли бригада Е. И. Жидилова и 3-й морской полк подполковника С. Р. Гусарова.

Левый фланг обороны относился к Четвертому сектору. Его фронт проходил широкой восемнадцатикилометровой дугой от приметной высоты 209,9 южнее занятого уже противником Дуванкоя до берега моря. Приморский участок этой дуги с Аранчийским опорным пунктом в устье Качи был самым далеким от города (около двадцати километров) и пока довольно спокойным. Комендантом Четвертого сектора стал генерал-майор В. Ф. Воробьев, силы сектора состояли из 95-й стрелковой дивизии и 8-й бригады морской пехоты.

Одновременно с расстановкой войск по секторам происходило доукомплектование наших дивизий. В них влились все отдельные батальоны, сформированные в учебном отряде флота, береговой обороне и тыловых службах главной базы, подразделения севастопольских ополченцев, истребительные отряды. Перевели в строй также значительную часть личного состава армейских тылов, сократили до предела полк связи, взяли на учет каждый комендантский взвод.

Пополненным дивизиям было далеко до штатного состава, многие полки оставались двухбатальонными. Но все же каждый сектор имел и небольшой резерв. Скромный резерв командарма составляли остатки 1330-го стрелкового полка, батальон школы связи и бронепоезд «Железняков».

Чем мы были относительно богаты, так это артиллерией. Во всяком случае, по сравнению с Одессой. Как-никак, армия располагала восемью артполками, сохранившими в среднем до 70 процентов штатной материальной части — всего около полутора сот орудий. К этому прибавлялись мощные береговые батареи, о которых я уже говорил, орудия дотов, 200 с лишним минометов. Наконец, можно было рассчитывать и на артиллерию кораблей.

Начарт армии полковник Н. К. Рыжи и его начштаба майор Н. А. Васильев тщательно продумали, как распределить наличные огневые средства по фронту обороны. Предусматривался и широкий маневр огнем. Задача ставилась такая: иметь возможность в случае надобности сосредоточить на любом участке фронта огонь по крайней мере половины всех находящихся на плацдарме батарей. Это могла обеспечить лишь централизованная система управления всеми видами артиллерии в масштабе оборонительного района. Она существовала у нас в Одессе, и этот опыт сразу же был применен в Севастополе. Как действовала эта система, я расскажу в свое время.

Артиллерия была не только главной, но почти единственной ударной силой, способной в любой момент поддержать нашу пехоту. Танки существовали скорее

символически: на 10 ноября армия имела 9 вывезенных из Одессы старых «Т-26», восстановленных после тяжелых повреждений, и еще один танк, прибывший со 172-й дивизией, — все, что осталось от приданного ей танкового полка, героически дравшегося у Перекопа.

Что касается авиации, то держать под Севастополем сколько-нибудь значительные воздушные силы было негде. Ближайшие хорошо оборудованные аэродромы, где могли базироваться любые самолеты, в том числе Качинский, потеряны. Оставались две посадочные площадки — на мысе Херсонес и Куликовом поле, предназначавшиеся раньше в основном для самолетов связи. На них теперь с трудом разместились 40 истребителей и 10 штурмовиков из состава ВВС флота. Еще 30 легких лодочных самолетов «МБР-2» (морские ближние разведчики) базировались в Северной бухте. Бомбардировщики могли помогать севастопольцам лишь вылетами с Большой земли.

Вечером 9 ноября коменданты секторов докладывали о вступлении в командование подчиненными им частями и первых организационных мероприятиях по выполнению приказа № 002.

В те же часы стало известно, что конники Кудюрова — наш заслон в районе Варнутки — атакованы превосходящими силами противника (как затем выяснилось, частями 72-й немецкой пехотной дивизии из 30-го армейского корпуса, подошедшей по Ялтинскому шоссе). Кавалеристы с боем отходили к передовому рубежу.

Ничего неожиданного в этом, разумеется, не было, и помешать немцам выйти где-то за Балаклавой к морю мы не могли. Просто стало ясно, что через день-два враг вплотную подступит к севастопольским рубежам на последнем участке, где пока был от них далеко, и тогда все сорок шесть километров оборонительных позиций вокруг города будут сплошной линией фронта.

Не хотелось думать, как все выглядело бы, появись противник на правом фланге севастопольского обвода на двое суток или даже на сутки раньше, когда еще не все наши войска находились по эту сторону рубежей обороны.

Но то, что гитлеровцы не перерезали дорогу приморцам там, где уже не оставалось обходных путей, не было случайностью. Как явствует из записок Манштейна, такая задача его войскам ставилась. А не выполнили они ее и потому, что части 54-го корпуса оказались связанными непредвиденно упорным сопротивлением севастопольцев на центральных участках обвода, и потому, что другие немецкие части (половину немецких войск) сковала в предгорьях Приморская армия.

Севастопольский гарнизон отразил первый натиск врага. Приморцы, как ни пытался враг этому помешать, пробились к городу. Все это значило, что события в Крыму развиваются и обстановка складывается все-таки не так, как планировали фашистские захватчики.

Пусть фронт обороны оставлял желать лучшего по наличию сил и средств, по состоянию самих рубежей. Но все, кто мог защищать эти рубежи, пока не пришел подмоги Большая земля, были теперь на своих местах. И мы имели приказ Верховного Главнокомандования, подымавший у людей дух и обострявший сознание нашей великой ответственности: «Севастополь не сдавать!»

3. ЧЕМ КРЕПКА КРЕПОСТЬ

Если какие-то чрезвычайные обстоятельства не требовали обязательного его присутствия на КП, командарм Петров рано утром, еще затемно, выезжал в войска. Это был его стиль работы, знакомый мне по Одессе.

Иван Ефимович всегда считал необходимым для себя посещать не только командные пункты дивизий и полков, но и батальоны, роты, испытывал потребность видеть солдата в окопе — без этого ему трудно было командовать армией. Петров обладал превосходной памятью, в том числе на имена и лица, и пред-

ставление о том или ином участке фронта обычно связывалось у него с людьми, лично ему известными.

Иван Ефимович не любил выездов со «свитой», со многими сопровождающими (как не требовал, чтобы командир дивизии или полка, если нет на то особых причин, ходил с ним по подразделениям). Из штаба командарм чаще всего брал с собой капитана Безгинова. А нередко только адъютанта старшего лейтенанта Кохарова, узбека по национальности, служившего с ним раньше в Ташкенте. Иногда еще ординарца Кучеренко.

Красноармеец Кучеренко — почти ровесник генералу и также старый кавалерист, воевавший в гражданскую в бригаде Котовского и имевший орден Красного Знамени еще с тех лет. Этого скромного и вместе с тем исполненного достоинства, очень самобытного человека напомнил мне какими-то чертами характера ординарец Иван Авдеевич из последних романов Константина Симонова. Кстати, своего немолодого ординарца Петров тоже уважительно величал по имени-отчеству — Антоном Емельяновичем. А Кучеренко как-то по-домашнему заботился и пекся об Иване Ефимовиче, порой позволяя себе и поворчать на него, например за то, что мало спит...

Судьба свела их в Одессе: степенный боец, вернувшийся в строй из запаса, был назначен к командиру формировавшейся кавдивизии коноводом. С кавалерией обоим скоро пришлось расстаться, но с Кучеренко Иван Ефимович не разлучал всю войну. Когда генерал-полковник И. Е. Петров командовал фронтом, севастопольский ординарец стал его адъютантом.

Недавно, в начале 1971 года, А. Е. Кучеренко, лейтенант в отставке и персональный пенсионер — ему теперь уже восьмой десяток, — прислал мне весточку из села Лозоватка на Днепропетровщине. Ветеран живет у себя на родине, ведает организованным на общественных началах сельским музеем боевой славы.

Но возвратимся в Севастополь, в ноябрь сорок первого.

Находясь в войсках обычно до полудня, командарм каждые час-полтора связывался со мною, чтобы узнать о положении в других секторах или передать срочные распоряжения. Возвратясь на КП, он немедленно требовал более подробного доклада обо всем происшедшем за эти часы. Затем делился впечатлениями и мыслями о том, что сегодня видел. Часто при этом присутствовали генерал Моргунов (при новой организации СОР он оставался заместителем Петрова так же, как полковник Кабалюк моим), начарт Рыжи, если надо, приглашались начальники других родов войск, начальник тыла Ермилов.

Слушать Ивана Ефимовича всегда было интересно. Он умел без лишних слов, очень точно и как-то выпукло, зримо передать самое существенное, им уже продуманное, взвешенное.

Говоря, Петров иногда начинал что-нибудь рисовать на оказавшемся под рукой листе бумаги или газете — это могли быть контуры местности, какие-то предметы, человеческие лица, и не отвлеченные, а имеющие отношение к тому, о чем идет речь.

Рисовал он почти машинально, но если бы понадобилось, вероятно, смог бы по памяти изобразить все, что за несколько часов увидел. (Много лет спустя мы с генерал-лейтенантом И. А. Ласкиным, который в севастопольские дни был полковником и командовал 172-й дивизией, вспоминали уже покойного тогда Ивана Ефимовича, и Ласкин рассказал, как поразила его однажды зрительная память командарма. Обойдя позиции, тот беседовал на КП с комдивом о текущих делах и за разговором набросал на доске деревянного стола очень похожий портрет бойца-связиста, с которым встретился час назад.) Глаз Петрова, человека до мозга костей военного, оставался все-таки и глазом художника. Я уже знал, что Иван Ефимович в молодости, до того, как стал прапорщиком, был студентом Строгановского училища.

После информации командарма обсуждались необходимые меры, действия. Все завершалось отдачей кому следует приказаний. Вопросы, решить которые в штабе армии было нельзя, откладывались до встречи командарма с командующим СОР. К адмиралу Октябрьскому на флагманский командный пункт флота.

помещавшийся в подземном убежище у Южной бухты, генерал Петров, как правило, ездил ежедневно вечером вместе с членом Военного совета армии Кузнецовым.

Становление и укрепление фронта сухопутной обороны было сопряжено с множеством трудностей, с нехваткой самого необходимого. На складах главной базы флота хранились солидные запасы того, что потребно для боевых действий на море. А что под городом развернется армия и ее понадобится снабжать — этого никто не предвидел.

Плохо обстояло дело с телефонным проводом, которого сразу потребовалось очень много, с шанцевым инструментом для нового контингента бойцов, не доставало полевых кухонь. Но гораздо хуже было то, что, пополняясь, например, ополченцами, мы пока не каждому могли дать винтовку. Как свидетельствует документ тех дней, на все части, занявшие оборону под Севастополем, имелось 10 ноября лишь 240 станковых пулеметов.

Как изыскивали стрелковое оружие моряки, когда формировали свои батальоны, я уже говорил. Но и учебных винтовок, годных к переделке в боевые, в городе больше не было. «Для устойчивости обороны Севастополя, — телеграфировал командующий СОР в Ставку 11 ноября, — прошу как можно скорее дать одну сотню пулеметов, три тысячи винтовок». Испрашивались также десять танков — «для резерва командования на случай прорыва противника».

Такая просьба кажется теперь более чем скромной, особенно если учесть, какое значение придавалось удержанию Севастополя. Но тогда мы не знали, смогут ли ее быстро удовлетворить. Шли тяжелые бои под Ростовом, продолжалась битва за Москву, немало было и других напряженных участков на огромном советско-германском фронте.

Не без трудностей проходило организационное сколачивание секторов.

Дивизии пополнились формированиями севастопольского гарнизона, причем в ряде случаев батальон или отряд включался в армейскую часть целиком и, обороняя прежние позиции, становился, скажем, третьим стрелковым батальоном такого-то полка. Однако отдать это приказом было еще недостаточно. На поверку оказывалось, что в некоторых подразделениях не знают своих новых начальников, а в других хотя и знают, но подчинение им восприняли как временное и по-прежнему считают себя батальоном такой-то флотской школы. Тем более что эта школа иногда продолжала чем-то снабжать «свой» батальон, напрямую посылать ему подкрепления.

Словом, давала себя знать своеобразная инерция первоначальной раздробленности фронта обороны, когда навстречу врагу выдвигались спешно созданные разнокалиберные подразделения, свести которые в крупные части тогда не было возможности.

Сражались эти батальоны и отряды хоть и не всегда умело, но героически, их личный состав успел сплотиться. Считаясь с этим, их вливали в Приморскую армию компактно, не меняя без крайней необходимости и командиров. И конечно, не переименовывали краснофлотцев в красноармейцев. Но необходимо было, чтобы новые подразделения вращались в общеармейский организм накрепко — никакой «автономии» составных частей воинская организация не терпит.

Работники штарма приложили немало усилий, добиваясь в этом отношении должного порядка. И все же понадобился специальный приказ адмирала Октябрьского, который он подписал — в этом был свой смысл — не как командующий СОР, а как командующий Черноморским флотом. В этом приказе, отданном 13 ноября и подлежащем объявлению всему начсоставу до командира взвода и разъяснению всем краснофлотцам, подчеркивалось, что переданные Приморской армии флотские формирования входят в ее состав нераздельно с красноармейскими частями.

Напомню, что в то время общевойсковое и военно-морское объединения даже при подчинении одного другому находились в ведении разных наркоматов, по-нынешнему министерств. Но уж где-где, а в осажденном врагом Севастополе считаться с ведомственными разграничениями не приходилось (хотя, случалось,

инного интенданта и брало сомнение, вправе ли он отпускать что-то со складов «не своим»).

Тогда же, в ноябре, появилась возможность сформировать новый стрелковый полк, которого очень не хватало во Втором секторе. Полк назвали 1-м Севастопольским и укомплектовывали моряками, а штаб его образовали из штабных командиров 42-й кавдивизии, оставшихся в резерве после того, как ее эскадроны влились в 40-ю кавалерийскую. Это характерный пример того, как использовали людей, исходя из интересов боевого дела и независимо от того, за армией или за флотом они числились. А из 1-го Севастопольского полка выросла впоследствии новая бригада.

При доукомплектовании многие наши части основательно «оморячились». Краснофлотцы были смелыми, удалыми людьми, которым, как говорится, не занимать отваги, дерзости. Однако грамотой сухопутного боя они в большинстве своем владели неважно, зачастую не умели даже как следует окапываться. С пополнением требовалось серьезно поработать — прежде всего для того, чтобы избежать лишних потерь. Это сделалось неотложной, срочной задачей всего командного и политического состава. Но решать ее пришлось бы долго без бывалых и не менее отважных красноармейцев, умудренных месяцами прошлых боев.

Множество раз убеждался я на войне, какая это неоценимая сила — бывалый солдат. Тот, что не кланяется пулям и снарядам, но и не подставит себя под удар, не израсходует понапрасну ни патрон, ни гранату, знает, как подступить к танку и как от него укрыться, спокойно следит за вражеским самолетом, понимая, которая бомба и впрямь опасна, а которая ляжет в стороне... Иногда в сложной обстановке бывалый солдат толково подскажет и молодому офицеру, что надо сейчас делать. А боец-новичок чувствует себя на переднем крае вдвое-втрое увереннее от одного того, что есть рядом такой товарищ, и, подражая ему, сам набирается опыта.

И если часть, понесшая потери, значительно пополняется в ходе боев, когда нет времени на учебу во втором эшелоне, особенно много зависит от того, сколько осталось в строю солдат, воюющих давно. Сохранился этот цементирующий костяк — значит, как бы ни обновлялся состав части, прежний уровень боеспособности можно восстановить быстро!

Так было и тогда под Севастополем.

Помню, Василий Фролович Воробьев рассказывал про переформированный 241-й стрелковый полк своей дивизии:

— Сами знаете: под Воронцовкой и потом за какие-нибудь полторы недели полк потерял двух командиров — Кургиняна, Воскобойникова... Из старого кадрового начсостава в строю вообще никого не осталось. Рядовыми, младшими командирами полк, как было приказано, дополнили из дивизионных тылов морской пехоты. Но все-таки в каждом батальоне — правда, их пока всего два — есть горстка ветеранов, начинавших войну на Пруте. Должно быть, те самые храбрецы, которых пуля не берет! Теперь они стержень, всему основа. Раз они есть в полку, там уж не забудут, какой он прошел путь, какую имел репутацию. Потому и надеюсь, что он опять станет таким, каким его знали в армии.

241-й стрелковый готовил к войне и командовал им первые три военных месяца — до того, как принял кавдивизию, — полковник Петр Георгиевич Новиков, теперешний комендант Первого сектора. И хотя в трудные дни Одесской обороны людей в этом полку порой оставалось меньше, чем в каком-либо другом, в штабе армии всегда были уверены: 241-й выстоит. Многократно пополняясь и маршевыми ротами, и моряками, и ополченцами, полк в целом сохранял прежнее, весьма высокие боевые качества. Как нужно было, чтобы они передались и новому пополнению!

В тот раз я ездил в Четвертый сектор вместе с командармом — редкий случай, когда обстановка позволила отлучиться с КП нам двоим.

На обратном пути от Воробьева Иван Ефимович вдруг сказал:

— Давайте завернем на пятнадцать минут на Братское, здесь совсем близко. — И добавил словно с укором: — Вы ведь там вообще еще не были.

Справа от дороги за гребнем одной из высот, скрывавших Северную бухту, виднелся конический верх часовни, напоминающий шлем дневерусского воина. Мы подъехали к каменной ограде. Надпись у ворот с невысокой аркой сообщала, что здесь покоятся 127 тысяч защитников Севастополя, оборонявших его в 1854—1855 годах. Цифра была мне знакома, но сейчас показалась особенно внушительной. Какая громадная армия нашла вечный покой на этом пологом склоне холма, увенчанного часовней под темным куполом-шлемом!..

Иван Ефимович зашагал впереди меня по кладбищенским дорожкам, уверенно ориентируясь в их лабиринте. Вероятно, он бывал тут не раз, когда приезжал в Севастополь, проводя в Крыму отпуск.

Подымаясь по склону, мы останавливались у безымянных братских могил, покрытых одинаковыми квадратными плитами из шершавого серого камня, сквозь трещины которого проросла жесткая трава, а кое-где и деревца. Читали полустершиеся надписи на надгробиях офицеров: «Штабс-капитан Севского пехотного полка...», «4-го флотского экипажа лейтенант...», «...в чине капитана смертельно ранен на 3-м бастионе штуцерной пулей...».

На многих памятниках, кроме обычных двух дат, рождения и смерти, значилась третья — когда ранен. Некоторые участники обороны умерли много лет спустя в других краях, но похоронили их в севастопольской земле. Должно быть, по завещанию перевезли сюда из далекого Петербурга и прах известного генерала С. А. Хрулева, командовавшего войсками Корабельной стороны. Над его могилой возвышалась белая колонна с выразительной надписью: «Хрулеву — Россия».

А на стенах часовни мы увидели длинный перечень воинских частей с трех-четырёхзначными цифрами против названия каждой. Тут можно было узнать, сколько людей погребено из Селенгинского пехотного полка или Камчатского егерского, сколько из какого саперного батальона. Кто-то скрупулезно подвел этот итог, и каменные плиты хранили скорбные цифры вот уже почти столетие.

Попади я сюда еще полгода назад, до войны, все это, вероятно, показалось бы бесконечно далеким.

Но теперь под Севастополем снова гремели орудия и события первой его обороны словно приблизились, порой как бы совмещаясь в сознании с сегодняшними. У нас в штабе ходила по рукам раздобытая кем-то «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского, и завладевший ею жертвовал, чтобы прочесть главу, часом и без того короткого сна. В частях бойцы задавали вопросы о Нахимове, о матросе Кошке.

И я чувствовал, что мне не безразличны давние потери Камчатского егерского полка, позиции которого наверняка находились в пределах одного из нынешних секторов обороны. Задевала что-то в душе и надпись на старой могильной плите: «Пал в сражении при Черной». Эта речка и ее долина постоянно были у меня перед глазами на рабочей карте. Возвращаясь на КП, мы пересечем ее у Инкермана, при впадении в Северную бухту, а немного дальше по долине Черной проходит фронт. Как и тогда.

Другая была эпоха, другой, чуждый нам строй — крепостная империя Николая Палкина. Но русские люди защищали под Севастополем родную землю. И когда к нему снова подступил враг, боевая доблесть дедов и прадедов, никогда не забывавшаяся народом, их подвиги, навеки связанные с этим городом, перестали быть только славной страницей истории, обрели силу живого примера. Иначе не могло и быть.

«Будем драться, как дрались герои исторической Севастопольской обороны... Если потребуется, с новой силой повторим подвиги героев 1854—1855 годов» Так говорилось в расклеенном по Севастополю обращении городского коми-

тета обороны. Наверное, эти слова одинаково доходили до сердца и тех, кто всегда тут жил, и тех, кого привела сюда война.

— Поехали, Николай Иванович, пора, — прервал мои размышления командарм

Но сам он, видно, думал о том же. И, перед тем как сесть в машину, сказал:

— Да, не посрамить славы предков — это здесь, в Севастополе, значит особенно много!..

Мы долго ехали молча. Прошлое, с которым сейчас соприкоснулись, не отпущало мысли. Вспоминая разные сведения о первой Севастопольской обороне, я невольно сравнивал теперешнюю обстановку с тогдашней.

Многое сравнению не поддавалось — слишком изменились средства борьбы, стало играть важную роль такое оружие, какого в ту пору не было и в помине. А вот местность, театр боевых действий те же самые. Только тогда — и в этом главное различие — город с самого начала осады был тесно блокирован с моря, и севастопольцам пришлось затопить свои корабли, чтобы закрыть для неприятельских вход на рейд, но зато на суше вражеское кольцо не замкнулось. Северная сторона, отделенная от остального города лишь бухтой, служила тылом обороны, сообщавшимся со всей страной.

Нас же связывало с нею лишь море — «пятый сектор обороны», как его иногда называли. С высот Северной стороны этот морской сектор казался спокойным — не то что сухопутные, где фронт дышал огнем. Не требовалось, однако, быть моряком, чтобы знать, насколько это спокойствие обманчиво.

Пусть не было на море видимой блокады. И заведомо не могли показаться сейчас из-за горизонта мачты чужих кораблей, готовящихся, как в прошлом веке, обстреливать (тогда говорили — «бомбардировать») город. Кораблями, которые посмели бы приблизиться к Севастополю на дистанцию орудийного выстрела, нынешний противник на Черном море не располагал — во всяком случае, пока. Но он имел много средств, чтобы мешать морским перевозкам с Большой земли: и авиацию на удобных для этого крымских аэродромах, и мины, и подводные лодки.

Мы, армейцы, очень верили в наших моряков. Однако в ноябре и сами моряки вряд ли могли представить, как пойдут дела на севастопольских коммуникациях, — борьба за них только началась.

Для укрепления фронта и всего, что с этим связано — завершения доукомплектования частей, установления надежного контакта между соседями, проверки схем огня, для улучшения самих рубежей, — много значил каждый мало-мальски спокойный день.

Но только на севере и северо-востоке Севастопольского плацдарма — в Четвертом и частично в Третьем секторе — эта работа некоторое время шла без особых помех со стороны противника. На другой, правой, половине обвода раньше, чем до конца были решены организационные вопросы и вполне сложилась система управления всеми обороняющимися здесь силами (особенно это относится к Первому сектору), разгорелись бои.

Немцы возобновили атаки 11 ноября.

Правда, сперва как-то не очень уверенно, словно только прощупывали нашу оборону. Было еще не ясно, начинают ли они наступление с решительными целями, а если да, то действительно ли собираются нанести главный удар на правом фланге обороны. Ожидать его можно было и на других участках.

— Теперь держать ухо остро, не проворонить прорыва! — говорил командарм, размышляя над картой.

На следующий день активность противника на правом фланге ослабла. Был отмечен лишь выход его подразделений к морю у мыса Сарыч — за нашим передним краем. Но воздушная разведка установила накопление неприятельских войск в районе Варнутки. Их обстреливала наша артиллерия, в том числе и корабельная. «ИЛы» вылетали на штурмовку.

А утром 13-го уже и Первый сектор и Второй доносили о сильных вражеских атаках. Скоро не оставалось сомнений, что цель противника — не просто потеснить нас и приблизиться к городу с юга и юго-востока. Гитлеровское командование явно предпринимало новую попытку овладеть Севастополем.

Определилось и направление основного удара — вдоль Ялтинского шоссе, через Камары и Чоргунь к Сапун-горе, господствующей непосредственно над городом. Атаки частей 72-й пехотной дивизии поддерживались десятками танков.

А со стороны Черкез-Кермена перешла в наступление 50-я немецкая дивизия. Участвуя частью своих сил в главном ударе, она наносила остальными вспомогательный, рассчитанный, как видно, прежде всего на то, чтобы поставить в тяжелое положение войска нашего Второго сектора охватом их левого фланга, а в дальнейшем выйти к Инкерману и Северной бухте.

Натиск врага на фронте сопровождался налетами бомбардировщиков на Севастополь. Усилился начавшийся еще 9 ноября артобстрел города. Его окраины стали досягаемы для дальнобойной полевой артиллерии противника с тех пор, как тот захватил часть опорных пунктов нашего передового рубежа. А теперь немцы, очевидно, подтянули новые батареи.

Во Втором секторе атаки отбивались успешно. В Первом же дела шли хуже: противник обошел с флангов позиции кавалеристов, к тому времени уже спешенных, и вклинился в нашу оборону, захватив важные высоты на предпоследнем перед Балаклавой гребне гор, терять которые нам было очень невыгодно. Возникла реальная угроза прорыва врага к самой Балаклаве.

Как назло, прервалась связь с командным пунктом сектора. Перед этим оттуда доложили, что убит командир 383-го стрелкового полка Н. Г. Шемрук. Комендант сектора П. Г. Новиков находился на переднем крае, лично руководя обороной высоты 440,8.

Как всегда, командарм Петров рвался туда, где положение ухудшилось, но сознавал, что должен оставаться на армейском КП, пока не станет яснее общая обстановка. Отпустить в Балаклаву меня Иван Ефимович не соглашался, надеясь, что скоро сможет выехать сам. Решили пока послать туда от штарма майора Ковтуна с правом действовать при отсутствии связи самостоятельно.

— Балаклаву надо удержать во что бы то ни стало, любой ценой, — напутствовал Ковтуна командарм. — Где потребуются, помогите организовать контратаки. По-одесски! Этому не мне вас учить. Наведайтесь и во Второй сектор, особенно проверьте, надежен ли стык с ним. Имейте свое мнение о том, где действительно нельзя обойтись наличными силами, куда нужно двинуть армейский резерв.

Ковтун был словно создан для таких поручений. Чем сложнее обстановка, тем полнее проявлялась его способность быстро ориентироваться, тем ответственнее оценивал он происходящее — это только что подтвердила его работа в качестве представителя штарма на Мекензиевых горах.

В данном случае все осложнялось тем, что Первый сектор вступил в тяжелые бои еще не сколоченным организационно. Единственный здесь стрелковый полк, призванный стать костяком обороны, по существу, формировался заново и цельной воинской частью стать не успел. Одним из батальонов в полк вошла балаклавская школа морпогранохраны, руководители которой, как выяснилось, до последнего момента рассчитывали, что школа будет эвакуирована, имея на этот счет указания от своего наркомата. На участке этого батальона противник и вклинился. Встретив врага на плохо оборудованных позициях, курсанты понесли большие потери и свой рубеж не удержали...

Вечером, получив донесение Ковтуна, подтверждающие серьезность положения, на правый фланг обороны выехал командарм. Было уже решено, чем мы можем усилить южные секторы, и я контролировал начинавшуюся переброску туда подкреплений.

Помимо армейского резерва — немного пополненного 1330-го полка, — перебрасывался с левого фланга весь резерв Четвертого сектора — два батальона 161-го полка из дивизии генерала Воробьева. Без крайней нужды мы на это не

пошли бы, но у Воробьева было пока спокойно, а Новиков, как докладывал Ковтун, ввел в бой все, чем располагал, вплоть до комендантского взвода.

Генерал Петров умел беречь резервы. Он и сейчас надеялся по возможности их сохранить, но подтянуть все, что можно, к правому флангу, иметь там под рукой было необходимо уже для того, чтобы смелее, свободнее использовать собственные силы южных секторов. На утро 14-го в Первом назначалась контратака для восстановления прежних позиций при участии одного полка из Второго, при поддержке всей артиллерии обоих секторов, а также береговых батарей и кораблей.

Артиллеристы поработали хорошо. В значительной мере благодаря этому удалось вернуть оставленные накануне высоты 386,6 и 440,8, а кавалеристы Кудюрова были вызволены из окружения. Этот скромный успех дался нелегко, но позволил нашим войскам на правом фланге почувствовать себя увереннее.

Однако наступательный порыв противника отнюдь не иссяк. Его атаки возобновлялись вновь и вновь, причем фронт их расширялся. Во Втором секторе танки и пехота с нарастающим упорством пытались прорвать оборону 514-го стрелкового полка, который перекрывал Ялтинское шоссе — стержневую ось этого наступления на Севастополь. Завязались бои за стоящее у шоссе селение Камары (ныне Оборонное). А у моря враг продолжал нависать над Балаклавой. Высота 386,6 переходила из рук в руки. Ценою больших потерь немцы опять дошли до гребня главной балаклавской высоты — 440,8.

Оборонявшаяся во Втором секторе 172-я дивизия полковника И. А. Ласкина была, как помнит читатель, новой в Приморской армии. А за последние дни при доукомплектовании вообще сильно обновилась (одним из ее полков стал, сохранив свое прежнее название, 2-й морской). За эту дивизию, оказавшуюся на направлении главного удара противника, мы в штабе немало тревожились.

Но дивизия Ласкина держалась стойко. В первых же ее боях под Севастополем почувствовались твердая рука командира, неплохая работа штаба, умение хорошо использовать огневую силу своей и поддерживающей артиллерии. Кстати, начартом у Ласкина стал майор Алексей Васильевич Золотов — начарт 421-й дивизии в Одесскую оборону, а мой сослуживец еще по Болграду.

Из комсостава 172-й я пока мало кого знал близко. С командиром 514-го полка И. Ф. Устиновым виделся всего один раз — когда он десять дней назад докладывал, потемневший от усталости, о прибытии в Севастополь остатков своего полка. За это время полк снова стал полком не только по названию, а к его командиру нельзя было не испытывать уважения: не так-то просто сразу после обновления огромной части личного состава обеспечить такую боеспособность, какую показывал 514-й стрелковый на важнейшем сейчас участке обороны.

16 ноября впервые после возобновленных боев атаки противника продолжались и тогда, когда совсем стемнело, до двух часов ночи. В тот день немцы овладели Керчью, и Манштейн торопился покончить с последним нашим плацдармом в Крыму. Утром 17-го бои достигли, казалось, критического напряжения.

Командарм находился то у Новикова, то у Ласкина — все эти дни он проводил большую часть времени на правом фланге. Часто вместе с ним там бывал член Военного совета флота дивизионный комиссар Н. М. Кулаков.

Все переброшенные на правый фланг резервы были введены в бой, в основном в Первом секторе. Там же действовал взятый уже не из резерва, а с позиций в Четвертом секторе местный стрелковый полк. Моряки передали нам три маршевых батальона, людей для которых они набрали в подразделениях ПВО. Ночами — днем ему там негде было укрыться от вражеской авиации — на балаклавскую железнодорожную ветку перегонялся бронепоезд. А чтобы оттянуть от Ялтинского шоссе какие-то силы противника, чапачевцы и бригада Жидилова атаковали его в центре севастопольского обвода, имея задачу окружить высоту с хутором Мекензия.

При всех этих мерах — а к ним, кажется, уже ничего нельзя было немедленно добавить — положение на правом фланге к утру 17 ноября, повторяю, стало критическим.

Танковая атака на участке 514-го полка, с которой начался день, была отбита сосредоточенным огнем всех видов артиллерии. Но у моря противник вновь продвинулся и овладел восточными скатами последнего естественного рубежа перед Балаклавой — высоты 212,1. К исходу дня группы фашистских автоматчиков достигли ее площадкообразного гребня. От лежащих внизу балаклавских улиц и укромной маленькой бухточки врага отделяли лишь сотни метров. А между Балаклавой и Севастополем гор уже нет.

Однако закрепиться на рубеже, открывшем путь в Балаклаву и дальше, войска Первого сектора гитлеровцам не дали.

Около девяти вечера я услышал через приоткрытую дверь своей «каюты» на КП, как оперативный дежурный капитан Харлашкин возбужденно переспрашивает кого-то по телефону:

— Это точно? Повторите отметку высоты!..

Через минуту Константин Иванович доложил — с таким воодушевлением, словно о взятии целого города, — что в 20.45 немцы с высоты 212,1 выбиты.

Это был результат смелой контратаки батальона 1330-го стрелкового полка и группы конников 149-го кавполка, которых вел под сильнейшим минометным огнем по каменистым кручам — разумеется, в пешем строю — старый буденновец подполковник Л. Г. Калужский.

До исхода той ночи введенные в контратаку другие части заняли и западные скаты высоты 440,8. Мы ожидали, что утром противник постарается овладеть обеими вершинами снова, и принимали меры, особенно по артиллерийской части, чтобы этого не допустить. Однако в течение всего дня серьезных попыток вновь захватить командные балаклавские высоты не последовало. И уже нигде немцы не продвинулись 18 ноября ни на шаг. Почувствовалось наконец, как измотал их наш крепнущий отпор!

Говорить себе, что ноябрьское наступление на Севастополь сорвано, было, конечно, рано. Но обстановка позволяла произвести на правом фланге перегруппировку, необходимую, чтобы оборона здесь стала прочнее. Предложения об этом, сложившиеся у нас, утвердило командование СОР.

Как помнит читатель, к Севастополю пробивались через неприятельские тылы и линию фронта — часто довольно большими группами — бойцы-пограничники. Это были кадровые военнослужащие, отлично обученные, привыкшие к горной местности крымского побережья. При всех трудностях с резервами, этот контингент мы берегли, не дробили, надеясь образовать из пограничников отдельную часть. Был же у нас под Одессой погранполк майора Маловского, который отличался особой стойкостью и имел бойцов, способных при необходимости командовать взводами.

На целый полк хватило пограничников и теперь. Подписывая 17 ноября приказ о включении его в состав Приморской армии, генерал Петров говорил:

— В стойкости бойцов в зеленых фуражках можно не сомневаться. Солдаты они превосходные!

Этот полк прославился впоследствии как 456-й стрелковый под командованием Г. А. Рубцова. Но сначала был без номера, именуясь просто сводным пограничным, а командовал им тогда майор К. С. Шейкин.

В ночь на 20 ноября новый полк занял оборону в Первом секторе, сменив 383-й стрелковый, отводимый во второй эшелон, и подразделения конников — остатки 40-й кавдивизии, которые пора было вывести в резерв. Соседом пограничников слева стал 161-й полк А. Г. Капитохина, оборонявший теперь район селения Камары. Дальше по фронту расстановка сил оставалась прежней.

На самом танкоопасном направлении — вдоль Ялтинского шоссе — войсками были заняты и позиции в глубине обороны — на главном рубеже, а также запасные за ним в районе Сапун-горы.

Смену частей на переднем крае обеспечивал весь состав оперативного отдела штаба, и прошла она четко, по-видимому, не замеченная противником. Были предусмотрены отвлекающие действия, в том числе со стороны моря. Подводные лодки, внезапно появляясь у побережья за линией фронта, обстреливали в эту ночь известные нам пункты скопления вражеских войск.

Пограничники начали свои боевые действия с контратак: ставилась задача отбить у немцев в Балаклавских горах еще одну высоту — 386,6. Вернуть ее, однако, не удалось — противник, захвативший высоту неделю назад, успел основательно там закрепиться.

А на следующее утро, 21 ноября, Манштейн предпринял новую отчаянную попытку (потом оказалось, последнюю в ноябре) прорвать на правом фланге нашу оборону.

День был еще более напряженный, чем свежее в памяти 17-е. На ряде участков доходило до рукопашной. Снова разгорелись бои за балаклавские высоты. Особенно трудное положение создалось в стыке секторов, куда 72-я немецкая дивизия наносила основной удар.

Враг прорвался в селение Камары. Однако продвинуться дальше уже не смог. Да и селением овладел не полностью: окраину удерживало наше боевое охранение. Вечером было замечено, что на достигнутом рубеже немцы начали окапываться, как видно, израсходовав все резервы. О том, какие потери понесли наступавшие фашистские части, свидетельствовало участие в дневных атаках трех саперных батальонов — факт, установленный по документам убитых гитлеровцев и показаниям пленных.

Камары — составная часть Чоргуньского опорного пункта передового рубежа обороны, и их обязательно надо было вернуть. Командарм — он провел почти весь день на КП и в частях Второго сектора — приказал отбить селение на следующий день, 22 ноября. Но несколько часов спустя комендант сектора И. А. Ласкин, оценив обстановку, пришел к выводу, что выгоднее контратаковать не завтра утром, а сегодня же ночью. Генерал Петров согласился с ним.

Задачу выполнял уже не раз за эти дни отличившийся 514-й полк Устинова при поддержке 161-го. В контратаку бойцов повел комиссар полка О. А. Караев. Незадолго до полуночи в штаб поступило донесение о том, что Камары снова в наших руках.

На этом, собственно, и закончилось отражение ноябрьского наступления на Севастополь — первого штурма, как теперь говорят. 22 ноября противник произвел на ряде участков фронта довольно сильные огневые налеты, похожие на артподготовку, однако атак за ними не последовало. Немцы стали рыть окопы, натягивать проволоку, ставить мины. Враг вынужден был перейти к обороне, его расчеты на быстрое овладение Севастополем сорвались еще раз.

В сопоставлении с тем, что ждало севастопольцев впереди — с декабрьским штурмом, а тем более с июньским сорок второго года, — ноябрьские бои под Балаклавой и у Ялтинского шоссе могут показаться теперь не столь уж значительными. Предвижу, что иной читатель, знакомый с масштабами операций на других фронтах, отнесет, скажем, отражение атак с участием 35—40 танков к фактам совершенно заурядным.

Но судить о севастопольских боях — и ноябрьских и последующих — только по количеству введенной в действие техники нельзя. Кстати сказать, на подступах к Севастополю не много таких мест, где и 40 танков можно развернуть одновременно. В итогах же ноября примечательно уже то, что сперва вражескую ударную силу, прокатившуюся по всему Крыму и взявшую разгон для захвата с ходу последнего на полуострове города, сумели остановить спешно сформированные краснофлотские батальоны. А затем, когда эти батальоны только-только успели влиться в поредевшие, ослабленные тяжелыми потерями части приморцев и когда лишь создавалась слаженная система обороны, потерпело крах решительное наступление немцев, по обычным понятиям неплохо подготовленное, в успехе которого противник не сомневался.

11-я армия Манштейна, одна из сильнейших у Гитлера на всем Восточном фронте, застряла в Крыму теперь уже надолго. Имея в тылу советский Севастополь, гитлеровское командование не могло двинуть ее через Керченский пролив на Тамань, не могло и подкрепить ею свои войска, наступавшие на Ростов.

Вот тогда гитлеровцы и начали писать о том, что Севастополь — первоклассная, неприступная крепость, стали именовать все его береговые батареи не иначе как фортами, придумывая им «страшные» названия — «Максим Горький», «Чека», «ГПУ»... Надо же было как-то объяснить, почему два армейских корпуса, усиленные танками и значительной группировкой артиллерии, поддерживаемые многочисленной авиацией, остановились перед городом, который на самом деле никаких укреплений крепостного типа со стороны суши не имел, а вместо тыла — море.

Если в огне боев главная база Черноморского флота превращалась в неприступную супокутную крепость, то таковой делали Севастополь не несуществующие форты, а ставшие на его защиту, полные решимости его отстоять советские люди.

(Продолжение следует)



ПОЛИНА ВИНОГРАДСКАЯ

★

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

То, что здесь рассказывается, это всего лишь отдельные эпизоды, маленькие детали, штрихи. Они воспроизводятся такими, как запечатлелись в памяти, а еще больше в сердце. Быть может, они в какой-то мере дополняют все еще «не дорисованный» портрет Владимира Ильича Ленина.

Прав поэт:

О, вспоминайте все,
причастные
к великой жизни для людей,
где, может быть, и было частное,
но не бывало мелочей¹.

* * *

В пору моей работы в Московском Совете рабочих и солдатских депутатов и его большевистской фракции, а позднее в Центральном Комитете партии мне доводилось слышать Ленина на пленумах Моссовета, съездах партии, Советов и на конгрессах Коминтерна.

Но мне выпало счастье не только слышать его выступающим, а видеть и наблюдать Ленина в домашней обстановке, среди родных, друзей и соратников. Вот как это произошло.

После возвращения с Южного фронта гражданской войны в 1920 году я была оставлена в ЦК партии в отделе работниц (заведовала им Инесса Арманд) и назначена членом редакции журнала «Коммунистка», главным редактором которого была Надежда Константиновна Крупская.

Признаюсь, что заделаться «женотделкой» после фронта отнюдь не входило в мои планы. Однако мои возражения и доводы тогда никакого воздействия не оказали на Елену Дмитриевну Стасову, бывшую секретарем Центрального Комитета. Но как я была ей потом благодарна! Работа оказалась очень интересной, а сотрудничать с такими выдающимися женщинами, как Крупская, Арманд, Коллонтай,— счастьем.

К тому же приходилось нередко видеть Владимира Ильича дома, ибо заседания редакции, как правило, происходили у Надежды Константиновны (в кремлевской квартире или в Горках), чтобы щадить ее силы и время, так как она была сверх меры загружена работой в Наркомпросе. Надо заметить, что Ленин вообще с самого начала проявлял интерес к «Коммунистке» и помогал журналу и в большом и в малом.

...Мы одержали победу на Южном фронте. Враг был прижат к морю. Приходили радостные вести с других фронтов. Разумеется, Ан-

¹ И. Халупский («Нева», 1970, № 4).

танта не успокаивалась. Но все же наступила передышка. А Ленин, который всегда держал руку на пульсе республики, уже поставил новый диагноз: на смену кровавой гражданской войне приходит война бескровная. Военный фронт надо сменить трудовым. И Ленин, этот великий стратег, уже весной на сессии ВЦИКа, позднее на VIII съезде Советов рисует перед страной грандиозную перспективу ближайшего будущего — невиданное хозяйственное строительство плюс электрификация... Замелькали лозунги, плакаты: «Все на фронт мирного строительства!» И как это характерно для Владимира Ильича — выдвигая захватывающие дух планы, он считал нужным подчеркнуть: не может быть социалистического строительства без того, чтобы в нем не приняли самого активного участия женщины.

Вспоминаю, Владимир Ильич присутствовал на нашем первом организационном заседании редакции, которое происходило весной 1920 года. И когда один член редколлегии предложил сделать журнал исключительно теоретическим, Владимир Ильич заметил: «Здесь «геллертерство» обязательно. Наоборот, тут надо держаться как можно ближе к «вечному дереву жизни!»

Он тогда же кратко и ясно сформулировал стоявшие перед журналом задачи. При этом он особенно подчеркнул, что, вовлекая огромные массы женщин в хозяйственное и государственное строительство, надо одновременно поднять все «женские» вопросы, проявить всяческую инициативу, чтобы высвободить силы и время женщин от чрезмерной загруженности непроизводительным трудом по домашнему хозяйству, как можно больше прислушаться к их нуждам, чтобы наконец сделать тяжкую «долюшку женскую» счастливой и светлой.

И в дальнейшем Владимир Ильич захаживал на наши заседания. При этом необходимо заметить, что как бы Владимир Ильич ни торопился, как ни дорожил он временем, но если на заседаниях читались письма (а они шли в редакцию в большом количестве), то он обязательно оставался послушать одно-другое и принимал участие в их обсуждении, помогал своим советом. Нередко Владимир Ильич забежал на минутку что-то спросить у Надежды Константиновны, а иногда заходил по делу к тому или иному члену редколлегии.

В эти же краткие мгновения мне приходилось слышать деловые замечания Владимира Ильича, его заразительный смех, видеть веселым, сердитым, а то и гневным.

* * *

Нельзя было не заметить, что Ленин побледнел, что у него усталый вид. Неимоверная работа, которую он взвалил на себя, постепенно надорвала его, в общем-то, здоровый организм. Непонятным, странным, а главное, досадным казалось, что Ленин так стал сдавать тогда, когда самое тяжелое как будто бы отлегло. Впереди открывалась широкая дорога мирного строительства.

Но забот и дум у Ленина становилось все больше и больше, не говоря уже о повседневной огромной изнурительной работе: заседания, прием людей, переписка, выступления, статьи. Ведь переход от гражданской войны к мирному социалистическому строительству в стране голодной, разоренной сопровождался большими трудностями. Партию лихорадило в связи с дискуссией о профсоюзах. Ленину стоило больших усилий внести ясность в этот вопрос и направить дискуссию в нужное русло. Но сам Ленин, видевший события дальше и лучше других, знал, что суть вопроса, корень дела не в профсоюзах, что за шелухой горячих споров кроются совсем иные явления, еще не вскрытые. У Ленина уже зрели новые конкретные планы — преодоления голода и поднятия сельского хозяйства; уже зарождалась идея

о замене продрозверстки продналогом, которая затем, облекшись плотью в виде нэпа, была предложена Лениным на X съезде партии.

Надежда Константиновна иногда между делом роняла фразу о том, что у Владимира Ильича пропал аппетит, что он страдает бессонницей. И теперь еще нельзя без щемящей боли читать его записку, оставленную ночью родным, чтобы его разбудили в 10 часов утра. А эту-то записку он написал в 4 часа утра, когда еще только надеялся уснуть.

В начале января 1921 года Ленина заставили взять отпуск и уехать в Горки. В один из зимних вечеров 1921 года, уже после возвращения Ильича из Горок, я пришла по делу к Надежде Константиновне. Застала ее в столовой кремлевской квартиры в кругу двух старых партийных товарищей — один из них врач по образованию Владимир Александрович Обух. Он интересовался, как Ленин провел отпуск, как отдыхал.

Надежда Константиновна сетовала, что Владимир Ильич совершенно не щадит себя, что он и в Горках почти не отдыхал. Непрестанно работал. Ездил во время отпуска в Москву, чтобы принять участие в заседаниях Центрального Комитета и Совета Труда и Оборона. В Горках писал по поводу профсоюзной дискуссии. Готовился к X съезду партии. Ведь он принимал участие в работе комиссии по составлению проектов резолюций X съезда партии. А помимо всего этого, добавила Крупская, Владимир Ильич еще выступал в Горках с докладами. Так, например, он выступил перед местными крестьянами. Со свойственным ей юмором Крупская изобразила, как это происходило.

В самой большой деревенской избе собрались крестьяне не только из Горок, но и из всех соседних деревень. Народу набилось — яблоку негде упасть. Ленин говорил о международном и внутреннем положении: о кознях Антанты, хозяйственном строительстве, электрификации и т. д. Говорил он более двух часов. Все слушали затаив дыхание. В избе жарко натоплено. Бородачи повываскивали из карманов большие кумачовые платки и усердно вытирали пот.

Владимир Ильич устал, побледнел. Наконец он закончил. Председатель спрашивает: «Кому хочется высказаться?» Общее молчание. Вдруг поднимается один и говорит: «Есть один вопрос. К примеру, вот я прибыл из глубинки, теперь ни туды, ни сюды. Известно, поезда... И туды не проехать, и сюды имущество, скажем перину, самовар, швейную машину, не заполучить».

Все на него зашикали, замахали: «Никакого касательства сюда не имеет твой самовар и перина!» Мужичок не сробел и стал настаивать: «Очень даже касательно, потому товарищ Ленин говорит о тяжелом положении». Тут Владимир Ильич встал, поднял руку, подал знак, чтобы успокоились. Сразу воцарилась тишина. Он сказал: «Вопрос не такой уж праздный. Транспорт — это нерв нашей жизни. Без транспорта никакого социализма не построим. Хорошо, я скажу специально о транспорте». И снова говорил час с лишним.

После этого крестьяне стали дружно и смело задавать вопросы. Их было много, более полусотни. И опять Ленин разъяснял положение с солью, мануфактурой, спичками и, конечно, продрозверсткой.

— Вот как он отдыхал, — закончила рассказ свой Надежда Константиновна.

Огромный, грузный Обух с крупными чертами лица и очень живыми, умными глазами хохотал громко, звучно, а все его огромное тело колыхалось. От одного его вида все кругом начинали смеяться.

Владимир Ильич зашел в комнату к концу рассказа. Поздоровавшись с нами, он сказал, обратившись к Надежде Константиновне:

— А, изображаешь меня! Ну, благо что тут есть такой благодарный слушатель, как Владимир Александрович. Его хохот раздается по всей квартире и доносится даже до моего кабинета.

Ленин ценил и любил Обуха. Вся семья Ульяновых была привязана к нему.

Владимир Александрович вышел из семьи польских повстанцев (участников восстания 1863 года). Еще на заре рабочего движения, в 1892 году, он примкнул к ленинскому «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса». Студент Обух, талантливый и любимейший ученик Лесгафта, был за свою революционную деятельность исключен из университета и арестован. Став позднее врачом московских больниц Старо-Екатерининской и других, Обух приобрел в Москве известность одного из крупнейших терапевтов-диагностов. Он был вхож в «лучшие дома» — профессоров, высших чиновников, промышленников и коммерсантов, которые даже не подозревали, что широкообразованный, солидный врач, обаятельный, веселый человек — еще и деятельный революционер-большевик, подрывающий тот фундамент, на котором зижделось их общество и их личное благополучие.

Благодаря своим связям, авторитету и положению он сумел оказывать партии неоценимые услуги, находить очень солидные квартиры для явок, для безопасного хранения нелегальной литературы и т. п., что было особенно важно в годы жестокой реакции, когда большевистская партия как самая революционная преследовалась исключительно строго. Загнанная и глубокое подполье, партия продолжала жить, растекаясь тысячами подпочвенных ручейков, которые невидимо и неслышно для полиции находили пути к рабочим и крестьянам.

Ильич ценил Обуха не только как преданного старого члена партии, но и доверял ему как врачу.

В тот трагический августовский вечер 1918 года, когда Ленин был ранен предательской пулей, Надежда Константиновна и Мария Ильинична настояли, чтобы немедленно привезли Обуха к Ленину. Примчавшись в Кремль с митинга, где он выступал, Обух пристально вглядывался в побледневшее лицо дорогого и близкого ему Ленина. Выслушав его сердце и легкие, Обух твердо сказал:

— Ильич будет жить!

* * *

Когда Владимир Ильич вошел в столовую, где мы беседовали с Надеждой Константиновной, нам всем сразу бросился в глаза его утомленный вид, хотя он недавно вернулся из Горок. Обух первый заговорил о том, что Владимир Ильич слишком много работает, что ему необходимо разгрузиться.

— Всем приходится много работать, и мне в том числе, — сказал Обух, обращаясь к Ленину, — но все находят время отдохнуть. А я организую работу так, чтобы беречь свои силы и отдыхать даже ежедневно.

— Нуте-с, расскажите-ка нам, Владимир Александрович, — воскликнул Владимир Ильич, — как это вы организуете работу так, что хватает времени и для ежедневного отдыха?

— Извольте, это очень просто и легко. Советую вам последовать моему примеру, — с готовностью ответил Обух. — Я прихожу к себе на работу, вызываю секретаршу. Она мне докладывает, какие есть неотложные дела, доклады, просители. Отдаю ей все распоряжения. Затем захожу в соседнюю комнату, где у меня стоит диван, и ложусь отдыхать читать, чай пить...

Слушая его, Ленин явно раздражался все более и более, даже покраснел, а потом возмущенно зборвал его:

— Да если бы вы так работали, то вас надо было бы немедленно отдать под суд!

Обух улыбнулся и спросил:

— Неужели вы, Владимир Ильич, человек, знающий меня почти три десятка лет, дружески ко мне относящийся, смогли бы отдать меня под суд? Неужели у вас не дрогнула бы рука, подписывая такое распоряжение?!

— Да,— ответил Ленин,— меня бы ничто не остановило, обязательно отдал бы вас под суд, под суд,— повторил он.— Несмотря на то, что вы мой друг, я не колебался бы ни секунды. Вы ведь знаете, как древние говорили: «*Amicus Plato, sed magis amica est veritas*»². Ваше счастье, что я знаю вас и как шутника и как человека, который любит разыгрывать товарищей, я понимаю, что вы это сказали не серьезно... Но меня разыграть вам не удастся.

Обух залился своим зычным смехом, и Ленин разочарованно махнул рукой.

Но другой товарищ, сидевший все время молча (не помню его фамилии), тогда сказал:

— Видите ли, Владимир Ильич, все дело в том, что наркомы, члены коллегий не щадят вас и валят на вас всю государственную работу. Между тем можно было бы вас от многого разгрузить. Например, заседания Совнаркома отнимают у вас слишком много времени. Повестка заседания часто перегружена многими вопросами, которые могли бы вполне быть решены самими ведомствами, и тем самым вас освободили бы от многого. С другой стороны, проекты декретов, вопросы государственной важности вносятся народными комиссарами в Совнарком недостаточно подготовленными, не полностью проработанными в надежде, что вы, Владимир Ильич, своей эрудицией, дальновзоркостью додумаете, доработаете вместо них — вместо наркомов. Вы действительно это все додумываете, додольваете за них. Но сколько это требует от вас лишнего напряжения сил, сколько отнимает вашего времени, а главное, здоровья!

Владимир Ильич пристально поглядел на него и спросил:

— Ну, а что вы предлагаете? Как, по-вашему, надо организовать работу Совнаркома?

— Надо сделать так, как было во время Французской революции,— принялся излагать свою точку зрения собеседник.— Все, что рассматривалось в конвенте — доклад, декрет,— предварительно подвергалось обсуждению в клубах, главным образом в якобинском клубе. Вот надо нам создать такого рода клуб, где все важные вопросы продебатыруются, профильтруются, и уже после обмена мнениями они будут в виде предложений внесены вам в Совнарком.

Владимир Ильич, прищурив глаз, с трудом сдерживая улыбку, заметил:

— Но ведь то была буржуазная революция, им нечего было спешить, а у нас пролетарская. Та революция носила совсем другой характер. Там частная собственность не была уничтожена, а лишь перешла из рук одного класса — феодалов, в руки буржуазии. Этот новый класс, вышедший на авансцену истории, вовсе не был заинтересован, чтобы решительно смести все остатки старого, чтобы доводить революцию до конца, чтобы мобилизовать массы, развивать их революционную самостоятельность. А необходимые преобразования буржуазия старалась проводить как можно осторожней и медленнее. Мы же,

² «Платон — друг, но истина еще больший друг (истина дороже всего)» — слова, приписываемые Аристотелю.

наоборот, разрушили старое до основания. Нам надо срочно строить новое. Время, жизнь не ждет. Поднялись огромные массы трудящихся, новые народные пласты к строительству. Срочно нужны новые законы, декреты, которых народ ждет, чтобы по ним действовать. А вы советуете ждать... Согласен, что наркомы не всегда вносят на утверждение идеально подготовленные декреты, приходится корректировать, вносить нужные поправки. Да, это берет много сил и здоровья... Но растягивать их рассмотрение на длительные сроки, на целые месяцы... Ждать, пока в клубе будут произноситься водолейные, далекие от жизни речи, это детская забава. Это роскошь, которую мы не можем себе позволить в такое горячее время. Это было бы просто преступлением.— А затем, как всегда корректно, Ленин спросил: — Вот вы предлагаете поручить все это клубу, а из кого, по-вашему, должен состоять этот клуб? Кого вы намерены пригласить в него?

Товарищ как-то был озадачен неожиданным вопросом Ленина и, помедлив немного, сказал:

— Надо подумать, наметить людей.

— Ну, вот подумайте, наметьте кандидатов, поговорим конкретно,— вежливо ответил Ленин.

Некоторое время спустя я снова была у Надежды Константиновны и, напомнив ей про этот разговор, спросила:

— Ну как, товарищ представил список кандидатов? Владимир Ильич посмотрел этот список?

— Посмотрел и дал мне его, чтобы вернуть товарищу,— сказала Надежда Константиновна.— Причем не просто посмотрел, а самым серьезным образом отнесся и даже дал на полях характеристику некоторых из кандидатов. Ну, а стоявших в конце списка неисправимых фантазеров Владимир Ильич объединил, выделил в одну рубрику и иронически проехался по их адресу.

Оказывается, речь шла о Ларине и Рязанове.

Ларин имел в партии вполне заслуженную репутацию «утописта», «прожектера». Даже ближайший его друг Г. И. Ломов, вспоминая о совместной работе с Лариным в ВСНХ, рассказывал, что после напряженного рабочего дня, длившегося до поздней ночи, наступал еще, как называл это Ларин, «порядок веселого анархизма». Ночью они с Лариным и с другими товарищами собирались, и Ларин, вынув из какого-нибудь кармана смятый листок, принимался выкладывать им свои идеи. Выслушав десятка полтора проектов и различных декретов, они тут же браковали девять десятых, а одну десятую принимали в принципе, перерабатывали и отправлялись на завтра к Ленину в Совет Народных Комиссаров. А он вычеркивал безжалостно и этот остаток.

А вот как Ленин сам отзывался о Ларине в связи с привлечением его к законодательной работе во ВЦИКе. Владимир Ильич писал Енукидзе о Ларине: «...хороший парень,— как поэт, как журналист, как лектор. Но мы, дураки, ставим его к законодательной работе и этим портим, губим и его, и работу». Имеются и другие, более резкие характеристики Ларина, данные ему Лениным по другому поводу.

Ленин считал, что таких людей, как Ларин и Рязанов, надо использовать на соответствующей их способностям работе, а не поручать им государственные дела.

Не удержавшись от любопытства, я стала упрашивать Крупскую показать мне этот список с пометками Ленина. На оригинале, который мне показала Надежда Константиновна, сбоку некоторых фамилий «кандидатов в проектируемый клуб» стояла кратенькая, но меткая характеристика, вписанная рукой Ленина. А двум товарищам, помещенным в самом конце списка, дана Владимиром Ильичем общая

оценка, выраженная в такой формуле: «Ларинизация плюс рязановизация равны сумасшествию».

Эту последнюю характеристику Ленин как-то приводил при случае и позднее³.

* * *

Да, Ленин горел на работе. И во время отпуска продолжал работать.

Позднее, в 1923 году, будучи уже тяжело больным, Ленин в беседе с Марией Ильиничной с грустью заметил: «В 1917 году я отдохнул в шалаше у Сестрорецка благодаря белогвардейским прапорщикам; в 1918 году — по милости выстрела Каплан. А вот потом — случая такого не было...» А ведь известно, что Ленин очень любил природу, животных, птиц — вообще любил «вечное дерево жизни». Причем природу он любил не только созерцательно, пассивно, а действительно, активно. Ничто человеческое ему не было чуждо. Ленин был страстным охотником, отчаянным грибником. С азартом играл в крокет, городки. Что бы Ленин ни делал, он все делал увлеченно, страстно. Так, приехав однажды в Горки и увидев, что товарищи, находившиеся там в доме отдыха МК, увлекаются игрой в городки, Ленин немедленно присоединился к ним. Он играл так горячо, так азартно, что обыграл своих партнеров и еще поддразнивал их: если так будете бить врагов, то погибнет Советская власть.

Надежда Константиновна с сожалением говорила о том, что Ленину из-за большой загруженности все меньше и меньше случается отвлекаться от работы и что товарищам все реже и реже удается «сманить» его даже на любимую им охоту хотя бы в ближний подмосковный лесок.

В связи с этим Надежда Константиновна рассказала такой эпизод. Один товарищ, чтобы легче застать Ленина и «сманить» его на охоту, явился на заседание Совнаркома и, зная привычку Ленина переписываться на самом заседании с нужными товарищами по деловым вопросам⁴, послал ему записку такого содержания: «Начался перелет перепелов. Надо срочно поехать на охоту, чтобы не пропустить лёт». И Ленин тут же послал ему свой ответ: «Я рад бы в рай, да...»

Товарищ поехал один и, вернувшись с охоты, решил сманить теперь Ленина, продемонстрировав перед ним добытый на охоте трофей. Маленькую убитую перепелочку он вложил в конверт и снова на заседании Совнаркома послал председательствовавшему Ленину со следующей запиской: «Теперь начался ток глухарей, такую охоту нельзя упустить... Ленин, раскрыв конверт и обнаружив такое необычное послание, сделал очень строгое лицо, поискал глазами адресата и пригрозил ему пальцем за такое нарушение дисциплины. Но охотничье сердце Ленина все же дрогнуло... Когда заседание кончилось, отыскал товарища и обещал ему поехать с ним на охоту.

Вечером под выходной они отправились в Подмоскovie. Главная задача состояла в том, чтобы не пропустить на рассвете тока. Прибыв поздно вечером на место, они условились караулить по очереди и спать поочередно. Но товарищ, заснувши первым, так и спал до рас-

³ Ленинский сборник XXXV, стр. 306.

⁴ Некоторые из этих ленинских знаменитых записок, написанных на клочках бумаги, теперь опубликованы и представляют огромный интерес. Ленин вообще умел основательно заниматься несколькими делами одновременно. Так, например, его знаменитая заметка «Об очистке русского языка» была написана на заседании Совнаркома. Правда, подзаголовок к этой заметке был «Размышления на досуге, т. е. при слушании речей на собраниях» и говорит о том, что он часто скучал, слушая на заседаниях водянистые речи.

света. А Ленин из деликатности не стал его будить и добросовестно прокараулил до зари, неся дежурство за двоих, и совершенно не спал. Товарищ проснулся, когда уже начался ток. Прямо перед ними на верхушке высоченнейшей ели сидел красавец глухарь. Широко расправив крылья, подняв гордо голову и выставив грудь колесом, он торжественно и ликующе затоковал. Товарищ, чувствуя свою вину перед Лениным, не стал стрелять, а хотел ему предоставить право первого выстрела. Он тихонько тронул Ленина за локоть, подавая тем самым сигнал, что пора стрелять. Но Ленин мешкал... Он так залюбовался гордым видом глухаря, музыкой токования, красотой раннего рассвета и всей гармонией природы, что, очевидно, не хотел нарушать это стрельбой. Так он ни разу не выстрелил, сохранив жизнь глухарю. Момент был упущен, и глухарь, очевидно услышав шорох, учуял опасность, быстро расправил крылья и улетел. Когда товарищ стал упрекать Ленина за то, что он упустил «такой неповторимый момент», Ленин нарочно построил невинную мину и тоном провинившегося школьника смущенно процедил: «Да я ведь плохой охотник, никудышный охотник!»

— Нет, Ленин не был плохим охотником,— сказала Крупская.— Наоборот, он был очень страстным и опытным охотником, всегда тщательно готовился к охоте, вовсе не оставаясь равнодушным к ее результату. Сам процесс охоты, приготовления к ней, вся охотничья атмосфера, лай, гон собак, вид леса — все это захватывало его и представлялось не менее ценным и значительным, чем охота с ее удачным исходом. Ведь сам процесс этот уже отвлекал Ленина хоть на короткое время от дел, от дум и давал какую-то передышку, разрядку. Так было,— заключила Крупская,— и на этой охоте. Ленину, наверно, приятно было любоваться глухарем на фоне предутренней зари... И несмотря на то, что он на этой охоте устал, не спал всю ночь, это была здоровая усталость. Он приехал бодрым, свежим. То же повторилось однажды на вечерней тяге, когда Ленин приехал в ближайший подмосковный лесок. В воздухе стоял шум, гомон, пение, ликование. Самцы заливались песнями, перекликались с самками... Предвечерний лес был полон упоения. Ленина захватила эта красота.

Надежда Константиновна при этом снова выразила сожаление, что Ленин из-за перегрузки редко позволяет себе такие поездки.

* * *

Как я уже говорила, доводилось мне видеть Ленина сердитым, а то и гневным. Однажды я была свидетелем того, как Владимир Ильич отчитывал одного товарища за то, что тот, будучи прикомандированным к бельгийской делегации, приехавшей в нашу страну, плохо справился с поручением и даже конфузно опростоволосился.

— Как глупо знакомят у нас иностранцев с жизнью Советской страны! — возмущался Ленин.— Иные приезжающие к нам из-за рубежа хотят своими глазами увидеть страну, людей, их труд. Ведь и вправду лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А наши «милые дураки», вместо того чтобы помочь им ознакомиться с реальной действительностью, составить правдивое мнение, ухищряются почему-то ткнуть их носом в мусорную яму. Вот и вы,— продолжал Ленин, сурово выговаривая товарищу,— не нашли ничего лучше, как повести делегацию к печатникам, плетущимся до сих пор в хвосте у меньшевиков. А от имени рабочего класса там выступает перед ними не кто иной, как переодетый «под рабочего»... Виктор Чернов, и этот «рабочий» на великолепном французском языке разъясняет делегации суть Советской власти, ее политику и практику. Это же позор! — почти кричал Ленин.

Товарищ пытался что-то невнятно объяснять. Но Ленин не стал его слушать. Потом, повысив еще больше голос, сказал строго:

— На цугундер надо вас за такое безобразие, на цугундер, на цугундер! — Это слово он дважды повторил.

Я обычно очень робела в присутствии Ленина и молчала. Но тогда, видя, как Ленин волнуется, чтобы разрядить атмосферу, я вдруг громко сказала:

— А знаете, какая про Чернова ходит поговорка? «Ён в текущем моменте участия не принимает»!

Ленин на секунду замолк и поинтересовался:

— А что сие означает?

Я рассказала, как родилось это выражение.

Известно, что во время затянувшегося допоздна заседания Учредительного собрания к стоявшему на трибуне Чернову подошел матрос Железняков, начальник караула Таврического дворца, и сказал: «Хватит разговаривать, охрана устала, пора расходиться по домам». «Храбрец» Чернов безропотно подчинился, натянул на себя пальто, поднял воротник, нахлобучил шапку и трусливо стал пробираться к выходу. Но солдат из охраны для пущей остротки еще последовал за ним, взяв ружье наперевес. Одна из дам, стоявшая среди публики, сгрудившейся в эти минуты на площади перед зданием, стала выговаривать солдату: «Как вам не стыдно! Кого вы выгоняете! Это же ваш «селянский министр»!» На что солдат ответил: «Может, и был министр, дак ён же в текущем моменте участия не принимает!»

Надо заметить, что эсеры вообще считали Чернова человеком не очень храбрым, теряющимся в решающие моменты. Оплакивая роспуск Учредительного собрания, эсеры обвиняли Чернова в послушании, растерянности, трусости, что он, мол, подал пример остальным — подчиниться и разойтись. Так навсегда приклеилась к нему характеристика, данная солдатом: «Ён в текущем моменте участия не принимает».

Ленин, смеясь, заметил:

— Вот именно так: «Ён в текущем моменте уже участия не принимает». Но этот же Чернов из-за ротозейства и головотяпства наших товарищей выступает у нас в роли благодетеля рабочих. Зато не искушенный в политике крестьянин в солдатской шинели двумя словами схватил и охарактеризовал все реальное положение с текущим моментом и его действительными участниками.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЮРИЙ ЖУКОВ

★

ЛЕЧУ В ВЕНЕСУЭЛУ

Записки журналиста

Вот и еще одна дальняя, очень дальняя дорога: мы отправляемся в Венесуэлу. Мы — это четверо депутатов Верховного Совета СССР: руководитель нашей делегации председатель Совета Национальностей Ядгар Садыковна Насриддинова, с которой я знаком уже много лет, — она еще недавно возглавляла Президиум Верховного Совета Узбекистана; видный научный деятель Арно Артурович Кёёрна — он руководит Институтом экономики Академии наук Эстонии; всегда невозмутимо спокойный армянский ученый Мкртич Гегамович Нерсисян — ректор Ереванского университета, и автор этих строк. С нами летят наши советники — Василий Васильевич Евгеньев из международного отдела Президиума Верховного Совета СССР; политический обозреватель «Известий» Викентий Александрович Матвеев и переводчики — Олег Анатольевич Крохалев и Генрих Яковлевич Туровер.

Там, за океаном, в столице Венесуэлы Каракасе предстоят весенние заседания исполкома и совета Межпарламентского союза, и нас ждет обычная в таких случаях деятельность: участие в работе пленарных заседаний, комиссий, подкомиссий, отстаивание позиции социалистических стран — членов Союза, поддержка тех проектов решений, которые направлены на укрепление мира и международного сотрудничества, борьба против всего того, что этому может повредить. Но помимо этого, как всегда, хочется воспользоваться предоставившимся случаем для того, чтобы поглядеть — как говорится, хоть одним глазком — на еще одну страну, где тебе ранее побывать не удалось, да еще и неизвестно, удастся ли повторить такую редкую поездку в будущем. Ведь эта поездка и в самом деле редкая: дипломатические отношения между СССР и Венесуэлой установились лишь в 1945 году, а летом 1952 года, в мрачную эпоху свирепой диктатуры Маркоса Педро Хименеса, они были разорваны и лишь недавно, в апреле 1970 года, восстановились. Посольства обеих стран только что справили новоселье в Москве и Каракасе: наш посол В. И. Лихачев прилетел в Венесуэлу 10 февраля 1971 года, и в тот же день венесуэльский посол Бурельи Ривас сошел с самолета в Шереметьеве.

Естественно, что взаимные поездки советских людей и венесуэльцев пока еще не так уж часты, особенно если говорить о нашем брате-журналисте, — путешествия литераторов в Венесуэлу можно пересчитать по пальцам. А ведь это поистине интереснейшая страна. Я хорошо помню, с каким огромным увлечением рассказывал мне о ней в дни первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке осенью 1946 года прилетавший туда из Каракаса наш первый посол, в прошлом по специальности инженер-нефтяник.

— Вы не можете себе представить, что это такое, — говорил он. — Это, это... — Собеседнику явно не хватало слов, чтобы поразить мое воображение, и вдруг он их нашел: — Это железные острова, плавающие в нефтяном море, — вот что это такое! Да, да, Венесуэла уже сейчас — крупнейший в мире экспортер нефти, и каждая вторая бочка горячего, которое сгорает в топках Америки, доставляется оттуда. Что же касается

железной руды, которой там — горы, то она пока еще не используется, но попомните мое слово — это крупнейший резерв мировой металлургии...

Само собой разумеется, Венесуэла интересна не только тем, что она представляет собой Железные Острова в Нефтяном Море. Начать хотя бы с того, что именно к ее берегам 1 августа 1498 года причалила каравелла Христофора Колумба и что именно там, на прибрежном острове, два года спустя был сооружен первый в Южной Америке поселок пришельцев из Европы; его называли Нуэве Кадиц (Новый Кадикс), — позднее его смело землетрясением.

История этой сравнительно небольшой страны богата самыми драматическими и поистине романтическими событиями. В тихом французском селении Вальми, имя которого навеки вошло в историю Французской республики, ибо там молодая революционная армия наголову разгромила роялистов, я видел памятник венесуэльскому генералу — его страна тогда еще оставалась под игом жадных и злобных испанских колонизаторов, но воздух дышал грозой и те, кто уже твердо решился добиться освобождения, оттачивали свое оружие. Прошло немного лет — и родившийся и выросший в Каракасе Симон Боливар возглавил борьбу своего народа и освободил от испанского владычества не только Венесуэлу, но и Колумбию, и Эквадор, и Боливию...

Да, Венесуэла всегда была богата и славна не только своим железом и нефтью, но и прежде всего, конечно же, своими железными людьми. Я часто вспоминал об этом, читая скупые сообщения иностранных агентств о той упорной борьбе, которую вели все эти годы против сменявших один другого диктаторов венесуэльцы и прежде всего наши единомышленники и единоверцы — венесуэльские коммунисты, годами и десятилетиями действовавшие в тяжелых условиях подполья и жестоких репрессий. Нынче в Венесуэле многое начало меняться: там восстановлены элементарные демократические свободы и вышедшие из мрачной каракасской тюрьмы Сан-Карлос лидеры Коммунистической партии Венесуэлы работают легально, они избраны в парламент, газета коммунистов «Трибуна популар» распространяется нынче открыто...

Нетрудно понять, с каким интересом и волнением ждем мы встречи с этой страной и ее людьми, готовясь к дальнему путешествию.

Времени для подготовки к поездке у нас в обрез: 9 апреля 1971 года завершал свою работу XXIV съезд нашей партии, участвовать в котором нам выпала честь, а буквально на завтра, рано утром 10 апреля, улетал наш самолет. Но никто из нас не жалел о том, что так сложилась обстановка; напротив, все участники путешествия — и те, кто был делегатами съезда, и те, кто следил за его работой по телевидению и по газетам, — были необыкновенно рады этим обстоятельствам. Мы получили чудесную идейную зарядку, самое отличное напутствие, о каком только может мечтать советский человек, отправляющийся на выполнение ответственной миссии.

Одиннадцать дней работы съезда, его семнадцать заседаний, состоявшихся в огромном золотисто-алом зале Дворца, строгий и величественный облик которого так хорошо знаком нынче всему миру, были заполнены до краев напряженной творческой работой. Здесь вырабатывались грандиозные планы, от выполнения которых будут зависеть не только судьбы нашей страны и нашего народа, — всем очевидно и их огромное международное значение. Недаром в Кремль съехались в эти дни посланцы сто одной партии из девяноста стран, они с огромным вниманием и неподдельной заинтересованностью следили за работой съезда. Им было интересно все — и планы нашего капитального строительства, и наши замыслы в развитии промышленности, науки и культуры, и проявленная съездом забота о благосостоянии советских людей. Но с особым интересом встретили наши зарубежные гости изложенную Леонидом Ильичом Брежневым программу укрепления мира и международного сотрудничества.

Один за другим представители братских партий поднимались на трибуну Дворца съездов, чтобы высказать свое отношение к этой программе. Это отношение было неизменно положительным: каждый оратор считал своим долгом поддержать предложения товарища Брежнева. 5 апреля выступал генеральный секретарь Коммунистической партии Венесуэлы Хесус Фариа. Присутствовавшие хорошо знают и глубоко уважают этого коренастого, высоколобого, с крупными чертами лица рабочего человека, который прошел такой большой и трудный путь — от полуграмотного пролетария с венесу-

эльских нефтяных промыслов до высокообразованного деятеля мирового коммунистического движения.

Грянули аплодисменты. Фариа стоял на трибуне взволнованный. Он хорошо помнил, как в шестидесятые годы советские люди боролись за то, чтобы он и его соратники, томившиеся в тюрьме, были освобождены; как в Советском Союзе собирались митинги солидарности с венесуэльскими коммунистами; как прорывались к нему в тюрьму корреспонденты «Правды», «Известий» и ТАСС, чтобы передать ему выражение этой солидарности; как шли в дальний Каракас письма советских пионеров и школьников, приветствовавших политзаключенных...

В перерыве мы встретились с Фариа и его соратником, улыбчивым, никогда не унывающим Гарсиа Понсо. Узнав о том, что наша делегация в ближайшие дни будет в Каракасе, они оба обрадовались и заговорили о том, что было бы хорошо, если бы мы из своего загруженного заседаниями распорядка дня выкроили все же время для того, чтобы поближе познакомиться с их страной. Я сказал, что мы так и поступим.

— Я, к сожалению, должен буду на некоторое время задержаться в Европе,— сказал Хесус Фариа,— но Гарсиа Понсо будет с вами. Возможно, что вы окажетесь даже в одном самолете. Лучшего попутчика вам не найти,— добавил он, улыбнувшись, и от этой улыбки его лицо пожилого и очень много пережившего человека помолодело.

Я глядел на него и невольно думал о том, как мало и как, в сущности, плохо — все на бегу, все мельком — мы рассказываем читателям о людях, чья жизнь — перманентный подвиг. Хесусу Фариа было всего десять лет, когда он уже работал батраком на плантациях; ему исполнилось всего четырнадцать, когда он стал нефтяником; он был еще молодым человеком, когда создал профессиональный союз рабочих нефтяной промышленности; двадцативосьмилетним он уже попал в тюрьму за активное участие в революционной борьбе. Проведя там долгие восемь лет, он, выйдя на свободу, с новой энергией возобновил свою политическую деятельность и в тридцать семь лет стал сенатором — первый в Венесуэле сенатор-коммунист; а три года спустя — снова тюрьма; затем снова борьба, неустанная борьба...

Последнее пребывание в тюрьме, длившееся тридцать месяцев, было особенно мучительным: у Хесуса Фариа развился артрит в самой острой форме — его держали в сыром каземате. Только настойчивые требования «Свободу Фариа!», раздававшиеся со всех концов мира, вынудили тюремщиков отпустить тяжело больного лидера венесуэльских коммунистов — 19 марта 1966 года его под усиленной охраной отвезли на аэродром и посадили в самолет, улетающий в Рим.

Из Рима Хесус Фариа добрался в Москву. 22 марта он — у Леонида Ильича Брежнева. Встреча была теплой, дружеской, поистине брагской. Товарищ Брежнев пожелал Фариа скорейшего выздоровления и новых сил в борьбе. Врачи требовали: немедленно в больницу! Но Фариа еще нашел в себе силы, чтобы прийти на XXIII съезд КПСС и выступить с его трибуны. Лечение продолжалось долго. Докторам удалось победить болезнь. И 4 августа 1968 года Фариа вернулся в Каракас, где его ждали большие неотложные дела — партия сумела добиться легализации, открывались новые, поистине широкие перспективы борьбы...

НАД ОКЕАНОМ

Итак — впереди Каракас. Позади остался Париж; в ожидании трансатлантического рейса мы переночевали там и провели пасхальное утро — да, случилось так, что это был первый день пасхи. Увы, на сей раз в Париже выдалась сырая и холодная, какая-то гнилая весна и термометр показывал всего восемь градусов тепла. Воспользовавшись пасхальным уик-эндом, парижане ринулись на юг, мечтая погреться на средиземноморских пляжах, но, кажется, и там их постигла неудача. Столица Франции, впрочем, отнюдь не была пустынной — как всегда в дни праздников, сюда хлынули туристы из Лондона, Мюнхена, Амстердама, Копенгагена, Осло; улицы были буквально забиты огромными автобусами иностранных компаний, и всюду слышалась чужеземная речь.

Мы летим на большом воздушном корабле «компании «Эр Франс». Дорога дальняя и долгая даже для реактивного самолета. Заботливый экипаж всячески старается развлечь пассажиров. На экране, подвешенном впереди, беззвучно мелькают кадры цвет-

ного музыкального фильма. Если у вас есть охота следить за ним, возьмите небольшую коробочку, похожую на музыкальную шкатулку, наденьте приспособленные к ней наушники и нажмите кнопку — вы услышите голоса актеров. Если фильм вас не интересует, нажмите другую кнопку — до вас донесется музыка Баха. Если Бах вас сегодня не волнует, включите третий звуковой канал — в ушах у вас загремит джаз; жмите на четвертую кнопку — там спрятаны «песни настроения»: «Умереть от удовольствия», «Пьяный голубь», «Иисус Христос», «Черный орел» и многие другие. Не понравится и это, включайте пятую музыкальную группу — она исполнит так называемую «авангардную музыку», ту самую, о которой принято говорить — «хоть святых выноси». Наконец, вы можете послушать и так называемую «поп-музыку» или, на худой конец, «музыку, чтобы спать» — есть и такая.

Но нам сейчас не до музыки и не до сна: мы прилетим в Каракас в шесть часов утра по местному времени, а в десять часов уже начнутся весенние заседания Межпарламентского союза. Ядгар Садыковна Насриддинова, вооружившись папками с документами, которыми нагрузил нас всех неугомонный советник Василий Васильевич Евгеньев, сосредоточенно знакомится с ними, делая пометки в своем рабочем блокноте. Арно Артурович Кёёрна редактирует текст речи, с которой он собирается выступить на одном из ближайших заседаний. Мкртич Гегамович Нерсесян задумчиво просматривает свои записи.

Я берусь за свою записную книжку, в которую я записывал еще в Москве основные сведения о той стране, куда мы сейчас мчимся со скоростью около тысячи километров в час. Как всегда в таких случаях — прежде всего основные, пусть конспективные, факты, названия, цифры...

Венесуэла. Лежит между Карибским морем и экватором. Граничит с Колумбией, Бразилией и Гайаной. По размерам более чем вдвое превышает Калифорнию, примерно равна половине Мексики. 912 050 квадратных километров, включая 72 острова в Карибском море. И всего лишь 10 398 907 граждан.

«Самое-самое»... Самая длинная река — Ориноко, одна из величайших в мире; отдает Атлантике 18 000 кубических метров воды в секунду. Самая высокая гора — пик Боливара, высота свыше пяти километров. Самое большое озеро — крупнейшее в Латинской Америке — Маракайбо, более 13 000 квадратных километров, в него впадает 35 рек. Самый большой водопад — Энджел, высочайший в мире (в двадцать раз выше Ниагары)!

Население. 25 процентов — белые, 60 процентов — креолы и мулаты, 8 процентов — негры, 7 процентов — индейцы. Народ молодой: почти половина моложе пятнадцати лет; около четверти — от пятнадцати до двадцати девяти лет. Рождаемость — 4,33 процента, смертность — 0,64. «Активный контингент населения» (есть такой термин у статистиков) — 3 103 997 человек. В начальной школе учатся 1 625 654 школьника, в средней — 251 564, в высшей — 63 260 студентов (впрочем, эти в последние годы почти не учатся: университет в Каракасе закрыт почти весь год, идет острая политическая борьба, — об этом ниже).

Природа. Самая разнообразная: от экваториальных джунглей до вечных снегов в Андах. Около половины страны занято лесами, другая половина, на высокогорных плато, почти сплошь заросла травами — это знаменитая Большая саванна. Обрабатывается всего около двух процентов земли. В лесах много зверья и гадов: пумы, ягуары, дикие собаки, шесть видов обезьян, тапиры, опоссумы, аллигаторы, боа-констрикторы, анаконды, черепахи. Огромные пространства совершенно безлюдны.

Экономика. Главное — нефть: на продукцию этой отрасли хозяйства, в которой занят лишь около одного процента активного населения, приходится четверть валового национального продукта и свыше 90 процентов венесуэльского экспорта. Венесуэла на третьем месте в мире, после США и СССР, по добыче нефти и на первом (!) по экспорту. Будь венесуэльцы хозяевами своей нефтяной промышленности, они жили бы припеваючи. Но почти вся добыча нефти и ее переработка до сих пор в руках у иностранцев, главным образом у американцев.

Уровень жизни. По официальной статистике в стране 780 000 «экипажей», в том числе 447 600 собственных автомобилей и 30 000 мотоциклов, 760 200 телевизоров. В 1968 году население Венесуэлы выпило 372 975 литров виски, джина и коньяка,

553 470 877 литров газированной воды и лимонада и купило 1 002 264 автомобильных шины. Во всех справочниках подчеркивается, что здесь средний (средний!) уровень жизни выше, чем в любой другой стране Латинской Америки. Но вот что я прочел в ежегоднике Британской энциклопедии за 1971 год:

«Хотя доход на душу населения в Венесуэле один из самых высоких в Латинской Америке, высокая стоимость жизни и неравномерное распределение богатства вынуждают большую часть населения жить в трудных условиях — оно едва сводит концы с концами. Зарплата в нефтяной промышленности высока, но там занято всего 37 000 человек (менее двух процентов рабочей силы)... Сотни тысяч людей живут в нищете, прозябая в сырых лачугах, окружающих кольцом главные города Венесуэлы, главным образом Каракас. В сельских районах условия жизни еще хуже. Большая часть деревянных хижин — с соломенными крышами и земляными полами. Безработица достигает 20 процентов...»

Да, статистика — дело сложное и подчас хитрое. Я снова и снова перелистываю свои записи, сиюсь представить себе сложную и противоречивую картину неведомой еще для меня страны, с которой мы должны познакомиться уже через несколько часов. Вспомнилось, как один из наших лучших знатоков Латинской Америки, корреспондент «Правды» Виталий Боровский, напутствуя меня, сочувственно сказал: «Да, вам будет не очень легко разобраться во всей этой кутерьме. В сущности, даже специалистам пока еще это не очень удастся — уж больно все противоречиво. — Он улыбнулся: — Недаром говорят, что заблуждения латиноамериканцев начались уже в тот самый миг, когда Алонсо де Охеда, прибывший туда по стопам Колумба в 1499 году, добрался до озера Маракайбо, где индейцы жили в свайных постройках над водой; это напомнило испанцам Венецию, и они так и называли эту страну — Венесуэла, что значит «маленькая Венеция».

Вдруг я услышал знакомый мягкий голос:

— Не спится?

Ко мне подошел летевший вместе с нами Гарсиа Понсо. Я поделился с ним своими думами, и он сказал:

— Да, это верно. Вам предстоит увидеть страну, к облику которой не подходят односторонние ответы на многие вопросы — да или нет. Жизнь у нас сложна, и вы в этом убедитесь. Вы знаете, в сущности, история нашей страны глубоко трагична. Могли ли подумать Симон Боливар, одержав свою блестящую победу над колонизаторами в битве при Карабобо, что впереди еще многие десятилетия борьбы за подлинную независимость? Могли ли думать шедшие за ним пеоны, что местные помещики окажутся не менее злыми и жестокими колонизаторами, чем испанские губернаторы? Могли ли, наконец, наши предки предполагать, что со временем наша страна попадет если не в политическую, то в экономическую зависимость к еще более беспощадным колонизаторам — янки? И что наши доморощенные диктаторы, страшая собственного народа, будут им прислуживать? Возьмите хотя бы историю последнего полувека...

И Гарсиа Понсо начал перечислять этапы этой истории, загибая один палец за другим...

Двадцать семь лет правил Венесуэлой жестокий диктатор Гомес, это при нем в 1913 году были открыты нефтяные залежи в Мене Гранде, а позже — еще большие запасы нефти в районе озера Маракайбо, и это он отдал их в распоряжение иностранных монополий, главным образом американских; уже в 1928 году Венесуэла вышла на первое место в мире по экспорту нефти, но деньги, вырученные от этого экспорта, плыли мимо нее, оседая в огромных сейфах чужих банков. А Гомес беспощадно подавлял народ, возмущавшийся такими порядками.

С 1935 по 1948 год страной управляли менявшиеся довольно часто деятели не столь жесткой руки, как этот диктатор. В стране начала было развиваться буржуазная демократия. Открылись возможности для деятельности политических партий и профсоюзов. Все более активно действовали коммунисты. Все это напугало монополии, и 24 ноября 1948 года был совершен очередной военный переворот, в итоге которого к власти пришла хунта во главе с Карлосом Дельгадо Чальбо — его вскоре убили — и Маркосом Пересом Хименесом.

«Новый сильный человек Венесуэлы», как сразу же окрестила Хименеса амери-

канская печать, завернул гайки похлестче Гомеса. Политические партии были объявлены вне закона, рабочее движение захлебнулось в крови, коммунисты были брошены в тюрьмы, университет закрыт, пресса обуздана, развитие здравоохранения и просвещения прекращено. Наступили поистине страшные годы Венесуэлы!

В январе 1958 года, казалось, подул ветром перемен. Действовавшие за кулисами политической жизни монополии пришли к выводу, что Хименес орудует слишком круто — народный гнев усиливался и мог произойти взрыв. Поэтому был учинен еще один военный переворот, на этот раз восстали флот и авиация. К власти пришла новая хунта, выдвинувшая Ромуло Бетанкура — лидера активно проявлявшей себя еще в сороковые годы партии Демократического действия. В ту пору она выглядела весьма либеральной.

В декабре 1958 года состоялись выборы, и Бетанкур стал президентом. Программа, которую он провозгласил, была более умеренна, нежели та, с которой он выступал когда-то, но все же создавалось впечатление, что жизнь станет теперь легче. Бетанкур обещал развивать промышленность и сельское хозяйство и провозгласил проведение аграрной реформы под лозунгом «Каждой крестьянской семье — ферму к 1964 году».

Увы, все эти обещания пошли прахом, и вместо процветания Венесуэлу ждал жестокий экономический кризис. Что же касается аграрной реформы, то она оказалась просто-напросто мошенничеством. Иностранные монополии все больше усиливали свои позиции в стране. Внутренняя политика Бетанкура становилась все более реакционной. Его внешняя политика диктовалась Вашингтоном. Не удивительно, что робкие надежды на лучшее будущее, возникшие у населения, быстро увяли.

Когда срок президентских полномочий Бетанкура истек, его партия выдвинула своим кандидатом другого деятеля — Рауля Леони, который и стал президентом в 1963 году. Но смена лиц отнюдь не означала смены политики. Все оставалось по-старому, и отчаявшийся в своих надеждах на перемены народ взялся за оружие — в стране началась партизанская борьба.

Рауль Леони стал маневрировать, он пошел на некоторое послабление полицейского режима. Видных деятелей рабочего движения освободили из тюрьмы. Вновь появилась видимость каких-то демократических акций. Но было уже поздно: партия Демократического действия исчерпала свои возможности и настало время новой «смены караула». Эта смена произошла относительно недавно. 1 декабря 1968 года на очередных президентских выборах победу одержал лидер социал-христианской партии Рафаэль Кальдера. Эта партия, носящая мудреное для непривычного уха название — Комитадо организасьон политика электораль индепендиенте (сокращенно КОПЕЙ), — и ее лидер не были новичками на венесуэльской политической арене.

Юрист по образованию, Кальдера еще в 1945 году (ему в ту пору исполнилось двадцать девять лет) стал генеральным прокурором Венесуэлы, а два года спустя — генеральным секретарем КОПЕЙ. В трудные времена самой черной реакции эта партия находилась в оппозиции. Диктатор Хименес ее запретил, а Кальдеру отправил в изгнание. Когда же режим Хименеса свергли, Кальдера вернулся в Каракас и выставил свою кандидатуру на пост президента. В то время он не смог противостоять Бетанкуру и потерпел поражение. Теперь же, в 1968 году, КОПЕЙ взяла реванш у партии Демократического действия. Кальдера собрал 1 076 000 голосов — на 31 071 больше, чем Барриос, ставленник партии Бетанкура.

Большинство, по правде сказать, крошечное: всего лишь 0,94 процента от общего числа избирателей, участвовавших в голосовании, но все же это было большинство и Рафаэль Кальдера вступил в президентский дворец, чтобы принять на себя всю полноту власти. Положение у него было довольно сложное: партия КОПЕЙ не смогла добиться успеха на выборах в конгресс и оказалась там в меньшинстве. В этих условиях Кальдера пошел на соглашение со своими политическими противниками — в 1970 году КОПЕЙ договорилась о сотрудничестве с партией Демократического действия, которая, естественно, отнюдь не была заинтересована в перемене политики. Кальдера все же попытался проложить новый курс. Он освободил политических заключенных, призвал внепарламентскую оппозицию вести борьбу открыто, в рамках конституции. Партизанская борьба прекратилась, демократические организации начали действовать легально.

На первой же своей пресс-конференции 12 декабря 1968 года новый президент заявил: «Венесуэла должна установить отношения со всеми странами мира, и я считаю необходимым установить их, в частности, с социалистическими странами». Одновременно он сказал, что желает возвращения Кубы в содружество латиноамериканских стран. Отвечая на вопрос об отношении к Коммунистической партии Венесуэлы, Кальдера сказал: «Я считаю желательным включение компартии Венесуэлы в легальную жизнь страны; я отнесся бы с симпатией к легализации компартии Венесуэлы».

Прошло несколько месяцев, и новое венесуэльское правительство провозгласило свое намерение если не прекратить, то хотя бы ограничить бесцеремонную деятельность иностранных монополий, грабящих природные богатства страны. Президент внес в конгресс несколько законопроектов, принятие которых позволило бы существенно ограничить эту деятельность. Сейчас вокруг этих законопроектов разворачивается острая политическая борьба. Левые силы поддерживают их, хотя и считают недостаточными. Правые встают на дыбы. Как сложится обстановка дальше, будет видно...

— Ну, вам пора хоть немного отдохнуть,— сказал, улыбнувшись, Гарсиа Понсо.— Скоро уже Каракас, а у вас сегодня много работы. И много новых впечатлений...

В иллюминаторе синело небо, усыпанное крупными, с лесной орех, лучистыми звездами. На востоке уже пробивалась багровая полоска. Кинофильм давно кончился, я даже не заметил, как стюард свернул экран. Почти все пассажиры давно дремали, и только наша группа никак не могла утомиться.

ЗДРАВСТВУЙ, КАРАКАС!

Пять часов сорок минут утра по местному времени. Розово-фиолетовое утро. Самолет круто разворачивается над мохнатыми зелеными горами, которые вплотную придвинулись к золотистому пляжу, и ныряет к узкой бетонной полосе аэродрома. И вот уже идут встречающие — здесь депутаты парламента и сената от правящей партии КОПЕЙ, от коммунистической партии и ряда других. Тут же мы попадаем в крепкие объятия дружных работников нашего посольства. Штат посольства крохотный, и живут дипломаты как одна семья.

Меня и Викентия Матвеева забирает в свою машину первый секретарь посольства Рудольф Петрович Шляпников. мы познакомились с ним восемь лет тому назад на Кубе. Уже тогда он отлично знал Латинскую Америку, а сейчас и подавно чувствует себя здесь как рыба в воде. Машину свою он ведет стремительно, словно настоящий латиноамериканец, врываясь в малейшую щель, как только она обнаружится в сплошном автомобильном потоке, уже заливающим, несмотря на ранний час, автостраду, взбирающуюся все выше и выше,— ведь мы сели у самой кромки океана, а Каракас находится на высоте 6 925 футов.

Пока мы карабкались все выше и выше, расталкивая рычащую, вопящую, плюющуюся удушливыми отработанными газами толпу разнокалиберных автомобилей, Рудольф успел не только расспросить нас о Москве, но и начинить нас множеством разнообразных сведений о Каракасе. Мы узнали, что столицу Венесуэлы называют Городом Вечной Весны, так как климат здесь значительно лучше, чем в низинах, что Каракас богат парками; что он изобилует монументами и величественными зданиями, возведенными в те годы, когда здесь властвовал диктатор Хименес,— он очень заботился о внешнем престиже своей столицы, но в то же время здесь, как нигде, пожалуй, обширны районы страшных трущоб; что заработная плата здесь и в самом деле выше, чем во многих латиноамериканских странах, однако и цены необычайно высоки, выше, чем в Вашингтоне; что в Каракасе живет примерно одна пятая часть населения всей страны — за последние тридцать лет население столицы на протяжении каждого десятилетия удваивается; что люди, бросая насиженные места, устремляются сюда в надежде на заработок, но чаще всего их ждет разочарование: безработица в Каракасе очень велика.

У работников нашего посольства уйма забот. Они едва-едва успели обосноваться здесь, а работы, что называется, выше головы. Надо устанавливать связи, знакомиться со страной, развивать межгосударственные отношения, отвечать на бесчисленные воп-

росы посетителей, которые ждут в посольстве с утра до вечера. Интерес к Советскому Союзу очень велик: о нашей стране здесь пока еще знают очень мало. На протяжении долгих десятилетий враждебная нам пропаганда полностью дезинформировала венесуэльцев, и теперь приходится терпеливо разъяснять самые элементарные вещи. Люди поняли, что их долго обманывали, и теперь им не терпится узнать правду о советском народе...

Мы уже въезжаем в Каракас. Нам открывается поистине поразительное зрелище: ультрасовременный город американского типа с широкими улицами-автострадами, которые то ныряют в туннели, то громоздятся одна над другой виадуками в два и три этажа, со сверкающими мрамором, пластиком и алюминием небоскребами, с тенистыми парками и скверами, где пышно цветут необычайно яркие цветы, и вокруг всего этого, на крутых склонах гор, окружающих Город Вечной Весны,—многоярусные, обширнейшие мрачные кварталы самых страшных лачуг, какие я только видел на своем веку.

Это что-то поистине невероятное и ни с чем не сравнимое по силе контраста. Я бы сказал так: Каракас — удивительный гибрид калифорнийского Лос-Анджелеса, с которого скопирована система автострад, рассекающих город, и страшных пригородов Карачи или Калькутты, где мне довелось побывать в пятидесятых годах: они потрясли меня как своего рода живые символы предельного обнищания человека и вызванного им отчаяния. Надо побывать в Каракасе, надо увидеть и прочувствовать его контрасты, чтобы понять и оценить те взрывы социальных конфликтов, которые все чаще сотрясают Венесуэлу, как, впрочем, и всю Латинскую Америку, вконец истерзанную и разграбленную североамериканскими монополиями.

Но вот мы и добрались наконец до отеля «Хилтон», возвышающегося в центре Каракаса,—здесь нам предстоит жить. Хилтон, как, вероятно, знает читатель,—имя американского миллионера, стоящего во главе крупнейшей корпорации, построившей отели во многих странах мира. Надо отдать должное американским проектировщикам и строителям — эти отели весьма удобны и комфортабельны. Вот и здесь создано все, что может понадобиться самому требовательному путешественнику. Это целый город, в котором с утра до ночи толпится шумная публика, причем громче всего звучит здесь не испанская речь, как этого можно было бы ожидать в стране, чей язык испанский, а английская с североамериканским акцентом. Оно и понятно: цены здесь рассчитаны почти исключительно на богатых гостей из США...

У входа в отель на высоких флагштоках реют государственные флаги стран, парламенты которых послали своих представителей на весенние заседания Межпарламентского союза в Каракас.

В вестибюле, усевшись у фонтана, прохладные струи которого умеряют тропическую жару, мы беседуем с председателем Союза Шандернагором о предстоящих встречах. Через час начнет заседать исполком Союза, в состав которого входит представитель СССР, им является на этой сессии Ядгар Садыковна Насриддинова. Исполком обсуждает целый ряд вопросов и окончательно утвердит повестку дня, подготовленную заранее. Завтра начнут работать комиссии совета, а затем состоится его пленарные заседания.

Главная цель всех этих встреч — предварительное рассмотрение вопросов, которые будут обсуждаться осенью 1971 года на конференции Межпарламентского союза в Париже, и выработка соответствующих проектов резолюций. Проблем немало, и среди них есть весьма важные,—например, об улучшении отношений между государствами, в особенности в Европе, как гарантии мира; о разоружении; о борьбе против расизма и апартеида; о борьбе с загрязнением природной среды и другие. Предстоит также рассмотрение острых политических проблем сегодняшнего дня, и в первую очередь — о положении на Ближнем Востоке...

Здесь же, в отеле, мы встречаемся с парламентариями многих стран, прибывшими раньше нас. Тут представители Польши, Чехословакии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Монголии. Прилетел в Каракас представитель Народной палаты ГДР Зибер,—Народная палата вновь и вновь ставит вопрос о приеме ГДР в Межпарламентский союз, ее поддерживают не только посланцы социалистических стран, но и многих других, однако большинство до сих пор упрямо отказывается пойти на это, хотя ФРГ состоит членом Союза. Произвол? Да Классовая солидарность буржуазных парламентариев пока

еще оказывается сильнее элементарной логики. До сих пор вне Союза остаются и парламентарии Корейской Народно-Демократической Республики. В рядах Союза нет и депутатов Демократической Республики Вьетнам, а сайгонские марионетки здесь заседают.

Такова, впрочем, картина не только в Межпарламентском союзе, но и во многих других международных организациях...

Тепло прошли наши встречи с представителями арабских стран, Индии, целого ряда африканских стран. Много знакомых по предыдущим сессиям — французов, англичан, итальянцев, голландцев, парламентариев из Скандинавских стран. Как всегда, многочисленны делегации Соединенных Штатов, Японии, ФРГ. Многие расспрашивают нас о только что закончившемся XXIV съезде нашей партии, интересуются его решениями, выражают надежду, что мы в своих выступлениях расскажем о них, — ведь западная пресса освещала съезд так скупо и односторонне...

Пока идет заседание исполкома, куда отправилась Ядгар Садыковна, мы спешим поближе познакомиться с Каракасом. Прежде всего — визит в советское посольство, где нас гостеприимно принимает наш посол Виктор Иванович Лихачев. Небольшая уютная вила в живописном районе Каунтри клуб. Жены дипломатов хлопочут, готовясь к намеченной на вечер встрече с представителями социалистических стран, — сами пекут пироги, готовят обед.

В уютном дворике небольшой сад, выразительно напоминающий о том, что мы находимся в двух шагах от экватора: вокруг нас свисают с деревьев плоды авокадо и манго, гроздья бананов, лимоны, апельсины. Буйно цветут розы и амариллисы. С куста на куст перелетают, словно заурядные воробьи, цветастые колибри и попугаи. Высоко вздымается, расправив свою горделивую перистую корону, королевская пальма. В бассейне с голубым дном плещется наша советская детвора — сейчас только десять часов утра, но воздух уже раскален. И это Город Весны? Воображаю, какая адская жара царит в районах, расположенных пониже, в частности на нефтяных промыслах...

Посол прилетел в Каракас всего несколько недель тому назад, но уже успел войти в курс жизни страны и с неподдельным увлечением рассказывает о ней.

— Это страна с огромным будущим, — говорит он. — Ее богатства неисчислимы. Вы помните потрясшие мир в прошлом веке легенды о богатствах Эльдорадо? Так вот, Эльдорадо находится здесь, в Венесуэле. Марганец. Алмазы. Асбест. Никель. Уголь. Ртуть. Фосфаты. А какие здесь лесные богатства! А что может дать правильно организованное рыболовство! Ведь в Карибском море есть все, от тунца до сардин, от креветок до омаров. Сельское хозяйство, наконец, — земля здесь сказочно плодородна, воды в реках хоть отбавляй. Один лишь бассейн Ориноко охватывает девятьсот сорок восемь тысяч квадратных километров. Эту гигантскую реку называют Мать Венесуэлы. Организуй орошение — и поистине баснословные урожаи в твоих руках. А растет здесь буквально все — маис и рис, пшеница и картофель, бананы и какао, кофе и сахарный тростник...

Американские монополии грабили и грабят Венесуэлу, как и любую другую страну Латинской Америки: жадно, хищнически, гонясь за сверхприбылями. Но всему на свете приходит конец. Сейчас венесуэльцы начинают наводить порядок. О, до порядка, конечно, еще далеко, но кое-что уже сделано — нефтяным корпорациям малость прижали хвост. Их заставили платить за те богатства, которые они вывозят из Венесуэлы, значительно больше, чем они платили раньше. Государство намерено постепенно поставить добычу природных богатств под свой контроль.

Кое-кто уже сейчас называет Венесуэлу латиноамериканской Японией. Это, конечно, преувеличение, продиктованное тем обманчивым представлением, какое создается, когда ты прилетаешь сюда и сразу видишь Каракас с его сотнями тысяч автомобилей, автострадами и небоскребами. Венесуэла — это не Каракас. Но в перспективе она явится действительно промышленно развитой страной. Ведь уже сейчас доля промышленности в валовом внутреннем продукте составляет 40 процентов — это первое место в Латинской Америке, причем лица наемного труда составляют более 60 процентов населения.

Но вот в чем трудность: иностранные монополии, долго и безнаказанно хозяйничавшие в этой стране, использовали ее исключительно как неисчерпаемый ре-

зервуар богатейшего сырья. Все остальное — от сигарет до тракторов — ввозилось сюда из-за границы, главным образом из США. Так возник опаснейший разрыв: с одной стороны, Венесуэла, если судить по доле ее промышленности в валовом внутреннем продукте, — на первом месте в Латинской Америке, а с другой стороны, если судить по доле обрабатывающей промышленности в совокупном продукте ее промышленности и сельского хозяйства, она — на самом последнем месте на этом континенте: эта доля в Венесуэле составляет всего 15 процентов, а в Аргентине, например, 62, в Мексике — 61, в Уругвае — 55 и даже в Сальвадоре — 38, в несчастном Парагвае — 33!

Вот какие парадоксы порождает хозяйничание североамериканских монополий.

Эти монополии крайне ревниво относятся к развитию экономических связей Венесуэлы с европейскими странами, и прежде всего с СССР.

— Ну что ж, — заметил посол, — такое положение долго продолжаться не может. Оно противостоит естественному. Сама жизнь обеспечит иное развитие событий. Вот увидите, скоро сюда пойдут и советские корабли...

В июне 1968 года в Советский Союз приезжала торговая делегация Венесуэлы. Завязался деловой диалог. Венесуэльцы сообщили, что они могли бы продавать нам нефтепродукты, рис, табак, сизаль, кофе, какао, тропические фрукты, соки, морские продукты. Дальше этого общего обмена информацией дело тогда не пошло. Но в августе 1971 года, когда я работал над этими заметками, из Каракаса пришло сообщение: «Первая партия грузов для Венесуэлы доставлена в порт Ла-Гуайра советским теплоходом «Академик Шухов». С прибытием этого теплохода открылось регулярное морское сообщение между СССР и странами Латинской Америки».

Стало быть, дело движется, и наш посол в Каракасе был совершенно прав, говоря нам, что сама жизнь обеспечит то конструктивное развитие отношений Венесуэлы со всеми странами без исключения — в том числе и с социалистическими странами, — о необходимости которого говорил Рафаэль Кальдера, вступая на пост президента республики.

Начинают развиваться и культурные связи — уже в 1966 году до Каракаса добралась балетная труппа Малого Ленинградского театра оперы и балета. На следующий год здесь выступал ансамбль «Березка»; в 1968 году в Венесуэле побывали балет Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и грузинский ансамбль танца. За ними отправились сюда молодой ансамбль танца «Жок», симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Кондрашина, ансамбль «Молодой балет», советский цирк. Любители музыки слушали в Каракасе концерты скрипача Л. Когана, виолончелиста Д. Шафрана, пианиста Е. Малинина. В Советском Союзе с большим успехом выступали венесуэльские артисты.

В феврале 1968 года в Каракасе был создан Центр друзей науки и культуры СССР, ставший своей целью укрепление дружбы и культурного сотрудничества с Советским Союзом. На днях этот Центр будет принимать нас, и тогда мы подробно познакомимся с его деятельностью.

Гостеприимные товарищи из посольства успели, хотя и бегло, показать нам наиболее интересные районы этого огромного города. При всех своих контрастах он производил большое впечатление своими мощными транспортными магистралями, дворцами и небоскребами, парками и обширными районами новой, современной застройки. Невольно думалось: вот на что способны трудолюбивые венесуэльские рабочие, инженеры и архитекторы — ведь они создали все это. Какие же огромные возможности откроются перед страной, когда они станут ее полноправными хозяевами!

ДА, ВЕНЕСУЭЛЬЦЫ ХОТЯТ СТАТЬ ХОЗЯЕВАМИ В СВОЕМ ДОМЕ

Весенние заседания Межпарламентского союза открываются в здании конгресса Венесуэлы. Мы отправляемся туда вместе с парламентариями других стран автобусами. Как это бывает часто в таких случаях, организаторы не учли кое-каких местных особенностей. Наши огромные неповоротливые автобусы застревают в узких улочках, при-

легающих к дворцу конгресса,— им трудно пробиться сквозь скопище автомашин, задержанных здесь в связи с тем, что открывать нашу сессию будет сам президент и у дворца уже выстроен почетный военный караул. Автобусы жалобно трубят, словно слоны, застрявшие в джунглях, но им не двинуться ни взад, ни вперед. Наконец солдаты кое-как расчищают нам путь, и мы подкатываем к величественному белому зданию с коринфскими колоннами, поддерживающими большой позолоченный купол, над которым развевается венесуэльский красно-сине-желтый флаг.

Внутренний дворик Капитолия, посреди которого весело журчат струи фонтана, окруженного огромными пальмами с прижившимися на них яркими орхидеями, заполнен выстроившимися шеренгами солдат в нарядных мундирах — президент вот-вот подъедет. Мы спешим в зал заседаний, он невелик и — увы! — весь уже заполнен гостями, собравшимися сюда, чтобы стать свидетелями редкого события. Что делать? Идти на балкон? Выручает энергичный смуглолицый венесуэлец, ухвативший меня за руку:

— Коллега! Что за встреча! Помнишь Париж, сорок девятый год, зал Плейель? Мы же вместе были тогда на открытии первого конгресса сторонников мира! Я Мухика, сенатор Мухика, сенатор и политический обозреватель коммунистической газеты «Трибуна популар».

Мой энергичный коллега где-то раздобывает два стула, и мы усаживаемся рядом в проходе. Перед нами на возвышении трибуна президиума. Она в полукруглой нише. Над трибуной, словно радуга, три полосы полукругом — все те же цвета национально-го флага и семь звезд. Мухика успевает пояснить:

— Желтый цвет — это земля, синий — море, красный — кровь патриотов, пролитая в боях за независимость. А семь звезд — это семь штатов, образующих нашу федеративную республику...

Но в зале уже звучат аплодисменты: входит улыбающийся президент Союза, французский парламентарий Шандернагор, а за ним президент Венесуэлы Рафаэль Кальдера, черноволосый солидный человек, за которым следует его свита. Выступает представляющий венесуэльский конгресс Хосе Антонио Перес Диас, он приветствует коллег, собравшихся со всех концов земли, затем Шандернагор, он благодарит за гостеприимство, и, наконец, слово предоставляется президенту республики.

Рафаэль Кальдера так же, как и те, кто выступал до него, мог бы ограничиться чисто протокольными любезными фразами. Но он не хочет упустить возможность высказаться по существу тех проблем, которые волнуют многих участников нашей встречи, как и самих венесуэльцев,— это проблемы освобождения развивающихся стран от экономического гнета иностранных монополий. Он говорит о большой ответственности парламентариев за судьбы своих народов. С неподдельной тревогой подчеркивает, что разрыв в экономическом развитии высокоиндустриальных держав — слушатели прекрасно понимают, кого именно имеет в виду президент,— и стран, обреченных на роль поставщиков сырья, не только не уменьшается, но, напротив, возрастает: цены на машинное оборудование растут, цены на сырье падают.

Затем Рафаэль Кальдера с понятным удовлетворением говорит о том, что буквально несколько дней тому назад Венесуэла вместе с другими странами, объединившимися в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), сумела вырвать у иностранных нефтяных монополий, эксплуатирующих ее недра, существенные уступки — им придется значительно повысить отчисления от своих прибылей Венесуэле...

Слушая речь президента, я вспомнил, что уже в январе 1971 года он, выступая по радио, заявил о намерении правительства «проводить решительную политику в вопросах защиты природных богатств». Политика Венесуэлы, сказал он тогда, строится на принципах национализма. И несколько дней спустя Кальдера разъяснил на пресс-конференции, что он под этим понимает.

— Мы,— сказал президент,— ведем себя как националисты, когда пользуемся суверенными правами в отношении нашей нефти; когда заявляем, что оставляем за венесуэльским государством право распоряжаться важным ресурсом экономики, каким должна стать добыча природного газа; когда стремимся создать флот, который гарантировал бы лучшие условия транспортировки наших полезных ископаемых; когда

желаем улучшить условия жизни нашего народа и стремимся выполнить программу развития...

Президент, таким образом, весьма осторожно выбирал слова, когда формулировал свою экономическую политику; в этом заявлении нет и намека на какие-либо намерения изменить социальную структуру общества, сделать более справедливым распределение общественного богатства, ограничить привилегии имущих классов. Однако и того, что сказал Кальдера, было более чем достаточно, чтобы вызвать глубокую тревогу у хозяев иностранных монополий — прежде всего североамериканских, — привыкших хозяйничать в Венесуэле, как у себя дома.

Я сохранил курьезный документ — рекламное объявление, напечатанное в «Нью-Йорк таймс» 4 октября 1970 года, полюбуйте-ка, я приведу здесь это объявление целиком:

«Скомбинируйте вашу поездку в Венесуэлу на отдых с устройством своих дел!

В Венесуэле больше американских капиталовложений, чем в любой другой стране Южной Америки.

В Венесуэле — наивысшая фискальная и валютная стабильность в этом районе.

В Венесуэле — к вашим услугам (американские) отели Шератон, Интерконтиненталь, Мэрриот, Хилтон, Холидей инн, Мелис.

В Венесуэле уже обосновались Крайслер, Кольгет-Пальмолив, Дюпон, Файрстоун, Ферст Нейшнл Сити бэнк, Форд мотор компани, Джeneral электрик, Джeneral Тайрс, Гуд'ир, Ай-Би-Эм, Интернэшнл Бэйсик экономи корпорейшн, Проктер энд Гэмбл, Сирс, Юнион карбид, Вестингауз, Джeneral моторс и многие другие...»

Каково? Да, все упомянутые в этом экстравагантном объявлении корпорации, а вместе с ними и многие другие, хозяева коих не пожелали напомнить о своем присутствии, хотя на их долю приходится львиная часть прибылей, выкачиваемых из Венесуэлы, — все они до сих пор живут и здравствуют на венесуэльской земле. Гости из Нью-Йорка, Техаса, Калифорнии весьма охотно «комбинируют свои поездки в Венесуэлу с устройством своих дел», как их призывали к этому авторы объявления в «Нью-Йорк таймс».

Однако намерения, провозглашенные новым президентом Венесуэлы, не на шутку беспокоят этих господ. И особенно его намерения в отношении нефти, газа и железной руды. Я уже упоминал, что нефть является главным природным богатством Венесуэлы — она дает 65 процентов всех поступлений в государственную казну. Но этот доход был бы много выше, если бы удалось обуздать аппетиты иностранных корпораций, в чьем ведении находятся нефтяные концессии, срок которых истекает лишь в 1983 году. С тех пор, как эти корпорации начали здесь хозяйничать, они получили от эксплуатации венесуэльских нефтяных богатств прибыль в размере 10 миллиардов долларов — в два с лишним раза больше, чем вложили в разведку и добычу нефти! Два доллара на доллар — это ли не раздолье для капиталиста-грабителя?

Правительство Венесуэлы ясно дало понять иностранным монополиям, что оно не намерено в 1983 году возобновлять предоставление им концессий на добычу нефти и попытается само организовать эксплуатацию своих природных богатств. Уже в 1960 году оно создало свою, пусть еще небольшую и слабенькую, государственную нефтяную корпорацию. Правда, пока что эта корпорация выступает преимущественно как посредник правительства в его отношениях с иностранными концессионерами: ее собственная добыча нефти ничтожна.

В один из этих дней я увидел на экране телевизора в номере гостиницы пресс-конференцию, которую проводил президент венесуэльской нефтяной корпорации инженер Морис Велери. Он сообщил, что в 1965 году корпорация добывала по 3153 барреля¹ нефти в день, в 1970-м — по 49 000, а в 1971 году рассчитывает получать по 100 000. Рост налицо? Да. Но иностранные концерны в этом году добывают в Венесуэле по 3 500 000 баррелей нефти в день. Ровно в 35 раз больше!

¹ Баррель равен 159 килограммам.

И все-таки существование этой крохотной государственной компании злит и нервирует мощных концессионеров. Они опасаются, что в будущем правительство Венесуэлы пожелает взять в свои руки добычу нефти в стране. Сбудутся ли эти опасения, сейчас, конечно, гадать трудно. Но и те, пусть частичные и недостаточные, меры, которые Венесуэла предприняла, чтобы хотя бы в какой-то мере ограничить расхищение своих природных богатств, немаловажны.

Правительство Венесуэлы проявило необходимый характер и настойчивость в ходе памятных всем нефтепромышленникам переговоров, которые проходили в рамках ставшей знаменитой Организации стран — экспортеров нефти, в рядах которой объединились государства — владельцы нефтяных залежей, эксплуатируемых иностранными монополиями.

Сплоченность этих стран, их взаимная поддержка перед лицом международного нефтяного картеля позволили им добиться существенных успехов — иностранные монополии были вынуждены поступиться частью своих барышей. В этих условиях правительство Венесуэлы смогло поставить перед собой такие немаловажные цели: увеличить свою долю в прибылях нефтяных концернов с 52 до 60 процентов; установить новые, более справедливые, цены на нефть; национализировать месторождения природного газа, находящиеся пока что в распоряжении иностранных монополий; установить государственный контроль над добычей и экспортом газа.

В соответствии с решением, принятым Организацией стран — экспортеров нефти в результате совещаний, проходивших в Каракасе и Тегеране, Венесуэла теперь будет брать с нефтяных компаний, вывозящих ее нефть, по 2,57 доллара за баррель — на 60 центов больше, чем раньше.

Комментируя эту меру правительства, президент Кальдера сказал: «Важно не увеличивать до бесконечности производство нефти, а добиваться разумных и справедливых цен». Таким образом, Венесуэла предполагает в ближайшие три года получить от продажи своей нефти дополнительно 1,3 миллиарда долларов.

Много это или мало, и справедливо ли такое решение? Отвечая на этот вопрос, министр нефтяной и горнорудной промышленности Перес де Сальвиа пояснил: «Установлением новой структуры цен мы возмещаем убыток, причиненный стране (хозяйничанием иностранных монополий) за последние десять лет».

Да, кое-что начинает меняться — и существенно меняется! — в Южной Америке. Народы, населяющие этот обширный континент, который еще недавно слыл вотчиной американских монополий, не хотят больше терпеть их хозяйничания, и давление снизу становится столь значительным, что даже буржуазные правящие круги латиноамериканских стран, которые десятилетиями мирились со своим неравноправным положением, сейчас все чаще позволяют себе повышать голос в диалоге с Вашингтоном.

— Ты понимаешь, — шепнул мне на ухо сенатор Мухика, когда президент, выступая перед участниками Межпарламентского союза, вдруг затронул острый и злободневный вопрос о нефти, — ты понимаешь, конечно, что мы, коммунисты, отнюдь не удовлетворены политикой правительства Кальдеры в целом, мы боремся против многих аспектов этой политики, и прежде всего в социальной области. Но что касается того, о чем он сейчас говорит, то тут — общее национальное единство. Ты не встретишь ни одного венесуэльца, который не выступал бы против грабежа наших богатств этими жадными янки...

Сейчас, когда я привожу в порядок свои венесуэльские записи, передо мной особенно явственно встает это жаркое утро в переполненном зале заседаний конгресса. Я отчетливо вновь вижу просветленные лица многих депутатов от стран, находящихся в таком же положении, как и Венесуэла, — их тоже грабят иностранные монополии. Вот одобрительно кивает один из старейших участников нашего Союза — седовласый иранский сенатор Дафтари. Вот что-то сосредоточенно записывают парламентарии арабских стран. Вот широко улыбается нигериец. И гут же рядом — хмурые, недовольные американские сенаторы, английские и голландские парламентарии. Вопрос о будущем порядке эксплуатации природных богатств земли глубоко волнует всех, причем симпатии и антипатии к тому, о чем говорит президент Венесуэлы, необычайно ярко выражены — тут проходит водораздел, который в будущем будет играть еще более важную роль.

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

Весенние заседания совета Межпарламентского союза шли своим чередом. Мне не хотелось бы в этих записках подробно говорить о них, — ведь это, в сущности, рассказ о путешествии в Венесуэлу, а наши заседания имеют к Венесуэле лишь отдаленное отношение: где бы они ни происходили — в Австралии или в Иране, в Индии или Голландии, — встречи эти развиваются в строгом соответствии со своим собственным, раз навсегда установленным регламентом и повесткой дня.

Мы видимся со своими коллегами два-три раза в день на пленарных встречах, либо на заседаниях комиссий, или в тесных комнатках редакционных комитетов. Идет обсуждение назревших международных проблем и вопросов практики парламентской деятельности. Вспыхивают неизбежные в таких случаях споры, острота которых усиливается тем, что в Межпарламентском союзе представлены различные политические и социальные системы. В то же время вновь и вновь предпринимается трудный, но очень важный поиск решений, формулировок и даже словесных оборотов, которые могли бы оказаться приемлемыми для всех участников Союза, как бы ни были остры разногласия между ними.

Кое-кто — из тех, что ничего не забыли и ничему не научились, — время от времени предпринимает попытки возродить атмосферу печально памятного периода «холодной войны». Представители социалистических государств и целого ряда развивающихся стран, действующие все чаще солидарно, дают решительный отпор такого рода вылазкам ревнителей антикоммунизма...

Все это хорошо знакомо читателям, в памяти у которых многие и многие газетные отчеты о международных встречах такого рода, и вряд ли было бы целесообразно сейчас воспроизводить в деталях подробности наших заседаний в Каракасе, тем более что о них в свое время обстоятельно рассказала в газете «Известия» руководитель нашей делегации Ядгар Садыковна Насриддинова.

Хочется сказать только об одной новой черте, которая весьма значительно дала о себе знать на наших межпарламентских встречах в Каракасе: это проявившееся у подавляющего большинства делегаций стремление избежать на сей раз словесного фехтования и в конструктивном духе обсудить вопросы, стоящие на повестке дня. Не ошибусь, если скажу, что это новое стремление проявилось в значительной мере под влиянием той программы мира, которая была одобрена XXIV съездом нашей партии.

Напомню еще раз, что мы прибыли в Каракас буквально на следующий день по окончании съезда, когда весь мир обсуждал те широкие перспективы мирного развития, которые могут открыться перед человечеством, если эта программа будет осуществлена. В этой связи и парламентарии, съехавшиеся в Каракас, и венесуэльская общественность, и местная печать, радио, телевидение проявляли особый интерес к депутатам Верховного Совета СССР, и прежде всего, конечно, к Я. С. Насриддиновой, — всех поражало, что во главе Совета Национальностей Верховного Совета Советского Союза стоит женщина, к тому же представляющая далекую Среднюю Азию, где всего лишь несколько десятилетий назад женщины носили паранджу.

Ядгар Садыковне приходилось даваť по несколько интервью в день, журналисты буквально преследовали ее по пятам. Фотографии руководителя советской делегации заполнили все газеты. Первое же выступление товарища Насриддиновой, встреченное с огромным вниманием, подробно изложили в прессе и передали по радио. После этого всякий раз, когда она брала слово, в зале, обычно довольно шумном, воцарялась тишина и все внимательно слушали советского «спикера» — так, на западный лад, прозвали в Каракасе председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР.

Помнится, однажды, когда товарищ Насриддинова в остром выступлении не оставила камня на камне от доводов своего оппонента, голландский парламентарий поднялся со своего места, подошел к главе советской делегации и под общие аплодисменты вручил ей розу. Впрочем, это нисколько не помешало тому же голландскому депутату несколько раз выступать на заседаниях с самых реакционных позиций.

И все же, повторяю, общий дух, общая направленность наших встреч носили на этот раз более деловой, более конструктивный характер, чем бывало не раз на заседа-

ниях Межпарламентского союза. Депутаты Верховного Совета СССР в своих речах рассказывали об основных положениях советской Программы мира, вносили деловые предложения. Представители других социалистических государств, парламентарии Индии, арабских стран, ряда стран Африки и Латинской Америки активно поддерживали многие из советских предложений.

В этой обстановке и представители западных держав сочли необходимым занять более конструктивные позиции, чем обычно. Вспоминается, как в первый день своей работы политическая комиссия обсуждала вопрос, который назывался так: «Об улучшении отношений между государствами, в особенности в Европе, как гарантии мира». Я. С. Насриддинова, поднявшись на трибуну, рассказала о внешнеполитических решениях XXIV съезда нашей партии и обстоятельно обосновала внесенный советской делегацией проект резолюции. Этот проект поддержали представители социалистических стран, со многими его положениями согласились парламентарии ряда стран Западной Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Контрастом прозвучали лишь речи представителей парламентов Англии, Голландии и Австралии, которые, словно по инерции, повторили старые, избитые антисоветские рассуждения. Все ждали, что скажет американская делегация. Слово взял сенатор Хью Скотт, лидер республиканцев в сенате. «Мы предлагаем,— сказал он,— принять советский проект за основу. Наша делегация внесет ряд поправок к этому документу». Я взглянул на англичан, потом на австралийцев и голландцев — они сидели сумрачные, какие-то нахохлившись...

В дальнейшем, работая в редакционном подкомитете и на пленарном заседании, мы вместе с парламентариями других стран довольно быстро согласовали окончательный текст проекта резолюции, и он был представлен уже от имени совета на рассмотрение очередной конференции Межпарламентского союза, которая состоялась в сентябре 1971 года в Париже, и был принят. Один из важных разделов этого окончательного текста — пункт о поддержке Европейского совещания.

Остро проходило обсуждение назревших политических проблем: Вьетнам, Ближний Восток, вопросы борьбы против колониализма и расизма, как всегда, находились в центре внимания парламентариев. Тут, понятно, единства не было — как обычно, позиции парламентариев социалистических и развивающихся стран, с одной стороны, и парламентариев капиталистических стран, с другой, резко сталкивались. Компромиссов в таких принципиальных спорах быть не может. Но и в этих дебатах проскальзывало что-то новое: парламентарии западных держав все чаще предпочитали уходить от полемики, чувствуя возросшую шаткость защищаемых ими позиций.

Любопытная и весьма характерная деталь: не нашлось ни одной — да, буквально ни одной! — делегации, которая поддержала бы Израиль, чье упорное нежелание освободить захваченные им арабские территории вызвало самую острую критику со стороны парламентариев многих стран. Пленарное заседание совета Межпарламентского союза, на котором обсуждалось положение на Ближнем Востоке, временами напоминало сессию судебного трибунала — так остро и сильно звучали гневные, отлично обоснованные и документированные речи представителей арабских стран, явившихся жертвами израильской агрессии, парламентариев социалистических государств и многих других.

Представители Израиля беспокойно ерзали на своих местах, тщетно бросая молящие взоры в сторону делегаций западных стран, но те угрюмо молчали. Даже парламентарии Соединенных Штатов, оказывающих постоянную поддержку израильским агрессорам, не проронили ни слова. Только тогда, когда дело дошло до голосования предложенной парламентариями Венесуэлы резолюции, требующей выполнения решения Совета Безопасности об освобождении территорий, захваченных Израилем, представитель американской делегации коротко заявил, что парламентарии США воздержатся при голосовании одного из пунктов этой резолюции, но в целом и они ее поддерживали.

— Конечно, все это ново,— сказал мне мой старый венесуэльский друг сенатор Мухика.— И ты знаешь, почему все это происходит? Парламентарий не может не считаться с общественным мнением. Если он будет пренебрегать им, его провалят на очередных выборах. А общественное мнение сейчас увлечено программой мира, с которой выступил ваш съезд. Вот почему сейчас эти господа в таком затруднительном поло-

жении. Я, конечно, далек от иллюзий и не хочу переоценивать того, что мы с тобой наблюдаем. Пройдет некоторое время, и охваченные сейчас шоком антикоммунисты возьмутся за старое, я в этом уверен. И все-таки ваша программа мира обладает такой дальнбойной силой, что ее влияние будет сказываться и тогда...

Да, можно без преувеличения сказать, что весенние заседания совета Межпарламентского союза проходили под знаком важнейших идей, сформулированных в советской Программе мира. Но еще интересней нам было наблюдать в эти дни реакцию постоянно окружавших нас венесуэльцев, на которых эта программа произвела огромное впечатление. Повсюду — и у здания конгресса, где мы заседали, и в гостинице, и в парках, и на улицах — люди, увидев на лацканах наших пиджаков алые депутатские значки Верховного Совета СССР, окружали нас, и сразу же слышалось:

— Советский Союз!.. Мир, дружба!.. Советский Союз, хорошо! Мир, мир, мир!..

Мы встречались в эти дни со многими видными деятелями Венесуэлы, и всякий раз речь заходила о решениях XXIV съезда нашей партии, о советской Программе мира, о том, как осуществление важнейших положений этой программы отразилось бы на международной обстановке.

В один из вечеров в честь участников весенних заседаний Межпарламентского союза был устроен большой прием. Нас всех привезли в загородный клуб. Гостей принимал президент Рафаэль Кальдера. Он стоял в саду, окруженный деятелями своего правительства. В синем небе блестели яркие тропические звезды. Пряный запах неведомых нам, северянам, ярких цветов слегка кружил голову. Под ногами шуршал гравий.

Когда президенту представили советскую делегацию, он тепло приветствовал нас и сказал Я. С. Насриддиновой, что считает очень важным дальнейшее развитие дружественных отношений СССР и Венесуэлы. Рафаэль Кальдера тут же добавил, что он внимательно следил за работой XXIV съезда нашей партии и что предложенная товарищем Л. И. Брежневым внешнеполитическая программа его глубоко заинтересовала.

— Я верю, — сказал президент, — что мы можем и должны обеспечить международное сотрудничество, в этом заинтересованы все народы...

А день спустя состоялся еще один прием — куда более скромный по обстановке, но поистине волнующий, — в небольшом домике собрались для встречи с советскими парламентариями члены Центра друзей науки и культуры СССР. Его президент — известный ученый и общественный деятель, юрист Антонио Гутьеррес, а генеральный секретарь — видный историк Федерико Брито Фигероа.

Мы долго блуждали по переулкам незнакомого города, пока добрались до этого домика. Когда же наконец пришли туда, он был уже битком набит, и мы сразу же попали в штурм — иного слова и не подберешь, чтобы описать, что тут начало твориться: нас обнимали, целовали, тащили за руки то вправо, то влево, каждому хотелось встать поближе к гостям из такой далекой отсюда Москвы. Тут были профессора, артисты, рабочие, инженеры, писатели, художники. «Ну, как там Москва?», «Ваш съезд — великое событие!», «Мы все за вашу программу мира!» Кто-то спрашивал о балете Большого театра, кто-то интересовался, видели ли мы живого Гагарина, кто-то допытывался, как поехать учиться в Московский университет, кто-то спрашивал, как выглядит снег — ведь здесь его не бывает.

Нас знакомили со множеством интересных людей, и до боли было обидно, что нет никакой возможности подробно побеседовать с каждым из них — как обогатили бы наше знание Венесуэлы и ее людей эти беседы! Вот к нам подошел и попросил передать привет Араму Хачатуряну Федерико Фигероа. Его имя хорошо знакомо в Советском Союзе — написанная им книга «Венесуэла XX века» переведена на русский язык и быстро разошлась. Вот через толпу к нам протиснулся венесуэлец средних лет. Кто он? Оказывается, перед нами сын знаменитого венесуэльского государственного и общественного деятеля — генерала Хосе Габальдона, члена президиума Всемирного Совета Мира.

— Отец просит передать вам самый сердечный привет и сожаление, что он не смог сюда прийти, — говорит Габальдон-младший. — Годы берут свое — ему уже восемьдесят восемь лет, и он вынужден соблюдать строгий режим. Но он по-прежнему живо интересуется международными делами и внимательно следит за развитием венесуэльско-

советских отношений. Если у вас найдется хотя бы минутка, чтобы провести его,— он будет счастлив...

(Забегая вперед, скажу, что назавтра же Ядгар Садыковна Насриддинова нанесла визит генералу Габальдону и у них состоялась весьма интересная беседа.)

В какую-то минуту я оказался прижатым к невысокому худенькому человеку с усиками, в синем костюме, на лацкане которого блестел серебряный значок, изображавший парашют,— я видел в Париже такие у бывших парашютистов. В голове мелькнуло: неужели оттуда? Человек тепло улыбнулся, когда я обратился к нему по-французски:

— Да-да, месье! Да, я оттуда... Какие ветры занесли меня сюда? О, это долгая история, ее хватило бы на целую книгу, но самое важное сейчас это то, что я жив, здоров и являюсь теперь вашим другом. Мир, мир, мир!..

Нас снова захватила и завертела беспокойная и шумная толпа, но мой собеседник крепко держал меня за руки и кричал мне в ухо:

— Мир, понимаете, мир — это самое главное, месье! Уж поверьте мне, я это знаю лучше всех их.— Он кивнул в сторону своих соседей.

Кое-как мы пробрались сквозь толпу, уселись у кончика какого-то стола, и парижанин, оказавшийся в Каракасе, потребовал, чтобы я дал ему свою записную книжку и карандаш. И тут же аккуратным почерком вывел: «Пьер Рене Леталю, Париж — Сайгон—Дьенбьенфу—Париж—Каракас...»

Как я жалею, что мне не удалось в тот вечер обстоятельно побеседовать с этим неожиданным знакомцем! В записной книжке остались лишь немногие рваные строчки — трудно записывать в толпе,— строчки, напоминающие о том, как сложно складываются подчас человеческие судьбы. Мне и сейчас явственно видится этот невысокий черноволосый француз с горящими глазами и слышатся его слова: «Мир — это самое главное, месье! Я лучше, чем кто-либо другой, это знаю»...

Пьер Рене Леталю успел мне сообщить, что он служил в парашютных войсках, что во Вьетнаме оказался по собственной воле — ведь туда французское правительство посылало только добровольцев, посылать призывников запрещалось законом, ибо Франция — точь-в-точь как сейчас Америка! — сражалась там без объявления войны.

— Молод был, глуп и поехал. А там увидел, что это такое, рад был бы вернуться, но было уже поздно. Навидался всякого — страшного и мерзкого, особенно когда видел служивших в Иностранном легионе эсэсовцев за их проклятой работой. А потом — знаменитая битва у Дьенбьенфу и плен...

Леталю был уверен, что вьетнамцы уничтожат всех, кто тогда был вынужден капитулировать,— ведь парашютисты причинили им столько бед и страданий! А они обошлись с пленными корректно, больше того — заботливо. И вот Леталю оказался жив и невредим, вернулся на родину. Но после того, что он увидел и сделал, стало страшно и стыдно глядеть знакомым людям в глаза. Хотелось забраться на край света, где тебя никто не знает, и начать новую жизнь. И вот — Каракас.

У Леталю теперь — крохотная мастерская. Он ремонтирует телевизоры. Женат. Растут дети. Но часто бывает: проснется среди ночи, вспомнит, что делал во Вьетнаме, и липкий холодный пот заливает глаза... Мой собеседник до боли сжимает мне руку:

— Мир! Понимаешь, мир — это самое главное. Я потому и в этот Центр записался, что не хочу больше того, что было. А вьетнамцы — хорошие люди. Это говорю вам я, который был в Дьенбьенфу...

Но пробившийся наконец к столу энергичный, хотя и пожилой венесуэлец уже яростно трясет колокольчиком, требуя тишины. Добиться тишины не так-то просто — где-то там, в глубине толпы, зажат Мкртич Гегамович Нерсисян, его атакуют вопросами о Ереване венесуэльские армяне; в другом конце комнаты студенты расспрашивают Арно Артуровича Кёерна о научной работе в Эстонии; с трудом прокладывает путь к столу Ядгар Садыковна Насриддинова: облепившие ее со всех сторон женщины хотят узнать, как она стала государственным деятелем.

Наконец председательствующий — это профессор университета, его зовут Родольфо Кинтеро — получает возможность начать говорить. Он экспансивно приветствует

советских гостей, рассказывает, что представляет собой Центр друзей науки и культуры СССР, первым вице-президентом которого он является.

— Наш Центр, как вы знаете, еще очень молод, но кое-что мы уже сделали,— скромно говорит Кинтеро, обращаясь к советским гостям.— Друзей у вас в Венесуэле прибавилось, вы, вероятно, уже почувствовали это... Еще сравнительно недавно быть другом социалистической страны в Венесуэле справедливо считалось опасным — за это можно было угодить в тюрьму. Но многие венесуэльцы даже тогда, не страшась, говорили вслух, что дружба с Советским Союзом нам нужна как воздух. И когда нам было трудно, мы подбодряли себя, произнося замечательные слова Назыма Хикмета: «Если ты не дашь огня, если он не даст огня, если мы не дадим огня, то кто же рассеет тьму?» И мы разжигали огонь и разгоняли тьму. Собирались, чтобы отпраздновать годовщину Октябрьской революции. Требовали восстановления дипломатических отношений с вашей страной. Устраивали выставки, посвященные Советскому Союзу, вечера...

Перелом в отношениях Венесуэлы и СССР наступил в 1970 году, в год столетия В. И. Ленина. С каким огромным подъемом работал в ленинском году Центр наших друзей в Каракасе! В апреле его посланцы отправились в далекую Москву. Они назвали себя «первой группой дружбы». Встречались с деятелями советской Ассоциации дружбы и культурного сотрудничества со странами Латинской Америки, которой с такой энергией руководит композитор Арам Хачатурян. Рассказывали о своей деятельности. Договорились о постоянных контактах.

Одновременно в Каракасе и других городах Центр друзей науки и культуры СССР совместно с Единым центром профсоюзов Венесуэлы, Ассоциацией журналистов и другими организациями провел целую серию торжественных вечеров, заседаний, митингов, посвященных памяти Владимира Ильича Ленина. Прочитали много лекций о ленинизме, о его значении для Латинской Америки, показали немало фотовыставок.

Когда распространилась весть о восстановлении дипломатических отношений Венесуэлы с СССР, наши друзья еще больше воспрянули духом. Они организовали по этому поводу массовое собрание, в котором приняли участие многие видные ученые, писатели, артисты, рабочие — люди самых разнообразных профессий. Связи с Москвой значительно укрепились. В ноябре 1970 года в Каракас прилетела в качестве туристов группа деятелей Союза советских обществ дружбы. Однако, по правде говоря, у них оказалось не так уж много времени для беззаботного туристического времяпрепровождения: наши друзья, что называется, взяли их в плен, и они с утра до вечера рассказывали венесуэльцам о Советской стране.

Начался обмен делегациями. Союз советских обществ дружбы прислал нашим друзьям десятки фотографических выставок, начал снабжать их книгами о Советском Союзе, подарил им несколько киноаппаратов, стал посылать им фильмы. В общем, дело пошло веселее — только за последнее время в Каракасе проведено более 120 разного рода мероприятий, организованных Центром друзей науки и культуры СССР.

Я слушал Родольфо Кинтеро и думал: наверное, и нынешняя наша встреча в какой-то мере поможет укрепить связи между Каракасом и Москвой. С каким неподдельным, живым интересом слушают ее участники наши рассказы о Советском Союзе, о Москве, о XXIV съезде нашей партии, о его решениях! Какой душевной теплотой проникнуты речи венесуэльцев! Ни у кого в руках нет никаких бумажек, все говорят от сердца, нет никакого регламента и никакой повестки дня. Этот задушевный разговор друзей длится невероятно долго, пока организаторы вечера не спохватываются:

— Друзья. Но ведь завтра рано утром наши советские гости должны продолжать свою работу. Надо же им дать хоть немножко перевести дух!

Участники собрания нехотя поднимаются со своих мест. Раздаются аплодисменты, крики:

- Да здравствует Советский Союз!
- Приезжайте еще!
- До новой встречи в Каракасе!
- До встречи в Москве! — отвечаем мы.

Наш автомобиль, за рулем которого сидит все тот же неутомимый Рудольф Шляпников, с трудом выбирается из толпы провожающих...

И еще одна встреча запомнилась надолго.

В один из вечеров губернатор Каракаса устроил для участников заседаний Межпарламентского союза в саду загородного клуба концерт венесуэльского хореографического ансамбля. Темпераментные артисты увлеченно пели и танцевали на эстраде, вокруг которой за столиками сидели гости. Среди приглашенных были и видные политические деятели Венесуэлы. Рядом с нами оказались уже знакомый читателю сенатор Мухика и два подошедших позднее похожих друг на друга человека — один уже совсем белоголовый, другой с шевелюрой, о которой французы говорят — «соль с перцем».

— Ну как вам понравилась наша Морена? — спросил вдруг белоголовый.

— Она поистине великолепна, — ответила Ядгар Садыковна. — Игорь Моисеев был бы счастлив иметь такую танцовщицу в своем ансамбле. Ваши артисты высокоталантливый...

— Да, — задумчиво продолжал наш сосед, — народ Венесуэлы, как и все народы Латинской Америки, богат талантами. Беда только, что людям негде учиться. Только редкие одиночки выбиваются в люди, а сколько талантов увядает, так и не успев расцвести. На своем веку я видел и пережил многое, но самое горькое — это ощущение того, как вянут люди, которые в других условиях — как у вас — смогли бы творить чудеса...

Тут спохватился Мухика:

— Да что же это я, товарищи, до сих пор вас не познакомил! Ну и ну! Товарищ Густаво Мачадо, председатель нашей партии (белоголовый слегка наклонил голову), и товарищ Эдуардо Мачадо, член политбюро, депутат парламента. (Теперь кивнул тот, что «соль с перцем».)

Братья Мачадо! Конечно же, мы отлично знали этих выдающихся деятелей революционного движения Латинской Америки. Знали по книгам, газетам, знали по рассказам тех, кому довелось работать с ними в подполье, в тюремных камерах, тайно переходить многие границы, вести долгий неравный бой с силами реакции... И вдруг они — рядом с нами в роли зрителей на концерте, устроенном губернатором для знатных гостей...

Видимо, Густаво Мачадо понял по выражению наших лиц, как поразила нас неожиданность этой ситуации.

— Да, — сказал он, — кое-что начинает меняться и, кажется, существенно меняется и в Латинской Америке. Когда полвека назад мы начинали наше дело, было трудновато себе представить, каким будет развитие событий. Многое из того, что казалось легкодостижимым, так и осталось за горизонтом, зато открылись другие возможности, о которых мы не подозревали. В общем, Эдуардо, она все-таки вертится, наша планета, а?..

— Вертится, вертится, — засмеялся Эдуардо.

И тут я вспомнил, что уже видел этого человека, он как депутат парламента встречал нас на аэродроме вместе с председателем сената Диасом, депутатом парламента от правящей партии КОПЕЙ Леонор Морилло и другими деятелями. Коммунистическая партия Венесуэлы выступает сейчас на общественной сцене как всеми признанная политическая сила. А давно ли оба брата Мачадо вместе с генеральным секретарем ЦК партии Хесусом Фариа томились в каменных мешках тюрьмы — крепости Сан-Карлос и мировая общественность вела борьбу за их освобождение? Какими-нибудь три года тому назад!

Разговор быстро оживился. Густаво и Эдуардо Мачадо расспрашивали нас о Москве, в которой они бывали много раз, рассказывали о новостях политической жизни Венесуэлы, о рабочем движении, о том, что происходит в среде студенческой молодежи, о венесуэльском искусстве, о том, что янки в Каракасе становятся все неудобнее. Беседа, как всегда бывает в таких случаях, шла вразброс, серьезный диалог перемежался шутками, звенел смех, и веселей всех смеялся Густаво Мачадо, откидывая свою белую голову и поблескивая очками.

А я глядел на него, глядел на его брата и думал о том, какая поразительная,

трудная, но завидная судьба у этих людей, какой яркий жизненный путь они прошли. Густаво уже семьдесят три года. Эдуардо немного моложе его, но и он в летах; однако оба они продолжают самую активную партийную деятельность — Густаво как председатель партии и директор центрального органа партии; Эдуардо — как член политбюро и депутат парламента.

Братья Мачадо пришли к коммунизму долгим и сложным путем. Они родом из богатой венесуэльской семьи и могли бы прожить свою жизнь без бед и забот, но случилось так, что в свои юношеские годы — на заре этого века, когда в Венесуэле свирепствовал диктатор Гомес, — Густаво примкнул к прогрессивному студенческому движению, участники которого боролись против этого деспотического режима.

Первой его настоящей политической школой была тюрьма Ротунда, куда его, шестнадцатилетнего юношу, бросили в мае 1914 года за «мятежные призывы». Густаво заковали в кандалы и поместили в одиночную камеру. Там он провел год, и у него было время подумать о своем жизненном пути. И когда Густаво наконец выпустили на свободу и выслали за границу, в голове у него уже созрело решение: его жизненный путь будет путем политической борьбы. С семьей, со своим буржуазным окружением он порвал раз и навсегда. Теперь он целиком и полностью принадлежал революции.

Нью-Йорк... Париж... Мехико... Гавана... Куда бы ни забрасывала судьба в ту пору Густаво, он немедленно устанавливал связи с революционерами и включался в их борьбу. Вначале его политические убеждения были еще довольно смутны. Но когда в далекой России прогремела Октябрьская революция и Густаво смог познакомиться с работами Ленина, он решил: надо стать коммунистом!

Эдуардо пока еще находился в Каракасе: в 1917 году ему исполнилось всего пятнадцать лет и он еще учился. Как и старший брат, он ненавидел диктатуру Гомеса. Вместе со своими сверстниками Эдуардо мечтал о свободе. Он с увлечением читал книги Виктора Гюго, Льва Толстого, Максима Горького, пытаясь найти в них ответы на мучившие его вопросы. Труды Маркса, Энгельса, Ленина еще были ему неизвестны: режим Гомеса их в Венесуэлу не пропускал.

— Вы знаете, — сказал Эдуардо, — вплоть до 1921 года моим идеалом была буржуазная республика. Да-да — буржуазная республика! Мы, конечно, слыхали о том, что в России произошла Октябрьская революция, но что она собой представляла, мы не знали или знали очень мало. И только в 1922 году, когда нам каким-то чудом удалось раздобыть «Манифест Коммунистической партии», работу Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и брошюру Ленина о Третьем Интернационале, в моей голове кое-что стало проясняться...

Но вездесущие полицейские ищейки пронюхали, что студенты тайно изучают работы Маркса, Энгельса и Ленина, и Эдуардо вслед за Густаво выслали из Венесуэлы. Они встретились на Кубе. Там братья Мачадо познакомились с кубинским коммунистом Хулио Антонио Мелья и вместе с ним повели борьбу...

В 1926 году Густаво по поручению венесуэльских революционеров (братья Мачадо уже установили прочные подпольные связи с родиной) впервые направился в Москву, там он встретился с деятелями Коминтерна. Вскоре Эдуардо, в свою очередь, посетил Москву. Они оба были полны сил и энергии. Пусть им не хватало пока еще опыта, пусть они по молодости лет еще допускали ошибки, ничего, опыт — дело наживное, он пришел с годами.

— Сейчас я хорошо вижу, какими наивными мы были подчас, — задумчиво говорил Густаво. — Нам казалось, что достаточно собрать небольшую группу самоотверженных революционеров, готовых на смерть в борьбе за рабочее дело, и поднять восстание, как победа обеспечена. Но реальная действительность оказалась не столь простой — требовалось терпение, чтобы начать рассчитанную на годы и десятилетия кропотливую работу по сплочению и воспитанию подлинно широких народных масс...

А дело было так. В 1929 году, собрав на принадлежащем голландцам острове Кюрасао несколько десятков храбрых венесуэльских революционеров, Густаво Мачадо безумно смелой атакой занял крепость колонизаторов и захватил пароход, стоявший на рейде.

На этом пароходе Густаво и его спутники добрались до Венесуэлы и высадились

там, чтобы поднять восстание против диктатора. Но массы к этому не были подготовлены и акция Мачадо потерпела провал. И снова началась трудная жизнь в изгнании...

Семь лет спустя Мачадо снова вернулся в Каракас, но уже с иными планами: теперь он понял, что главное — это объединение, сплочение, идейное воспитание народных масс, и прежде всего рабочего класса. Теперь он уже член политбюро, национальный секретарь, главный редактор газеты «Трибуна популар», депутат парламента.

В Венесуэле продолжают свирепствовать диктаторы. На партию обрушиваются широкие репрессии. Короткие промежутки легальной деятельности сменяются долгими периодами трудного подполья. Друзья Густаво сейчас шутят — ему не семьдесят три года, а всего тридцать пять: ведь он тридцать лет провел в эмиграции и восемь лет в тюрьме.

Восемь лет в тюрьме. И каких трудных лет! Особенно тяжким был последний, пятилетний период: Густаво бросили за решетку, когда он был уже пожилым, четыре года его держали в тюрьме без суда и следствия, и только в июле 1967 года, когда ему исполнилось шестьдесят девять лет, военный трибунал вынес приговор — еще восемь лет и восемь месяцев тюремного заключения! Даже молодому человеку на его месте было бы от чего прийти в отчаяние. А Густаво ответил тюремщикам тем, что вооружился пером и написал в своей сырой, темной комнате сверкающую оптимизмом и верой в победу книгу «Дорогой чести».

Ветеран коммунистического движения верил и знал, что освобождение уже недалеко, — революционное движение, которому он отдал всю свою жизнь, ширилось, нарастало. Силы реакции были вынуждены отступать, и вот 22 мая 1968 года — менее чем через год после вынесения драконовского приговора трибунала! — двери тюрьмы Сан-Карлос распахнулись и Густаво вместе с другими политзаключенными очутился на свободе и тут же снова включился в политическую деятельность.

Ну, а Эдуардо? Его биография столь же насыщена бурными событиями. Ему, как и Густаво, долго пришлось оставаться в эмиграции, где он продолжал вести активную революционную деятельность, поддерживая связь с коммунистическим подпольем Венесуэлы. На родину он смог вернуться лишь в 1941 году. Девять лет спустя Эдуардо снова выслали, но в 1958 году он опять вернулся, и вскоре его избрали в палату депутатов. Однако депутатская неприкосновенность не помешала полиции в 1963 году схватить его и бросить в тюрьму...

Ну что ж, Эдуардо прошел и через эти мученья, и сейчас он снова депутат, снова активный руководящий деятель партии — он снова в боевом строю.

Таковы эти братья, неукротимые по своему революционному темпераменту венесуэльцы, хотя и далекие по своему социальному происхождению от Хесуса Фариа, который вышел из рядов пролетариата, но сумевшие преодолеть классовую ограниченность своей среды, порвать с ней и стать на службу рабочему классу, трудовому народу своей страны. Нам доставил величайшую радость этот вечер в саду загородного клуба, где довелось повстречаться с этими интереснейшими людьми, вызывающими к себе самое глубокое уважение...

Но наши друзья не только делились воспоминаниями. Их умы были заняты актуальными политическими проблемами сегодняшнего дня. Они по справедливости высоко оценили перемены, происшедшие в стране, перемены, открывающие новые возможности для сплочения прогрессивных, демократических сил. На этом пути уже сделаны первые шаги. Партия Избирательное движение народа (МЭП), являющаяся третьей по влиянию политической силой в Венесуэле (она возникла в результате раскола партии Демократического действия, происшедшего в конце 1967 — начале 1968 года, когда эта партия находилась у власти), выступила с инициативой создания блока левых сил. Ее инициативу поддержала партия Республиканско-демократический союз, во главе которой стоит авторитетный политический деятель Х. Вильяльба.

В заявлении относительно создания Фронта сказано, что он должен быть сформирован на основе программы, которая предусмотрела бы «национализацию нефти, железных рудников, банков и электроэнергетики, передачу в собственность государства основных отраслей промышленности, справедливое распределение национального дохода, медицинское обслуживание для народа и т. д.».

В феврале 1971 года было подписано соглашение о создании Фронта левых сил.

Тогда же о его поддержке заявила Коммунистическая партия Венесуэлы. Сейчас по всей стране развернулась кампания по созданию местных комитетов Фронта. Нам говорили, что эта деятельность привлекает к себе самое пристальное внимание в политических кругах Каракаса. Ведь на последних выборах партии, заявившие ныне о создании Фронта, в общей сложности получили около 1 200 000 голосов, а это больше, чем получили каждая в отдельности правящая партия КОПЕЙ и сотрудничающая с ней в ряде вопросов партия Бетанкура Демократическое действие. Стало быть, если Фронт левых сил окажется жизнеспособным, он сможет играть важную роль в жизни страны.

Противники этого Фронта делают ставку на существенные разногласия, которые все еще разделяют политические силы, образующие новый блок. Сумеют ли они их преодолеть? Это покажет будущее. А пока что прогрессивные деятели Венесуэлы прилагают все свои усилия к тому, чтобы укрепить и расширить подлинно демократическое движение в стране.

ЮРИЙ ИВАНОВ И ЕГО ПАПА ПЕДРО

— Юрий Иванов,— старательно выговорил маленький человечек с блестящими черными глазами и тщательно приглаженным маслянисто-черным вихром, степенно протянув мне жесткую мальчишечью ладонь дощечкой.— Юрий Иванов,— представился он Викентию Матвееву.— Юрий Иванов,— повторил он, так же степенно поклонившись журналистке Элизабет Фариа, которая привезла нас в этот отдаленный район Каракаса.

Потом он покосился на папу и маму, глядевших на него с умилением, и, видимо, решив, что роль пай-мальчика сыграна им до конца, издал воинственный клич индейца и вприпрыжку устремился на кухню, откуда за этой торжественной церемонией знакомства с иностранцами внимательно наблюдали еще трое мальчишек — мы видели их носы, прижатые к стеклянной двери. Там началась возня, и мама сердито сказала:

— Юрий Иванов, Педро Ильич, Густаво Эдуардо, Владимир Хосе,— тихо!

— Дети всегда дети,— философски откликнулась Элизабет. А глава этого беспокойного семейства, сорокалетний, стройный и подтянутый — на вид ему никак не дашь больше тридцати,— заметив, что нас с Викентием ошеломили эти необычные имена, пояснил:

— Так уж получилось: пока они рождались и росли, произошли многие важные события. Старшенький родился, когда ваш Юрий Гагарин отправился в космос, вот мы ему и дали первое имя — Юрий, а второе — Иванов: нам сказали, что у вас Ивановых так же много, как у нас Гонсалесов, а я и есть Гонсалес, стало быть, по-вашему Иванов. Второго Рафаэлла родила, когда мы переживали самый тяжелый момент в нашей жизни: меня за коммунистическую пропаганду выбросили с фабрики и мы буквально голодали. И вот Рафаэлла, хотя тогда она еще была беспартийной, сказала: давай мы дадим ему первое имя — Педро, как твое, а второе — Ильич, в честь Ленина. Чтобы и он вырос коммунистом, как ты...

Педро пошарил в кармане, достал сигарету, нервно чиркнул зажигалкой, затянулся и потом продолжал:

— Рафаэлла очень мужественная женщина, мне очень повезло, что я ее встретил в 1961 году в Лос Текесе на текстильной фабрике, где мы работали вместе. (Мама Юрия Иванова и Педро Ильича покраснела и сердито глянула на мужа: «Перестань!») Да-да, а когда родился наш третий, настали боевые дни: мы боролись за освобождение из тюрьмы наших лидеров Густаво и Эдуардо Мачадо. Ну как же было назвать его иначе? Так и назвали: первое имя — Густаво, второе — Эдуардо. А четвертый появился на свет божий уже тогда, когда мы одержали большую победу: партия вышла из подполья, политзаключенных выпустили из гюрем, мы стали работать легально, на нашей фабрике мы победили на профсоюзных выборах — за меня проголосовали четыреста восемьдесят семь из пятистот рабочих. Они знали, что я коммунист, и голосовали за нашу партию. Вот мы и решили по случаю нашей победы назвать четвертого сына, как и второго, в честь Ленина. Второе имя у него — Хосе, как у моего отца, а первое — Владимир...

— В общем, в доме у Педро не хватает только Валентины Терешковой! — весело сказала Элизабет.

На кухне что-то загрохотало, и Рафаэлла устремилась туда наводить порядок: ох уж эти мальчишки...

Я огляделся по сторонам. Небольшая, но уютная квартирка механика с текстильной фабрики «Телярес Лос Андес» Педро Хосе Гонсалеса дышала уютом; чувствовалось, что хозяйка неустанно блюдет здесь порядок. Голубые стены, белый потолок, розовые светильники; посреди стола — букет ярких алых роз. На стенах — медная тарелка и две репродукции с картин, изображающих пейзажи Венеции. У стены — телевизор. Окна забраны жалюзи, защищающими от нестерпимого тропического солнца. Перехватив мой взор, Гонсалес вдруг говорит предостерегающим тоном:

— Только не подумайте, товарищ, что так живут все венесуэльские рабочие. Чтобы увидеть это, вам нужно вскарабкаться на гору в районе ранчос — вот там действительно типичные картины. А мы — что ж, мы живем сейчас отлично, ведь я теперь получаю в среднем тысячу четыреста боливаров в месяц, а восемьдесят процентов наших рабочих получают ровно в четыре раза меньше моего. Обычная плата — четырнадцать боливаров в день. А есть и такие предприятия, где платят и восемь боливаров в день. Понимаете — восемь боливаров, а Рафаэлла сейчас только на еду для нашей семьи тратит двадцать три боливара в день. А ведь мы не роскошествуем. Правда, позволяем себе есть мясо, которого раньше в глаза не видели, — рядовой венесуэльский рабочий питается кукурузой, рисом, овощами; морковь и фасоль — это деликатес, а основная еда — кукуруза...

— Послушаешь тебя, Педро, так получится, что ты уже вышел в богачи! — смеется Элизабет.

— Ну, до богачей мне, конечно, далеко, но все ж таки пусть советские товарищи не думают, что наш рабочий класс уже живет так же, как живу я, — отвечает Педро Гонсалес. — Ведь я теперь механик, обслуживаю пятьдесят текстильных машин, и хозяевам, хоть они и очень жадные, приходится раскошелиться, если они хотят, чтобы их техника была в порядке. Высококвалифицированный рабочий в Венесуэле может сводить концы с концами, особенно если он нефтяник, — там, на нефтяных промыслах, самая минимальная зарплата — двадцать боливаров в день, но сколько их, нефтяников? Горсточка — ведь промыслы механизированы до предела. Это — рабочая аристократия. А сотни тысяч получают гроши. И другие сотни тысяч — вовсе без работы. Нет, пока наш рабочий класс не сбросит ярмо монополий, жизнь подавляющего большинства венесуэльцев останется на уровне, близком к нищете...

Гонсалес разволновался, он говорил горячо, убежденно, словно на рабочем собрании; чувствовалась долголетняя привычка к политическим дискуссиям, которые он вел еще в глубоком подполье, убеждая рабочих подняться на борьбу против диктаторов.

— Педро, Педро, — остановила его Элизабет. — Расскажи нашим гостям о том, как ты сам стал коммунистом. Расскажи им о своей жизни...

Гонсалес минутку помолчал, переводя дух, потом медленно заговорил:

— Ну, что ж, тут ничего оригинального нет. По-моему, самая обычная история: стал рабочим, познакомился с коммунистами, начал читать политическую литературу, втянулся в борьбу, стал комсомольцем, потом членом партии...

Наш собеседник не был склонен подробно рассказывать о себе — видимо, считал это нескромным. Но с помощью энергичной Элизабет, которая уже давно знает Педро и вместе с ним активно ведет партийную работу в Каракасе, нам удалось восстановить, хотя бы в самом схематичном виде, вовсе не такую простую, как это он хотел изобразить, историю его жизни.

Жил-был в убогом селении провинции Маракайя крестьянин Хосе Гонсалес, и было у него семеро детей — четыре мальчика и три девочки. Трудно жил, голодно. Дети, подрастая, разлетелись кто куда, никто не хотел оставаться на жалком клочке земли, и так было не только у Гонсалесов, но и в большинстве крестьянских семей — люди, отчаявшись в своих надеждах на то, что земля их может прокормить, покидали села и уходили в города.

Когда еще одному сыну Хосе — Педро исполнилось семнадцать лет и ему предстоя-

ло сделать свой выбор, он, не задумываясь, поступил как все: ушел в город и поступил на текстильную фабрику «Судантекс», она принадлежала американской компании, которая владела многими фабриками не только в Венесуэле, но и в Колумбии, Бразилии, Уругвае, а главная ее контора находилась в Соединенных Штатах.

Было это в 1947 году. Венесуэла переживала очередную политическую коллизию: в результате военного переворота, который произошел 18 октября 1945 года, к власти пришла хунта, поставившая у руля партию Демократического действия, возглавлявшуюся Ромуло Бетанкуром. Эта партия сулила венесуэльцам, которые устали от гнета диктаторов, сменявших друг друга уже много десятилетий, демократические свободы. Именно под этим лозунгом на президентских выборах 1947 года победил ставленник партии Бетанкура — Ромуло Гальегос.

Молодой Гонсалес в ту пору не разбирался в хитросплетениях политики: ведь он окончил лишь начальную школу. Но и он, как и его товарищи по работе, видел и понимал одно — руководители государства менялись, а положение рабочих и крестьян не только не улучшалось, но, напротив, становилось все хуже и хуже. Ему нравились смелые люди, которые, не боясь преследования, говорили об этом вслух; их называли коммунистами. Они начали приглашать его на свои собрания, давали читать ему свои книги...

Ромуло Гальегос продержался у власти недолго. 24 ноября 1948 года его выбросили из президентского дворца тем же способом, каким люди Бетанкура выбросили оттуда за три года до этого Медину, — учинили очередной военный переворот. На сей раз власть захватили офицеры, решившие уничтожить всякую видимость демократии и восстановить режим самой жестокой реакции, с помощью которого страной правил когда-то свирепый диктатор Гомес.

В роли Гомеса № 2 выступил Перес Хименес. Как только он и его единомышленники обосновались в президентском дворце, начались суровые репрессии: рабочее движение было подавлено, коммунистов ловили и бросали в тюрьмы. И вот именно в это тяжелое время Педро Гонсалес принял решение, которое определило все дальнейшее течение его жизни — он вступил в подпольную организацию комсомола.

Педро от природы смывленный парень, знания ему давались легко, и он быстро обратил на себя внимание мастеров. Ему поручали все более сложную работу, и он всякий раз справлялся с производственным заданием. Его стали ценить, начали учить обращаться со сложными текстильными машинами, ремонтировать их. Начальству было невдомек, что именно он расклеивает листовки, обвиняющие правительство в преступлениях.

Тем временем репрессии все усиливались. Коммунистическую партию власти объявили вне закона. Заводы наводнили шпиками, установили слежку и за Педро. Друзья ему говорили: «Будь осторожнее!» Он смеялся: «Еще не родился тот полицейский, который меня схватит». И в 1956 году, в самые трудные для рабочего движения Венесуэлы дни, комсомолец Педро вступил в партию.

Партия берегла таких смелых и преданных людей. И когда руководителям подпольной партийной организации фабрики стало ясно, что кольцо шпиков вокруг Педро сужается, ему предложили переехать в другой город. Гонсалес перебрался из Маракайи в Лос Текес, там находилась небольшая текстильная фабрика «Ла Сирка», принадлежавшая одному венесуэльскому капиталисту; на ней работали всего шестьсот рабочих. Гонсалеса взяли механиком, он ремонтировал машины, используя опыт, приобретенный на большой фабрике «Судантекс». Он и здесь установил связи с коммунистами-подпольщиками и вел нелегальную работу, выполняя партийные поручения.

Наступил 1958 год, и снова — военный переворот. На этот раз к власти пришли заговорщики — офицеры, связанные с Бетанкуром. Поскольку этот ловкий деятель обещал в случае победы восстановление демократических свобод, коммунисты поддержали переворот — важно было сокрушить диктатуру зловещего Хименеса. Однако Бетанкур только разглагольствовал о демократии, фактически в стране изменилось очень немного.

Коммунистическая партия так и не была легализована. Больше того, на нее обрушились новые репрессии. Но коммунисты не падали духом. Перегруппировавшись, они продолжали свою работу, используя богатый опыт подпольной деятельности, накоп-

ленный в годы правления Хименеса. Педро, как и многие другие рабочие-активисты, продолжал свое дело: распространял листовки, убеждая своих товарищей по работе в правоте коммунистов, критиковал действия властей.

В 1961 году он познакомился с молодой текстильщицей Рафаэлой. Они полюбили друг друга и вскоре поженились. Год спустя в доме появился третий член семьи — уже известный читателям Юрий Иванов. Педро понимал, что в случае провала его семья окажется в трудном положении, но оставить партийную работу, в которой он видел высший смысл своей жизни, не мог.

Беда пришла в 1963 году. Правительство Бетанкура усилило репрессии. Руководителей Коммунистической партии Венесуэлы Хесуса Фариа, Густаво и Эдуардо Мачадо и других бросили в тюрьму. Члена политбюро Альберто Ловера подвергли пыткам и убили. Полиция свирепствовала — всех подозрительных арестовывали либо прогоняли с работы.

Выбросили с фабрики и Педро. Два месяца безработицы. Нечем платить за квартиру. За неплатеж отрезали свет и отключили воду. Есть нечего. Малолетние сыновья — старшему около годика, а младшего Рафаэлла только что принесла из родильного дома — жалобно плакали.

Выручили друзья. Хотя в то время было очень опасно рекомендовать заподозренного в коммунистической деятельности рабочего на новую работу, Педро снабдили хорошими отзывами сослуживцев, собрали немного денег на дорогу, и вот опальный механик оказался в Каракасе. Здесь его после долгих колебаний взяли на фабрику «Лос Андес», где он работает и до сих пор, — уж больно хорош специалист, хотя и причиняет хозяевам большие неприятности...

Год Педро держался на новом месте тихо — таковы были указания подпольного руководства: не раскрывать себя! Но в дальнейшем, когда полиция утратила к нему интерес, он снова начал мало-помалу активизироваться, на сей раз в профсоюзе. В то время это была единственная возможность легальной борьбы, и к тому же борьбы очень важной: руководство профессиональным союзом захватила партия Бетанкура и предстояло отвоевывать у нее позиции.

Вот так и прошли самые трудные годы жизни Педро Гонсалеса. Когда на президентских выборах 1968 года партия Бетанкура потерпела наконец поражение и в стране произошли важные перемены, Педро буквально не чувствовал земли под ногами от счастья: ведь эти перемены в какой-то мере явились результатом и его работы и борьбы. Эту радость разделила с ним и Рафаэлла — она еще в 1966 году вступила в коммунистическую партию и вместе с мужем работала в подполье, ухитряясь в то же время воспитывать своих сыновей.

— Ну, а сейчас нам работать стало неизмеримо легче, — говорит, улыбаясь, Педро. — После того как на профсоюзных выборах за меня как за коммуниста проголосовало большинство рабочих фабрики, я получил возможность действовать смелее, ведь поддержка теперь обеспечена. А я теперь не только работник профсоюза, но и секретарь партийной ячейки. Три года тому назад нас, коммунистов, на фабрике было только трое, а сейчас уже тридцать да плюс к этому пять кандидатов...

Каждые пятнадцать дней — партийное собрание. Администрация запрещает проводить на фабрике какие-либо политические мероприятия, ну что ж, коммунисты собираются на квартире у Педро. Теснота, конечно, бывает невероятная, и потом Рафаэлле хватает уборки на целый день, но Педро и его жена рады тому, что теперь, по крайней мере, можно открыто встречаться с единомышленниками, не страшась того, что завтра тебя за это посадят в тюрьму.

— Последнее собрание у нас было позавчера, — вставляет свое слово Рафаэлла, давно уже вернувшаяся с кухни и внимательно слушавшая нашу беседу. — Обсуждали вопрос о подготовке к демонстрации. Решили выйти на улицу и устроить шествие с лозунгами партии...

— Конечно, и теперь у нас немало трудностей, — говорит Педро. — Все это не так просто. Вы слышали, как полиция расправилась вчера с демонстрацией студентов?..

Да, конечно же, мы слышали об этой расправе. Больше того, мы самым непосредственным образом ощутили ее. Шло очередное заседание Межпарламентского союза в здании конгресса, когда у всех вдруг стало першить в горле, люди начали кашлять,

резало глаза. Что же случилось? Оказывается, на подступах к конгрессу полиция вела бой со студентами, пришедшими туда протестовать против участия в Межпарламентском союзе сайгонских марионеток. Со всех сторон раздавались крики:

- Вон американских наемников!
- Да здравствует борющийся Вьетнам!
- Долой агрессоров-янки!

Полиция пустила в ход слезоточивые газы, они доползли даже до нашего зала заседаний. Были раненые, были арестованные. Демонстрацию у здания конгресса полицейские подавили, но она тотчас же вспыхнула на другой улице...

— Ну вот,— продолжал Педро,— как видите, проведение демонстрации у нас — дело нелегкое. Но люди охотно выходят на улицы, когда мы разъясняем им смысл и значение нашей борьбы. И что очень важно — так это то, что престиж коммунистов возрастает. Люди помнят, что мы не сдались, не капитулировали даже в самые черные времена, что мы всегда и при всех условиях продолжали свою борьбу. Меняются лишь методы — цель остается, большая и важная цель, которую завещал нам Ленин... Коммунистов пока еще в Венесуэле не так много. Но нас сейчас больше, чем до 1969 года, и я уверен, что завтра станет еще больше, чем сейчас. Влияние партии возрастает, хотя нам приходится вести свою деятельность в сложных условиях: наши противники сильны, у них власть, у них полиция и войска, у них деньги, в их руках газеты с огромными тиражами, радио, телевидение. Но у нас — самое мощное оружие, которого у них нет и быть не может. Это наши идеи! — И Педро заключил: — Вот почему у нас становится все больше сторонников. Хотите пример? Четыре месяца тому назад проходили выборы в комитет, координирующий работу профессиональных организаций всех текстильных предприятий Каракаса и столичного округа. Участвовали в выборах семь тысяч рабочих. И что же? За коммунистов проголосовали две тысячи девятьсот тридцать четыре — почти половина. Правда, партия Демократического действия, которая в прошлом безраздельно контролировала профсоюзы, удержала за собой большинство. Но удержала едва-едва. И в следующий раз может случиться так, что мы ее оттесним от руководства. Конечно, если будем хорошо работать. Вот так-то!..

Пришло время прощаться.

— Стало быть, вы скоро в Москву? — с затаенной завистью сказал вдруг Педро. — Вы знаете, мне еще ни разу не удалось у вас побывать. А так хотелось бы встретиться с вашими текстильщиками, говорят, у них там — как это называется, да, кажется, на «Трех горах» — прекрасные революционные традиции. Побывать бы на Красной площади, в Кремле, посетить Мавзолей Ленина. Мне все это так знакомо по вашим фильмам и альбому... Ну, конечно, — все в свое время. А сейчас у нас тут работы — не проворот!

Он вдруг попросил у меня блокнот и круглым и твердым почерком написал в нем: «Братский привет всем коммунистам Советского Союза и всему советскому народу. Мы победим, товарищи! Педро Гонсалес. Блок 28-E1-СК, поселок Карикуао, Каракас, Венесуэла».

Мы вышли на улицу. За нами высыпало все шумное семейство Педро, Рафаэлла, Юрий Иванов, Педро Ильич, Густаво Эдуардо и Владимир Хосе. Я сфотографировал их на память. Теперь часто достаю эту фотографию, на которой все они выстроились лесенкой: слева самый маленький — Владимир Хосе, справа самый высокий — Педро Хосе. Смотрю на них и думаю: счастливая партия, опорой которой служат такие рабочие семьи!

* * *

Вот и подошел к концу мой рассказ о путешествии в Венесуэлу. Он получился пестроватым, зачастую беглым, иной раз тяжеловатым; сказывается то, что у нас оставалось слишком мало времени для знакомства со страной — все оно поглощалось работой на заседаниях Межпарламентского союза.

Хотелось бы повидать больше людей и поговорить с ними обстоятельнее, не поглядывая на часы. Хотелось бы побывать на нефтяных промыслах, в карьерах, где добывают железную руду, на рыбных промыслах. Очень хотелось бы повстречаться

с венесуэльскими крестьянами — в их жизни так много важных и поистине драматических явлений: 71 процент всех пригодных для ведения сельского хозяйства земель — это латифундии богатей, причем 362 помещика держат в своих руках по 10 000 гектаров и более, а 600 000 безземельных венесуэльцев довольствуются горькой батрацкой долей...

Но что поделаешь, наше время уже истекло. Мы прощаемся с этой интереснейшей страной, поражающей воображение пришельца с Востока неописуемой красотой своих ландшафтов и суровостью быта подавляющего большинства населения, неисчислимым изобилием природных богатств и оглушительной нищетой своих ранчо, огромными потенциальными возможностями национально-экономического развития и мертвящим засильем монополий янки, кипучей общественной жизнью и острыми социальными процессами.

Эта огромная страна со своими колоссальными богатствами и всего лишь десяти-миллионным населением — вся в будущем. Когда мы летели над бескрайними равнинами к юго-востоку от Каракаса, над этой великолепной, но все еще не знающей плуга красной землей, в которой дремлют богатейшие жизненные соки, над величавыми полноводными реками, вдоль которых на сотни километров не видно ни одного дома, над тропическими лесами, где бесполезно старятся деревья-великаны драгоценных пород, над пустынной Великой саванной, где могли бы пастись огромные стада, — я говорил себе: вот он, один из богатейших резервов, которые нынешнее поколение людей оставляет тем, кто будет жить и трудиться в двадцать первом веке.

И все же как хотелось бы, чтобы уже сейчас миллионы и миллионы венесуэльцев, вынужденные пока что экономить каждый боливар, чтобы дотянуть до полочки, и те шестьсот тысяч из них, которые вообще не в состоянии рассчитывать на полочку, потому что они безработные, смогли зачерпнуть полной пригоршней свою законную долю этих богатств!

Спору нет — многое уже делается в этой стране. Я рассказал в меру тех сведений, которые смог получить, о первых шагах, которые здесь предпринимаются для того, чтобы ослабить гнет иностранных нефтяных монополий и чтобы развить национальную промышленность. Но сами венесуэльцы считают, что можно и нужно было бы действовать смелее, энергичнее, решительнее, иначе им не стать подлинными хозяевами своих природных богатств и своей судьбы — в широком понимании этого слова.

Удастся ли это и как скоро удастся? Ответ на этот вопрос зависит от самих венесуэльцев, и прежде всего от рабочего класса, его лучших сыновей — коммунистов; от таких людей, как Педро Гонсалес, с которым меня свела в эти дни журналистская судьба; от их единства, мужества, упорства в борьбе; от их умения спланировать в этой борьбе широкий общенародный фронт.

У них впереди — необъятное поле деятельности. У них впереди — много трудностей. У них впереди — вся жизнь. И как хотелось бы после первого короткого знакомства с Венесуэлой и ее людьми присмотреться к их жизни поближе, проследить повнимательнее развитие ее важнейших процессов, увидеть своими глазами те новые свершения, которые будут — обязательно будут! — достигнуты. Вот почему, прощаясь с Каракасом в прохладный предрассветный час, когда на успевшей остыть за ночь бетонной взлетной дорожке уже трубят двигатели мощного самолета, приготовившегося к прыжку в стратосферу, я говорю:

— До свиданья, Венесуэла!

Москва — Каракас — Москва.

Апрель — август 1971 года.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ОСКОЦКИЙ

★

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

1

Бывает так: то древний курган в приднепровской степи или бухарский минарет, вонзившийся в синь неба, то уцелевшая кладка Золотых ворот в Киеве или отразившийся в прозрачной глади старицы силуэт Покрова на Нерли, то потускневшая фреска Андрея Рублева под гулками сводами Успенского собора во Владимире или почерневшие плиты каменных надгробий во мцхетском Свети-Цховели вдруг вызывают такой мощный отклик в душе, что хочется свершить невозможное — соединить преходящее с вечным, остановить прекрасное мгновенье быстротекущей жизни, где разом слились печаль и гордость, изумление и восторг, умиротворенный покой и смятенная тревога.

Пронзительное чувство, которое овладевает душой, потрясенной щемяще-радостной встречей с далеким прошлым, не назовешь иначе как поэтическим, заветным чувством родной истории. Сближая эпохи, оно обогащает память ныне живущих поколений, расширяет границы их социального и нравственного опыта. Так прошлое прорастает в настоящем и в современном движении народной жизни открывается нерасторжимая связь времен.

Как свидетельствует Вера Панова в эскизах «Из запасников памяти», именно эти слова первыми всплыли в ее сознании, когда в подземельях старинного собора в станице Старочеркасской ей «показали цепи, в которых когда-то томился Степан Разин, прикованный к прозеленевшему, промерзшему камню. Я тронула этот камень и ощутила себя наследницей чего-то, чего тогда не сумела бы назвать, — леденящее

дыхание Истории ощутила кожей и связь времен» (разрядка моя.— В. О.). Что это, если не смутное пока еще предощущение замысла, из которого потом, спустя годы, как из благодатного зерна прорастут образы исторических повествований, где писательница остросовременной темы обратится к «житиям» княгини Ольги и Феодосия Печерского, эпохам Андрея Боголюбского и Василия Третьего?

Как ни неожиданна была для Веры Пановой эта книга «Лики на заре», она возникла, оказывается, не так уж и «вдруг». Из глубины веков пробившись своим мощным дыханием, история завладела писательской мыслью, приблизила свои непреходящие уроки. «...Почему это, в силу каких причин человечество так дорожит отвратительными страницами своего прошлого? Почему всякое злодейство записывается, и чем оно ужасней, тем тщательней записывается, вроде Ольгиной расправы с древлянами или подробностей Варфоломеевской ночи, — а о деяниях высоких и добрых упоминается, как правило, наскоро, вскользь, в большинстве же случаев не упоминается вовсе? В результате каждая строка истории ушатами преподносит потомкам кровь и насилие, словно единственно достойное их, потомков, внимания. А между тем пласты неотмеченных, оставленных в пренебрежении прекрасных дел все глубже погружаются в забвение, в небытие; и в недоуменной печали стоит Человек перед списком своих окаянных поступков...» Так, мысленно возвращаясь к урокам истории, ее истинам и заблуждениям, вечному и преходящему в ней, писательница снова и снова примерялась к своим невыдуманным героям, в перспективе времени прослеживала пути и перепутья их жизненных судеб и по высокому

счету гуманизма определяла, сколь глубоко след, оставленный ими в памяти потомков.

Одню лишь правдивое воссоздание русской старины с невыдуманным драматизмом ее потрясений и бурь, с доподлинным трагизмом людских судеб могло бы увлечь не одного писателя-современника разглядевшего в сумрачной дали веков и заманчивую остроту жизненных коллизий, и увлекательную сложность ярких, самобытных характеров. Однако в своих исторических повествованиях Вера Панова пошла дальше этого колоритного бытописания, и творческая задача, которую поставила она себе, оказалась неизмеримо сложнее. И высокое мастерство углубленного психологического анализа, и точное, рельефное видение бытовой детали, и, как всегда, неотступное внимание к «молекулярным» переживаниям характера — все, чем так щедро творческая манера Веры Пановой, служит в ее исторических повествованиях созданию целостной концепции человека, художественному раскрытию темы личности и истории.

Человек перед лицом веры, человек перед лицом власти — таковы ведущие, философские аспекты этой темы. Речь идет о фанатичной вере, что «более могуча, нежели понимание», и слепой власти, одно право на которую — «самая опасная крамола», потому что порой власть сильнее тех, кто обладает ею. «Кто тебе поверит, что ты не хочешь власти, когда у тебя есть право? Нынче, может, и вправду не хочешь, а завтра вдруг захочешь? И захочешь, и захочешь, потому что тебе в твоём царевичевом состоянии податься некуда, либо властвуй, либо прощайся сначала с волей, а там, не прогневайся, и с жизнью...» Идя рядом (недаром говорилось, что царь небесный — прообраз власти земной), вера и власть складываются в ту «отчужденную» силу, которую обращает против человека феодальное государство средневековой Руси. И вот уже по одному лишь «движению этих голубых глаз вершились дела, сердца переполнялись весельем либо ужасом»: многим нравилось иметь перед собой государя всея Руси, поклоняться ему, как и самому Василию Ивановичу нравилось казнить и миловать «неожиданно, всем на удивление: властелин должен удивлять и загадывать загадки» («Кто умирает»).

Но мы погрешили бы перед историей, увидев в ней только мрачные и беспросветные страницы. Пусть хмурый, но рассвет,

пусть сумрачное, но утро. И к высотам духа устремлялась личность, обретая свое пробуждающееся самосознание. Разве не удалы и молодечество здоровой человеческой натуры искали себе выход в буйстве праздничных гульбищ? И разве не безграничность творческих возможностей человека торжествовала в игре красок, цветовых переживаниях фресок, соборных росписей? И наконец, не о нравственном ли своем совершенстве помышлял человек Древней Руси, обрекая себя на аскетизм самоотречения, не высшие ли духовные ценности искал он, идя к истине тернистым путем веры и безверия? Историки свидетельствуют — сошлемся на уникальный труд Б. А. Романова «Люди и нравы древней Руси», — что именно в этот суровый период русской истории, когда утверждаются «освященные христианской церковью нравственные и моральные устои феодализма, рождаются и зачатки того житейского критицизма, который всегда был живым родником народного свободомыслия» (из предисловия Н. Е. Носова).

В главном, существенном этот научный взгляд совпадает со взглядом художественным, отвечает тем идейно-нравственным позициям писателя-современника, из которых исходит Вера Панова, обогащая свое видение и понимание истории, переосмысливая ее реальные свидетельства, взятые за сюжетную основу повествований. Так, в «Сказании о Феодосии», например, нет, казалось бы, ничего сверх того, что сообщает «Печерский Патерик» о жизни самого игумена Киево-Печерского монастыря, о судьбе черноризца Варлаама, в прошлом боярского сына Вышаты, о самоистязании торопецкого купца, постриженного в чернеца Исаакия. Но каких высот подлинного трагизма достигают эти события и факты в изложении писательницы и каким глубинным психологическим подтекстом наполняются все, даже мельчайшие, извлеченные из того же «Патерики» бытовые детали, которые передают внутренне напряженное, но внешне размеренное бытие монастырских келий-пещер!

В судьбе отрока, бежавшего из родительского дома, в возвышении постриженного инока до игуменского сана зоркий взгляд художника разглядел исполненную драматизма историю нравственного поиска человека Древней Руси, уловил протест против несвободы и бездуховности жизни, протест, проникнутый как аскетическим отвраще-

нием к «мерзкой плоти», так и устремлением к высшей деятельности духа, изобильной «разнообразными и дивными плодами». Недаром ведь «калики перехожие» видят в самоотвержении «истаявшего от постов, смиренного, одетого чуть не в рубище» юноши высокий подвиг духа, о котором «деды и прадеды понятия не имели, поклоняясь бездушным идолам». И не случайно — многозначительная деталь! — сами эти паломники «не были калеки горемычные, отнюдь: здоровенные парни в расцвете юной силы, плечистые, горластые». Но, не избегая мирских утех и забав, они все же «оставили свои молодые, молодецкие дела и идут ко гробу господню, что им гроб господень?». Равным образом — что тихая монашеская обитель молодому боярину Вышате? Но и он предпочитает ее мирским соблазнам, потому что «невозможно жить в миру и чтоб душа не пропала. И на малое время не сосредоточиться, чтоб о ней подумать»... Что это, если не достойное слова великих трагиков раздвоение личности, которым еще человек Древней Руси платил за заблуждения своего времени? Нельзя было миновать их, прежде чем дух скепсиса и критицизма, отрешившись от веры, не обрел себя в безверии...

Но это впереди. Действие исторических повествований Веры Пановой обрывается в канун новых кровавых потрясений и на пороге новых духовных драм. Голубоглазый мальчик, который стоит у постели умирающего отца, еще слишком мал, чтобы осмыслить, «что он собой являет». Но он осмыслит это потом, когда станет Иваном Грозным и, «темная судьба страны, превзойдет всех своих предков в истреблении людей и разорении городов. Гнусное мучительство будет сладчайшей его забавой. Он сметет с лица земли почти всех, кто находится здесь в комнате, и детей их, и внуков. И по его стопам придет в Россию небывалая страшная Смута».

Какую же многовековую толщу освященных верой и узаконенных властью насилий предстояло еще пробить человеку, прежде чем семена житейского критицизма, брошенные им на ниву истории, взойшли народным свободомыслием! Но путь уже начат, и нравственный поиск утверждающей себя личности было не остановить так же, как и движение самого времени. Потому так полнозвучен гуманистический пафос веры в высокие и добрые деяния

человека, которым проникнуты исторические повествования писательницы, приблизившие к нам суровые лики далеких предков...

2

«Незаметно, между прочим, у нас создан подлинный и высокохудожественный исторический роман... превосходный роман А. Н. Толстого «Петр Первый», шелками вытканый «Разин Степан» Чапыгина талантливая «Повесть о Болотникове» Георгия Шторма, два отличных мастерских романа Юрия Тынянова — «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара» и еще несколько весьма значительных книг из эпохи Николая Первого. Все это поучительные, искусно написанные картины прошлого и решительная переоценка его. Я не знаю в прошлом десятилетия, которое вызвало бы к жизни столько ценных книг. Повторяю еще раз: создан исторический роман, какого не было в литературе дореволюционной, и молодые наши художники слова получили хорошие образцы, на которых можно учиться писать о прошлом...»

Эту высокую оценку советского исторического романа А. М. Горький высказал в 1930 году — у самого начала его пути. Последующие десятилетия подтвердили ее своевременность и пророчливость. Идеино-художественные завоевания советской литературы органично вобрали в себя и новаторские открытия, совершенные историческим романом, чьи лучшие создания убедительно продолжали горьковский перечень имен и названий. Вспомним, какой огромный вклад в дело патриотического воспитания внес он, например, в тревожные предвоенные и суровые годы Великой Отечественной войны, когда, чутко отзываясь на неотложный призыв времени сделать «упор на военные, на героические темы» (академик Е. Тарле), выдвинул своими главными героями Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Багратиона, адмирала Ушакова и Георгия Саакадзе. Вспомним также и высокий взлет исторического романа на рубеже 40—50-х годов, когда, углубленно разрабатывая образы великих деятелей прошлого, последовательно расширяя жанровую форму биографического повествования, он шел к панорамному, крупномасштабному изображению народной жизни. Высокие образцы такого изображения дали в те годы и эпопея Мухтара Ауэзова «Путь Абая», и многотомный роман К. Гамсахурдия «Да-

вид «Строитель», и повествования И. Ле. Н. Рыбака, П. Панча об эпохе Богдана Хмельницкого.

Неослабный, стойкий интерес к отечественной истории советская литература сохраняет и в наши дни. Больше того: она заметно расширила и усилила его в последние годы, отмеченные интенсивным, подчас даже бурным ростом исторического романа. В этом состоит одна из приметных тенденций современного литературного процесса, которую по-своему предвосхитила Вера Панова талантливой книгой «Лики на заре». Резко возрос поток романов и повестей о давнем и недавнем прошлом народов нашей страны и во многих других братских литературах. Так, творчески развивая плодотворные традиции предшествующих десятилетий, исторический роман в полный голос заявляет о себе как роман многонациональный. Тем богаче его современный идейно-художественный опыт, тем шире аналитические возможности и исследовательские плацдармы.

Объясняя однажды генезис исторического романа, Н. Добролюбов проницательно заметил, что особенно бурно он «является в то время, когда народное сознание обращается к воспоминанию прошедшей своей жизни,— под влиянием того же направления, при котором развиваются и сами исторические исследования». Что же обостряет сегодня эту потребность в «воспоминании прошедшей жизни», которая, оставаясь внутренним стимулом развития исторической науки, вызывает и нынешнее обогащение исторического романа в каждой из братских литератур советских народов?

Выражая одну из общих тенденций современного литературного процесса, это обогащение несомненно свидетельствует о том, какой сильный отзвук получил в сфере эстетической всемирно-исторический опыт развития национальных отношений в нашей стране. Как подчеркнул Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду, «практическое осуществление партийной ленинской национальной политики — политики равенства и дружбы народов» — является «одним из самых крупных завоеваний социализма». Под руководством партии «сделаны новые шаги по пути всестороннего развития каждой из братских советских республик, по пути дальнейшего постепенного сближения наций и народностей нашей страны. Это сближение происходит в условиях вниматель-

ного учета национальных особенностей, развития социалистических национальных культур. Постоянный учет как общих интересов всего нашего Союза, так и интересов каждой из образующих его республик — такова суть политики партии в этом вопросе».

Укрепление интернационального единства и расширение национального многообразия — эти две взаимосвязанные стороны одного диалектического процесса характеризуют в период развернутого коммунистического строительства социальную и духовную сферы жизнедеятельности советских социалистических наций. Взаимодействие, взаимообогащение их культур ведет поэтому не к нивелирующему единообразию, но к многообразному единству — нет нации, которая шла бы к нему с «пустыми хурджинами». Вот почему и писательское внимание к национальному прошлому народа вовсе не означает отрыва от современности. Напротив, оно естественно продиктовано потребностью литературы в объемном, масштабном, синтетическом восприятии мира, рождено закономерным стремлением осмыслить многотрудный опыт народной истории, обобщить его в свете преемственности лучших прогрессивных традиций социальной и духовной жизни нации, традиций, которые каждый народ несет в коммунистическое будущее.

История никогда не была нейтральной в идеологической борьбе. В условиях обострения этой борьбы сегодня она стала одним из боевых ее плацдармов. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» не безразличны поэтому и литературе. Обращение к ним служит ее современным идейно-воспитательным задачам, также стимулируя рост исторического романа, вызывая качественные изменения в его образной природе.

На это современное звучание исторической темы украинский прозаик Павло Загребельный указывает самой композицией романа «Диво» (Киев, 1968), действие которого развивается в трех временных плоскостях: эпоха Ярослава Мудрого, Великая Отечественная война, наши дни. Как ни неожиданно такое сопряжение эпох, оно имеет для писателя и глубокий художественный, и актуальный идеологический смысл. Не просто о национальных святых, разграбленных в войну «учеными» в эсэсовских мундирах, идет у него речь, но о защите

самобытных истоков государственности и культуры Киевской Руси — древней колыбели восточного славянства.

Актуальная идеологическая направленность романа «Диво», отчетливо проявившись в его композиции, определила и внутреннюю логику сюжета, пронизала самый образный строй повествования. Она — в принципиальном, подчас полемически подчеркнутом отказе П. Загребельного от какой бы то ни было идеализации исторических персонажей. Она — в последовательном утверждении героев из народа подлинными творцами истории, создателями ее непреходящих культурных ценностей. Она — в переключке современных раздумий писателя об искусстве и творчестве, об их высоком общественном назначении, о незамутненных народных истоках и возвышенных патриотических устремлениях — с теми драматическими коллизиями, которые на материале прошлого раскрывают величие таланта и мастерства, обязанных своей жизнестойкостью неисчерпаемым творческим силам народа. «Ибо — что есть искусство? Это могучий голос народа, который звучит из уст избранных умельцев. Я — свирель в устах моего народа, и только ему подвластны песни, которые прозвучаю, родившись во мне. А меня — нет...¹ Так думает о себе, о собственной своей судьбе — неотъемлемом звене в цепи судеб народных — безвестный строитель Киевской Софии, самобытный художник и зодчий, легендарный образ которого психологически убедительно создан силой писательской фантазии. Не потому ли и возведенная им «тысячелетняя святыня славянского мира» оказывается в романе боевым рубежом нестихающей битвы? Вооруженной битвы с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, современной борьбы идей. накал которой открывает одному из героев писателя, как нужна людям его профессия историка древнего искусства, как необходима она всем — «не только отдельным любителям старины»...

В статье «Историзм и история», специально посвященной украинскому историческому роману («Дружба народов», 1971, № 10), мне уже доводилось напоминать о том, что «Диво» П. Загребельного — не первое в украинской и не единственное в советской литературе последних лет произведение,

воскрешающее «золотой век Киевской Руси». Естественно будет поэтому, вынужденно повторив сказанное, еще раз, но уже более подробно сопоставить его с другими, тематически близкими повествованиями не столь уж давнего и — особенно — совсем недавнего времени. Ведь если истину, как говорится, чаще всего познают в сравнении, то оно и в этом случае поможет яснее определить то особое место, которое заняли в многонациональной исторической романистике наших дней книги П. Загребельного — и роман «Диво» прежде всего, и вскоре последовавший за ним новый роман «Первомост» («Жовтень», 1970, №№ 8—10), обращенный к жестокому времени Батыева нашествия.

«Так оканчивается повесть о князе Владимире. А далее — Ярослав», — обещал Семен Скляренко, завершая диалогию «Святослав» (1959) и «Владимир» (1962). Роман П. Загребельного «Диво» словно бы продолжает ее сюжетно. Тем соблазнительнее было бы говорить об устойчивости форм эпического повествования, преемственности традиций исторического романа, наследовании принципов реалистической поэтики жанра. Дело обстоит, однако, не так просто. И роман «Диво», и второй исторический роман П. Загребельного «Первомост» менее всего напоминают романы-биографии, романы — жизнеописания исторического деятеля, к каноническому типу которого тяготел С. Скляренко. Внешняя непохожесть форм имеет при этом своей основой глубинные различия в критериях отбора исторического материала, в принципах его осмысления, в нормах авторского отношения к реальным ли, к вымышленным ли героям прошлого.

Так, опираясь на традиции героического эпоса, воспринимавшего Святослава в неизменном ореоле воинской славы — удалым князем, «неотделимым от коня и меча, верным членом дружинного товарищества» (Б. Романов, «Люди и нравы древней Руси»), — на традиции былин, поэтизовавших «Владимира Красное Солнышко» как неустрашимого воителя за Русскую землю, С. Скляренко был склонен видеть порой в героях своей дилогии не столько раннефеодальных монархов, сколько народных вождей, последовательных выразителей патриотических идеалов и демократических устремлений социальных низов. Не случайно Владимир так часто выглядел благородным страдальцем и жертвой роко-

¹ Здесь и далее цитаты из романов П. Загребельного «Диво» и «Первомост» даны в подстрочном переводе с украинского.

вых обстоятельств, когда даже прелюбодеяния его объяснялись соображениями государственной необходимости...

Та же участь «народного князя» постигла и Ярослава Мудрого в одноименной драматической поэме Ивана Кочерги (1944). Сам писатель называл «мотив сознания связи с народом и ответственности князя за его судьбу» ведущим в поэме, оправдывающим и монолог героя, в котором тот, настаивая на своем простонародном — «рабынина» крови! — происхождении, горделиво провозглашал:

Из всех небесных благ
Я эту кровь найвысшим почитаю.
Она меня с народом единит!
Я не ищу в преданьях старины
Вельможных предков из чужой страны.
Народ мой здесь! На этих вот просторах
От Киева до Ладоги живет.
Не выходцев Исландии суровых,
Меня своим он предком назовет...

Нет оснований утверждать, что эта преднамеренная идеализация древнерусской истории окончательно отошла в прошлое, как отошли те антинаучные мистификации, под прямым или косвенным воздействием которых и возникала она в литературе. Непреодоленные ее последствия критика справедливо отметила, например, в романе Валентина Иванова «Русь изначальная», повествующем о жизни россияне на южном степном порубежье в VI веке. Интересно осваивая неизведанные пласты истории, автор, писалось в критике, не устоял все же перед концепцией, «которую не назовешь иначе, как неисторичной». До того подчас отвлеченными, вневременными предстали у него идеалы народоправства и общерусского единства, которыми живут герои романа — древние хлебопашцы, охотники, воины. И до того навязчиво выписан их «здоровый быт» в противовес разложению византийской цивилизации, влияние которой было якобы «только тлетворным» (В. Канторович, «Острова», а не материка).... «Вопросы литературы», 1971, № 4). Между тем не приходится говорить много о том, что не только в VI веке, но и в позднейшие времена Киевской Руси — Олега и Ольги, Святослава и Владимира, даже Ярослава Мудрого — Византия, наследница Древнего Рима, являла собой высшую цивилизацию тогдашнего мира. Приобщение к ней связало древнерусское искусство с судьбами мировой культуры способствовало бурному

выявлению его творческих потенций, ускорило его самобытное развитие.

Наивное небрежение этими объективными выводами исторической науки еще более усугублено в романе-хронике В. Иванова «Русь Великая» («Московский рабочий», 1967), охватившем большой, насыщенный драматическими событиями период русской истории — от Ярослава Мудрого до Владимира Мономаха. Киевская Русь и Византия, Киевская Русь и Европа в целом противостоят здесь как два непримиримых, враждебных полюса добра и зла. На одном — целомудренная простота нравов, открытость княжеской политики, сознательный демократизм, на другом — расточительная пышность церемониала, кровавые дворцовые интриги, нескрываемая тирания. «Там, за нашей землей, — рассказывал Изяслав, — каждый владетель каждому враг. Все у них шевелится, кто грызется от бедности, кто от богатства, малоимущий владетель гнется послушно, как лук, но порывит, чтобы стрела отскочила в стрелка». Иное дело на Руси: всего лишь «по верху ее (русской земли. — В. О.) гуляет легкий ветер княжих споров-усобиц. Либо наоборот: из-за того-то и гуляет на Руси этот ветер, что Земля его терпит». Мало того: не в пример вероломной Византии, заключает однажды автор, «на Руси пока еще не играли с ядами, но только с железом», — словно бы ослепление князя Василька Тербовальского было действием более благородным и гуманным, чем отравление базилевса Цимисхия!

Курьез? К сожалению, не единственный среди множества других упрощений, к которым приводит автора его настойчивое стремление представить действующих лиц и события русской истории в непременно идиллическом освещении. Здесь и искренность дружбы, бескорыстие любви «между Ярославичами и Господином Великим Новгородом», завещанные Ярославом Мудрым: «...так и бывает: кому помог, того полюбил» (будто и не новгородцы вовсе порубили однажды Ярославовы лодии в канун похода своего князя на Киев)... И любвеобилие простосердечного князя-изгоя Ростислава Тмутараканского, который «раскрывает объятия — всем, да рук не хватает» (словно и не он, как засвидетельствовала история, «осердился на дядей и убежал в Тмутаракань собирать силы для мести»)... И не знающее границ бескорыстие Владимира Мономаха, демократа и миротворца, чьи

исторически конкретные черты попросту исчезают в безудержном потоке возвышенных авторских эпитетов: «богатырь на бранном поле», «добрый, умный, чистый, храбрый» (будто не сам Владимир Мономах признавался в знаменитом «Поучении», как в дни вероломного захвата Минска не оставил в городе «ни челядина, ни скотины»)...

Природу столь насильственных упрощений истории — а их немало в сюжете романа «Русь Великая» — нагляднее всего, пожалуй, вскрывает авторское изложение обстоятельств двукратного изгнания из Киева князя Изяслава Ярославича. Этой красноречивой страницы в истории распада Киевской Руси касается, отметим кстати, и Вера Панова в «Сказании о Феодосии». «Негожий князь. Сам от половцев побегал и нам побить их оружия не дал: своих, вишь, боится больше, чем половцев. Ну, прогнали», — говорит у нее киевский простолюдин, печалась, что много в дальнейшей «заварухе справных людей побито, в тюрьму покидано, ослеплено безвинно, вот всего нам прибытку». Так ненавязчиво, исподволь сопрягает писательница свои нравственные оценки драматических событий с их социальными оценками в исторической науке. Ведь бегство Изяслава из Киева в 1069 году было результатом бунта патристически настроенных городских низов, которые изгнали великого князя «за нерешительность в борьбе с половцами», за то, что, сильнее половцев страшась своих подданных, он побоялся вооружить их против общего врага, угрожавшего городу...

Не то в романе В. Иванова, где Изяслав («было в нем что-то приятное, даже милое»), не сумевший унять горячность толпы, становится жертвой собственной злобности, беспечности, благодушия — только и всего! «Нет у Изяслава большой вины перед Киевской землей, чтобы, покайся, искать мира, любви. Нет и заслуг, чтоб за него Земля держалась». Потому и в изгнание он «удался, соблюдая достоинство, лошади шли шагом: не бегство — поход», и возвратился, встреченный «с честью», «с почетом». Если же, рассуждает в другом месте автор, и пролилось при этом «сколь-ко-то крови, то вытекло ее ничтожно мало, особенно на посторонний глаз: едва пятьдесят русских убили — капелька». Согласимся: странна эта «подушная» статистика, коль скоро речь зашла о человеческих жизнях. Но — увы! — она закономерна в образ-

ной системе романа, сюжетные коллизии которого направляет не объективный ход истории, а произвол авторской мысли, стремящейся снизить драматический накал описываемых событий, облагородить их действительных участников. Так мстит автору его неисторичная концепция, отзываясь в повествовании ослаблением аналитического начала, размывом социальных оценок и классовых критериев. Так создаются в романе «Русь Великая» иллюзорные представления о некоем классовом мире, единстве социальных устремлений «верхов» и «низов» древнерусского общества. «За князем у нас идут, а не князь гонит. Не пойдут, когда князь сзади останется. С бояр спрос еще больший», — говорит один из героев романа, боярин, охраняющий русское порубежье от набегов кочевников. И это в то время, когда уже прогремели первые раскаты грозных потрясений, которые неотвратимо приведут Русь к жестокой национальной трагедии на Калке и под Рязанью!.. «За наше ненасытство навел бог на ны поганые; а и скоты наша и села наша и имения за теми суть, а мы своих злых дел не оставим» — так осуждающе скажет о ней летописец, осмысливая пережитое. Этому необходимому суду над «злыми делами» истории и не нашлось места в романе В. Иванова...

Вернемся к романам П. Загребельного «Диво» и «Первомост». При всей их художественной неравнозначности — последний менее целен, менее строг и соразмерен, чем первый, заметно уступает ему в глубине психологического анализа героев, — они наглядно убеждают в том, что в своем современном требовании историзма и социальности художественной мысли, высказанном, в частности, и в интересной статье В. Канторовича «Острова», а не «материки»..., критика может опереться не только на негативные явления исторического романа, но и на его несомненные достижения. «Братся за исторический роман имеет, в сущности, право лишь литератор с разработанным социологическим мышлением»... Именно высокой культурой социологического мышления, последовательным неприятием вневременной идеализации прошлого выделяются романы П. Загребельного в современном потоке исторических повествований.

Не без внутренней, видимо, полемики с односторонней тенденцией идеализации древнерусской старины П. Загребельный счит нужным напомнить известные ленин-

ские слова, взяв их эпиграфом к роману «Первомост»: «...землевладельцы кабелили смердов еще во времена «Русской Правды». Этим конкретным историзмом, точностью классовых критериев, четкостью социальных ориентиров и следует выверять художественную концепцию личности и народа, народа и истории, развитую в обоих романах. Мысль писателя о народе как творце истории присутствует в них не декларативно. Воплощаясь в художественной ткани произведений, она определяет собой логику сюжета, развитие характеров, диктует нравственные оценки реальных и вымышленных героев. И, расширяясь в своем идейно-нравственном полифонизме, органично перерастает в мотив суда над историей, который вершит сам народ: силой образов и идей создаваемого им искусства — в первом романе, неуязвимым в веках патриотическим ратным подвигом — во втором. Так видит писатель и такой утверждает глубоко сокрытую «связь времен», которая сближает век нынешний и век минувший.

Исследуемая историческим романом, эта «связь времен» по-своему направляет и повествования Григола Абашидзе, хотя писатель не прочерчивает ее прямыми линиями сюжета, как делает это в «Диве» П. Загребельный. Но к той же философской теме личности и истории, человека и народа обращены его романы «Лашарела» и «Долгая ночь» («Художественная литература», 1970), повествующие о закате «золотого века» Грузии в преддверии «долгой и непроглядной ночи» монголо-татарского ига. Противоречие между величием этого «золотого века» и изнутри подтачивающей его разрушительной работой истории питает в обоих романах социальные конфликты и нравственные коллизии, укрупняет их драматизм, отзываясь в раздумьях действительных и вымышленных героев о судьбе человеческой и народной.

Неверно было бы принимать эти раздумья за окончательную научную истину. Ища разгадку личности в историческом процессе, гневно обличая «червь беспечности и самодовольства» как первоисток духовного одряхления поколений, оказавшихся неподготовленными к «черным дням» национальной истории, герои Г. Абашидзе всегда принадлежат своему времени, которое и определяет уровень их социально-исторического мышления, воплощают черты людей, живущих в духовной атмосфере своей эпохи. Потому и мысль их об утраченных величии

и единстве нации сочетает подчас несовместимое: законную национальную гордость и кичливое национальное чванство, осознание национальной самобытности и проповедь национальной исключительности, веротерпимость и религиозный фанатизм, суровый реализм в понимании дней нынешних и романтическую идеализацию дней минувших. Но чем пестрее контрасты мысли, тем драматичнее выглядит духовный поиск человека, его неостановимый порыв к прекрасному, к вечным, нетленным истинам бытия...

Утверждению их — и здесь очевидна идущая от общности идейно-творческих позиций писателей переключка между романами Г. Абашидзе и П. Загребельного, видящими нашу современность достойной восприимчивой культурного наследия минувших веков, — служит тема искусства. Органичное вовлечение ее в образный строй повествований углубляет их идейно-нравственный полифонизм. Именно с мотивом неистребимости искусства связывают писатели мысль о безграничии духовных потенций нации, творческих сил народа как вершителя истории. И именно самоотвержение слова поэта, неподкупность кисти художника, бескорыстие их порывов к прекрасному противостоят в романе суетному властолюбию, близорукой беспечности и самодовольному благодушию царедворцев.

Каждое новое поколение застает историю такой, какой ее создали предшественники, и не в его силах изменить прошлый исторический опыт. Современники не переделывают прошлое, они только осмысляют его, выявляя связь со своим временем, с духовными запросами своей эпохи. Историческая наука дает объективную картину прошлого, восстанавливает истину минувших событий, выявляет их движущие закономерности. Нравственный суд над прошлым вершит литература. У нее свои «счеты» с историей, потому что историческая логика не всегда сродни логике художественной, которая ей одной доступными духовными критериями измеряет привычные понятия прогресса и реакции. Историк, к примеру, вправе отметить прогрессивную роль последнего султана Хорезма Джелал-эд-Дина в фанатичной борьбе с Чингисханом, но для художника важнее всего будет выявить его человеческое содержание. Потому и в романе Г. Абашидзе «Долгая ночь» Джелал-эд-Дин выступает как «злая судьба Грузии, ее рок»: никакие исторические заслуги не застыт пи-

сателю аморализм кровавого деспота и тирана, который насаждал фетишизм слепой веры в свое могущество, освященное безудержным насилием. Да и были ли они, эти заслуги, если не высокая благородная идея вела хорезмшаха, а всего лишь соблазнительный пример тирании «рыжебородого желтокожего идола», вызывая честолюбивое чувство зависти и толкая на тщеславное подражание, направлял удары его меча?..

Нет надобности говорить много о том, как близко задачам современной идеологической борьбы это последовательное развенчание идей мирового господства. Оно целит ныне во множество фигур, включая и тех претендентов нескрываяемо шовинистического толка, которые во имя самооправдания перед историей воскрешают даже зловещую фигуру Чингисхана. Того самого Чингисхана, который «страх перед собой, перед своей личностью... возвел в ранг священного трепета. Безотчетный страх незаметно превратился в безотчетное преклонение, великий страх незаметно преобразовался в великую любовь!». Но отнюдь не всесильна, оказывается, любовь, которая питается страхом перед идолом и в существе своем сродни идолопоклонству. Этот неослабный урок давней истории. приблизил нам Г. Абашидзе романом «Долгая ночь» — произведением большого трагедийного накала и высокого жизнеутверждающего звучания...

3

Как ни различны произведения украинского и грузинского писателей и по манере авторского повествования о прошлом, и по принципам связи этого национального прошлого с современностью, в образном строе их проступают типологически общие черты. Они свидетельствуют о том, что историческая романистика наших дней, взятая в целом, обогащается новыми качественными особенностями, связанными и с углублением ее философской концептуальности, и с усилением идеологической наступательности. Это сказывается на жанровой природе современных повествований о прошлом, на преобразовании их внутренней структуры.

Не случаен, например, отход современной исторической романистики от формы романа-биографии, который преобладал в ней два-три десятилетия назад. Высшие обрете-

ния того времени — «Путь Абая» М. Ауэзова, «Навои» Айбека, произведения большого эпического масштаба, — уже несли эту плодотворную тенденцию расширения сюжетных границ повествования, обозначенных действительной биографией главного героя — реального исторического деятеля, крупной, исключительной личности, чья жизнь словно бы аккумулировала в себе опыт национальной истории. «Вместе с Абаем, становящимся постепенно духовным оком своего трудового народа, я старался постичь душу этого народа и раскрыть ее в лучших ее проявлениях. И пылкие чувства юного Абая, раздумья и деяния зрелого Абая, борьба и драмы Абая — наставника, заступника народа в преклонные годы его жизни — все вместе должно было открыть пути к душе народа его эпохи. Абай — зрячее око, Абай — отзывчивое сердце, Абай — мудрость народа в моих поисках, в целом, является воплощением чувств, дум, волевых порывов Абая, души его, сокровенного в нем. Во имя такого замысла и был взят мною образ Абая», — говорил Мухтар Ауэзов о своей эпосе, давшей широкую панораму кочевой казахской степи через раскрытие образа главного героя. Вне этой конечной творческой задачи, мастерски решенной писателем, его роман-биография был бы неизбежно обречен на самоограничение.

Художественной мысли, как правило, тесно в узких пределах одной биографии, ее строго документированных фактов, если они не соотнесены с широкими картинами, глубинными пластами народного бытия. Не имея возможности пробиться к ним, повествование писателя в таких случаях сбивается на рассудочную риторику и велеречивую декларативность, как происходит это в романе Николая Строковского «Жизнь во втором чтении» («Радуга», 1971, №№ 3—4) — о драматической судьбе и «трудной благородной жизни, которая сияла даже в сумраке тюремных лестниц», судьбе и жизни выдающегося украинского поэта-революционера Павла Грабовского.

«Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом», — писал В. И. Ленин о самоотверженном подвиге народников, их заслугах перед историей революционного движения в России. К славной плеяде народнической интеллигенции, которая, напоминает писатель, напряженно искала себя в народе, искала правду, искала пути борьбы», и принадлежал герой романа. Су-

ровое время лепило его яркий, волевой, негибкий характер, снова и снова выдвигая «один и тот же вопрос, который вслед за Чернышевским повторяла более двадцати лет революционная Россия: — Что делать?». Тем более важно было, повторяя меткие слова К. Федина, сказанные о мастерстве Юрия Тынянова, «возвысить роман-биографию до романа-истории» — передать взаимопроникновение характера и эпохи, соотносить судьбу человеческую и народную. Этого нет. История народнического движения, с которой тесно сплелась героическая жизнь Павла Грабовского, многотрудные пути, которыми шли «молодые штурманы будущей бури», воспроизведены в романе Н. Строковского по преимуществу хроникально, справочно, информационно. И, к сожалению, нередко в обход даже тех заведомо выигрышных коллизий, которые, возникнув в романе под неотразимым воздействием реального материала истории, могли бы действительно проявить внутренний мир и самого Павла Грабовского и окружающих его персонажей. Вот, например, одна из них, вводящая нас в предысторию известного Чигиринского дела:

«— ..Решили поднять крестьянский бунт. Сыграли на том, что в народе жива вера в царя-батюшку. Царь-де добрый, только окружают его злые люди. Скрывают от батюшки правду святую. Не ведает царь про горести народные. А коли б узнал, не дозволил бы измываться над человеком.

— Но ведь это... это нечестно!

— Честно, нечестно... Такие слова не имеют значения для революционера, борющегося против самодержавия.

— Да?

— Наши главари верили, что восстание, словно огонь, перебросится со стрехи на стреху. Начнется великий крестьянский бунт!..

...— И все же обман!

— Не пойму. Какой обман?

— Крестьян обманули. Сыграли на темноте.

— Сыграешь и на черте, коли надо!»

Вслушаемся в этот тревожный диалог. Казалось бы, все необходимое заложено в нем для того, чтобы, оттолкнувшись от четко обозначенных разных позиций, одинаково неуступчиво исповедуемых двумя героями романа, направить их мятущуюсь мысль к большим, напряженным раздумьям о нравственности революционной борьбы, моральной бескомпромиссности революцио-

нера. Ведь ей, мысли, еще многое предстояло преодолеть и осознать, чтобы самой до конца увериться в притягательной силе своих идеалов, а значит, и в необходимости бережно хранить их незапятнанную чистоту. Преодолеть заблуждения, среди которых прагматические иллюзии занимали не последнее место. Осознать неправомерность роковых ошибок, которые совершались подчас в угоду утилитарно понятым высшим целям... Однако, оборвав своих героев на полуслове, писатель не воспользовался ни одной из возможностей к развитию и углублению их характеров, которые таила в себе чутко угаданная тема духовных, нравственных исканий. И даже пошел на обидное измелчение этой темы, когда таким образом прокомментировал поведение Павла Грабовского на очередном следствии: «И он избрал курс, испытанный ранее и лежащий между признанием и сокрытием: признанием доказанного, неоспоримого, раз оно уже известно, и сокрытием того, о чем следователь не знал и что хотел выведать у обвиняемого. Эта петляющая тропа, не отличавшаяся, с точки зрения «высокой морали», «высокой нравственностью», не могла ухудшить положения друзей, не ставила и его в наихудшее положение». Ведь очевидно, что речь здесь идет уже не о том, о чем спорили герои романа в приведенном выше диалоге, а совсем о другом. О правилах подпольной конспирации во время допросов и следствий, а не о содержании морального кодекса революционера, который постепенно складывался из незыблемых этических норм и нравственных принципов, от поколения к поколению кристаллизуясь в неослабном поиске результативных путей борьбы с самодержавием, действенных средств агитации в народных массах. Такая подмена понятий мстит писателю, упрощает решение сложных проблем.

То же в другом случае, когда, в полном согласии с историей, Павел Грабовский справедливо сетует на то, что «ни народо-вольцы, ни чернопеределцы не занимаются национальным вопросом. Будто такового в России не существует!». Снова «большой» вопрос, остро возникший в практике революционной борьбы народников. Но снова, едва коснувшись его, писатель не дает ему сколько-либо заметного отзвука ни в движении сюжета, ни в подспудных движениях души своего главного героя. Информационное обозначение эпохи то и дело замыкает его мысль в пределах сиюми-

нутного наблюдения, вынуждает скользить по поверхности жизненных явлений, не проникая в их глубинную суть. О сокровенном в душе Павла Грабовского нам чаще всего приходится узнавать не из его непосредственных действий или переживаний, а из авторских сообщений, имитирующих напряжение духовного поиска: «Павел не находил себе места», «сердце было в цепях», «время затягивало рану», «понекому затягивалась душа ряской, тускнела». И даже вдохновенные моменты наивысшей самоотдачи в творчестве, «когда мозг озарялся сполохами и из хаоса чувств, мыслей, красок таинственно возникал зыбкий образ», приходится принимать на веру, мирясь со множеством дежурных описаний непостижимого «таинства рождения слова», которые ведут скорее в пресловутую башню из слоновой кости, нежели в полнозвучный мир жизни и борьбы, питавший замыслы поэта-революционера. Этот необъятный мир народного бытия как раз и оставлен за пределами романа-биографии, строго замкнутого в своих «чистых» жанровых границах.

В многообразии современных повествований о прошлом подобные жизнеописания исторического деятеля все явственней отступают перед живописанием событий самой истории, которые складывали и формировали национальное самосознание народа, оказывались переломными и поворотными в его судьбе. Поэтому стремление писателя к широкому, панорамному изображению прошлого, к созданию больших эпических полотен сопряжено сегодня с художническим постижением внутренней логики исторического развития, подчеркнутым погружением в напряженный ход национальной истории. с углубленным вниманием к судьбам его рядовых участников, необратимо вовлеченных в движение народных масс.

Неся в себе зерна подлинной эпичности, даже небольшая по объему повесть Дмитрия Балашова «Господин Великий Новгород» («Советская Россия», 1970) смогла выразить характерные особенности этого ведущего процесса. Повесть — произведение широкозахватное. Жизнь древнего Новгорода в канун Раковорской битвы и после новой его победы над Ливонским орденом воспроизведена писателем в ее многоразветвленном течении, охватывающем сферы политики и торговли, искусства и морали, труда и быта. Потому не только купец Олекса Творимирич, к которому так или

иначе сходятся все сюжетные линии повести, выступает ее героем. Подлинный герой здесь — сам Господин Великий Новгород, его многоголосый торговый и ремесленный люд, шумливый на вечевом сходе, степенный в церкви, хлопотливый на торге, бесстрашный в рати. Не случайно и в кульминации повести не незадачливый князь Юрий, который трусливо «вда плечи», и даже не «вятские мужи новгородские, в харалужных, украшенных серебром и золотом бронях, в красных, подбитых соболями корзнах, слишком гордые, чтобы отступить хотя на шаг, и потому обреченные смерти», решают исход кровопролитной Раковорской битвы. Трудную победу в ней предрекло «Пешее новгородское ополчение» мастеровых людей, «ощетиненных копьями, рогатинами и топорами, орущих грозно и дружно, перекрывая шум битвы за спиной». С «чувством, ему самому непонятным, даже не радости, нет, чего-то большего», взирает на них воевода Елферий Сбыславич: «Хотелось пасть в ноги им за все беды, за поборы, за равнодушие, за вражду, за хитрые увертки на вече и предательства в совете вятских, всем этим плотникам, кузнецам, медникам, корабельникам, стригольникам, этой пешей или сейчас сошедшей с коней, непривычных для ремесленного люда, городской рати, которая вступала в дело теперь и, не желая понимать, что проиграна рать и разбит полк новгородский, остервенелым валом катилась не назад, а вперед»...

Подобные социальные акценты, четко расставленные писателем, удивительным образом остались незамеченными в критике, с заслуженным интересом встретившей повесть «Господин Великий Новгород». Это вынуждает внести необходимые уточнения в высказанные оценки. И прежде всего не согласиться с мнением С. Котенко, увидевшего в Олексе Творимириче «полномерный национальный характер» не только «той поры», но «в существенном — и нынешней» («Наш современник», 1970, № 10). Рискованное допущение, если учесть, что герой Д. Балашова отдален от нас ни много ни мало семью столетиями. И выписан в повести вовсе не идеальным рыцарем «без страха и упрека», способным на веки вечные явить некий эталон русского национального характера. «Все-таки ловок Олекса, удачлив во всем, все ему сходит с рук!» — не однажды напоминает писатель, раскрывая своего героя в торговом деле, где

он и оборотист, и прижимист, и расчетлив, и даже добр не бескорыстно, а с дальним прицелом на выгоду, чтобы свое не упустить и лишнее урвать. Одним словом, человек своей эпохи, своей социальной среды и, разумеется, своих сословных предрасудков. Не считаться с ними значит искусственно выделять в повести ее этнографический элемент, действительно мастерски выписанный Д. Балашовым, но отнюдь не самодовлеющий.

Вот один из примечательных эпизодов, характеризующих образный строй повести. В гридне братства заморских купцов новгородский певец ведет свой неспешный сказ о Василии Буслаевиче. «Будил певец память о ссорах и спорах на вече и на пирах братчинных, боях на мосту Волховском, великом. И не понять было, над кем смеется певец. То ли над купеческим братством воштинным — кто так и понял, — то ли над ними, купцами заморскими?... А потом «гибнет Васька, сломил наконец голову, прыгая через долгий камень».

— Против бога пошел! Тут уж ему конец... «А может, против мира!» — смутно подумал Олекса. Иные взгрустнули даже»...

Обратим внимание на точные социальные и психологические реалии времени, которые то и дело всплывают в сознании людей, чутко отзывающихся на сказ певца. «Тут все было свое, новгородское», — роняет писатель, открыто высказывая свое отношение к происходящему. И продолжает в развитие сцены: вряд ли кто из братчинников знал, «какая долгая жизнь суждена этой были, что будут передавать ее мужики один другому, отец — сыну, дед — внуку, что через сотни лет доброй славы отзовется она по всей великой Руси...»

Еще труднее было предугадать им, братчинникам, те удивительные интерпретации, которым подвергнут их любимого героя некоторые критики, увидев сегодня в былинах о Ваське Буслаеве не высокий взлет народной фантазии, опозитизировавшей «свое, новгородское», а безоглядное любование «буслаевским началом» как своего рода стереотипом «русской натуры», русского национального характера.

Так, в частности, поступает В. Чалмаев в статье «Бурлацкий заквас» («Наш современник», 1970, № 11), объявляя новгородского молодца литературным родоначальником Тараса Бульбы и Ноздрева, Рогожина и Мити Карамазова, Егора Булычова и Василия Теркина и многих других героев рус-

ской классики и советской литературы (включая героев Г. Коновалова, творчеству которого посвящена статья) — «беспокойных, шальных натур», чье явление в народной среде всегда сопровождали «укоризна и любовь, и еще мудрая мысль о том, что «кто пьян (то есть весел) да умен — два угодя в нем»... И только головы, не представляющие порядка без однообразия, разумности — без пресной скуки биржи, не могут понять этого»... При чем тут, спрашивается, «скука биржи», если обуздание стихии «буслаевщины», направляемой в русло сознательной, организованной и планомерной борьбы, было объективным пафосом многих произведений первых послеоктябрьских лет, донесших эпический размах событий революции и гражданской войны? Не полемическим ли вызовом этому от жизни идущему пафосу вольно или невольно звучат сегодня слова критика? Поэтизируя «буслаевскую» стихию», В. Чалмаев низводит жизненное богатство и разнообразие разных литературных характеров — социальных типов своей эпохи — до заданного прокрустова ложа «бурлацкого закваса». В нем олицетворен, по критике, «все тот же прибой озорной, буйной любви к жизни», «дух неуходившейся озорной молодости, свободы», «очарование бесшабашности, лихой силы», что неизменно бродит в русских «людях разгульной замашки». Никого «преданней в дружбе, искренней в любви, прилежней в труде» не знает автор статьи, убежденный, что, «отказываясь от «озорников», мы отказываемся от чего-то яркого, самородного в жизни, сужаем представление о богатстве народной души»... Но ведь богатство души предполагает широту проявления разных сторон натуры, разных качеств характера, оно выражается в многообразии поступков и действий. Много ли останется от богатства, если оно окажется скроенным на одну колодку «буслаевщины»? Право же, «общий знаменатель» нужен лишь при сложении и вычитании дробей. В «человековедении» польза от него невелика...

Не временным нормативам рассудочной критики, а социальным законам исторической действительности подчинены народные характеры повести Д. Балашова. Следуя в их раскрытии принципам реалистической поэтики жанра, писатель видит множество величин, слагающих неповторимую личность героя, строй его души, образ мысли. Как ни живописен поэтому этнографический эле-

мент повести, он органично сопряжен с главным в ней — с последовательным историзмом аналитического взгляда на людей и события давней поры. Принципиально чуждый наивной идеализации «новгородских вольностей», подменяющей народное единство перед лицом общей угрозы или опасности иллюзиями классового мира, этот писательский взгляд всегда остросоциален. Мало того, что им вызван жесткий нравственный суд над великим князем Ярославом Ярославичем («В ту же породу, да не в ту же стать!» — говорят о нем герои повести, сравнивая с Александром Невским) и боярином Ратибором Клуковичем, который выведен сатирически, как «прихвостень» князев, его «известный сторонник и наушник». Даже не меркнувший в народной памяти образ Александра Невского освещен этим взглядом, даже массовые сцены ратного похода новгородцев на Раковор пронизаны им. Вот почему мы в одинаковой степени погрешили бы и перед самой историей и перед повестью Д. Балашова, если бы в напоминании о том, как «тяжела была рука у Олександра, тяжела и для бояр и для купцов, а всего тяжелей для простой чади», увидели умаление его великих исторических заслуг. Или, равным образом, на счет унижения достоинства новгородских простолюдинов списали бы ту неправую жестокость, которую чинили они на чужой земле: «Пока шли по своим землям, войско держалось дорог, обходило нивы, воеводы следили, чтобы не было грабежей и потрав. За Наровой конные отряды ушли в зажитье, и дальше путь ратей отмечался пожарами, отчаянным мычаньем и бляньем угоняемых стад, плачем испуганных детей и женщин. Ратники выючили добро на коней, ссорясь из-за добычи, рыскали по перелескам, выискивая чудинов, забирали полон»... И там и здесь торжествует истина истории, диалектически постигаемая и в возвышенных духовных проявлениях, подобных вдохновенному искусству иконописцев, которое «силою мастерства... почти уже спорило с божественным», и в обнаженной реальности «земного» бытия.

Видимо, с этой истиной и не посчитался В. Солоухин, признаваясь, что древний Новгород в изображении Д. Балашова произвел на него неослабное «впечатление свежести, крепости, устойчивости во всем» — от характера, облика человека до «уклада жизни» («Литературная газета», № 30,

1970). Что-что, а «уклад жизни» в Господине Великом Новгороде куда как драматичен и противоречив. Даже оставив в стороне повседневные заботы мастеровых людей, которым отдано немало писательского внимания, забыв о вдовьем плаче по не вернувшимся из-под Раковора ратникам или униженном положении закупов («Закуп не вольный человек!» — говорится об этом в повести), нельзя не заметить, как часто социальные драмы эпохи врываются и в устоявшуюся, благополучную жизнь удачливого Олексы. И как драматически отзываются при этом в его душе то отчаянной мыслью о «едином законе», которому, оказывается, сплошь «подлецы нужны», то горьким раздумьем о разорении русской земли татарами, перед которыми князья «поодинке» не устояли, то униженным осознанием собственного бессилия воспрепятствовать сумасбродству великого князя, замыслившего «двинуть полки на Корелу», дабы «братью свою воевать». Где уж тут крепость и устойчивость, о которых пишет В. Солоухин, — одна иллюзия, принятая за истину... Видимо, представления писателя о национальном прошлом, отстраненные от исторической реальности далеких эпох, несколько идиличны. Это красноречиво сказалось и в предисловии В. Солоухина к книге грузинского прозаика Григола Чиковани «Радость одной ночи» (Тбилиси, 1969). «Всякий народ вообще нужно рассматривать как единое целое во временной протяженности, а не стричь его историю ножницами на куски», — заявил он, по справедливости высоко оценивая эту книгу, но и невольно обедняя при этом ее социальное содержание. «Стричь» историю, конечно же, не стоит. Но видеть ее направляющее движение в динамике социальных и духовных перемен необходимо, чтобы не поддаваться заблуждениям насчет извечности родниковых начал и истоков национального самосознания народа. Ведь потому-то они и родниковые, что бьют живой, а не застоявшейся водой...

4

Разумеется, нынешнее движение исторического жанра, одинаково плодотворно захватившее и объемные романы П. Загребельного или Г. Абашидзе, и небольшие сравнительно повести В. Пановой или Д. Балашова, ведет не к разрыву со стойкими традициями эпического повествования, которые сложились на прошлых этапах раз-

вития исторического романа, но означает продолжение и обогащение их, возведение в новое идейно-эстетическое качество. Важно оговорить еще одно обстоятельство. Речь идет не о приравнивании одних художественных ценностей к другим и тем более не о принижении одних за счет других, а единственно о направленности творческого поиска писателя. Это не исключает, однако, необходимости критического отношения к потерям, которые дают о себе знать в отдельных произведениях, появившихся на волне общего потока. Утверждение нового, к сожалению, порой сопровождается в них утратой ценных качеств исторической романистики, накопленных предшественниками.

Начать с самого очевидного, что было уже частично отмечено на примере романа Н. Строковского «Жизнь во втором чтении», — с обилия информации о людях и событиях минувших эпох. Захлестывая в иных случаях писательское повествование, оно резко сужает его исследовательские плацдармы, заметно обедняет социально-аналитические возможности, приглушает современное идеологическое звучание.

Спору нет: роль описания в историческом повествовании иная, нежели, скажем, в социально-психологическом романе о современности. Рассказ от автора о событиях ли минувшего, о биографиях ли их участников бывает часто и необходим и неизбежен. Особенно во имя изложения впервые освоенного материала истории, которое может включать в себя даже прямую авторскую оценку вновь добытых фактов. Но все же и здесь существует предел, превышение которого превращает описания в элемент самодовлеющий. Ожидаемая новизна, художественное первооткрытие исторической темы неизбежно подменяются в таких случаях популярным изложением материала, которое отвечает задачам не столько исследовательским, сколько познавательным.

Этот опасный предел описательности заметно превышен, например, в романе Толегена Касымбекова «Сломанный меч», действие которого относится ко времени ожесточенной междоусобной борьбы кокандского хана и бухарского эмира, завоевательных походов царизма в Среднюю Азию. Это первый исторический роман в киргизской прозе. Тем поучительней его творческие уроки, касающиеся как несомненных обреченностей, так и бесспорных издержек.

Т. Касымбекову удалось передать движение времени, исполненного бурных, пере-

ломных событий, которые дают мощные импульсы для утверждения национального самосознания народа, обогащают его социальным чувством, наполняют классовым содержанием. Распад родовых и племенных связей в кочевой степи, исподволь вызревающая в людях мысль о единстве угнетенных, их растущий протест против ханской власти — все это реальные психологические сдвиги, раскрытые писателем в динамике становления, в диалектике противоречий, вошедших в нравственный опыт личности, в социальный опыт народа. Так возникает в романе историческая перспектива, знание которой дает писателю возможность ставить своих героев перед судом времени и его высокой мерой измерять не только судьбу человеческую, но и историю нации, не боясь приговора архаичным чертам давнего быта, косным традициям старины. В них писатель зорко различает один из первоисточков многих национальных драм, разлада и междоусобиц. «Седобородых стариков и юнцов объединяло одно желание, одно чувство. Честь! Во имя одного этого слова стеной нерушимой вставали кочевники, во имя этого слова горели города и сталкивались в кровавых битвах племена и народы. В слове этом сила кочевников — и беда их»²... Заметим — сила и беда одновременно; пронизательная мысль писателя не довольствуется пассивным созерцанием прошлого, стремится постигнуть историю народа в единстве ее резких контрастов, острых, подчас несовместимых противоречий. Их накалом и вызваны эти нескрываемо пристрастные раздумья о чести истинной, осознанной или ложной, фетишизированной, созвучной свободному чувству национального достоинства или влекущей в плен племенным и сословным предрассудкам — не единственный в романе пример осмысления прошлого с четких идейно-нравственных позиций современности.

Но при всем том взаимопроникновение судьбы человеческой и народной не всегда дается писателю. Биография героя и история народа существуют как бы порознь в тех особенно главах романа, которые, являя собой экскурс в прошлое Кокандского ханства, изобилуют подробностями дворцовых интриг, заговоров и переворотов. Изложению их сопутствует публицистический комментарий автора, подчас

² Цитата из романа Т. Касымбекова дана по рукописи перевода.

наивный, перегружающий повествование избыточной информацией. Лишь отдельными островками, не затопленными этим потоком, остаются тогда в романе картины и сцены, исполненные социального драматизма, подобные той, в которой изображено посвящение Шерали в правители Коканда, когда меч, обгащенный кровью жертвенника Ашира, вручается ему как знак ханского благородства и радения о судьбе народной...

Не будет преувеличением сказать, что историческая романистика в целом не избалована вниманием критики, серьезным анализом ее богатого идейно-художественного опыта, обретений и потерь в свете общих закономерностей современного развития жанра. Тем легче в оценки конкретных явлений проникают односторонние критерии, которые нивелируют идейно-эстетические задачи исторического романа, подменяют их задачами научно-популярными. Небрежение первыми и абсолютизация последних едва ли не «программно» заявлены, например, в книгах историка В. В. Каргалова «Древняя Русь в советской художественной литературе» и «Московская Русь в советской художественной литературе» («Высшая школа», 1968, 1971).

В них собран обширный материал, скрупулезно прокомментировано множество фактических неточностей и прямых ошибок, больших и малых отступлений от фактологической основы, допущенных авторами исторических повествований. Нет оснований сомневаться в полезности этой работы, как равным образом и в справедливости большинства уточнений. Взыскательный писатель всегда охотно прислушается к ним и учтет при переиздании романа. И тем самым, как говорится, закроет тему, которой посвящены работы исследователя, хотя задача целостного рассмотрения современного идейно-художественного опыта исторического романа так и останется нерешенной. Мало того: вряд ли вообще возможно решить ее на условиях, единственно предложенных В. В. Каргаловым, — «достоверность, полное соответствие исторической правде, фактическая точность». Категорически предъявляя эти регламентирующие условия «к художественной литературе исторического жанра», автор покушается, по существу, на основы писательского творчества, — на образную специфику искусства, чьи зако-

ны исторический роман признает над собой ничуть не меньше, чем любой другой литературный жанр.

«...Художественный, то есть образный, анализ документа — одно из самых увлекательных дел историка-романиста», — говорит об этом Мариэтта Шагинян. «В исторических романах документальность правомерна, но надо уметь читать документы, надо их расколдовывать, размаскировать, а это дело художника... Документ очень часто не открывает, а скрывает правду. В историческом романе он должен помогать автору в создании атмосферы, настроения, направления эпохи, должен стать строительным материалом сюжета, а для этого надо ставить документ на ребро, — и это, поверьте мне, требует всей творческой интуиции писателя и острой работы мысли»...

«Ставить документ на ребро» — удивительно емкое определение, образно утверждающее за историческим романистом неоспоримое право на высокий полет фантазии, воображения, домысла, который возможен лишь на основе творческой переработки научных знаний, но никак не их фактографического изложения. Не признавать этого значит умозрительно возносить правду факта над правдой художественного обобщения и, не считаясь с критериями эстетическими, снижать требовательность к идейно-художественному качеству произведения. Таким, собственно, путем и идет В. В. Каргалов, когда, пренебрегая понятием мастерства, нередко уравнивает в правах талантливый роман писателя и ремесленную поделку беллетриста, а порой даже предпочитает последнюю первому, лишь бы была она фактографически достоверна, лишь бы обнаруживала свое «полное соответствие» с историческими источниками. Здесь, однако, происходит парадоксальное. От насильственных операций по сопоставлению исторического романа (например, трилогии В. Яна) «с данными исторических источников» в первую очередь страдает та самая «правда истории», о соблюдении которой более всего беспокоится исследователь. Еще бы: не в характере героя романа, не в строе его души и образе мысли, передающих социальную и духовную атмосферу эпохи, видится ему эта правда, «человековедчески» постигнутая художником, а всего лишь в достоверности исторической информации, которую содержит писатель-

ское повествование. Право же, согласившись с этим, мы не имели бы оснований ни на критический разбор романа Н. Строевского, ни на упреки Т. Касымбекову. Ведь сама проблема мастерства исторического романиста, эстетической ценности произведения, его художественных достоинств и издержек перестала бы занимать нас в таком случае...

Не приходится спорить с тем, что широка и основательность научных знаний необходимы историческому романисту, ибо его произведение, как отмечал еще Белинский, становится «как бы точкой, в которой история, как наука, сливается с искусством». Но столь же бесспорно, что отнюдь не дело литературы всего лишь перелагать, дублировать историю, ее задача — образно пересоздавать прошлое, выявляя в его бурных и напряженных событиях, сложных драматических судьбах героев высший человеческий и гуманистический смысл, с позиций современности извлекая его глубинные идейно-нравственные уроки.

Не это ли несовпадение научных и творческих задач объективного изучения истории и ее художнического пересоздания определило в свое время различия между «Капитанской дочкой» как исторической повестью и «Историей Пугачева» как историческим исследованием? Не в силу ли его, далее, и эпопея Л. Толстого не была воспринята современниками только как роман исторический, хотя была им по существу? «И как бы ни был написан роман «Война и мир», конкретную войну 1812 года нельзя изучить по этому роману. Он может дополнить учебник истории, но не заменить его», — заметил С. Залыгин, размышляя о том, как современность всегда неудержимо вторгается в историю, едва писатель обратит свой взгляд в прошлое. «Писатель может прожить год или два в пещере каменного века, как можно ближе к образу и подобию своих пращуров, но как только он возьмется за перо, в его описание этой жизни сейчас же проникает современность. Все, что он напишет, будет написано с точки зрения XX века»...

Между тем случается иногда так, что на пути этого необходимого пересоздания прошлого, переосмысления его с идейно-нравственных позиций современности непреодолимо встает научная неразработанность многих пластов народной истории.

Естественная потребность освоить «белые пятна» вынуждает тогда автора романа принимать на себя задачи не только писателя, исследующего историю по специфическим законам художественного познания, но и ученого, восполняющего пробелы в исторической науке. Это не может не подорвать образное единство произведения, не привнести в его художественную ткань чужеродные интонации комментария к действию, элементы описательности и иллюстративности. Но даже в таких случаях объективные причины лишь объясняют их появление, а никак не оправдывают. Чем бы ни вызывалось в романе фактографическое изложение сведений об истории, оно всегда ограничивает писателя в возможностях творческого воображения, художественного вымысла. А без этого нет и глубоких обобщений прошлого, способных вместить в себя социальный и нравственный опыт народной жизни. Вот почему ослабленность пересоздающего начала нередко бывает чревата опасностью поверхностного истолкования фактов истории, примитивного изображения событий и героев даже при всем видимом документализме повествования.

Нет, например, оснований упрекать Григория Вермишева, автора романа «Амирспасалар» (Воениздат, 1968), в недостаточности исторических знаний. Об этом убедительно свидетельствуют драматически выписанные батальные картины романа, посвященного истории грузинского царства, трагические сцены кровавой расправы Георгия III с участниками феодального заговора, многие эпизоды из жизни городского ремесленного люда, поэтичные описания традиций народного быта, обычаев и обрядов, органично вплетенные в сюжет повествования легенды и сказания по мотивам древнего эпоса. Однако реальный материал истории не всегда поднят автором до уровня больших художественных обобщений, философски насыщенных, социально емких, что нередко оборачивается упрощенностью социальных, односторонностью нравственных оценок. Это заметно сказалось на изображении главного героя романа — амирспасалара Захария Мхаргрдзели. «Железный полководец», он с «доброй улыбкой» рассуждает о жестокостях войны, которая несет людям «великое несчастье», и, до слез «растроганный солдатской заботой», говорит о том, что его «жизнь принадлежит всему народу». Могущественный феодал,

«некоронованный властитель Армении», он то и дело наставляет подвластных в рade-нии об общественном благе и, боясь, что «совсем захудают черные люди», освобождает их «на два года от всех податей, десятин и от барщины господской». Одним словом, даже не филантроп-просветитель, а «правитель вольнодумный».

Такая насильственная идеализация исторического персонажа облегчает превращение его в романтического героя, «виляя», томимого невысказанной страстью, которая принесена в жертву государственным интересам: «Нет у правителей личной жизни». Та же роковая, жертвенная любовь терзает в романе и царицу Тамар, которая часто выступает в книге не столько самодержавной правительницей феодального государства, сколько изысканной светской дамой, чьи «звезды-глаза», блестя «неизъяснимо», источают «лучистый взор». Вряд ли столь «рыцарское» отношение к героине, имеющей реальный исторический прототип, достойно серьезного романа-исследования. Оно неисторично так же, как ритуальная лесть придворного летописца, называвшего Тамар «кроткой и приятной, разумной и сметливой». Тематически близкий произведению Г. Абашидзе роман Г. Вермишева уступает им и в последовательности конкретно-исторического взгляда на изображаемую эпоху, и в глубине социально-психологического анализа характеров и обстоятельств.

Эти нарушения правды, научной и художественной, — неизбежное следствие отступлений писателя от непреложных условий реалистического повествования — от последовательного историзма, четких социально-классовых критериев в восприятии событий прошлого. Наивно-идеалистическое освещение их ведет к романтической беллетризации истории, толкает на бесплодный путь поисков неких «вечных начал» бытия, которые оказываются началами отвлеченными и вневременными. А сама история из поступательного процесса, направляемого социальным творчеством народных масс, превращается в некий круговорот абстрактных, изначальных понятий добра и зла.

5

Такой, кстати сказать, воспринял ее Лион Фейхтвангер, когда в послесловии к одному из своих романов сказал, что «наивысшая

цель» исторического романиста — представить в действии «постоянные, неизменные законы», которые движут «народами... с тех пор, как существует писаная история», и «определяют современную историю так же, как определяли историю прошлого». Нет нужды доказывать, что творческая практика Л. Фейхтвангера, большого и признанного мастера исторического жанра, далеко опережала эти теоретические построения об извечности борьбы добра и зла на арене мировой истории. Однако защита писателем концепций социального и нравственного фатализма безусловно говорит о том, насколько широка сфера их влияния в буржуазной исторической романистике.

Этому фатализму противостоит советский исторический роман, лучшие достижения которого плодотворно обогащают современное художественное мышление необходимыми качествами историзма и социальной ответственности. Тем самым его творческий опыт, взятый в целом, нередко обгоняет развитие критической и литературоведческой мысли, предостерегает их от ошибок внеисторического взгляда, от размыва четких классовых критериев и социальных ориентиров в представлениях ли о национальном прошлом народа, его культурном наследии, в современном ли истолковании понятий народного и национального.

Вернемся в этой связи к памятной статье В. Чалмаева «Неизбежность» («Молодая гвардия», 1968, № 9), в которой эти ошибочные позиции были заявлены, пожалуй, наиболее откровенно. Обоснованно ведя с ними спор по главному счету, критика оставила в стороне многие «частные положения» В. Чалмаева, касавшиеся и современного опыта исторического романа. Связанные с общим пафосом статьи, они также не могут не вызвать самых энергичных возражений.

И «Русь Великая» В. Иванова, и «Господин Великий Новгород» Д. Балашова, и «особенно большой роман старейшего русского писателя» Вс. Н. Иванова «Черные люди», на взгляд критика, «знаменуют собой начало нового этапа освоения русской истории. прерванного отчасти после патристического подъема Отечественной войны». Особенности этого нового этапа видятся В. Чалмаеву в том, что «в исторических романах последних лет такое большое место... заняли цари, великие князья, а рядом с ними, но никак не ниже их, патриар-

хи и другие князья церкви, раскольники и пустынножители... Думается, что разбор большинства названных выше произведений избавляет нас от необходимости, споря с критиком, еще раз настаивать на непрерывности лучших идейно-художественных традиций советского исторического романа, включая последовательные традиции демократизма в изображении его главного героя — нетитулованного выразителя судьбы народной. Важнее обратить внимание на приемы критических мистификаций, призванных представить современный опыт исторического романа не в объективном его содержании, а в прихотливом, своеобразном освещении, которое служит В. Чалмаеву для обоснования его умозрительных представлений о народности. Проводя их, он даже очевидные недостатки романа В. Иванова «Русь Великая» выдает за неоспоримые якобы достоинства, а действительный пафос повести Д. Балашова «Господин Великий Новгород», в которой на самом деле нет ни «царей», ни «пустынножителей», вообще замалчивает.

Участь этих превратно истолкованных произведений по-своему разделяет у В. Чалмаева и историческое повествование Вс. Н. Иванова «Черные люди» (М., «Советский писатель», 1963), где, заверяет критик, «русский мир XVII века — «соляной бунт», величие и падение высокоумного патриарха Никона, трагический пафос огнепального протопопа Аввакума, бунт Степана Разина, первопроходство Ерофея Хабарова, простосердечие царя «тишайшего» Алексея Михайловича — изображен писателем «в свете постоянного народного правосознания, единой «национальной идеи», роман заслуживал бы не поддержки, а осуждения. По счастью, в этом нет надобности, коль скоро истины истории приходится защищать не от Вс. Н. Иванова, а от критика, переиначившего писательский замысел. Причем, оговоримся сразу, защищать, отнюдь не обольщаясь литературными достоинствами романа «Черные люди» объемного, но слабо организованного, стилистически пестрого.

В обилии исторического материала, загромоздившего повествование Вс. Н. Иванова, нередко поданного к тому же информационно, хотя и расцвеченного при этом приблизительной беллетризацией, в частом мельтешении сцен и героев, не способных поразить своим ярким, колоритным «лица необщим выраженьем», писатель многое оставил недодуманным и невыписанным. Это вынуждает подчас укорять его за непоследовательность художественной мысли, за противоречивость исторической концепции и во имя их (не всегда достигнутой) цельности вносить неизбежные коррективы в социальные и нравственные оценки, предложенные романом. Неточность их чаще всего проступает в сценах, изображающих церковный раскол. «Ожесточенная религиозная война неслыханного еще в человеческой истории русского образца», — говорит о нем писатель. Однако некоторые социальные акценты, расставленные в этих сценах, произвольно превращают раскол в народное антикрепостническое движение, дают основание тому же В. Чалмаеву искать в расколе «созвучие» «прямоу освобождительному бунту Степана Разина». Ведь даже фанатизм раскольников, исторически предвосхитивший темную силу сопротивления петровским реформам, показан у Вс. Н. Иванова в ослепляющем романтическом освещении, «могучим движением... против насилия», в котором «разверзались бездны оскорбленной народной души, объявлялись огненные его глубины, приоткрытые дотоле мирными трудами». Потому-то не иначе как «гнев всей земли» огненно полыхает в глазах боярыни Морозовой, а протопоп Аввакум громоподобно бичует язвы общества «от всего молчаливого народа своего».

Упрощение и романтизация сложных явлений и характеров эпохи заметно коснулись многих героев. Протопоп Аввакум выглядит, например, то провозвестником антифеодальной борьбы и предводителем «бунташного» люда, то поборником позднейшего «крестьянского социализма» и даже духовным прообразом будущего «толстовца». Ерофей Хабаров кажется сказочным героем, что «вышел неумной, богатырской своей силой на Амур». При этом писатель умолчал о том, что был он не «простой посадский человек», а крупный хлеботорговец края, что не «застроптивость» свою без вины опальным попал в якутскую тюрьму, а за казно-

крадство, что не бунтарски и вольно жил «мимо воевод», а жестоким ясаком обложил племена Даурии и нещадно истреблял их, покоряя.

Отмечая, однако, подобные смещения в социальной и духовной атмосфере «бунташного времени», как называли царствование Алексея Михайловича его современники, несправедливо было бы видеть в них ведущую тенденцию романа. Они скорее результат отступления от нее, нарушения художественной логики повествования. И только намеренным небрежением этой логикой, направившей в романе «Черные люди» движение сюжета, можно объяснить стремление В. Чалмаева приписать автору свое собственное понимание и истории и задач исторического повествования. В большинстве случаев против этого восстает сам роман «Черные люди». Не «народное правдоискательство», а тщеславное желание всюду «быть первым, чтобы править», приводит в нем «высокоумного» Никона к патриаршему величию. И крушение головокружительной карьеры настигает его не как расплата за «народолюбие», личину которого он надевает на себя, словно кафтан с чужого плеча, а всего лишь как просчет в игре, которую властолюбивый патриарх вел против «самого царя, чтобы заставить его земное величие пасть ниц перед величием духовным». Не меньшим насилием над текстом романа оборачивается и попытка В. Чалмаева обнаружить «народное правдоискательство» в «простосердечии царя «тишайшего». Какое уж тут «простосердечие», если даже «во время обедни под шатром царского места» Алексей Михайлович чувствует «себя перед лицом самого господа бога царем над всеми православными всего мира, ответственным за все человечество». И какой там «тишайший», если в самой государевой памяти не однажды встает страшным видением лицо челобитника, «волосатое лицо с выкаченными глазами», в которое он насмерть ударил... Пробуждение «черных людей» от прекраснодоушных царистских иллюзий («царь прочтет, царь выручит!») выступает в романе Вс. Н. Иванова одним из ведущих тематических мотивов. Драматической кульминации достигает он в сценах соляного и Коломенского бунтов. «Царь насунул шапку на глаза, лицо его испуганно посуровело, губы сжались, голова ушла в плечи. Юноша исчез, на белом коне сидел перепуганный жестокий владыка» — таким

является народу молодой Алексей Михайлович в первом случае. Он «был уже не тот, что раньше. Его взгляд был теперь тверд и сумрачен» — так представляет писатель своего героя спустя четырнадцать лет. Ныне он не поддастся испугу, не заплачет всенародно, не падет на колени, чтобы убедить подданных, как «скорбит» его сердце в радении о них. Он твердо знает, что надлежит ему предпринять, дабы отучить «бунтовать, царя за пуговицы хватать». И предпринимает, не дрогнув. «Бей их! — закричал, багровея, царь Алексей. — Гони, собак, в реку! В воду!» Эта неправая победа Алексея над взбунтовавшимся черным людом одержана в романе с помощью «иноземного регулярного строя», который верноподданнычески заслонил московского государя от собственного его народа. Поистине символическая сцена! Но что до нее критику, если хитроумный расчет политика он выдает за государственную мудрость, кичливую фанаберию — за патриотизм, речистое лицемерие — за простосердечие! И ничтоже сумняшеся причисляет «тишайшего» Алексея Михайловича к тем высокородным героям современного исторического романа, которые-де «показаны во всем величии их патриотических подвигов, государственного разума, личного мужества».

Как ни разительно это расхождение идейно-эстетических позиций писателя и критика, в нынешней практике исторического романа оно являет собой не единственный пример противоречия между художественными и научными концепциями национального прошлого. Художественная мысль, признавшая последовательный историзм социально-аналитического взгляда первым условием творческого поиска в исторической теме, может оказаться и нередко оказывается дальновиднее и зорче мысли научной. В этом красноречиво убеждает, например, сопоставление широкого, полифоничного материала, положенного старейшим мастером исторического романа Сергеем Бородиным в основу завершаемой тетралогии «Звезды над Самаркандом», с теми односторонними оценками Тимуровой эпохи, которые отстаивает историк Ибрагим Муминов в работе «Роль и место Амира Тимура в истории Средней Азии» (Ташкент, 1968).

«...Я решил показать особый тип завоевателя, некий «надчеловеческий» патологический тип, повторяющийся в веках, решил

исследовать причины, ставящие подобную личность во главе государства, и само это государство — чудовищное тоталитарное образование, поглощающее все вокруг», — рассказывает С. Бородин в недавней беседе с корреспондентом об исходном замысле тетралогии (см. «Дружба народов», 1971, № 10). Укрупнение его в процессе творческой реализации закономерно предопределило перерастание исторического романа в историческую эпопею. Дело здесь, конечно же, не только в панорамности изображения. Сама по себе панорамность еще не превращает «просто» роман в роман-эпопею, которая прежде всего требует больших и широких масштабов художественной мысли, пронизывающей своим единством идеи и образы повествования. Таких крупных масштабов мысли и достигает С. Бородин, всем образным строем романа передавая раздумья современного художника о движущих силах истории, о месте в ней личности и роли народа, о судьбах нации и ее культуры.

Вспоминая в той же беседе с корреспондентом роман «Смерть Вазир-Мухтара», С. Бородин тонко подметил, что мастерство Юрия Тынянова «отличает удивительное умение уплотнять время». Думается, что эти примечательные слова могут многое объяснить и в образном строе тетралогии «Звезды над Самаркандом». Ведь и она посвоему «уплотняет» время, как ни широк при этом ее эпический размах, которым писатель передает движение истории, властно втянувшей в свою орбиту судьбы не просто отдельных людей, но целых народов и государств. Ослепительные вспышки этого уплотненного исторического времени доносят один из ключевых в поэтике Бородина образов — багровые отсветы костра, в жарком пламени которого мерещатся «пылающие города, скачущие между пожаров всадники, битвы». Казалось бы, оно всепожирающе, это пламя. Но только бесчувственная ветка сгорает в нем дотла. «А народ не вязанка хвороста. Народ выстоит. И в огне выстоит!»

Так говорит один из героев второй книги романа, проникаясь нетленной мудростью древних армянских книг, которые он ценной жизни спасает «от нечистых рук» завоевателей.

«И, падая с седла, успевает кинуть книгу в студеную воду, в ледяной, крутящийся, крутящийся, крутящийся поток.

Совершилось чудо.

Через сотни лет земледелец, черпая воду в ручье, нашел необычный камень. Камень оказался тяжел...

Он увидел надпись на верхнем пласте камня. Это была книга! Пропитавшись чистойшей кремнистой водой, книга окаменела. Ныне хранится она в Матенадаране, где собраны все армянские книги, спасенные предками в темные прошлые века. И слова, написанные на ней, не смыло ни водой, ни временем»...

Что в силах «повелитель Вселенной» противопоставить этой неистребимой силе жизни, духовному величию народа, перед судьбой которого так мала и ничтожна его собственная судьба, какой бы мертвящий ужас ни наводила она вокруг? Не интуитивные ли прозрения этой суровой истины рождают в Тимуре чувство изумления перед небывалой стойкостью и упорством страны — одной из многих завоеванных им стран! — которую он дважды опустошил, разорил, обезлюдил, но так и не заставил стать «покорной, смиренной»? «Думается, что он (Тимур. — В. О.) был и проницательным политиком, безошибочно ощущавшим внутреннюю независимость своих новых подданных и понимавшим, насколько это опасно. Но проницательность Тимура имела свои пределы. Как и все тираны, он был убежден, что можно истребить недовольство, истребив недовольных. Об этом говорят, в частности, его знаменитые средства устрашения — башни из отрубленных голов и стены из обезглавленных тел», — размышляет С. Бородин об историческом прототипе своего героя.

Эти «башни» и «стены», которыми кровавый завоеватель устрашал покоренные народы, и не принимаются в расчет в работе И. Муминова. Зато в ней немало рассуждений о полководческом гении и государственной мудрости Тимура, его рдении за науку и искусства. В свете их жестокий правитель предстает иной раз едва ли не демократом. «Его взгляд был довольно ласков», — цитирует автор, призывая в свидетели научной истины современного Тимуру историка. За гу же объективную истину принимаются у него и честолобивые самовосхваления Тимура, говорившего о своих заслугах перед историей: «Врата справедливости были открыты во всех подвластных мне странах»...

Аналогичное по существу стремление улучшить национальную историю, облагородить такие зловещие ее фигуры, как Иван Грозный, наглядно сказалось и в ра-

боте А. Н. Сахарова «Исторические факторы образования русского абсолютизма» («История СССР», 1971, № 1). Размышляя в ней, «насколько глубоко в сознании крестьянских масс укоренилась идея наивного монархизма», автор считает, что слепая вера в «доброту царя» может служить одним из свидетельств тому, как русское феодальное государство «на определенных исторических этапах... в какой-то степени действительно выражало не только интересы господствующего класса, но и общенациональные интересы». Спорить; может показаться, не с чем: на «определенных» этапах, «в какой-то степени», «не только... но» — автор осторожен и сдержан в формулировках. Но от разумной осторожности оговорок не остается и следа, как только дело доходит до полемики с историками, писавшими об «азиатском варварстве», деспотичности русского абсолютизма, «чрезвычайной жестокости по отношению к народным массам», грубости, полицейщины и отсталости,— любое из этих определений встречается у А. Сахарова нескрываемую иронию. Опровергая их, он поступает ничуть не более «научно», чем автор забытого ныне романа «Иван Грозный» В. Костылев, испещривший страницы своего трехтомного повествования многозначительными напоминаниями о том, как европейские монархи, карая инакомыслящих, не только не отставали от московского государя, но бывали и поизобретательней его. Вот и А. Сахаров, прибегая к такого рода рискованным аргументам, спешит напомнить оппонентам, что «торжественный церемониал при французском, австрийском, английском дворах... мало в чем уступал русскому самодержавному благолепию», что «на Западе не менее щепетильно относились к церемониалу, титулатуре в сношениях с иностранными государствами, чем в России». И даже что «камеры Бастилии и Тауэра не уступали по своей крепости казематам Шлиссельбурга и Алексеевского рavelина, казни на Гревской площади были ничуть не менее милосердными, чем на кронверке Петропавловской крепости или на Лобном месте в Москве». Возможно, написав так, автор посчитал свое национальное чувство удовлетворенным. Но и в этом случае все же не стоило, довольствуясь малым, так охотно жертвовать научной обоснованностью суждений. Ведь «азиатчина» — едва ли не самое гневное и не самое резкое слово, которым В. И. Ленин клеймил самодержав-

ный строй царской России,— возникла не на пустом месте: она имела многовековую традицию. И не вдруг сложилась в XIX веке роль России как жандарма Европы и тюрьмы народов на Востоке: она опиралась на исторический опыт той самой «внешней экспансии» предшествующих столетий, которую автор объясняет исключительно борьбой самодержавия за общенациональные интересы.

Легко представить, к какому хаосу в исторических воззрениях могут привести подобные концепции истории, освященные высоким авторитетом науки. Это и происходит в тех особенно случаях, когда представители последней принимают участие в литературно-критических дискуссиях о народности, ее «корнях» и «истоках». И вместо того, чтобы помочь преодолению бытующих в критике заблуждений, усугубляют их собственными отступлениями от принципов конкретно-исторического и социально-классового анализа. Так, в статье того же А. Н. Сахарова «История и проблемы народности» («Москва», 1971, № 10) безоглядная защита «этнического «тысячелетнего» начала в русской истории» не находит, казалось бы, поддержки, но и осуждение ее явно ослаблено противоречиями в собственной позиции автора, разительными контрастами его мысли. Вот, скажем, в полном согласии с историей А. Н. Сахаров рассуждает о том, что «прогрессивно мыслящие дворяне, представители зарождающейся разночинской интеллигенции... стали идейными выразителями народного патриотизма в годы Отечественной войны 1812 года. Это был народный патриотизм в отличие от патриотизма «официального»...» А всего одной страницей ранее сурово осуждает авторов, допускающих применительно к той же Отечественной войне 1812 года «некое деление патриотизма на «официальный» и «патриотизм борцов за свободу». Их ненаучным якобы представлениям А. Н. Сахаров противопоставляет на этот раз единство «народных и национальных интересов», высоко поднявших «дух народа перед лицом величайших национальных испытаний» и превративших «национальный патриотизм, национальные интересы» в «прогрессивные, демократические стимулы» общественного развития... Право же, неловко как-то, распутывая клубок подобных противоречий (в статье А. Н. Сахарова не единственных), защищать общеизвестные истины истории от самого историка. И в

частности, напоминать, что и на волне патриотического подъема 1812 года национальная идея отнюдь не утратила ни своей социальной определенности, ни диалектики внутренних противоречий (контрастно, драматически раскрытых, кстати сказать, и в эпопее Л. Толстого). Потому так сложна и противоречива была ее последующая эволюция, с одной стороны, утвердившая революционные идеи декабристов, а с другой, породившая чудовищное триединство формулы «официальной народности». Такова диалектика истории.

В лучших своих образцах ей следует исторический роман. Верный зоркому социально-историческому видению эпохи, он не случайно чаще всего избирает объектами художественного исследования те именно события отечественной истории, которые выражали социальный пафос освободительной борьбы народов России, знаменовали высокий взлет их национального самосознания, проявляя его как революционное, классовое сознание.

Назовем в этой связи роман Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю (Степан Разин)» («Сибирские огни», 1971, №№ 1—2), воссоздающий легендарный образ Степана Разина. Решение разинской темы имеет в советском историческом романе большие и стойкие реалистические традиции. Продолжая их (а в чем-то и споря с ними не без досадных, к сожалению, потерь), писатель доносит своим повествованием широкий, как неоглядный волжский простор, размах крестьянской войны, в которую неудержимо перерастает стихия казачьего бунта. «Приходили новые и новые тысячи крестьян. Поднялась мордва, чуваша... Теперь уже тридцать тысяч шло под знаменем Степана Разина. Пыхала вся средняя Волга. Горели усадьбы помещиков, бояр. Имущество их, казна городов, товары купцов — все раздавалось нищим, и новые тысячи поднимались и шли под могучую руку заступника своего». На вспененном гребне этих событий бунтарь вырастает в вождя, в котором народ познает себя, свою силу, как ни ослаблена она еще то «хмельной радостью» недолгой победы или неутоленной жаждой слепой мести, то неумением достичь единства или наивностью социальных идеалов. Потому как ни кричащи («по-чапыгински» даже поэтизируемые подчас в романе) контрасты буйной природы, незаурядного характера, из которых соткан у В. Шукшина образ Степана Разина, как ни высоки его

взлеты и круты падения, они подобны неослабным порывам бури, могучие раскаты которой еще не раз отзовутся в народной истории, прежде чем первые искорки воли разгорятся пламенем свободы. Об этом сокровенным думает свою последнюю думу закованный в цепи атаман, исповедуясь перед бывшим другом, жестоко предавшим его: «Не пропадет эта думка — про волю. Запомнят ее... Не теперь, после — умней станут... похрабрей маленько — возьмут. Нет, Фрол, ты меня не жалея. Ты мне позавидуй, правда. Великое дело — сковали! Ну — сковали... Ну — снесут в Москве голову. Что же? Всякому мертвому земля — гроб. Ты не помрешь, что ли? А думу, какую я нес, ее не скуешь. Эй, брат, голову не срубишь».

Непреодолимый этот урок народной истории действительно утверждает и герой романа Ануара Алимжанова «Стрела Махамбета» (Алма-Ата, 1969). Говоря словами писателя, в романе передан «лишь один эпизод битвы, которую вел народ на протяжении многих столетий против чужеземных захватчиков, за свою свободу и равенство». Но в своем социально-историческом содержании этот «один эпизод» оказался столь значительным, что вместил в себя объемную панораму жизни в казахской степи середины прошлого века — от легендарной судьбы Махамбета, «поэта черни», который своим страстным словом призывал соплеменников к преодолению вековой разобщенности, до широких массовых картин протеста, бунта и борьбы, раскрывающих в действии образ самого народа. Психологически тонко прослеживает писатель сложный и противоречивый процесс постепенного освобождения героев романа — в большинстве своем реальных исторических героев — от иллюзий надклассового единства нации, прозревания до выстраданной всем опытом истории мысли о единстве и братстве народов в освободительной борьбе против царизма.

То же чувство общности исторических судеб разных народов органично входит в идейно-нравственное содержание романа Владимира Короткевича «Колосья под серпом твоим» (Минск, 1968). Воссоздавая предгрозовую атмосферу кануна восстания 1863 года в Белоруссии и Литве, писатель сосредоточивает свое преимущественное внимание на духовных поисках действительных и вымышленных героев, которые приводят их не просто к осознанию долга перед наро-

дом, но к его интернациональному пониманию. Изнутри проследивая эти сложные поиски, автор последовательно расширяет границы повествования, самым развитием сюжета стремясь передать движение общественной мысли. Так семейный роман постепенно перерастает у него в роман социальный, вбирающий в себя все более широкие пласты исторического бытия нации. Здесь и внешне неподвижный, но исполненный внутреннего не покоя быт помещичьих усадеб, куда проникают свободолюбивые идеи декабристов и петрашевцев, врываются голоса Герцена и Чернышевского. Здесь и взрывчатый динамизм крестьянской жизни, то и дело выплескивающийся стихией гнева и бунта. Здесь, наконец, и неутомимые идейные искания передовой молодежи. Все это дано писателем в тугом сплетении социальных, нравственных, идеологических противоречий. В преодолении их складывается духовная история личности, формируется революционно-демократическое сознание поколения, вынашивающего свою высокую «правду мыслей, чувств, любви» в жестокую и мрачную пору реакции, символом которой стали «шпицрутены и полостатые будки».

Этому устрашающему символу герои В. Короткевича противопоставляют свой патриотический идеал «свободной родины на свободной земле», раскрытый в романе в его широком интернациональном содержании. Оно для писателя — непреходящая правда истории, суровыми ветрами которой овеяны такие невыдуманные фигуры повествования, как Кастусь Калиновский и Тарас Шевченко, как Сигизмунд Сераковский, Валерий Врублевский и Ярослав Домбровский. Ведь драматичная эпоха восстания 1863 года не просто повторила великий призыв польских и русских революционеров начала века к борьбе «за вашу и нашу свободу», но углубила его социально, связала с задачами крестьянской революции, приобщив к нему революционных демократов Белоруссии, Литвы, Украины.

Интернациональный пафос, прозвучавший в романе В. Короткевича, как и во

многих других произведениях последних лет, неотделим от ведущего идейно-наступательного пафоса советского исторического романа в целом. Силой своих образов и идей он утверждает идеалы дружбы и братства народов, на которые, действуя отравленным оружием национализма, тщетно покушается реакционная буржуазная пропаганда. В неразрывной цепи памяти народной это еще один важнейший итог, который извлекает из прошлого исторический роман, выходя на передовые рубежи современной идеологической борьбы.

Современность исторического романа — понятие многогранное. Это и неослабая актуальность исторической темы, идейно-художественные решения которой служат переосмыслению многовекового прошлого народа, утверждению преемственности великих традиций его жизни и культуры. И нерасторжимая связь исторической и историко-революционной темы: слиянию их многонациональная советская литература последних лет также обязана своими лучшими страницами, раскрывающими всенародный пафос Великого Октября, торжество идей ленинизма, негаснущий свет которых озаряет пути всего человечества. Это, наконец, и устремленность идейно-творческих позиций писателя, чье понимание истории обогащено социальным и духовным опытом нашей эпохи, проникнуто осознанием ее общественных, нравственных, эстетических идеалов.

«Чтобы воссоздать художественно нашу эпоху... нужно взять ее во всей исторической перспективе. Сегодняшний день — в его законченной характеристике — понятен только тогда, когда он становится звеном сложного исторического процесса», — писал Алексей Толстой в год работы над второй книгой романа «Петр Первый». Таков главный урок историзма художественной мысли, без которого нет мастерства исторического романиста. Неослабную действенность этого урока подтверждает советский исторический роман, расширяя сегодня свой большой и серьезный многонациональный опыт.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Борис Яранцев. В зеркале «малой» прозы.— **В. Турбин.** Листопад по весне.—
А. Серебrenников. Читатель вопрошающий.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Борис Яковлев. Из «Искры»...— **П. Черкасов.** На тайном фронте революции.— **Эр. Ханпира.** Динамика языка.

Литература и искусство

В ЗЕРКАЛЕ «МАЛОЙ» ПРОЗЫ

«Кубань». Литературно-художественный и общественно-политический альманах Краснодарской писательской организации. №№ 7—12 за 1970 год, №№ 1—6 за 1971 год.

Альманах «Кубань» определил уже и собственную форму и круг авторов. На глазах альманах становится журналом, обретая все то, что и надлежит иметь журналу: регулярность выпуска номеров, многосторонность содержания, развитие постоянных разделов и рубрик, наконец, что особенно важно, собственную журнальную линию. Именно это и дает лицо изданию.

Журнал (нам и впредь так хотелось бы называть альманах) стремится дать картину жизни большого и богатого края, рассказать о людях, делающих кубанское «сегодня», об их жизни, о волнующих их проблемах.

Валентин Овечкин, как свидетельствует в своих воспоминаниях Павел Иншаков, своеобразно «жаловался» на богатую землю: «На Кубани для хлебороба слишком большое благополучие. Почвы, климат...» Не удивительно, что не только для хлеборобов, кубанских ученых, но и для публицистов, писателей этого края богатство и возможности Кубани оборачиваются особыми трудностями, особой ответственностью: если природа, обстоятельства так помогают тебе, значит, ты должен вложить в дело

столько ума и труда, чтобы результаты были выше и лучше, чем у тех, кто такого богатства не имеет. Естественно, что именно Кубань дала международную известность академикам П. П. Лукьяненко, М. И. Хаджинову, В. С. Пустовойту. Статьи ученых в «Кубани» («Пшеничный стебель и урожай» П. Лукьяненко; «Кукуруза и белок» М. Хаджинова; «Будущее «солнечного цветка» доктора сельскохозяйственных наук Г. В. Пустовойт, где дочь ученого говорит о работе отца), статьи, повествующие о важнейших общенародных проблемах, оказались одними из наиболее видных публицистических материалов в ежемесячнике: они написаны страстно, с чувством государственной ответственности за дело, органически сочетают кубанские проблемы с общесоюзными.

С интересом читаешь проблемные выступления авторов «Кубани», касающиеся будущего Краснодарского моря, чистого неба (уже сейчас надо думать о «специальной индустрии свежего воздуха»), о необходимости беречь землю, бороться с иными «временщиками», чьи рекордные урожаи строятся на принципе «после нас хоть потоп»...

К подобным проблемам примыкает очерк Вячеслава Пальмана «Весенние разговоры» об источниках доходов и прибылей кубанского крестьянства,— автор смело и нелегально говорит о необходимости большей требовательности кубанских тружеников к своему труду.

Раздел «Проблемы» — важный, острый, это несомненное достижение журнала. Слово здесь предоставлено бывалым людям — руководителям колхозов, ведущих отраслей хозяйства, ученым, которым чужда «игра в литературу» при публицистически серьезной постановке социально значимых вопросов.

Самим своим существованием такой публицистический раздел как бы обращает писателей к решению важных задач, стоящих сегодня перед родным краем, подсказывает глубокие человеческие конфликты и проблемы, ждущие решения в жизни и в художественной литературе, своеобразно «фокусирует» интересы читателя.

Известно, что нет литературы специально волжской, уральской, кубанской,— есть хорошая и плохая. Посредственная, по существу, смыкается с плохой. Один из персонажей повести В. Мазницына «Сопки идут на Север», опубликованной в «Кубани», молодой газетчик Сашка Пальгунов, говорит о некоторых бойких литераторах, кичащихся тем, что они «свои», «местные»: «Слушай, все эти так называемые местные авторы, их местная литература — все это второй сорт. Но литература — не грузинский чай первого или второго сорта». Сказано сурово и самокритично, но в чем-то и справедливо.

На наш взгляд, писать о Кубани — значит, прежде всего, на местном материале ставить проблемы общезначимые, отвечающие всей полноте идейно-художественных требований современной литературы.

Если говорить о том, что привлекает в журнале из художественных вещей, то это в первую очередь произведения, своеобразно связанные с разделом «Проблемы», произведения, где видна требовательность литераторов и к себе и к людям, ощущается стремление затронуть существенное в нашей жизни, вести поиск нравственных ценностей.

Автор очерка «Весенние разговоры» Вячеслав Пальман опубликовал повесть «Приказ о переводе». Написанная на материале современной Кубани, она имеет куда более общее значение: автор резко сталкивает два

очень «сегодняшних» характера, два рода отношения к делу. Принципиальный конфликт между «крепким директором» передового совхоза Похвистневым и главным агрономом Поликарповым меньше всего располагает к поискам литературных реминисценций — от него веет пережитым, своим, кровным.

Как вести хозяйство сегодня? Это значит — жить заботой о большом завтра, о том, чтобы не стать ради громких временных побед разорителями собственной земли. У В. Пальмана эти как будто знакомые вопросы звучат весьма актуально, и старых масок «новатора» и «консерватора» здесь не найти. Есть глубоко жизненное столкновение хозяйственника честного и образованного (Похвистнев — экономист), но не знающего и, хуже того, не желающего знать законов эксплуатации земли, относящегося к ней только как к объекту приложения сил, с одной стороны, и — с другой — природного земледельца, у которого желание дать план сочается со знанием этих объективных законов, с исконной крестьянской любовью и «жалостью» к земле.

Важно для осмысления всех сторон конфликта образ районного агронома Нежного, который в свое время был на месте Поликарпова, видел все, понимал все ошибки Похвистнева, пробовал бороться, но не выдержал борьбы, сдался на милость победителя, за что полюбовно и был выдворен «на повышение». Существование таких нежных и дает похвистневым их «крепкость», уверенность в правоте своих решений.

Многие из соприкасающихся с властным директором стремятся как бы сгладить, уменьшить назревающий конфликт. Уже в первом же разговоре начальника сельхозуправления с Нежным очерчивается властная тень всегда правого Похвистнева. «Ты, пожалуйста, задержись и потолкуй с директором вместо меня. Широко вопроса не ставь, без философии, выясни реальные отношения с агрономом. Локально, так сказать».

В этом стремлении к локализации принципиального конфликта и кроется особая трудность борьбы с тенденциями, которые представляет Похвистнев. Писатель убедительно доказывает, что любое смягчение конфликта обходится куда дороже, чем принципиальное обострение его, тем более принципиальное разрешение. Овечкинская градиция зримо видится в этой очерковой

повести, где тема решается публицистически остро.

Обидно, когда по временам острота производственного конфликта словно заслоняет проблематику нравственную, когда замечаешь, что человеческие характеры обрисованы беднее, чем это предполагает сама накаленная атмосфера происходящего в повести.

Повесть (скорее даже большой рассказ) Вячеслава Шапошникова «Угол» и рассказ Ивана Зубенко «Дети отца Филиппа» в чем-то схожи между собой — при всей непохожести героев и мест, о которых идет речь, при своеобразии почерков двух литераторов. И. Зубенко пишет о сложной судьбе фронтовика — крестьянина Филиппа. Возвращается отвоевавший солдат домой. На хуторе почти одни женщины — либо солдаты, либо вдовы. Вот типичная судьба: «Павловна жила одна в маленькой хатенке с двумя окнами, каждое в три шибки... Муж ее погиб в первые дни войны. Доченьку-кровинку болезнь задушила. Война, которая еще продолжалась, выкосила мужиков, потупила всякие надежды... А Павловне было уже тридцать. Нет, не обманывала она себя надеждами. Тянулись безрадостные и трудные военные годы. И к жизни Павловна как-то остыла, валилось все из рук. Только работа на время глушила одиночество...»

Писатель точно рисует обострившееся чувство одиночества молодой женщины — как целомудренно раскрыто оно в сцене вечеринки деревенских вдов! Достоверна встреча Филиппа с Павловной, ее смятение перед нахлынувшим «преступным чувством». Понимаешь силу сердечного стремления Филиппа дать хоть малую толику человеческого, бабьего счастья одинокой женщине. Родился ребенок у Павловны. Меж двух огней оказался бывший солдат, на нем теперь забота о двух семьях. Отношения Филиппа с детьми, робость его в общении с «незаконными» сыновьями, взаимоотношения двух женщин — все это, написанное с душевной чуткостью и правдивостью, рождает серьезные мысли о характере современника, о глубине его нравственной жизни, о победе чистого человеческого начала над темным.

«На этот раз Катерина все-таки осмелилась зайти в хату Павловны, решила побить Павловну. Павловна как раз ломала о коленах хворост вербы и закладывала в печь. На

закроме, застланном домотканым рядном, сидели детки.

Согнула Павловна вербу в дугу, и в это время в хату вошла Катерина. Павловна выпустила из рук вербу. Запрыгала она по хате. Детки, сидевшие на закроме, следили за нею, собираясь плакать.

— Садись, Ивановна, вот здесь, — перевела дух Павловна, усаживая Катерину на сундук.

Детки голубыми пуговицами глаз смотрели на незнакомую тетку. При виде этих глаз у Катерины возникла в душе жалость к ним. Затопила слабую злобу. И Катерина почти забыла о том, что же побудило ее прийти к Павловне.

— Да ты разжигай печь скорей, Павловна, — сказала Катерина. — Смотри, как они носинели!...

В рассказе — целая жизнь, а вот всего несколько дней из жизни героя, одна из обычных командировок корреспондента областного радио, описанная в повести «Угол» В. Шапошникова. Задание простое, каких у журналиста не счесть: в доме инвалидов в глухой деревеньке Угол давно уже живет женщина, еще ребенком вывезенная из блокадного Ленинграда. Так и жила бы. Но отыскала ее родная сестра. Мысли у репортера по этому поводу весьма будничные и деловые: в общем, ему предстоит побыстрее съездить в этот Угол, «чтобы еще и слезы там не обсохли. Чтоб шли на пленку живьем! Тепленькими!..» Впрочем, цинизм закавыченных слов — не его цинизм. Это слова посылающего его на задание Чеснокова («На лице Чеснокова не случайная, заходящая скука, а скука давнишняя, кабинетная, скука, ставшая характером»).

Отношения молодого журналиста со своим начальником сложные. Не любят эти люди друг друга. Но и неприязнь героя к Чеснокову с его «скукой» какая-то странная, нетворческая, что ли. Скучная, ленивая это неприязнь.

А вот что думает о своей работе сам герой: «Как это объяснил мне суть работы радиожурналиста один из моих наставников по преддипломной практике? «Природа радиоволн та же, что и кругов на воде. Бросил камень — пошли круги. Камень погрузился. Волны погасли. Бросай следующий. Всей разницы, что за нашими камнями порой далеко ездить». Что же — поедем «за нашими камнями!»..» Не правда ли, есть в этом рассуждении что-то от «скуки» Чес-

нокова? Какие же руки прикоснутся к горю и радости нашедших друг друга людей?

Нет, не просто «очередным заданием» стала эта поездка для Геннадия. Встреча с двумя женщинами — такими родными и так отдаленными друг от друга взро́сь прожитой жизнью; знакомство с вороватым заведующим Никтополионом Базановым, который все равно не поймет, «как можно за столько верст, да по такому бездорожью проехать ради встречи каких-то там сестер Самариных! Нет! Тут что-то не то!»; прикосновение к трудной судьбе гармонистки Сашки, которая «была инвалид, купили мне гармошку — стала массовиком-затейником», — эти встречи, трудные разговоры сестер, Валентины и Тани, так жадно ищущих на его глазах путь друг к другу, — все это, вместе взятое, заставляет о многом задуматься молодого журналиста, с настоящей злостью отнестись к тому «чесноковскому», что начинает просачиваться в его душу.

И еще: «От тебя ждут не твоих переживаний, а факта, репортерской работы — точной, ограниченной отрезком отпущенного на передачу времени. А этого не втиснуть ни в какие рамки передачи. Ни нашего сидения за столом, ни танцев под Сашкину гармонь, ни ночного поля и ночного молчания в сарае... Разговора, бессонницы»...

В. Шапошников хорошо чувствует характер своего героя, он понимает — за несколько дней решающего перелома в его характере произойти не может. Писатель только намечает, какими путями будет свершаться переоценка вещей у молодого человека, как вообще происходит прикосновение к большим человеческим чувствам, дающее новую, гораздо более высокую точку отсчета всему сделанному.

В рассказе И. Зубенко, как и в повести В. Шапошникова, нет резких сюжетных поворотов, нет ничего внешнего, что отвлекало бы внимание от главной темы — поиска истинных ценностей, поиска пути к сердцу живущего рядом с тобой человека. Этот нравственный поиск, говорят авторы, только тогда будет успешен, когда человек требовательно относится к себе, к окружающему, когда он активный участник нашей жизни. И Филипп, и обе женщины, с которыми он был связан, и Валентина, приехавшая за сестрой, женщина с открытым, добрым сердцем, — все они в большей или меньшей степени обладают таким человеческим даром, и писатели помогают нам яснее рассмотреть эти душевные черты своих героев.

Рассказ Леонида Пасенюка «Цена красной икры» с особой остротой подчеркивает, что духовный рост человека возможен лишь при условии высокой требовательности к себе, строгой оценки своих действий и поступков. Вступая в борьбу со злом, можно твердо вести ее и надеяться на победу только тогда, когда чист сам, когда не идешь на компромиссы ни со злом, ни с собственной, порой такой уступчивой, совестью.

Хороший парень Юрий Алиев. Молодой специалист, добрый и заботливый муж и отец, уважительный сын. Заведует он в госпромхозе на Камчатке вещами дефицитными — балыком и икрой.

Бригадиром засолщиков в госпромхозе работает Семен Ухмылов, привезший из мест заключения законы блатной жизни. Бригадир и Юрий сразу невзлюбили друг друга: с разных полюсов смотрят они на жизнь, по разным законам живут. И вот Ухмылов начинает по-своему перевоспитывать бригаду. А Юрий? Он оказывается бессилен помешать злу. Бессилен, потому что Ухмылов «дает план», потому что драгоценная икра в руках у бригадира, потому что поблжками и послаблениями отцу Алиева, желающему пожить на дармовщину и только числящемуся на работе, Ухмылов старается прибирать к рукам и самого Юрия — «начальство»... В одну из ссор, когда Ухмылов хватается за нож, Юрий не выдерживает и стреляет в бандита. Впереди — суд...

Почему же Юрий, человек, которого читатель уже успел полюбить, человек, все силы посвящающий делу — трудному, важному, дающему огромный доход государству, — почему этот человек в столкновении с Ухмыловым должен был стать стороной обороняющейся? Писатель недаром начал рассказ с безобидной, казалось бы, сценки. У метеоролога Алеши Синько, такого же трудяги, как и Юрий, уезжает жена. Ну как в дальние края, домой, ехать без банки икры? Хорошую икру в магазине не купишь, частник-браконьер продавать боится. Кто поможет? Хочет помочь Алиев товарищу, но ведь икра на засоле у бригадира...

«— Слушай, Юра, ты не подумай чего такого, я же уплачу чистой монетой по официальному курсу...

— Да нет, — сказал Алиев, — какая монета?.. Не в магазине же и не на базаре... Ты утречком заскочи на берег. Ухмылова ты знаешь. Скажи от моего имени... что я велел... литра два... Тебе хватит?.. А денег им не надо, — ну, бутылку синюшки дай, но

больше не давай, незачем, они и так с утра до ночи пьют».

Ну что тут особенного? Все так делают, не надо быть ханжой. И что такое какая-то банка икры, когда засол идет тоннами? Как легко приходят на ум привычные оправдания! Но из таких вот мелких звеньев и составляет Ухмылов цепь, которой хочет привязать к себе Алиева, заставить жить и действовать по ухмыловским законам. Финальный выстрел Алиева, выстрел самообороны, невольно воспринимается как акт отчаяния, как стремление не только избавиться от Ухмылова, но и смыть все грязное, ухмыловское, что постепенно начало марать душу.

Кто виновен в убийстве уголовника Ухмылова? Виноват ли Алиев? Виноват, отвечает автор, ибо малейшая нечестность, казалось бы, никем не замеченная, становится ступенькой той лестницы воровства и уголовщины, которая ведет к ухмыловщине. Ухмыловы отлично чувствуют малейший срыв честного человека и используют это, чтобы сделать его соучастником грязи, подлости, преступления.

Отличную деталь дает писатель в самом конце рассказа. Алиева ведут как убийцу.

«Уже на крыльце клуба он встретился с сожаляющим взглядом метеоролога Алеши Синько; видно было по его обескураженному лицу, что чего угодно, а такого он от Юрия не ожидал.

— Что же это ты так, а?..

Юрий хотел было сказать, что икра — она тянет дорого. Но это была бы только полувина правды, ведь за ту распроданную икру, как за магнит, цепляется много еще чего...»

А метеоролог остался в своих глазах человеком чистым, жена его уже улетела в отпуск, увозя с собой ту самую двухлитровую банку икры, о которой говорилось в начале рассказа. Об этом и думает Юрий, идя под конвоем.

Мы остановились на наиболее интересных произведениях, опубликованных за последнее время «Кубанью», в основном на рассказах. И это не случайно. Рассказы в журнале интереснее повестей. (Недостаток места не позволяет поговорить еще и об отличном рассказе В. Семина «Когда мы были счастливы...», об интересных и очень разных рассказах А. Мищика, А. Знаменского и других.)

Что же касается повестей, остановимся еще на одной, по-своему характерной. Это —

«Сопки идут на Север» В. Мазницына. Автор — не профессионал. Он принадлежит к «бывалым людям», много ездившим, много видевшим. Как мы уже упоминали, устами одного из персонажей повести, Сашки Пальгунова, автор этот резко и справедливо высказывался против провинциализма в литературе, с желанием, видимо, чтоб и о нем самом судили по самой высокой мерке, без скидок на молодость и неопытность.

В центре произведения молодой, ищущий себя писатель. Романтик. И имя под стать — Роблен. Автор сразу «заявляет» его как личность особенную. Роблен из газеты отважно уходит «в жизнь», плавает на плавбазе, едет на Чукотку. Он уже издал одну книгу, пишет вторую. Его любовь к Инне Тверской — тоже высоко романтическая, сама героиня отмечена роковой тайной... Словом, возвышенная, окруженная ореолом авторской симпатии фигура. Но, увы, у читателя такой симпатии к Роблену почему-то не возникает. Слишком много неточного, фальшивого в поведении героя.

Едет он на Чукотку по правилам тех «молодежных повестей», в которых романтика подменена лжеромантикой: зимой не берет с собой даже теплых варежек. Что варежки! — в кармане у него три рубля, а работать устраивается в первую попавшуюся контору, куда зашел погреться...

Убеждаешься, что на этих расхожих романтических штампах, собственно, и держится «значительность» героя и его поступков. По законам этих штампов герой обязан говорить мало, бить морду крепко, страдать тайно и красиво. В результате — безвкусица, мелодрама.

«— Я смотрела, как летит снег.

— И как же он летит?

— Как-то боком. Летит и не смотрит на землю.

— Значит, он знает, что жить ему недолго и вообще юг не для него. А на севере снег летит прямо. В лицо и в душу...»

Сильный налет литературщины на повести тем более обиден, что В. Мазницын — литератор с немалым запасом жизненных наблюдений. С интересом, например, читаются страницы о поездке на вездеходе через тундру. Здесь читатель верит автору, а сама ткань повести избавлена от красивостей и лишних слов. При серьезном и взыскательном отношении к себе этот литератор, вероятно, сможет сказать немало стоящего, не прибегая к заимным приемам и интонациям.

В повести этой — характерные недостатки и некоторых других повестей «Кубани» на современную тему: нечеткость авторских целей, а отсюда и нечеткость выражения мысли; статичность характеров — какими приходят герои, такими и уходят из повестей, в редкой повести мы встретимся с попыткой показать душевное развитие героя (есть это разве что в повести Ю. Сальникова «Джемпер с синими елками»).

Данная рецензия — не обзор «Кубани». Стихи, публицистика альманаха, интересные литературные воспоминания (о В. Став-

ском, Д. Кедрине, С. Есенине, В. Овечкине, М. Пришвине) заслуживают самостоятельного разбора. Мы не упомянули и многие прозаические произведения. Нам хотелось остановиться лишь на нескольких вещах, дающих повод для критического разговора и вместе с тем говорящих о возможностях литераторов «Кубани».

Тот большой счет, по которому работают известные всему миру кубанцы-ученые, может и должен стать нормой для литературы, создающейся в этом богатом крае.

Борис ЯРАНЦЕВ.



ЛИСТОПАД ПО ВЕСНЕ

А н д р е й Б и т о в. Колесо. Записки новичка. «Аврора», 1971, № 9.

«...У нас сейчас все — сюжет: и просто день, и неделя как неделя, и обмен», — пишет Андрей Битов, проектируя, набрасывая контуры своего «Колеса», обосновывая право художника брать сюжеты там, где они словно бы сами под перо просятся. «Колесо» — это повесть, точнее — собрание микроновелл, фрагментов. Внешне фрагменты эти объединены несложной историей: молодой интеллигент-ленинградец купил автомобиль «Москвич-412»; однажды он заболел и не слил на ночь воду из системы охлаждения; двигатель замерз, в поисках нужной детали горемыку занесло сначала в гарантийную мастерскую, что в Апраксином дворе, а потом аж в Уфу, туда, где делают «Москвичи». Автоодиссея эта даровала рассказчику множество новых знакомств, подружился он, в частности, с уфимскими спортсменами-мотогоонщиками. Что стало с двигателем, неизвестно: может, вожделенная деталь была наконец найдена, а может, бедняга и доньяне странствует, ища ее по белу свету. Дело не в детали, не в головке блока. «У нас сейчас все — сюжет», и в повести «Колесо» важнее всего неизменная «битовская» тема роста, расширения кругозора, приобщения новичка к неведомой для него прежде среде, географической (герой Битова всегда путешествует) или социальной (он всегда как-то особенно охотно знакомится с людьми, изумленно рассказывая нам о том, как это интересно — знакомиться).

Отсюда — радость. Радость превращения знакомства в дружбу; радость обнаружения в человеке того, что свидетельствует о причастности его к сегодняшнему общему на-

родному делу. Такая радость есть у Битова всегда. Он очень надежный писатель: знаешь, что, вводя нас за собой в новый для него мир, он не побоятся обобщений, предположений, гипотез. Не забуду, например, как он увидел, подсмотрел однажды в аэропорту человека, который вдруг... сделал предложение руки и сердца одинокой женщине с ребенком, неприкаянно маявшейся в зале ожидания (рассказ «Путешествие к другу детства»). Тут же вывел концепцию: веяние времени, зов нашего настоящего — поступок. Вот такой, неброский. Незаметный даже. Страсть к разгадыванию внутренней сущности текущего дня, к построению концепций — страсть Битова. И это у него и сильно, и молодо, и современно. И обнадеживающе: веришь, что он по праву претендует на роль умного «осмыслителя» того, что кажется неустановившимся, неразборчивым, как черновик.

В «Колесе» концептуальность мышления писателя чуть-чуть меркнет. Может быть, он слишком доверился своему «двойнику» — рассказчику?

Рассказчик, выступающий в повести, не сам Битов, конечно. Могут совпадать их внешние биографии: оба молодые, оба интеллигенты; оба выросли в послеблокадном, послевоенном Ленинграде с его руинами, с его бытовой неустроенностью, с несмысленными предостерегающими надписями на стенах его домов. Но рассказчик наивен, даже несколько суматошен в суждениях, а остающийся за кадром «крестный отец» его, Битов, и опытнее его и духовно взрослее. Приписывать ему все, что ни сорвется с языка у его «крестника», разумеется, нельзя. Но

можно пожалеть, что в споре, в расхождении между ними рассказчик сильнее. Он лидирует. Он намечает жанры повествования, задает тон. Он озорно дробит композицию, дезорганизует сюжет, деформирует слова: не «Уфа», а «Уф-ф-фа-а!..» — так звончее, выразительнее. Автор же как-то робок в его обществе. И не всегда ясно, где он с ним солидарен, а где нет. Отстраняясь от своего многословного простака-двойника или радостно следя за его ростом, автор нет-нет да и поддакнет ему. Два мировосприятия борются в повести. Бывает, простое берет верх, серьезное, достойное, трезвое. И мы — в Уфе. Бывает, изощренное по форме, но по сути избыточно простодушное, полное иллюзий. И тогда мы — в «Уф-ф-фе».

Герой Битова — новичок. Позиция его — позиция добродушного доверия к миру. Здесь, в повести «Колесо», эта особенность его отношения к жизни выведена из-под спуда, выявлена, подчеркнута: возится человек с машиной, и сразу видно, что он новичок в автомобилизме; приходит он на стадион, на мотогонки, — и опять-таки новичок, трогательный ротозей, задающий невольные вопросы; попадает он на прием к крупному хозяйственнику, «магнату», беседует с ним на правах приезжего журналиста — и здесь он тоже новичок, забавно барахтающийся в правилах трестовского этикета, в словах, в каком-то нелепом тулупе, надетом, напяленном им на себя. Впрочем, он очарователен, пока он спрашивает: «А это что? А это зачем? А что значит?» Он какой-то вечный студент. Пытливый, добросовестный студент, прибежавший с тетрадкой на консультацию (в этом качестве герой Битова подчеркнуто постоянен). Здесь, в «Колесе», он именно таков. Расспросы, разузнавания. О тайнах мотоспорта. Догадки о природе таланта, об эстетике спорта и о его общественно-воспитательной роли. О судьбе и о границах свободы. «Колесо» — капризно: озарения, философские импровизации, иронические поучения. В выборе сюжета, темы предпочтение отдается свободному желанию, даже прихоти: «крестник» Андрея Битова может быть и упрям и настойчив.

Отсюда и форма фрагмента. Древнейшая: фрагмент был в античной литературе, был у Пушкина. Последним — и, по-моему, непревзойденным пока — мастером фрагмента в нашей литературе был Пришвин; Пришвин иза склоне лет, в старости. Заманчивая и обманчивая форма: фрагмент непри-

жужден, он ни к чему вроде бы не обязывает; он — слово, которое проронено почти произвольно, мимоходом. Но легкость фрагмента иллюзорна. Настоящий, верный себе фрагмент — частица какой-то большой духовной, идеологической ноши, которую как бы сбрасывают с себя, роняя ее на ходу, дабы облегчить себе путь куда-то дальше. Фрагмент есть там, где есть мудрая усталость большого знания; тут человеку уже как бы не вмоготу доказывать что-то развернуто, стремясь достичь всесторонней обоснованности суждений. И он предпочитает фрагменты: так честнее, добросовестнее.

Новичок, простак-рассказчик у Битова тоже не столько говорит, сколько... роняет слова. И хотя все в повести весеннее или зимнее, и снега там много, и льда, который то корежит движок «Москвича», то хрустит, скрежещет под шипами на колесах мчащихся мотоциклов, само падение, кружение слов естественно напоминает об осени, об осенних листьях, о листопаде: сентенции, афоризмы, цитаты из классиков или, неожиданно, из инструкций по коневодству и мотоциклу, иронические самохарактеристики — все это как падающие листья. И «листопадность» мышления рассказчика и обаятельна и гнетуща, быть может, ибо есть здесь какая-то преждевременность, надуманность: ведь рассказчик всячески подчеркивает свою молодость, ведь в возрасте его — март, от силы апрель. Но утомленные, увядающие интонации побеждают там, где уместнее было бы цветение, надежда, мышление такое, какое свойственно Битову всегда: концептуальное, пусть даже излишне категоричное в размахе своем. А молодость и избыточная фрагментарность? Парадокс: листопад по весне.

Что происходит у Андрея Битова?

Несущественно «материальное» содержание его фрагментов, его капризно в прозе: поехал молодой ленинградец в Уфу («Уф-ф-фу-у!..»), а мог бы поехать в Саранск («Сса-ар-р-ран-сс-ск!..»). Познакомился со спортсменами, а мог бы с грузчиками, с железнодорожными кассирами или с милиционерами. Однако «Колесо» не «повесть об Уфе», не «повесть о спорте»; и тут не Уфа важна, а борьба мировосприятий. Важно то, что происходит. Я бы сказал, узурпация: приходит в мир новичок, знающий, что он новичок, и подчеркивающий это на каждом шагу, и с какой-то флегматичной горячностью захватывает он форму фрагмента. А

форма-то, повторяю, осенняя, мудрая. И получается ряжение — невольное, неосознанное: к юному студенческому лицу приклеивается борода старца; тетрадка с конспектами выдается за скрижали волхва, пророка. Пересказывать, анализировать суждения этого новика, положим, о судьбе? Доказывать, что сплетение индивидуальных судеб с общемировыми осуществляется совсем не так просто, как он это рисует нам? Спорить с ним? Не надо, хотя на такой спор нас как раз и провоцируют (уверен, что новичку-рассказчику из повести Битова даже понравилось, если бы кто-то усмотрел в его воззрениях фатализм или что-нибудь в этом роде). Уместнее порадоваться тому, что Андрей Битов вывел перед нами столь цельный образ по-своему обаятельного дилетанта. Как говорится, со всеми его противоречиями: дилетантизм сбивает с толку, дезориентирует; но дилетантизм одаренного студента, умеющего засыпать своих консультантов вопросами и донимать их кустарными догадками, в будущем сулит отличного специалиста, если, конечно, дилетантизм не будет законсервирован, если дилетант обнаружит способность расти. Спорить с собой. Отрекаться от себя вчерашнего во имя себя завтрашнего — лучшего, повзрослевшего.

И Андрей Битов и герой его знают, что у нас сейчас все — сюжет. Но говорят, что сюжет — это развернутая метафора, и интересно проследить, как входят в повесть метафоры из современного нашего быта, из повседневности.

Оказывается, что повседневные, бытовые явления метафоризируются в искусстве по логике непонятной, загадочной. «Летел быстрее птицы». Птице ли сегодня быть олицетворением быстроты? Однако мы все-таки говорим «быстрее птицы», а более точное, казалось бы, «быстрее самолета ТУ-134» может прийти в голову, пожалуй, лишь детям. И разгадка загадки, видимо, в том, что птица — природа, частица природы, а «ТУ-134» — техника, что-то рукотворное, сделанное и по существу своему непостоянное, преходящее. Но почему-то неизменно повезло некоторым ситуациям из делового, канцелярского обихода, метафоризируются они жадно, наперебой. По крайней мере, две: во-первых, получить прописку и, во-вторых, быть направленным в командировку. «Прописка» стала метафорой укоренения, водворения кого-то или чего-то на неком постоянном месте, а «командировка», напро-

тив, — метафорой некоторой промежуточности, узаконенной эксцентричности общественного положения человека; глядишь, и жизнь, индивидуальная жизнь человека начинается трактоваться как «вечная командировка».

И не успеваешь подумать об этой прихоти сознания нашего, как замечаешь, что «Колесо» как раз и начинается с иронического рассуждения о взаимоотношениях людей прописанных с людьми командированными (Битов говорит не «командированный», а «командировочный»; и так вопреки нотациям лингвистов-лексикологов и живее и правильнее: «командированный» — это всего лишь служащий, должностное лицо, а «командировочный» — это еще и легальный скиталец, мытарствующий, заискивающий перед администраторами гостиниц, пытающийся и дело сделать и немного порезвиться; словом, это самую жизнь нашей созданный литературный типаж). У Битова нет пренебрежения к людям стабильного образа жизни, к «прописанным». Но командировочные и ему самому и его рассказчику ближе, милее: командировка — это воля какая-то, и это положение, дающее человеку право видеть мир как скопление фрагментов. Как мельканье. Как эпизоды, которые можно связывать один с другим, но можно и не связывать: бог даст, свяжутся сами.

Битов и вообще-то, как говорили в старину, «певец» разного рода странствующих людей. Людей, оказавшихся в каких-то промежуточных состояниях, в «вольном положении». И сами они такие, и рассказчик, неизменно о них рассуждающий, таков: Средняя Азия, вулканы Камчатки, Армения (недавние записки Битова о ней свежи в памяти). А теперь — Башкирия: командировки, командировки.

А путешествие в командировку — это традиция. И художественная и жизненная. И притом издавна четко отдаленная от другой традиции — скитальчества, странничества.

Были странники. Те путешествовали от себя, партикулярно: мелкие торговцы, беглые монахи, нищенствующая братия, богомольцы. Но были и командировочные: тысячи безвестных ныне служилых людей, дьяков, военачальников, а позднее — чиновников для особых поручений, ревизоров, ремонтеров гусарских и драгунских полков. Все они таскались по Руси на перекладных, что-то разузнавали, раздобывали, что-то улаживали, где-то наводили порядки.

Традиция продолжается, только видоизменилась она и в жизни и в литературе. Странник, где его нынче возьмешь? Но потребность в странничестве сохранилась, и появились индустриальные модификации странничества: туристы, во-первых, и командировочные, во-вторых. Автостранники. Желдорстранники. Авиастранники. Словом, странники с путевками профсоюзов или с командировочными удостоверениями в фибровых котомках. И литература путешествий (в зародыше, впрочем, содержащая в себе и, так сказать, «командировочную литературу», ибо первым командировочным был, наверное, еще гомеровский Одиссей) сменилась туристически-командировочной литературой. Со своими жанрами. Своей поэтикой. Своим стилем. Своими открытиями и своими романтическими иллюзиями, первая из которых — иллюзия «вольного положения», иллюзия непричастности странствующего к миру «прописанных», то есть как бы то ни было организованному и регламентированному миру.

Андрей Битов многого достиг в этом жанре, этой литературе. Стажер-практикант ли, начинающий журналист, но герой его всегда гость; а гость уже сам по себе — фигура фрагментарная: гости заходят к нам и уходят от нас, оставаясь для нас фрагментами каких-то других миров и нас самих воспринимаемая как фрагменты чего-то. Беседа в гостях — отрывочная беседа; гость ценен постольку, поскольку он одарен способностью к разговору свободному, фрагментарному. А вместе с тем и интимному, дружески-сердечному.

Но-фрагмент бессилен в мире отношений гражданских, и простая канцелярская справка, не говоря уже о докладе, лекции, научном трактате, — концепция, не терпящая фрагментарности. В «Колесе» идет какое-то двойное испытание: испытание жанра и испытание человека. Фрагмент не может быть вездесущ, применим везде. Но упрямец новичок, дилетант-рассказчик, жадно втискивает, вталкивает в него все что может: дорожные впечатления, характеристики своих попутчиков, философию, экскурсии в историю физики. Мир становится интимным до неузнаваемости, и если где-то эта интимность прекрасна, то где-то — тут же рядом — она надуманна и чрезмерна.

Говорит рассказчик в повести с заслуженным спортсменом-гонщиком, и это — трогательный интим, исповедь, вернее, кусочки из исповеди. Пробирается он в служебный

кабинет «магната», строителя Уфы, делового человека, — и там тотчас же возникает душевная теплота, обоюдное доверие, «ты» слышится в официальном «вы». И постепенно кабинет начинает выглядеть салоном. Или пещерой какого-нибудь доброго волшебника, к которому ходят исповедоваться и причащаться, на жизнь посетовать. Чем угодно, но не служебным кабинетом. Потому что и у Битова и у его героя есть особенный дар: презрев все, что есть в каждом из нас должностного, официального, замкнутого, устремиться к чему-то такому, о чем говорить можно только отрывочно, вполголоса. И от мира они ждут, требуют того же; они — командировочные, а за отсутствием у нас странников командировочный унаследовал всю сердечную теплоту, всю ласковость, от века даруемую народом странникам да скитальцам. Традиции смешались. На командировочного смотрят именно как на странника и как странника привлекают его. И если откажет ему, рывкнув в окошко: «Номеров нет», администраторша гостиницы, так какая-нибудь уборщица тетя Настя по доброте сердца непременно пригласит его к себе. Ей-то не важно, что тов. такой-то прибыл из некоего ЦНИИ в некое учреждение. Ей важно, что человек на глазах у нее маячется, — человек, странник.

Позиция рассказчика в повести «Колесо» — позиция, я бы сказал, сердобольная. Командировка для него не обязанность, не выполнение некоего поручения, а повод для расширения дружеского круга, для выражения участия к людям, для обнаружения в них участия к себе.

Странничество — это прекрасно, уверяет он нас поминутно; и мир в повести творится исключительно гостями, странниками, приезжими, пришлыми. Причем творят его никакие не «тов» и никакие не «гр» — творят его, так сказать, просто люди. И все-то они трактуются романтически. Спорт? Спорта в повести много: мотогонки на треке и на льду, пыль из-под колес летит вихрем, лед — огненными брызгами. Удалые viraji. Бешеный риск. Травмы одна за другой: кто-то упал, кто-то по инерции по кому-то проехался. Строительство? И оно — как спорт. Начальник стройтреста — спортсмен в душе, человек, весь облик которого можно было бы определить глаголом «ворочать». Он ворочает миллионами рублей, ворочает кубометрами, тоннами, он переворачивает судьбы несправедливо обиженных. Все кипит. Все в круговороте. Люди делают массу

живых и полезных дел, но мотивировки их деяний, как в произведениях самых ортодоксальных романтиков, исключительно интимны, индивидуальны, личностны. Вседашняя конкретность Битова начинает уступать место чисто внешней наглядности.

Ворочает стройками Уфы тов. Балобан. Не «тов», впрочем, а, по данной ему иронической характеристике, «магнат». «Магнат» этот мелькает перед нами — вечно занятый, вечно терзаемый телефонными звонками, совещаниями, просьбами, чьими-то капризами, нерадивостью чьей-то и чьей-то бедой. И важно: Балобан — приезжий. Пришелец, здесь, в Уфе, признанный за своего. И хотя теперь-то он, конечно, получил в городе постоянную прописку, в душе он — командировочный, скиталец. Неутомимый, внутренне мобильный, он пребывает на месте, но образ бега, мчания куда-то, безоглядного скитальчества неотступно присутствует в его кабинете. Не в кабинете, впрочем. Рядом с кабинетом, официальным, должностным, спрятана комнатка поменьше. И если в кабинете заседают, невразумительно спорят о чем-то и вообще кипят страстями «тов» и «гр», то в комнатке потаенной собираются «просто люди». И говорят по душам, и живут жизнью, которая романтику, рассказчику повести, близка и мила.

И снова рождаются мысли о фрагменте. Объект фрагмента — мир в целом. В целокупности, как говорят философы. Иначе фрагмент неизбежно окажется невольной уловкой: от огромного мира откалывается, изолируется кусочек. Кусочек обследуется. Анализируется. Но вне синтеза, вне сопоставления с другими, противолежащими ему сторонами мира он так и останется кусочком. Сектором, искусственно изъятый из заверченного круга — из колеса. Рассказчик в повести раз и навсегда отделил, очертил внутри круга два-три сектора. Он рассматривает их внимательнейше, и кажется, он доволен собой. Здесь бы как-то одернуть его. Как-то от него отмежеваться. Яснее бы дать понять, что он двойник Андрея Битова, но никак не сам Андрей Битов. Но писатель иногда никнет перед своим двойником, проникается его мировосприятием.

Битов знает, что он пишет, и знает, почему он пишет так, а не как-нибудь иначе. «Колесо» — повесть о мышлении, повесть мышления: мысль писателя здесь постоянно оценивает себя, перечит себе; на наших глазах уходит она от шаблонов, создает один, другой, третий варианты характеристики од-

них и тех же явлений. Битов стремится, например, найти новые, сегодняшние формы объединяющего всех нас творчества, показать творчество не только в центре, но и на периферии общественной жизни — там, где инертный взгляд видит только развлечение, забаву: в спорте, положим (история о подростках, которые вырыли на пустыре глубокий котлован, дабы там, в яме, упражняться в мотогонках по вертикальной стене). Он, как всегда, конкретен, наблюдателен, вдумчив, серьезен. А торопыга-рассказчик лишь портит то, что осторожно намечает умный и тонкий Битов: прилепит афоризм там, где мысль не должна быть закончена, кличку — там, где познание человека только началось. Он всегда тут как тут — и милый и назойливый в дилетантизме своем, а там, где есть какие бы то ни было конструктивные устремления, там, где утверждается что-то, Битов и двойник его мыслят совершенно по-разному. Битов вдумчиво начинает. «Крестник» же — скорее, скорее! — заканчивает мысль.

Но объединяет их какая-то странная разрушительная тенденция. Повесть в целом, вся повесть то и дело вступает в спор с каким-то инородным для нее способом восприятия мира. И спор в «Колесе» неизменно заканчивается разрушением, разломом чего-то, кажущегося завершенным, ясным. Чего-то цельного. Здесь и Битов и герой его становятся похожими на ребенка, который на глазах у нас вдруг принимается крутить, ломать, кромсать представляющиеся нам ясными слова, фразы. Скажешь ему, например: «Саша, кушай кашу!» А он: «Ша-ша-ша!.. ша-аш-шу!» И захочет громко: доволен.

«Уфа». Тысячи раз любой из нас говорил про Уфу, но никто не знал, что здесь, в имени города, — и вздох («Уф-ф...») и название ноты («...фа»). Надо обладать какой-то особенной фрагментацией, чтобы слово «Уфа» написать так: «Уф-ф-фа-а!..» Чтобы расслоить, разложить целое на дольки. Сделать нечто официальное («гор. Уфа») домашним, ласковым дуновением («Уф-ф...»). И это мило. Интимно. Но «гор», он тоже существует все-таки, а это строгое, синтезирующее, деловитое «гор» из повести изъято начисто.

Строго научное описание мотоцикла гласит: «...Топливо попадает в жиклер (2), поднимается по сверлению соединительного болта (3) и через распылитель (жиклер иглы) (4) попадает в эмульсионную трубку (5).

Распыли-». Битов обрывает цитату на переносе. На дефисе, на черточке. Крупно пишет: «ХВАТИТ». Добавляет в разрядку: «Как столько слов могут выразиться в одном — ДВИЖЕНИИ?»

В этом диалоге писателя с технической книжкой — и недоверие к высказыванию последовательному, членораздельному, озорное студенческое: «Да ну его, ничего не поймешь!» И тоска по вождьленному синтезу, которого нет в книге В. Бекмана «Гоночные мотоциклы» (1969), но который ускользает и из книги А. Битова «Колесо» (1971).

И в споре, который ведет Битов — на этот раз рука об руку со своим героем, — не важно, что именно распадается на фрагменты, кусочки, брызги — «Гоночные мотоциклы» В. Бекмана или книги Ветхого Завета, географические названия, заметки из спортивной хроники или «Критика чистого разума» И. Канта. Важен сам процесс: облетают с дерева листья, распадается что-то цельное, превращаясь во фрагменты, в абракадабру. И фрагментарность повести оказывается агрессивной, как бы стремящейся все уподобить себе.

В каком-то ином случае можно было бы сказать: «Это жестоко!» Но не будем торопиться. Потому что прежде всего это что-то студенческое. А студент, будь он самым рьяным скептиком, всегда мечтатель в ду-

ше; и самый демонически беспощадный студенческий ум всегда полон иллюзий.

Рассказчик, выступающий перед нами в «Колесе», и сам Андрей Битов, конечно же, не тождественны все-таки; их альянс на почве скептицизма — альянс ненадежный: членят на отрывки свои собственные суждения об увиденном, сокрушают слова, понятия, имена, дробят их в пыль, словно в ступе толкут. Но за всеми этими выходками проступает и облик самого писателя. То же не свободное от противоречий, но все же неизменно руководствующегося какой-то большой и цельной мечтой. Мечтой о богатырях. Богатырях, которые в шлемах и латах подвизаются на полях мотоциклетных ристалищ, и богатырях, воздвигающих города. О странниках-чудотворцах. Сильных и очень добрых. Как Балобан («Балобан» — это и звучит как-то сказочно, былинно, волшебнически). И, главное, умеющего отыскать подтверждение этой мечты в теперешних, текущих у всех на виду буднях.

А что будет дальше? Видимо, будет идти дальнейшее расслоение: одно дело — простодушный рассказчик, всегда и во всем новичок, дилетант, полный, впрочем, апломба, а другое — его «крестный отец», застенчиво-смелый в своей мечте, серьезный и вдумчивый мастер.

В. ТУРБИН.



ЧИТАТЕЛЬ ВОПРОШАЮЩИЙ

Владимир Федоров. Мы были счастливы. Роман-хроника. Профиздат. 1971. 416 стр.

Говорят, что писатель не имеет права писать плохо. Это утверждение было бы бесспорным в ситуации, когда литератор-профессионал, могущий написать и хорошо и плохо, по каким-то соображениям предпочитает второй вариант. Но, видимо, подобная ситуация — исключительная. Что же тогда? Плохо пишут потому, что не могут написать лучше? Для нелитератора это очень трудный вопрос. И встает он каждый раз, когда встречаешься с книгой явно плохой, но, однако, изданной.

Впрочем, эти рассуждения к делу прямого отношения не имеют. Моя цель — поделиться впечатлениями от романа Владимира Федорова «Мы были счастливы».

К роману меня привлекла издательская аннотация, где сказано, что книга посвящена героическому Н. И. Подвойскому — Пред-

седателю Петроградского военно-революционного комитета в дни Октября, одному из тех большевиков-«военщиков», энергией и волей которых был реализован ленинский план величайшего революционного переворота. Кого не заинтересует такая книга! Герой, чей «звездный час» буквально совпал со звездным часом мировой истории, чья личная биография прошита биографией революции.

В аннотации говорится и о художественных достоинствах романа: «Автору удалось впервые в нашей литературе воссоздать яркий героический образ этого верного ленинского соратника с его борьбой и любовью». И дальше: «Достоинство романа и в том, что личность героя тесно связана со многими историческими лицами, его современниками», для чего «привлечены малоизвест-

ные и совершенно новые биографические материалы».

Почти воочию видишь, как, наскоро пробежав аннотацию, читатель уже в метро начинает нетерпеливо листать книгу. И радость его удвоится, едва он натолкнется на послесловие, написанное к роману-хронике Валентином Марьинским: «...судьбы Революции и судьбы обыкновенных и в то же время необыкновенных людей, творящих ее,— органическое слияние этих двух мотивов определяет идейно-художественную сущность и глубину большого историко-хроникального повествования Владимира Федорова»... «Все переплавлено в сердце, и каждая строка, как обожженный кирпич, плотно легла в здание романа. Радостно отметить, что здание это получилось стройным, высоким и светлым»...

Отдадим должное издательству: послесловие и аннотация действуют безошибочно... Не прочтешь роман невозможно... Увы! Все в романе оказывается в вопиющем разладе с пышными и высокими оценками издательства.

Начну с главного героя — Н. И. Подвойского, создать образ которого, уверяет аннотация, «автору удалось впервые в нашей литературе» (В. Марьинский, автор послесловия, еще более определен: «Образ главного героя — живой, многогранный, запоминающийся»).

Позволю себе не согласиться с В. Марьинским. В книге изложена биография героя, названы имена родителей, жены и детей, очерчен круг знакомых и близких. Образа же — нет. В. Федоров не создает образ, он только описывает героя. Не раскрывая душевной жизни Н. И. Подвойского, не проникая в мир его человеческой самобытности, его мыслей и чувств, автор ограничивается внешним «словесным портретом» героя.

Ведь не назовешь же «воссозданием художественного образа» такое вот однообразное повторение одних и тех же деталей (а к этому, по существу, вся работа над «образом» и сводится): «немигающие зеленоватые глаза»... «худощавый светло-русый великан с зеленоватыми глазами»... «Рядом — высокий зеленоглазый блондин со светло-русой бородкой»... «худощавый светло-русый великан»... «зеленоватые глаза пододвинутого великана со светло-русой бородкой»...

Это, так сказать, статика. А вот герой в «движении»: «Обхватил ладонью бород-

ку»... «Подвойский, обхватив ладонью светло-русую бородку»... «Николай Ильич, хитровато прищутив глаза, обхватил ладонью бородку»... «обхватил ладонью светло-русую бородку»... «Подвойский обхватил ладонью светло-русую бородку»... «Обхватил ладонью бородку, помедлил»... И только однажды, как исключение: «Подвойский, прищурившись, разгладил светло-русые усы»...

Не слишком ли однообразно для «живого, многогранного, запоминающегося» образа!

Похоже, В. Федоров собрался рассказать нам о людях, об их человечески неповторимом, вооружившись всего-навсего десятком прилагательных: «невысокий, худощавый Яков Свердлов»... «невысокий подвижной товарищ из центра» (Невский)... «Невысокая подвижная фигура» (Крыленко).

Чтобы не создавалось ложного представления, будто бы революцию осуществляли только «невысокие», далее следуют: «Григорий Чудновский, высокий, порывистый»... «Высокий взволнованный Благонравов»... «Огромный швейцарец с доверчивой улыбкой» (Платтен)... «Высоченный приветливый молодой человек. По одежде видно — иностранец» (это Альберт Рис Вильямс).

В тех же случаях, когда природа создала исторических лиц ни явно низкими, ни заметно высокими, автор свои «прилагательные», призванные раскрыть человеческую особенность действующих лиц, переводит в некий «качественный» план: «могучий матрос — латыш Эйжен Берг», «веселый матрос Павел Мальков», «Роллан повстречал на импровизированном концерте... приветливого Анатолия Луначарского», «Николай Подвойский, Владимир Невский, Сергей Сулимов и ясноглазая Елена Размирович представляют на конференции Военку», «И влюбился товарищ Андрей на Урале. Улыбчивая и бесстрашная подпольщица Клавдия Новгородцева, его Клавденька, мыкалась с ним по тюрьмам...», «Невозмутимый правдист и военщик Еремеев, попыхивая трубкой, похлопал по карманам шинели...», «Подвойский был доволен своей худенькой энергичной помощницей...», «На трибуне хрупкая женщина с вьющимися каштановыми волосами. Это Александра Коллонтай...».

Однообразие, прямо скажем, удручающее. А ведь именно об этом произведении под этой же обложкой устами автора послесловия утверждается черным по белому: «В са-

мом документальном повествовании он (автор.— А. С.) прежде всего художник: рассказывая о конкретных исторических фактах, живописуя одно событие за другим, он всегда просвечивает души своих героев, раскрывает их внутренний мир... «Талант писателя раскрылся еще одной гранью: автор выступает не только как художник, но и как серьезный историк-исследователь».

Серьезный историк-исследователь... Ну нет, и с фактологической стороны роман примитивен: все биографические и исторические подробности, оказывается, легко обнаружить в общедоступных источниках. Метод, с помощью которого В. Федоров трансформировал историю революции в роман о ней, прост до удивительного: автор расположил выписки из воспоминаний ветеранов, из других сочинений в некой временной последовательности, «состыковал» их ремарками, потом все это пересказал своими словами.

Читаем воспоминания В. Д. Бонч-Бруевича:

«...мы собрались у здания Петроградского комитета большевиков, который в то время помещался в бывшем дворце Кшесинской, и, развернув знамя Центрального Комитета нашей партии, двинулись к Финляндскому вокзалу. Нас было немного — человек двести... Наконец мы присоединились к большой колонне демонстрантов-рабочих, слившейся из различных организаций... Военные оркестры... бодрили и приподнимали настроение... И когда мы пришли к площади Финляндского вокзала, она вся уже была заполнена рабочими и военными организациями... Почти бегом прибыли в полном вооружении матросы» (В. Д. Бонч-Бруевич, «Приезд В. И. Ленина из-за границы в 1917 г.»).

А вот текст Владимира Федорова:

«На апрельском ветру развевалось знамя питерских большевиков. От дворца Кшесинской двинулась праздничная колонна человек в двести. Она росла на глазах и наконец, как ручей в реку, влилась в огромную рабочую колонну... Площадь у Финляндского вокзала забита... А народ все валит... К вокзалу пробиваются веселые матросы...»

Читаем другого автора:

«Руководство Петроградского эсерово-меньшевистского Совета, испугавшись, верно, такого большого количества собравшихся рабочих, солдат и матросов для встречи В. И. Ленина, искусственно задерживало на станциях под Петроградом поезд, в котором

ехал Ленин, рассчитывая, по-видимому, на то, что стемнеет и встречающие «остынут» и разбредутся. Но надежды меньшевиков и эсеров не оправдались...» (С. Я. Заякин, «Встречи с В. И. Лениным»).

В. Федоров наблюдения С. Я. Заякина «перекладывает» так:

«...тревога сжимает сердце Николая Ильича. А вдруг что-нибудь стряслось с поездом? Может быть, извортливая соглашательская верхушка Петросовета не только выделила делегацию для встречи Ленина, но и придержала в пути его поезд? Чтоб народ разошелся... А народ не расходится...»

У Бонч-Бруевича мы читаем:

«...наконец стали видны вдали огоньки... Вот змейкой мелькнул на повороте ярко освещенный поезд... все ближе и ближе... Вот застучали колеса, забухал, запыхтел паровоз и остановился... Мы бросились к вагонам... Потом вдруг, сразу, грянуло такое мощное, потрясающее «ура». Владимир Ильич... услышав это «ура», приостановился и, словно немного растерявшись, спросил:

— Что это?»

В романе эта сцена выглядит так:

«Наконец в ночном тумане мелькнули долгожданные, стремительно нарастающие огни. Вот уже слышен стук колес, шипение паровоза, тяжело выбрасывающего пары. Протяжный свисток дошел до самого сердца. Встречающие бросились к вагонам...

...По рядам матросов и солдат прокатилось оглушительное «ура».

— Это что? — изумился Ильич. Он был немного растерян.

«Заемными» в романе оказываются не просто факты, но и изобразительные средства, эмоциональное, зрительное восприятие событий героями. Вот сценка, описанная в мемуарах:

«Было почти темно. Темное пальто Владимира Ильича, серый броневик, серое сумрачное небо — Ленина не стало видно. Тогда площадь прорезали два луча прожекторов...» (С. И. Петриковский, «Год 1917-й, апрель...»).

У Владимира Федорова:

«Сизое сумрачное небо. Темное пальто, серая бронемашина. Коренастая фигура Ленина словно растаяла в апрельской ночи. Тогда два слепящих луча скрестились над башней броневика».

Сопоставления подобного плана можно продолжать и продолжать.

А. В. Шотман, «Ленин в подполье (Июль—октябрь 1917 г.)»: «...даже собаки, в том

числе знаменитая собака-ищейка Треф, были мобилизованы для поимки неуловимого Ленина. Наряду с охранниками и собаками в поисках Ленина принимали участие сотни добровольных сыщиков из среды буржуазных обывателей. Однажды в газетах появилась заметка, что 50 офицеров «Ударного батальона» поклялись или найти Ленина, или умереть».

В. Федоров: «Пресловутая сыскная собака Треф вынюхивала следы Ленина в окрестностях Питера... Где он сейчас, родной Ильич, которого ищут шпики Керенского, добровольные сыщики из взбесившегося мешанства, пятьдесят отборных головорезов из «батальона смерти», что поклялись найти его или умереть?»

Серго Орджоникидзе, «Ильич в июльские дни»: «После этого «ужина» беседу перенесли в «апартаменты» Ленина. Таковыми являлся стог сена, в который мы и влезли. Свежее сено пахло великолепно, было тепло...

Владимир Ильич, выслушав меня и задав ряд вопросов, сказал:

— ...Восстание будет не позже сентября — октября...

Все это я слушал с напряженным вниманием, впечатление было ошеломляющее. Нас только что расколотили, а он предсказывает через месяц-два победоносное восстание.

Когда я передал Ильичу слова одного товарища, что не позже августа — сентября власть перейдет к большевикам и что председателем правительства будет Ленин, он совершенно серьезно ответил: «Да, это так будет».

В. Федоров: «Приехавший к Ильичу товарищ Серго слушал его ночью на стогу свежекошенного пахучего сена. Зябкий ползучий туман жался внизу к болотистым кочкам.

Ленин, запрокинув голову, задумчиво глядел на крупные предосенние звезды.

— Восстание будет не позже сентября — октября...

Серго, затаив дыхание, верил и не верил своим ушам. «Как? Еще вчера нас так вероломно разбили — и вдруг... Ради этого стоит жить, стоит горы перевернуть!»

— Владимир Ильич, один наш товарищ утверждает, что скоро вы будете председателем большевистского правительства.

— Да, это так и будет,— спокойно сказал Ленин».

И такой-то «творческий» процесс в послесловии называется серьезным историческим исследованием...

Чтобы не злоупотреблять вниманием читателя, ограничимся этим, замечу только, что если подобные включения чужого текста, чужих деталей убрать из книги В. Федорова, боюсь и сказать, что в ней останется...

Что же касается собственно авторских находок, самобытности его писательского почерка, то об этом можно судить хотя бы по таким «перлам», выписанным мною из книги без особого выбора, что называется, наугад: «вчера стреляли в спины наших демонстрантов» («нашим»? — А. С.)... «апрельские выстрелы в спины демонстрантов»... «за нее горой стали солдатские груди с боевыми крестами»... «Николай Ильич, сцепив зубы, перенес весть о гибели любимой дочери»... «Мы с вами на разных сторонах баррикады»... «парни с синими осколками неб и гвардейскими значками на груди»... «регистрают прибывающих с фронта и провинции делегатов»... «Барометр солдатских настроений вел себя, как в начале бури»... «Раскатистый ружейный залп приводил в могилу»... «единственный в городе бесплатный родильный дом для бедняков, где Нинуша подарила ему сына»... «Бомба безмолвствовала на полу»...

Я начал с вопросов, вопросом хотел бы кончить, самым банальным: а куда глядело издательство? Впрочем, это, кажется, один из тех вопросов, на которые никогда еще никто не отвечал. Глядело и глядело. Аннотацию написало, организовало послесловие. Или этого мало?

А. СЕРЕБРЕННИКОВ,

*научный сотрудник Института
конкретных социальных исследований
АН СССР.*

Политика и наука

ИЗ «ИСКРЫ»...

**Переписка В. И. Ленина и редакции газеты «Искра» с социал-демократическими организациями в России 1900—1903 гг.
Сборник документов в трех томах. М. «Мысль». 1969—1970.**

За 1969—1971 годы современную — теперь уже всемирную — Лениниану пополнили тысячи книг почти на ста двадцати языках. Еще не настало время суммарных итогов — так много нужно собрать, прочесть, систематизировать, продумать. Есть, однако, в юбилейной Лениниане книги, о которых следует знать и читателю-неспециалисту. К ним, например, относится трехтомник переписки Ленина и редакции «Искры» с первыми организациями рабочей партии в канун русской революции 1905—1907 годов.

Многое, очень многое откроют эти почти две тысячи страниц не только историкам партии или ее печати, лекторам и пропагандистам, но и всем, кому интересно и дорого революционное прошлое народов нашей страны. Их историческое наследие. Духовный и нравственный облик лучших людей своего времени.

«При таких условиях...» У каждого из вошедших в трехтомник почти 1400 документов — своя, подчас весьма драматическая история. Письма, как из редакции «Искры», так и адресованные ей, шли далекими, кружными путями по конспиративным адресам. Их перехватывали и перлюстрировали жандармы. «Приобщали» к «уликам» следователи и прокуроры. Их торопливо, не слишком аккуратно зашифровывали и не всегда могли расшифровать. Множество из них вообще не дошло до наших дней, погибнув при обысках и предшествующих им «очистках» или оставшись погребенными в тайниках, которые так и не удалось обнаружить.

Однако все, что сохранилось, воскрешает если не целостные картины, то фрагменты, пусть даже порой штрихи революционного быта. За любым из документов сборника — судьбы, характеры, нравы той эпохи, когда зажженная Лениным «Искра» постепенно разгоралась в пламя революции.

Совсем немногим искровцам довелось увидеть его отсветы, озарившие планету. А в те годы почти все корреспонденты «Искры» не раз могли повторить то, что

сказала однажды Инна Леман (Смидович), она же, по конспиративным кличкам, Байнова, Димка, Димочка, Наталья Александровна, Наташа и Таня.

16 декабря 1901 года она пишет в Мюнхен — по пути из Киева в Харьков: «Ночь, вагонная тряска, тусклое освещение... но ни души в вагоне, кроме меня, есть чернила и перо, а свечку из фонаря можно вынуть и поставить к себе на столик. При таких условиях я уже написала довольно успешно несколько писем, и хотя уже немного устала от них, но хочу и Вам написать хоть пару слов, тем более что, ей-богу, не знаю, когда мне представится случай написать более обстоятельное письмо».

В строках этих есть, пожалуй, и второй, аллегорический, что ли, смысл. Ночь, беспросветная, непроглядная ночь политической реакции начала века окружала искровцев не только во время их конспиративных странствий. Она царила, если можно так выразиться, и среди белого дня. Однако всегда находились «чернила и перо» для переписки с Лениным и Крупской. Хотя далеко не всегда хватало времени и сил для обстоятельных писем о своих приключениях, большей частью отнюдь не забавных, и тем более переживаниях, которые вообще не принято было выносить наружу...

«Графачуфу».

«5-го апреля. Графачуфу.

Теперешний адрес 3/5 3/9 3/15 2/4 8/12: город 5/6 6/3 3/1 2/8 6/... 1/2 улица 1/5 11/2 6/3 2/16 3/9 8/1 2/3 3/11 23/2 33/9, дом 5/3 13/2 4/2 1/6 8/12 3/21 5/5 18/1 8/2 15/5 5/6 8/1 2/6 1/6 3/5 3/22 1/8...»

Так начиналось письмо, отправленное 23 марта 1901 года из Мюнхена в Москву. Зная конспиративную кличку Николая Баумана — Грач, нетрудно догадаться, что загадочное «Графачуфу» означает «Грачу». Но что скрывается за цифровым шифром? Почти семь десятилетий спустя это расшифровали подготовители сборника. Применяв известные по другим источникам ключи шифров «Искры», они прочитали адрес ее рабочего-корреспондента Ивана Васильевича Бабушкина: город Покров, улица

Дворянская, дом Чапышниковой, П. Н. Рыбасъ.

Последнее имя принадлежит жене Ивана Васильевича Прасковье Никитичне. Все остальное о его очередном конспиративном убежище выяснила современная расшифровка.

В тот же день аналогичное письмо пошло и «Бафубуфушкифуну», то есть самому Бабушкину. В нем почти сорока комбинациями цифр зашифрована явка Баумана: Москва, Бойни, ветеринар[н]ы й] врач... И ее расшифровали те же исследователи. Впервые прочитали они и немало других конспиративных адресов и текстов в письмах, которые отправила редакция «Искры» своим агентам и корреспондентам.

Аналогичные открытия совершены и в письмах, полученных самой редакцией. 30 декабря 1901 года в «Искру» приходит из Пскова конспиративный адрес и шифр для переписки с Иваном Радченко: «Питер, Малая Морская, 16. Бруно К. Шварц, Василию Ивановичу Курятникову. Ключ: стихотворение Некрасова «Меж высоких хлебов затерялся»...»

Бруно Шварц — купец, петербургский представитель Московского товарищества резиновой мануфактуры. Василий Курятников — его конторщик, оказавшийся, увы, весьма ненадежным конспиратором, не в меру откровенным на допросах.

Три неполных строки текста расшифрованы в наши дни из шести рядов цифр...

«На будущее время...» Только 500 из 1392 документов трехтомника — немногим более трети — ранее публиковались. Среди новых публикаций есть и впервые напечатанные ленинские письма. Все они словно дышат атмосферой революционного подполья с его конспиративными явками. Паролями разных «степеней доверия». Ключами для зашифрованной переписки. Вот одно из таких писем Николаю Бауману, опубликованное шестьдесят восемь лет спустя. Владимир Ильич продиктовал его Надежде Константиновне 4 сентября 1901 года: «Дал Ваш адрес для явки одному знакомому, был ли он у Вас? О пароле мы не условились на этот раз, на будущее время пусть пароль будет следующий: пришедший человек должен спросить: «Давно ли видали Машу?»...»

Две недели спустя Ленин снова диктует Крупской письмо Бауману, предназначенное для зашифровки или переписки «химией»:

«Почему от Вас так давно нет писем? Ни от Вас, ни от Богдана, это начинает сильно беспокоить. Были ли у человека, о котором я писал, познакомьтесь с ним непременно. Пароль: «Давно ли видали Машу?»... Как дела? Нет ли у Вас связей в Х. Если есть, сообщите немедленно».

Мы не знаем и теперь, наверно, уже никогда не узнаем, кто был тот «один знакомый» Владимира Ильича, которому он дал сугубо конспиративный адрес Баумана, и какой пункт революционных связей скрывался под буквой Х. Но зато по пружинно сжатым запискам видно, как тревожила Ленина в эмиграции беспокойная судьба его товарищей, работавших в подполье. И прежде всего Грача и Богдана — Баумана и Бабушкина, погибших в годы первой русской революции от руки убийцы-черносотенца и пуль царских палачей-карателей.

Сколько же нервных сил Ленина безвозвратно и необратимо поглотили непрестанные тревоги за жизнь и свободу борцов революции! Не было, пожалуй, в истории полководца, который так чтит заслуги сражающихся воинов и память павших товарищей.

Борцом в рядах российского пролетариата, революционером, павшим в первые дни революции, назовет Владимир Ильич Николая Баумана. Гордость партии, народного героя видит он в Иване Бабушкине. Оба они, как и другие искровцы, стали соратниками Ленина в борьбе не только с царизмом, но и с «внутренними врагами» рабочего движения — оппортунистского «экономизма», из которого вскоре и вырос меньшевизм.

«Важная нравственная поддержка...» Автографами Владимира Ильича или записями продиктованных текстов отнюдь не ограничивается собственно ленинская тема, новые фрагменты которой освещены на страницах трехтомника. Мы вправе отнести к ним и те строки писем Крупской, какие отражают (а порой, видимо, и буквально воспроизводят) ленинские высказывания, замечания, соображения, мысли.

18 мая 1901 года Надежда Константиновна (явно со слов Владимира Ильича) сообщает Бауману о взаимоотношениях между мюнхенской — ленинской — и женовской — плехановской — частями редакции: «Относительно размолвки со стариками — чистый вздор, ничего похожего нет, отношения лучше, чем когда-либо».

Напомним, что сама Надежда Константи-

новна в то время не вступала самостоятельно в какие-либо взаимоотношения с Плехановым и Аксельродом. С ними встречался и переписывался непосредственно сам Владимир Ильич. Ему, наверное, принадлежит и приведенная в письме характеристика.

Не только своей, личной, но и ленинской радостью делится Крупская 20 мая того же года и с Иваном Бабушкиным, когда пишет ему, разумеется, и от имени Владимира Ильича: «Мы чрезвычайно были обрадованы известием о сочувственном отношении иваново-вознесенских рабочих к «Искре», это сочувствие для нас важная нравственная поддержка».

Именно такую нравственную поддержку и оказывали ленинские письма «искрякам». И те, что написаны им самим. И те, которые по его поручениям (если не под его диктовку) шифровала Крупская.

Вот, к примеру, вариант письма Надежды Константиновны ее товарищу по уфимской ссылке Алексею Петренко: «Задача «Искры» — стать руководящим органом и сгруппировать около себя все действующие в России социал-демократические [группы и организации]».

Но ведь это — в сжатой формуле ленинский план организации партии с помощью «Искры»! Его содержание снова раскрывает письмо, отправленное Крупской в августе 1901 года кишиневским и виленским искровцам. Напечатано письмо по автографу Надежды Константиновны, но слышится за его строками голос Владимира Ильича. Ведь он не раз подчеркивал, что цель издателей «Искры»: «...не только писать и печатать газету, цель их при помощи газеты создать общерусскую организацию, которая бы не уходила всецело в интересы того или другого района, а имела бы в виду прежде всего интересы всей русской партии. Эта организация должна связывать и объединять работающие на месте организации, служить связующим звеном. Она должна таким путем создать возможность планомерного и единодушного образа действий местных организаций».

Ввиду этого «Искра» относится, безусловно, отрицательно к созданию особых «районных» органов...

Все это, повторяю, написано рукой Крупской. Но сохранилась и копия перлюстрированного жандармами ленинского письма в ту же Вильну. Именно туда Ленин пишет летом того же 1901 года: «Должны сказать,

что вообще всякий план издания какого бы то ни было районного или местного органа... мы считаем безусловно неправильным и вредным. Организация «Искры» существует для поддержки и развития последней и для объединения этим партии...»

Совпадают, как мы видим, не только мысли, но и выражения, даже слова. Крупская несомненно передает в своих письмах непосредственные ленинские высказывания. Подобными только что приведенному «письмами-бомбами», по выражению Радченко, Ленин вооружает «искряков». Но вот опять-таки несомненно исходящая от самого Владимира Ильича личная нравственная поддержка «захандрившего» Николая Баумана, огорченного по-ленински резковатыми упреками в письмах, адресованных ему редакцией «Искры»: «Ну, до свидания. Наши письма огорчают Вас, но мы ведь пишем не ради придинок — какие бы основания у нас были плохо относиться к Вам, — а потому, что хотим наладить дело получше».

«Не ради придинок»... Напомним, что Владимир Ильич всегда осуждал то, что он саркастически называл «придиренчеством»...

Пусть не буква, но дух ленинских мыслей о популярности и популярничанье, о необходимости поднимать идейный уровень читателя-пролетария ощущается в письме, адресованном Крупской зимой 1901 года в Киев. Оттуда в редакцию пришло донельзя «пессимистическое письмо... относительно недоступности «Искры»...»

«Мы вовсе не думаем, чтобы в «Искре» все было понятно среднему рабочему, — замечает по этому поводу Надежда Константиновна. — Но многое будет понятно, а сознание того, что многое еще надо понять, будет заставлять человека учиться и идти вперед. Вы пишете, что у рабочих кругозор очень беден, его надо расширять. Этот кругозор всегда будет беден, если литература будет стараться спуститься до этого кругозора, а не будет расширять его».

Сравним приведенный фрагмент письма с известными строками «Что делать?», призывавшими главное внимание обратить «на то, чтобы поднять рабочих до революционеров, отнюдь не на то, чтобы опускаться самим непременно до... «рабочих-середняков»...»

В том же письме переключаются с известной ленинской отповедью киевскому корреспонденту «Искры» «7 ц. 6 ф.» и замечания об издании агитационной литературы.

«Что называете Вы агитационной литературой? Брошюры? — совсем по-ленински говорится об этом в письме, написанном рукой Крупской. — Но все действительно ценное почти разошлось. Брошюр мало. Можно перепечатывать старые (что мы теперь и делаем), переводить, но нельзя же в 24 часа создать целый ряд действительно хороших брошюр...»

Но и в только что названном ленинском письме напоминалось, что популярная (читай: агитационная) литература «только та и хороша, только та и годится, которая служит десятилетия», сколько бы ни «вопили» наивные люди (а заодно с ними и отнюдь не наивные демагоги), что это «старо»...». А в одном из писем 1902 года уже упомянутому Петренко Надежда Константиновна кратко излагает основные положения книги «Что делать?», знакомые ей по рукописи, корректурам и, конечно, беседам с Владимиром Ильичем. Вот эти строки, едва ли не первые на тысячах страниц, посвященных ленинскому труду, в мировой Лениниане: «...самая существенная задача теперь — организация правильных и тесных сношений между отдельными комитетами и группами, без этого невозможно никакое общее дело, никакая общая работа... таким общим делом может быть — газета. На ее развозке, доставке и т. п. будут специализироваться особые люди, которые при этом будут всячески способствовать сношению между комитетами... Выработается особый аппарат, который будет правильно и быстро функционировать. На общей же работе выдвинутся люди, талантливые организаторы и т. п., которые и составят, вероятно, в свое время Центральный Комитет».

И Крупская сообщает киевским искровцам о скором выходе книги, еще не называя ее: «Пишу я коротко, скоро выйдет специальная брошюра, в которой будет подробно развит организационный план «Искры». У всех искренних людей теперь на устах слово «организация», и надо обсудить как следует этот вопрос. (Брошюра большая, большая часть ее уже напечатана.)».

На юбилей «Искры» в 1902 году — первую годовщину начала ее издания — искровка Августа Кузнецова написала стихотворение «Колокол». «Песня о воле», «Клич... боевой» — отзывается поэтесса о ленинской «Искре». В киевском подполье она пишет о революционной борьбе начала века:

В кровавой борьбе уставать стали руки,
Но, чу, кто-то мощно ударил в набат,
И снова несутся призывные звуки,
И снова ободрилась воинов рать...

И колокол буйный звучит все яснее,
Все громче и громче гудит над страной,
Зовет он сомкнуться рядами дружнее,
Зовет он к победе, зовет он на бой...

К бою с царизмом и звал Ленин со стра-ниц «Искры». Он предсказывал в передовице первого номера, что русские социалисты возьмут крепость царского самодержавия, соединив «все силы пробуждающегося пролетариата... со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного».

Каждая ленинская статья приближала долгожданный «день победы революционной рабочей партии над полицейским правительством». Призывала к «решительной борьбе... за народную свободу!». К сплочению всех революционных сил и систематической подготовке общенародного восстания. Учила разжигать «огоньки народного возмущения и открытой борьбы... в широкое пламя».

«Люди, жаждущие профессии революционной». Материалы сборника — документальное свидетельство близости ленинских идей революционному опыту и революционному сознанию передовых пролетариев. 6 июня 1902 года Иван Радченко — в недавнем прошлом один из деятелей ленинского «Союза борьбы...» — рассказывает редакции «Искры» о беседе «в обществе нескольких сознательных рабочих-слесарей» питерских заводов.

Рабочие делятся с агентом «Искры» соображениями об организации партийного дела, разграничения функций революционеров-подпольщиков, сохранения связей в случаях провала.

— В этом разговоре, — сообщает Радченко, — мне пришлось слышать если не буквальные, то в духе цитаты из «Что делать?». Сiju и радуюсь за Ленина... Мне ясно было, что говорящие со мной его читали, и выкладывать свое резюме мне не для чего...

— Вы вот читали «Что делать?», — говорит мимоходом Радченко и — к своему величайшему изумлению — слышит в ответ:

— Что такое? Мы такой брошюры не читали...

— Может... кто-нибудь из товарищей?

— Нет! — отвечают рабочие «в один голос».

«Канальи комитетцы,— гневно подчеркивает Радченко в скобках,— они сожрали 75 штук, а рабочим и не дали».

Но рабочие-передовики, и не читая «Что делать?», разделяют ленинские идеи, обобщившие революционный опыт.

«Я был поражен,— признается Радченко,— передо мной сидели типы Ленина. Люди, жаждущие профессии революционной. Я был счастлив за Ленина, который за три-девять земель, забаррикадированный штыками, пушками, границами, таможнями и прочими атрибутами самодержавия, видит, кто у нас в мастерских работает, чего им нужно... Передо мной сидели люди, жаждущие взяться за дело не так, как берется нынешняя интеллигенция, словно сладеньким закусывает после обеда, нет, а взяться так, как берутся за зубило, молот, пилу, взяться двумя руками, не выпуская из пальцев, пока не кончат начатого, делая все для дела с глубокой верой «я сделаю это»... таких счастливых минут в жизни у меня не было еще... Мы понимали друг друга... мы были родные, свои, по всему сходящиеся, вооруженные одинаково от пятки до головы одним и тем же оружием».

Это оружие и профессиональным революционерам типа автора взволнованного письма «Искре», и рабочим-передовикам, жаждущим революционного дела, дал Ленин. Для революционеров начала нашего века его книга стала тем же самым, чем была для революционеров-шестидесятников книга Чернышевского,— учебником революционного действия и революционной нравственности.

Примечательны в этом смысле отзывы о «Что делать?», принадлежащие современникам.

«...даже враги признают за этой вещью громадные достоинства»,— сообщает «Искра» из Самары Лидия Книпович.

«Что касается общих принципов, то Северный Союз является, смею думать, одним из самых искренних сторонников «Искры», поскольку эти принципы изложены в брошюре Ленина»,— заявляет один из руководителей «Северного Союза борьбы за освобождение рабочего класса» Федор Щеколдин.

«Глубокую признательность автору брошюры "Что делать?"» выражают орловские социалисты. «Самую первую и самую необходимую потребность» партии секретарь Петербургского искровского комитета Вера

Шапошникова видит в широком распространении ленинской книги «среди рабочих».

«К-К-С-Д». Были у «Искры» и совсем иные, можно сказать, парадоксальные друзья. Одного из них упоминает в письме из Харькова искровка Анна Паромова. Окольными путями к ней пришла весть о том, что в Саратове «Искру» летом 1902 года «аккуратно получал только граф». В данном случае перед нами отнюдь не конспиративная кличка, скажем, астраханского искровца Бориса Авилова, а подлинный титул. Носил его саратовский губернский предводитель дворянства «камергер двора его императорского величества» граф Анатолий Нессельроде.

Это о нем Зинаида Кржижановская пишет редакции 19 августа 1902 года:

«В Саратове есть граф Нессельроде. Он заявил себя официально приверженцем вашим и отказался менять свои убеждения, когда к нему подъехали социалисты-революционеры. Он богат и уже снабжал нас крупной суммой. Скоро он едет за границу и хочет повидаться с вами. Где ему назначить явку?..»

Девять дней спустя — 28 августа — Крупская, разумеется по поручению Владимира Ильича, дает для графа Нессельроде лондонский «наш личный адрес», предупреждая при этом, что его «можно давать лишь вполне своим людям».

Судя по этому письму, в Лондоне могла состояться встреча Ленина с общественным «лидером» саратовского дворянства. Не потому ли еще через месяц — 30 сентября — Глеб и Зинаида Кржижановские запрашивают редакцию: «Получили ли деньги от графа? Отметьте их: — от К-К-С-Д».

Так стало известно, кого имеет в виду зашифрованное сообщение в «Почтовом ящике» № 26 «Искры»: «От К-К-С-Д — 150 р.».

Помогавший, пусть даже не всегда слишком щедро, искровцам саратовский граф напоминает о точно так же «выломавшемся», по выражению Горького, из своего класса миллионере Савве Морозове. И тот и другой, конечно же, не заблуждались, оценивая революционную программу «Искры», отлично понимая, что означает революция не только для самодержавия, но и для дворян-помещиков и купцов-капиталистов. Было бы близоруко и несправедливо видеть в их поступках лишь своекорыстный расчет или озорное чудачество.

Видимо, и на этих пусть частных, но чест-

ных примерах подтверждается открытая Лениным всеобщая историческая закономерность. Да, революционная ситуация возникает и созревает, когда «низы» не хотят, а «верхи» уже не могут жить «по-старому».

И Савва Морозов, и «его сиятельство» граф Нессельроде, как и другие лучшие представители их класса, раньше, глубже, острее своего социального окружения ощутили гнилость и обреченность царского самодержавия. По тем временам и это немалая общественная заслуга, как бы ни «прогнозировать» (задним числом!) их дальнейшие политические позиции в исторической перспективе.

«Хороший человек зря пропадает...» Но не «К-К-С-Д» определяли добродетельными деяниями материальный успех деятельности «Искры». Она опиралась прежде всего на революционное подполье. Поучительны в этом смысле новые документы о судьбе бакинской подпольной типографии «Нина». Среди них письмо ее организатора — Владимира Кецовели, отправленное «Искре» из Киева 26 апреля 1902 года.

«Пишет отец Нины, — начинает Кецовели письмо, полное не слишком загадочных инсказаний, и делится с редакцией своими планами: — ...Нина успела выехать перед погромом, она проектировала отдохнуть на несколько месяцев и потом приняться за дело, но кто знает, что будет дальше... не знаю, что делать и как быть с тою, что стоила мне столько трудов, крови и пр...»

Вскоре Крупская обращается к Лидии Книпович в Астрахань: «Нину теперь особенно важно прибрать к рукам и пристроить ее к делу, а то такой хороший человек зря пропадает... Отец Нины писал нам, что всюду наткнулся на страшное безлюдье, не знает, что делать, спрашивает совета, хочет все бросить... Ради Нины останься в Астрахани...»

С присущей ей энергией профессионального революционера Лидия Книпович принимается «устраивать судьбу» подпольной типографии¹. Уже 2 июня 1902 года она заверяет редакцию, что «Нину» более «не свягают ни за кого». И «Юрий» (группа «Южный рабочий») и «Роман» («экономистская» «Рабочая мысль») ответили, что для

них наступили «времена не такие, чтобы думать о невестах, хворают сильно и обессили совсем». И Книпович пишет, что все «родные» «Нины» согласны («переговорив с другими сватами») отдать «Нину» «Искре». Как общеизвестно, это и произошло...

«Тетрадь № 1». В заключительной части трехтомника подготовители опубликовали «Тетрадь № 1» исходящих и входящих писем «Искры» и поступивших в ее редакцию материалов.

Перед читателем этих, казалось бы, интересных лишь специалистам архивных документов революционного «делопроизводства» возникает вся география разветвленных конспиративных связей ленинской газеты. Лишь в январе 1903 года они охватили, судя по пунктуальнейшим записям Крупской, Петербург и Москву, Львов и Полтаву, Цюрих и Брюссель, Нижний Новгород и Томск, Астрахань и Берлин, Париж и Льеж, Дармштадт и Прагу, Одессу и Киев, Бухарест и Либаву, Харьков и Карлсруэ, Самару и Ялту, Псков и Баку, Орел и Нюрнберг, Ревель и Ригу, Геную и Херсон, Вильно и Оснабрюк, Гейдельберг и Штуттгарт, Мюнхен и Екатеринослав... А за хронологическими пределами январских записей — Ростов-на-Дону и Воронеж, Берн и Тула, Ярославль и Тверь, Смоленск и Лейпциг, Лондон и Тифлис, Уфа и Саратов, Краков и Торн, Каменец-Подольский и Порт-Артур, Гомель и Казань, Тильзит и Проскуров, Пермь и Вологда, Шарлотенбург и Шпиц, Ставрополь и Бодайбо... Чуть ли не все тогдашние центры революционной борьбы и революционной эмиграции. Нити корреспондентских связей ленинской газеты протянулись по всему континенту.

Тетрадь записей материалов, поступивших в «Искру» за тот же период, подготовители сборника сопроводили примечаниями, в которых впервые текстуально воспроизведены двадцать пять ленинских редакторских надписей и указаний. Владимир Ильич то скрупулезно подсчитывает число букв в присланной из Одессы рукописи. То отмечает, имея в виду переданные «Искре» материалы лондонского журнала «Жизнь»: «Есть о том же из «жизни»...». То предлагает «...этого не помещать.

¹ Уж не из-за этой ли революционной энергии Лидии Книпович Павел Северный в совершенно фантастической (не по жанру, а по степени исторической достоверности) повести «Ему было тридцать» совершает то единственное, что, как утвержда-

ют английские шутники, непосильно даже британскому парламенту. Он превращает женщину в существо противоположного пола и приписывает Ленину немислимую в его устах реплику: «Книпович уготован мною для Астрахани».

Поместить лишь воззвание Моск[овского] к[омитета].

Главный редактор «Искры» распределяет материалы по номерам, их отделам и рубрикам. Дает заголовки. Формулирует редакционные пояснения и примечания. Указывает, что следует «отметить в хронике из Партии» или всего-навсего «отметить в 2-х словах».

И мы видим даже по лишь частично сохранившимся документам, сколько ленинского труда вкладывалось в подготовку каждого номера «Искры». И одновременно как ее корреспонденты раскрывали Ленину картину революционной деятельности и общественных настроений в царской России кануна первой русской революции.

...Из Нижнего Новгорода Ольга Чачина сообщает, что рабочие, отданные под суд за участие в революционной демонстрации, решили — «самая лучшая тактика — это оставаться непримиримыми, непреклонными до конца». Рижские социалисты распространили тысячи прокламаций в... протестантских кирках во время рождественской службы. В Казани вышли первые социалистические листовки на татарском языке. В Сормове начали издаваться «сормовские бюллетени», обличавшие каторжные заводские «порядки». Среди арестованных социалистов-волжан весной 1903 года оказались братья Свердловы — Яков и Вениамин... По корреспонденциям «Искры» можно воссоздать революционную хронику начала века.

Весной 1903 года агент «Искры» по Центральному району России Борис Горев (он же Адель, Брат Аким, Леонтьев, Майер, Юлиан и даже Она и Дама) пишет редакции из Москвы: «Сообщаю два новых адреса для «Искры»: 2.8 2.8 1.3 3.10 4.20 2.2 2.7 3.6 1.1 4.7 1.5 2.7 3.20 6.7 1.4 5.1 4.10 7.7 1.6 3.9 1.1 1.4 2.5 1.7—5.7 1.1 2.6 6.5 4.2 5.10 1.1—7.2 1.1 4.1 2.7 1.3 1.8 1.8 4.5 1.1 7.9 2.1 9.6 4.4 7.6».

Этот адрес Надежда Константиновна расшифровала. Шифр означал: «Москва. Дев[ичье] Поле, контора унив[ерситетской] клиник[и]. В. К. Константинову».

На адрес фельдшера университетских клиник (а не клиники, как раскрывают в данном случае подготовители сокращенные слова) с весны 1903 года поступала из Женева «Искра». Однако второй адрес — московского искровца или хозяйина конспиративной квартиры-явки — не удалось расшифровать и Крупской. А зашифрован он

так: «5.1 2.6 3.8 1.7 6.5 5.4 5.8 2.3 2.7 2.3 2.6—8.4 10.8—3.10 6.2 4.3 9.7 1.3—3.20 2.2 4.5 — 1.8 3.4 1.5 3.9 4.1 5.6 3.2».

Первая цифра шифра означает, видимо, место строки в каком-то стихотворении. Вторая — буквы в этой строке. Тире, наверно, разделяют названия улицы, дома (в Москве в начале века они обозначались еще не по номерам, а по фамилиям домовладельцев), имя будущего адресата для экспедиции «Искры».

Адрес этот, как и многие другие зашифрованные подпольщиками тексты, не прочитан никем уже почти семь десятилетий. Кто знает, быть может, будущим исследователям истории ленинской «Искры», вооруженным новейшими средствами и методами научного поиска, удастся продолжить и дополнить труд ее современных историков.

Научное познание подобно эстафете. Не всегда рекордной, молниеносной, стремительной, но зато сохраняющей преемственность от этапа к этапу. Есть все основания утверждать, что ни один будущий историк — исследователь ленинской «Искры» и связанного с ней исторического периода не пройдет мимо трехтомника «Переписки», образцово подготовленного и отредактированного.

Назовем его участников, как это делается в заключительных титрах документальных кинофильмов. Сборник подготовили: К. Г. Ляшенко, В. Н. Степанов, З. Н. Тихонова. Отредактировали — М. С. Волин, А. Ф. Костин, Р. А. Лавров, Н. Р. Прокопенко и В. Н. Степанов — автор предшествовавшей трехтомнику отличной монографии «Ленин и Русская организация «Искры» (1900—1903 гг.)».

После 55 основных и трех дополнительных томов Полного собрания сочинений Ленина, а равно Ленинского сборника XXXVII в научно-исследовательской и документальной Лениниане появилось еще одно издание, столь тщательно текстологически подготовленное.

Как расширились бы сложившиеся представления о содержании и формах деятельности первой ленинской газеты, если научно-редакционный коллектив трехтомника обратится уже не только к переписке, а и к архиву неизданных редакционных материалов «Искры» — летописи исканий тогдашней революционной мысли.

Учитывая объем архива, пока об этом можно, пожалуй, только мечтать. Но ведь тому и учил своих читателей автор «Что делать?».

Борис ЯКОВЛЕВ.

НА ТАЙНОМ ФРОНТЕ РЕВОЛЮЦИИ

Д. Л. Голиков. Крах вражеского подполья (Из истории борьбы с контрреволюцией в Советской России 1917—1924 гг.). М. Политиздат. 1971. 368 стр.

Тема борьбы с антисоветским подпольем в первые послереволюционные годы всегда привлекала внимание не только исследователей-историков, но и писателей и кинодраматургов. В последнее же время установилась даже некая мода на «чекистскую проблематику», и, к сожалению, далеко не всегда уровень выпускаемой литературы, фильмов и произведений документального жанра отвечает исторической правде, согласуется с ней. Между тем у читательской аудитории совершенно четко определился интерес именно к документальности и достоверности.

Выпущенная Политиздатом книга Д. Голикова «Крах вражеского подполья» в полной мере отвечает этим требованиям. Автор на основе следственных и судебных материалов по наиболее важным делам о контрреволюционных выступлениях и заговорах, разбиравшихся в ВЧК, ГПУ, революционных трибуналах и судах Советской России в 1917—1924 годах, показывает характер борьбы молодой Советской республики с антисоветским подпольем. Документы вскрывают лицо внутреннего врага и способы его подрывной деятельности, позволяют понять причины краха всех его попыток отнять у трудящихся завоеванную ими власть.

Читая книгу Д. Голикова, еще и еще раз убеждаешься в том, насколько серьезной и напряженной была борьба с вражеским подпольем, сколько усилий требовала она от молодой, едва родившейся республики. Внутренняя контрреволюция, под знаменем которой объединились самые различные политические силы — монархисты и буржуазные националисты, кадеты и правые социалисты, — пользовалась широкой поддержкой международного капитала. Выбор же средств борьбы на тайном фронте во многом зависел от контрреволюционного подполья.

Победившая революция была великодушна к побежденному врагу. Об этом говорит хотя бы тот факт, что вплоть до весны 1918 года, когда контрреволюция перешла в развернутое наступление на внешнем и внутреннем фронтах, не было вынесено ни одного смертного приговора. Практиковались такие меры наказания, как конфискация имущества, опубликование списков врагов

народа, лишение продовольственных карточек, выдворение из пределов республики, выражение от имени революционного народа общественного порицания и т. д.

Вплоть до левозсеровского мятежа (6 июля 1918 года) число сотрудников ВЧК составляло лишь 120 человек.

Создатель и первый руководитель советских органов государственной безопасности Ф. Э. Дзержинский требовал от чекистов наряду с большевистской идейностью, преданностью революции, высокой сознательностью и честностью сдержанности и вежливости. В одной из инструкций в 1918 году он писал: «Вторжение вооруженных людей на частную квартиру и лишение свободы повинных людей есть зло, к которому и в настоящее время необходимо еще прибегать, чтобы восторжествовали добро и правда. Но всегда нужно помнить, что это зло, что наша задача — пользуясь злом, искоренить необходимость прибегать к этому средству в будущем. А потому пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить человека свободы и держать в тюрьме, относятся бережливо к людям, арестуемым и обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в нашей власти. Каждый должен помнить, что он представитель Советской власти — рабочих и крестьян и что всякий его окрик, грубость, нескромность, невежливость — пятно, которое ложится на эту власть».

Глубокая убежденность в правоте дела революции, строгий подбор кадров, тесное взаимодействие с широкими массами трудящихся позволяли Всероссийской чрезвычайной комиссии с ее немногочисленным аппаратом справляться с немислимо громадными задачами, возложенными на нее народом, партией.

По мере того как углублялась гражданская война, менялись и методы борьбы. В книге обстоятельно исследуется весь ход борьбы на тайном фронте гражданской войны. Сила и пафос документов той поры таковы, что буквально не отрываясь читаешь страницу за страницей, посвященные ликвидации анархистских банд в Москве весной 1918 года, подавлению савинковского восстания в Ярославле, Рыбинске и Муроме в

июле того же года, раскрытию «заговора послов», разоблачению «Национального» и «Тактического» центров в Петрограде, Москве и других антисоветских организациях и заговоров.

Неопровержимы факты, вскрывающие органическую связь между вражеским подпольем в Советской России и внешней контрреволюцией.

Завершилась гражданская война. Народ приступил к восстановлению расстроенного двумя войнами хозяйства страны. И только для чекистов война не закончилась в двадцатом. С разгромом белых армий на внешних фронтах центр тяжести борьбы переместился на фронт внутренний. Опорой антисоветского подполья стала белая эмиграция.

В различных странах Европы и Азии, на американском континенте нашли себе пристанище около двух миллионов русских эмигрантов, покровительствуемых Антантой и Лигой Наций. В то время как основная масса белоэмигрантов бедствовала на чужбине, лидеры эмиграции, располагая значительными средствами, частично вывезенными из России (Врангель, к примеру, занимался распродажей уведенного им Черноморского флота и расхищением петроградской ссудной казны), частью полученными от иностранных правительств, развернули интенсивную диверсионно-разведывательную работу в Советской России и подготовку к новой военной интервенции. Для этой цели в Югославии, Болгарии была сосредоточена шестидесятитысячная армия под командованием генералов Врангеля и Кутепова. Несколько тысяч штыков находилось под командой Савинкова, Булак-Балаховича и Петлюры в Польше. На Дальнем Востоке, в Маньчжурии собирал силы атаман Семенов.

Белоэмигрантское руководство всеми силами пыталось помешать установлению контактов Советской России с внешним миром, организуя различные провокации и покушения на советских представителей за границей. Одной из первых жертв эмигрантского террора стал Вацлав Вацлавович Воронский, убитый капитаном врангелевской армии Конради.

Опасность новой интервенции была вполне реальной почти на всем протяжении 20-х годов, и требовалась буквально неусыпная бдительность органов безопасности, всего народа, тем более что белая эмиграция имела широкую сеть агентуры в стране.

Парализовать ее подрывную деятельность и ликвидировать — таковы задачи органов ВЧК—ГПУ в период, последовавший после окончания гражданской войны.

Особенностью работы органов государственной безопасности в эти годы являлось то, что она проходила в условиях известной легализации деятельности антисоветских партий и течений. Антисоветские круги особенно широко использовали в своих целях печать. Достаточно сказать, что только в 1922 году в Москве возникло 337, а в Петрограде 83 частных издательств, где подвизались буржуазные деятели разных направлений. В журнале «Экономист», выпускавшемся одним из таких издательств, печатался известный эсер Питирим Сорокин, а в журнале «Утренник» — один из бывших руководителей партии кадетов Изгоев.

В этот период контрреволюция не отказалась и от старых методов борьбы. В 1922 году было предотвращено вооруженное восстание в Сибири, организованное бывшими казачьими офицерами Жваловым и Карасевичем; в июле 1923 года в Киеве раскрыт «Центр действий» — антисоветская организация, руководимая из Парижа бывшим председателем архангельского «правительства» лидером партии «народных социалистов» Чайковским и кадетами Карташевым, Демидовым и другими.

В эти годы велась ожесточенная борьба против экономического саботажа и промышленного шпионажа.

Одним из значительных событий борьбы на тайном фронте стала поимка известного контрреволюционера, одного из главных лидеров белой эмиграции Бориса Савинкова. В книге Д. Голикова большое внимание уделяется документальному рассмотрению всех преступлений, заговоров и мятежей, организованных Савинковым после октября 1917 года. Подробно излагается ход судебного процесса над ним.

Конец савинковщины, как отмечает автор книги, как бы подводил итоги борьбы с контрреволюцией, отражал историческую победу советского народа над всеми его врагами в первые годы Советской власти.

Одну из главных причин краха контрреволюционного подполья в 1917—1924 годах Д. Голиков справедливо видит в том, что «ни в годы гражданской войны, ни по окончании ее антисоветское подполье, как и лагерь контрреволюции в целом, не имело опоры в массах трудящихся, ибо контрреволюционный лагерь отражал интересы и

вождедения ничтожной кучки эксплуататоров, противоречившие чаяниям трудового народа. Поэтому задачи, поставленные контрреволюцией, не имели под собой реальной почвы, были неосуществимы.

Сочетание научности и строгой документальности с живостью и занимательностью изложения и определило успех книги.

П. ЧЕРКАСОВ.



ДИНАМИКА ЯЗЫКА

К. С. Горбачевич. Изменение норм русского литературного языка. Л. «Просвещение». 1971. 270 стр.

Еще в прошлом веке лингвисты стали различать язык и речь. В начале нашего столетия это разграничение было теоретически обосновано.

Язык консервативен. Это необходимость: одно поколение должно понимать предшествующее и быть понято последующим. Речь революционна: в ней что-то всегда возникает, что-то входит в моду, что-то, напротив, забывается. Мы постигаем язык через речь и пользуемся языком в виде речи: он проявляется в ней. Она его питает и изменяет. Все, что есть в языке, прежде побывало в речи. Но не все, что существует в речи, может рассчитывать на место в языке.

Исподволь идет непрерывный процесс языкового обновления. «Что касается хронологической изменчивости языка,— замечает один исследователь,— то это также и философский вопрос: до какого момента явление остается тождественным себе, несмотря на изменения во времени, и когда оно превращается в другое явление?.. Русский язык протопопа Аввакума (XVII в.) и русский язык М. Горького — тот же самый язык?»¹. И продолжает: «Правда, в языкознании пока не выработаны принципы отсчета времени, когда язык следует считать структурно иным, несмотря на генетическое тождество. Существенную роль в решении данного вопроса могут играть и экстралингвистические (то есть внеязыковые.— Э. Х.) факторы»².

Именно отсутствие покуда строгих критериев периодизации истории языка делает спорным, что же, собственно, считать ныне современным русским языком (во всех его формах, в том числе литературной). Современным русским языком обычно называют язык от времен Пушкина до наших дней

При этом часто ссылаются на известные ленинские строки: «Мне случилось как-то беседовать с т. Луначарским о необходимости издания хорошего словаря русского языка. Не вроде Даля, а словарь для пользования (и учения) всех, словарь, так сказать, классического, современного русского языка (от Пушкина до Горького, что ли, примерно)»...³.

Мне кажется, однако, чтобы точнее понять ленинское высказывание, надо учесть следующее. Во-первых, лейтмотив писем Ленина, посвященных необходимости словаря «настоящего русского языка»⁴, «образцового, современного»⁵: противопоставление такого словаря словарю Даля, который «областнический... и устарел»⁶. На фоне архаической и диалектной лексики, представленной у Даля, лексика авторов «от Пушкина до Горького» была бы современной и понятной всем образованным людям. Во-вторых, время, когда писались эти ленинские строки,— время ликбеза, начало приобщения широчайших масс к культурному наследию, важнейшей частью которого была великая классическая литература — от Пушкина до Горького. Ленин прямо пишет о «пользовании (и учении) всех». В-третьих, с той поры прошло более полувека. И какого полувека!

К. Горбачевич рассказывает о пересмотре в научной литературе последних лет хронологических границ современного русского литературного языка. Русский язык наших дней если не противопоставляется, то, во всяком случае, сопоставляется с языком Пушкина. В исследованиях мелькают наименования «современный язык нового времени», «живая система литературного языка» и т. д. При разговоре о конкретных

¹ В. Я. М ы р к и н. К вопросу об объективности существования языка. «Филологические науки», 1971, № 4, стр. 50.

² Там же, стр. 51.

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 192.

⁴ Там же, стр. 122.

⁵ Там же, т. 52, стр. 199.

⁶ Там же, т. 51, стр. 122.

языковых фактах во многих работах возникает и противопоставление: сейчас так, а в XIX веке не так.

Академик В. В. Виноградов считал, что современный русский литературный язык возникает «с 90-х годов XIX в.—с начала XX в. вплоть до современности»⁷. К. Горбачевич называет исходным рубежом современного русского литературного языка конец 30-х — начало 40-х годов нашего столетия. Автор понимает всю сложность научной периодизации языковой истории, всю спорность предлагаемых решений. Но он полагает бесспорным, что «уже пришло время освободиться от «гипноза» языка классической литературы XIX века и объективно рассмотреть происшедшие с того времени сдвиги норм литературного языка».

Изменению норм русского литературного языка и посвящена книга К. Горбачевича.

Автор рассматривает некоторые из внутренних причин (внутренних законов) языковых изменений (он говорит о законе экономии и законе аналогии) и некоторые из внешних причин — внеязыковые факторы (изменение социального состава носителей языка, рост общей культуры, роль средств массовой информации и др.).

После первой теоретической главы следует шесть глав, посвященных изменениям норм в ударении, произношении, лексике, словообразовании, морфологии, синтаксисе. Приведенные в этих главах факты в своей совокупности не только показывают динамику языка, не только способствуют воспитанию историзма во взглядах на язык, но и предоставляют в распоряжение читателя большой справочный материал.

Вот, например, ударения: э́пиграф, физиоло́г, ва́ришь у Пушкина; ку́рять у Пушкина и Лермонтова; ва́льсируют у Козьмы Пруткова; днѣ́вное у Батюшкова, Пушкина, Майкова; те́рновый у А. К. Толстого; гробо́вой у Баратынского и т. д. Это не выдумка поэтов, не их прихоть. Это норма языка того времени. Опираясь на работы о русском ударении и на материалы словарей, Горбачевич говорит о причинах изменения и тенденциях развития. Сегодняшнее ударе-

ние подается на фоне исторической ретроспективы, что выявляет неслучайный, закономерный характер и солидную родословную нормы.

И точно так же рассказывается о сдвигах в произношении, в лексике, в словообразовании и т. д.

Сделаю несколько критических замечаний. Автор трижды употребляет термин «позитическая вольность» и ни разу не раскрывает ни своего понимания его, ни своего отношения к нему. А между тем этот термин неточен. Видный филолог Б. В. Томашевский писал: «Теория так называемых «позитических вольностей», как известно, родилась тогда, когда филологические дисциплины не давали ясного ответа на все вопросы, и выдумывалась терминологическая лазейка для классификации явлений. Явления «вольностей» (а еще не так давно стихотворная форма «музыка» вместо прозаической «мúsica» почиталась «вольностью»), как явление «грамматических исключений», не есть уклонение от нормы, а есть особая норма, борющаяся с господствующей»⁸.

К. Горбачевич соглашается с мнением, что «в стихах поэта есть только то, что есть в языке его народа». Но ведь это не всегда так. В стихах и прозе Маяковского около 2000 слов, которых нет в языке его народа. А сколько таких слов у Хлебникова?

Автор, повествуя о сдвигах в словообразовании, говорит, что слова типа су́шка, мо́йка, отливка, откачка и другие употребляются в публицистике и в газетной информации. При этом он как бы не замечает, что это уже разговор не об их создании, а об их употреблении.

На странице 163 неточно сформулирована современная норма, регулирующая принадлежность сложносокращенного слова к тому или иному грамматическому роду. Автор упрощает описание нормы, что сразу же видно, чуть только дело доходит до рода у слов вроде ТАСС, МИД, ВАК и т. п.

Не задерживаясь на других неточных или спорных высказываниях, отмечу нечеткость ряда формулировок. На странице 165: «В каком отношении к норме литературного языка находятся отступления от правила определения грамматического рода аббревиатур...?» Что такое здесь прави-

⁷ В. В. Виноградов. Семнадцатитомный академический словарь современного русского литературного языка и его значение для советского языкознания. «Вопросы языкознания», 1966, № 6, стр. 20.

⁸ Б. В. Томашевский. Стих и ритм. Поэтика. Временник Отдела словесных искусств, IV. Л. 1928, стр. 15.

ло? Это же норма. В каком же отношении к норме (если это она) может находиться отступление от нее? В отношении отступления, конечно. В каком же еще?

Упомянув, что в «Словаре Академии Российской» признается образцовой форма несть, автор замечает: «Примечательно, что в более ранних словарях (Материалы И. И. Срезневского, Словарь Нордстета и др.) приводится исконная форма нести». Не менее примечательно, однако, и то, что «Материалы для словаря древнерусского языка» подготовлены И. Срезневским в XIX веке и отражали несовременный составителью язык...

Есть еще случаи подобной нечеткости. Имеются и опечатки, но нет ни одного их исправления. Впрочем, это беда не только данной книги. С некоторых пор такая форма уважения к читателю, как список опе-

чаток, стала непопулярной в иных наших издательствах.

Книга К. Горбачевича адресована прежде всего учителю. Школа всегда была и остается «основным каналом сознательного коллективного воздействия на речевую практику», а тем самым и на язык. Всеобщее среднее образование означает еще и то, что все дети попадают в зону действия школьной «языковой политики». Это предъявляет новые требования к уровню преподавания. Автор верно говорит, что «нередко в школе язык представляется как нечто статичное, неизменное, его нормы — вечными и нерушимыми». Книга содержит идеи историзма — идею развития языка и идею конкретно-исторического подхода к его явлениям.

Эр. ХАНПИРА,

кандидат филологических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



Г. ЦУРИКОВА. Тициан Табидзе. Жизнь и поэзия. Л. «Советский писатель». 1971. 311 стр.

Книга Галины Цуриковой о грузинском поэте Тициане Табидзе, насыщенная обильнейшим биографическим и «стиховым» материалом, почти исчерпывающе воссоздает бытовую, социальную и общелитературную атмосферу, в которой происходило рождение и развитие поэтического таланта Тициана Табидзе. По форме своей, по характеру изложения и анализа, по «температуре» и «пульсу» письма книга очень и очень соответствует своему «объекту». Она целиком исходит из материала, живо воспроизводит личность, творческую индивидуальность Тициана Табидзе. Это, с моей точки зрения, нечастый случай постижения материала, одержимости им, когда происходит психологический и эстетический феномен, ярко выраженный в знаменитых строках самого Т. Табидзе:

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их...

Автор книги впервые в литературоведении рассматривает ранние прозаические, поэтические и дневниковые опыты и этюды Табидзе, обнаруживая при этом глубинные истоки его творчества, породившие первые зрелые произведения. Прослежена и выявлена «диффузия» стихов поэта. Имена Маяковского, Блока, Бальмонта, Скрябина, Врубеля, Андрея Белого, Пастернака вводятся в анализ и влекут за собой весь сложный комплекс, связанный с этими явлениями. Один из наиболее интересных разделов книги — анализ двойного, скрещенного влияния символизма — футуризма на раннего Тициана Табидзе.

Нужно сказать, что русско-европейские истоки и ассоциации выявлены в книге русского автора ярче и обширнее, чем собственно грузинские, которые верно названы, указаны, определены по месту и значению, но не столь подробно рассмотрены. Зато, анализируя собственно стихи, Г. Цурикова опирается не только на свидетельства переводов (иногда разных переводов одной и той же вещи), но и подстрочников, черновики, вариантов. В книге впервые, включая и грузинское литературоведение, дается серьезный и обстоятельный анализ «халдейско-

го» цикла Т. Табидзе. Великолепна параллель между «Халдеей» Т. Табидзе и «Русью» Блока.

Автор по-новому освещает «переходный» стихотворный цикл «Всем сердцем», который раньше рассматривался лишь в чисто тематическом аспекте, без выявления трудностей и сложностей, а то и неудач в воплощении тем и мотивов этого цикла. Такой подход делает еще более убедительным анализ подлинно органичных для позднего Тициана Табидзе стихов о новой жизни своей родины, поставивших его в ряд лучших советских поэтов.

Монография Г. Цуриковой воссоздает логически убедительную картину творчества поэта сложного и в определенный период своей биографии противоречивого. Воссоздает без упрощений и недомолвок. В этом сила книги и ее интерес для всех, кто любит поэзию.

Георгий Маргвелашвили.

Тбилиси.



Д. Н. СМЕРНОВ. Очерки жизни и быта нижегородцев XVII—XVIII веков. Горький. Волго-Вятское книжное издательство. 1971. 350 стр.

Город, отметивший свое 750-летие, совсем недавно почтил вниманием Дмитрия Николаевича Смирнова: ему исполнилось восемьдесят. Эти, казалось бы, совершенно различные юбилеи — города и человека — по существу, касаются единого пласта нижегородской земли. Сам Д. Н. Смирнов говорит так: «Как нижегородский старожил, я люблю свой родной город и край и на протяжении всей своей сознательной жизни занимаюсь нижегородским-горьковским краеведением». Новая его книга — свидетельство того, что он продолжает щедро пополнять научный арсенал не только местного краеведа. Его работа — увлекательное и правдивое повествование.

Нижний Нов-Град, основанный в 1221 году суздальским князем Юрием Всеволодовичем, длительное время служивший форпостом русским на востоке, в XVII столетии сам оказался глубинным городом, центром экономики и торговли понизовского края. А когда мирная жизнь страны была нарушена интервенцией, нижегородцы решились выступить с оружием и «стать за...

веру и за Московское государство... за один». Рассказ о том, как, в каких условиях формировалось ополчение нижегородским старостой Кузьмой Мининым, как оно под командой Дмитрия Пожарского дошло до Москвы и избавило ее от непрошенных гостей, составляет одну из ярких глав книги.

Автор вообще большой мастер увязывать, «стыковать» чисто нижегородские события с общерусскими, вплетать их в единое государственное русло. Приезды Петра и Екатерины в Нижний служат естественным поводом для характеристики их нововведений.

«Прекрасен ситуацией город» не обойден и вниманием иностранцев: о нем оставил описание знаменитый немецкий ученый и путешественник Адам Олеарий. Красочно, документально прослежены рейды отрядов Степана Разина и Емельяна Пугачева по нижегородским просторам.

Но, как нам представляется, главное достоинство книги состоит в необычайно широком и многогранном показе старины, самой ткани уклада волжского города. Автор извлек на свет божий и сделал достоянием широкого читателя уникальные материалы. Тут и летописи, Писцовые книги, полное собрание законов Российской империи, Древняя Российская Вивлиофика, изданная Н. И. Новиковым, сборники и протоколы Нижегородской губернской ученой архивной комиссии, труды нижегородских летописцев, ученых, литераторов, архивные материалы соседних губерний, работы ныне здравствующих горьковских историков... Из этого наплыва источников Смирнов сумел отобрать конкретное и неповторимое: кажется, у него не найдешь лишней строчки — все к месту, все к делу. Приведем слова, сказанные о воеводе П. П. Головине: «Любит также, когда его поздравляют с новолетьем, масленицей, ледоставом, оттепелью, первопутком, порошей, прилетом грачей, жаворонков, «легким паром» (каждую субботу, после бани), Дмитриевской субботой (помяновение умерших), Филипповым заговеньем и т. д.». Образ взяточника, хапуги готов. Нижегородцы говаривали: «Земля любит навоз, лошадь овес, а наш воевода принос». Страдавшие от поборов горожане врывались на воеводский двор и «лаяли (своего начальника) позорно всякою лаею». Не помогало. Хотя, как отмечает автор, нижегородцы умели «свободно пользоваться словом» и при случае даже перед важными сановниками складывали «особенным образом персты»...

В книге — целая россыпь характеров, типов. Мы видим жителей Нижнего той поры. Узнаем, какие у них дворы, чем они питались, какой платили оброк, как говорили, каким слогом писали письма. Посадский люд предстает во всем своем естестве: со своими нравами и привычками, каждый в своей одежде и обуви — бронники, замочники, жерновники, иконники, коновалы, квасники, неводчики, оханщики (рыболовы), печники, плотники, полстовалы (валявшие кошму), прядильщики, рогожники, рукавич-

ники, серебряники, судоплаты (чинившие лодки), чулочники, шапочники...

Любитель старинных русских изречений найдет в книге немало интересного. Читается она как исторический роман, как хроника, как увлекательные записки путешественника по двум векам. Густо населенное произведение! Описав аптекаря из немцев Егора Крестьяныча, «славного шарлатана Ерофеича», как назвал Г. Р. Державин лекаря, выходившего графа, автор знакомит нас и с провинциалами. Мы переносимся в Арзамас, Курмыш, Лукоянов, Выксу, прозванную нижегородским Уралом. Уроженцы Нижегородской губернии протопоп Аввакум Петрович и патриарх Никон ведут читателя по ухабистым дорогам Руси с ее неурядицами и смутами. А нижегородский механик Иван Кулибин, в совершенстве постигший «часомерие» и прочие технические премудрости, заставляет призадуматься об одаренности русского человека.

В этих кратких заметках позволю себе совершенно необходимое отступление, выходящее за рамки только одной книги. Дмитрий Николаевич хорошо известен несколькими читательским поколениям нижегородцев-горьковчан. Он издал несколько книг, опубликовал многие сотни статей и исследований. Ряд его статей посвящен отцу Владимира Ильича Илье Николаевичу Ульянову. Им описан и приезд Ленина в Нижний Новгород осенью 1893 года. Он раскопал, где жил Тарас Шевченко, описал, как состоялась первая встреча В. Короленко с Максимом Горьким, как в сентябрьский вечер 1790 года в Нижний доставили «страшного политического преступника» Александра Николаевича Радищева: опасного сочинителя мчали на перекладных в далекий Илимский острог.

Любознательный, на редкость трудолюбивый, Дмитрий Николаевич своими удивительными розысками и публикациями прочно «вписался» в облик современного Горького.

Н. Хохлов.



И. ВИНОГРАДСКАЯ. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись. Т. I. 1863—1905. М. ВТО. 1971. 558 стр.

Этой книгой, как всеми изданиями подобного рода, будут усердно пользоваться: будут открывать, чтобы получить справку, на которую иначе пришлось бы тратить время в архивах, да и неизвестно было бы, где же именно искать. Труд исследователя, долгий и щепетильный, как бы изначально подсобен, лишен иного честолюбия, кроме того, которое не всякий угадает в ссылках на номера музейного хранения: многие документы публикуются впервые, многие сведения добыты заново, и составитель летописи жизни Станиславского вправе гордиться находками.

Приводятся домашние письма — торжественные и не слишком складные. «Простите

великодушно, что я замешкался благодарить Вас за Ваш привет и за то, что Вы поделились со мной Вашей семейной радостью, что Вам бог даровал второго сына». «Славянский Базар» упоминается по первому разу вовсе не в связи со знаменитым свиданием основателей Художественного театра — «В Славянском Базаре бывали какие-то утра, на которых, между прочим, выступал Правдин с немецкими рассказами. Отец часто брал нас на эти утра». Найдены воспоминания, как Алексеевы ездили на богомолье в Киев: «Повезли с собою всех детей... нянек, гувернера, гувернантку, горничную и даже... своего повара с детскими кастрюлями. Целую аптеку везли с собою и доктора Якубовского». (Страницы эти заставляют вспомнить, как Пушкин понукал друга своего Нащокина диктовать ему историю своей семьи, рассказывать о вельможном и самодурном выезде из дому его отца. Есть сходство в благодушеством, чудачащем размахе — без нужды и для удовольствия...) В Любимовке праздник с катаньем на реке — играет оркестр, лодки вымыты, украшены коврами, флагами и красными подушками; прежде всего стали подавать к пристани против дома «Орла» самую большую лодку с музыкой...

Это быт дома. Упорядоченный и уютный, он полон игры сил, воспитанных и свежих сил удивляюще много. С этого начинается; пока мы еще только на первых страницах.

Типографские отступы от строки до строки оставляют просвет между фактами. Возникает воздух. Воздух дома, обаяние царящей здесь основательности и фантазии. Воздух города — детей Алексеевых возят на бал к Морозовым, сын Савва на год старше Кости. От Красных ворот, близ которых живут Алексеевы, рукой подать до дома Мамонтовых на Садовой, семьи в дружбе. У Мамонтова разыгрывают живые картины, Станиславский изображает Олоферна. Через несколько лет Врубель зарисует его в роли пророка Самуила в другом спектакле того же мамонтовского кружка (рядом с ним царя Агага играет Валентин Серов). Журналисты печатно вышучивают прихоти «московских Медичисов», их палаццо и их меценатство. Между тем страсть к искусству и щедрость Мамонтовых и Морозовых заслуживает отнюдь не иронического сопоставления с флорентинскими государи, из своих сундуков оплачивавшими итальянское Возрождение.

Мы все еще в начале — начало длинно, богато, отягощено обилием возможностей и оттого малоподвижно. Станиславский словно бы оттягивает выбор. Обычно в биографиях деятелей сцены повествуется о колебаниях перед тем, как «идти в актеры». Герой летописи в смущении перед иным — он медлит признать за собой гнущиеся обязательства гения. Он рад бы оставаться добросовестным, не превращая этого свойства в сокрушительный творческий максимализм.

Говорят, биография всякого человека — готовый роман. Оно не всегда так: бывают жизни бессодержательные и рассыпающие-

ся на ерунду. Но в судьбе человека крупного в самом деле уже от природы есть своя «художественная организация»; есть экспозиция, завязка, сложный ход к кульминации. Пока еще только с краю, фоновыми фигурами, но уже появляются в летописи главные люди и главные темы биографии. Станиславский записывает после спектакля: «...слышал, что писатель Владимир Иванович Немирович-Данченко хвалил меня в роли». Чехов облачается во фракную пару, чтобы ехать на открытие Общества искусства и литературы: на дворе ноябрь 1888 года, до премьеры «Чайки» в Художественном театре остается десять лет. Читайте дальше...

Труд составителя летописи И. Виноградской громаден. Людей, выполнивших подобный труд, принято благодарить за самоотверженность. Но, искренне готовая услужить каждому, кто обратится к ней по той или иной деловой надобности, книга И. Виноградской таит в себе свое собственное. Она имеет свое понимание эпохи, искусства и судьбы. Понимание, возникшее из непредвзятости и полноты знания.

И. Соловьева.



И. Н. ГОЛЕНИЦЕВ-КУТУЗОВ. Творчество Данте и мировая культура. М. «Наука». 1971. 551 стр.

Перед нами последний труд выдающегося советского филолога Ильи Николаевича Голенищева-Кутузова, тщательно подготовленный к печати уже после смерти автора его вдовой И. В. Голенищевой-Кутузовой. Книгу заключает послесловие академика В. М. Жирмунского (теперь уже тоже покойного), дающее высокую оценку разносторонней деятельности И. Н. Голенищева-Кутузова.

Обладая огромной эрудицией в области романских и славянских литератур, И. Н. Голенищев-Кутузов включил в круг своих исследований и латинскую литературу средних веков, и современную итальянскую и французскую поэзию, и сербский эпос, и «Слово о полку Игореве», и вопросы теории стиха, и многое, многое другое. Но в центре его научных интересов была итальянская литература XIII—XVII веков и ее влияние на французскую, испанскую и славянские литературы.

Величайший из итальянских авторов, венчающий средневековую традицию и открывающий дорогу литературе Возрождения, Данте был любимым поэтом и главным объектом научных разысканий И. Голенищева-Кутузова. Первая его работа о Данте относится к 1933 году. Книга «Творчество Данте и мировая культура» является своего рода итогом многолетних исследований ученого.

Дантовская проблематика предстает здесь в трех аспектах: жизнь и творчество поэта, его истоки в предшествующих Данте культурных традициях, посмертная судьба дантовского наследия в веках вплоть до нашего времени.

Глава «Данте и греко-римский мир» чрезвычайно обогащает и уточняет наши представления о связях Данте с античными (особенно римскими) истоками — с Вергилием, Горацием, Овидием, Луканом, Стацием, Титом Ливием, Сенекой, Цицероном, великими греческими философами Платоном и Аристотелем. Особый интерес представляет рассмотрение взаимоотношений Данте с предшествующей ему средневековой культурой, в известной мере подлежащей синтезу в его творчестве. Убедительно показана несовместимость политического идеала Данте с католическим теократизмом, восходящим к учению Аврелия Августина. При этом автор книги внимательно прослеживает влияния, испытанные Данте со стороны антидогматических и еретических движений его времени.

В разделе «Данте и арабская культура» И. Голенищев-Кутузов сумел раскрыть несомненные воздействия на космологические представления великого флорентийца не только Ибн Рошда, но и Ибн Сины, Аль Фараби, Аль Петрагия и других философов и ученых мусульманского мира. Исследователь рассматривает также народную литературу на романских языках в качестве источника, из которого поэт почерпнул целый ряд образов, мотивов и пр.

Анализ взаимоотношений Данте с культурным наследием античности и средневековья незаметно переходит в характеристику его собственных произведений. После краткого жизнеописания Данте следуют разделы о «Новой жизни» и трансформациях образа Беатриче на протяжении всего творчества поэта, о лирике Данте (в том числе о стихах «дидактического» периода), о «Божественной комедии» и, наконец, оригинальный этюд о дантовской поэтике.

Значительная часть монографии, как уже указывалось, посвящена судьбе дантовского наследия, переводам, влияниям, интерпретациям Данте в культуре XIV—XX веков. Эволюция интерпретации Данте четко увязана с культурно-историческим процессом, сменой направлений и школ (барокко, классицизм, просвещение, романтизм и т. д.).

Исследователю удалось осветить ускользавшие до сих пор существенные связи с дантовским наследием у крупнейших деятелей мировой литературы. В «дантологическом аспекте» перед читателем проходят такие фигуры, как Боккаччо, Кампанелла, Мильтон, Шеллинг, Гегель, Гёте, Байрон, Бальзак, Лонгфелло, Пушкин, Блок, Брюсов, Ахматова и многие другие.

Книгу завершает раздел о Данте в советской культуре. В нем выявлена преемственность советского дантоведения по отношению к лучшим традициям русской академической науки (И. Гревс, А. Веселовский и их ученики), характерный для нее историзм, интерес к политической и этической проблематике, к отношениям между творчеством Данте и синхронными культурами Востока. И. Голенищев-Кутузов на большом фактическом материале, впервые введенном им в научное обращение, показывает

многонациональный характер советской дантологии, уделяя много внимания анализу переводов Данте не только на русский, но и на языки других народов Советского Союза.

Рецензируемая книга является первым в советской науке синтетическим трудом о творчестве великого итальянского поэта. Она — новый шаг в развитии советской и мировой науки о Данте.

Е. Мелетинский,

доктор филологических наук.



И. С. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. Звуки земли. Рассказы о птицах. М. «Детская литература». 1971. 128 стр.

Мало кто из современных писателей умеет так проникновенно, осязательно и поэтично изображать картины природы, жизнь зверей, птиц, деревьев, лесов и рек, как старейший мастер прозы Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Творчество этого писателя есть прямое продолжение замечательных достижений русской классики — Аксакова, Тургенева, Бунина, Пришвина. Одной любви к природе и таланта живописать мало. Соколов-Микитов отличается от других хороших прозаиков, и более молодых и совсем молодых, тоже влюбленных в природу и умеющих писать об охоте и рыбной ловле, своим громадным знанием природы и пониманием ее.

Помню, как лет двадцать с чем-то назад в Литературном институте имени Горького на семинаре К. А. Федин говорил нам: «Учитесь строить фразу у Бунина, а писать о природе — у Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Лучше него никто не пишет». Мы сразу бросились читать этих писателей. В бунинской фразе крылась какая-то особая словесная магия, разгадать которую не удавалось. В прозе Соколова-Микитова тоже была магия — другого рода. Любовь — знание. Федин давал лукавый ответ: научиться этой тайнописи невозможно. Нужно обречь себя на другую жизнь. Перестроить не какую-то часть жизни на время («Поеду-ка я на природу, порыбачу, поохочусь!»), а всю жизнь целиком!

Ну кто бы из писателей мог написать книгу о птицах, набросать сорок великолепнейших птичьих портретов? Такая книга вышла недавно в издательстве «Детская литература». И это книга не натуралиста, а писателя.

Это прекрасная, поэтичная проза. Называется «Звуки земли». В кратком вступлении говорится: «Я с радостью вспоминаю теперь звуки земли, некогда пленявшие меня в детстве. И не от тех ли времен осталось лучшее, что заложено в моей душе? Вспоминаю лесные таинственные звуки, дыхание пробудившейся родной земли. И теперь волнуют и радуют они меня. В ночной тишине еще отчетливее слышу дыхание земли, шелест листва над поднявшимся из земли свежим грибом, трепетание ночных легких бабочек, крик петуха в ближней деревне...» Да, это книга старого человека. Долгая жизнь за плечами.

И вот она вспоминается — в шумящих лесах, в травах, лугах, в синеве и льдах, в горах и пустынях, в птицах.

Поразительно, что с каждой птицей связано какое-то воспоминание. Ни одна птица не промелькнула в этой жизни, не оставив зарубки. Есть воспоминания большой давности. В главке «Перепел» рассказано: «Как-то однажды, еще до первой мировой войны, проходя по одной из тихих петербургских улиц, я услышал громкий крик перепела, отражавшийся от каменных стен городских домов. Подняв голову, я увидел в окне второго этажа каменного дома вывешенную клетку, в которой сидел и громко кричал перепел...»

Представляете, каков был слух у молодого человека, различившего голос перепела в шуме столичной улицы? И какова память, сохранившая это воспоминание в течение более полувека? Особый слух, особая память. Каждый из этих рассказов о скворцах, дроздах, дергачах, зимородках, куличках, удодах, жаворонках, городских и диких голубях написан в своей тональности, в своем настроении: один написан с теплым сочувствием, другой с грустью, третий с восхищением ловчими достоинствами, четвертый с любовью, а пятый неприязненно, а шестой с холодноватым равнодушием — все вместе составляют как бы картину целой жизни, написанную странными, п т и ч ь и м и красками.

Книга «Звуки земли» иллюстрирована поэтичными рисунками Г. Никольского. Выход этой книги со скромным подзаголовком «Рассказы о птицах» совпадает с восьмидесятилетием художника слова. Нет, эта книга интересна не только детям и она не только о птицах. Каждый, кому дорого точное русское слово и кого томит невысказанность нашей любви к природе, с удовольствием поставит эту книгу на полку любимых книг.

Ю. Трифонов.



ДМ. ГОЛУБКОВ. Окрестность. Книга стихов. М. «Советский писатель». 1971. 128 стр.

О стихах Дмитрия Голубкова я слышал суждение: «бунинская школа»... Если поэт много пишет о русской природе, если стих его традиционен, глаз остер, язык ясен и точен, то такого поэта, что ж, можно причислить и к «бунинской школе». Но так ли уж традиционна эта школа? Не вернее ли сказать, что в поэзии, по крайней мере в русской, вообще не было «традиционных школ», что все истинные поэты всегда новаторы. Но что при этом всегда были эпигоны и создатели. В стихах с виду традиционных может заключаться, если применить современное выражение, огромный «коммуникационный взрыв». Движущиеся якобы по старинке, не рассчитанные на то, чтобы изумлять (да и какой может быть расчет в поэзии?), они часто содержат негромкую, но уверенную смелость художника-реалиста.

Литературная смелость, разумеется, не

означает пренебрежения опытом прошлого. Не прошел мимо опыта Бунина, опыта Фета и Дмитрий Голубков.

Особенность таланта Голубкова проявляется в связи его стихов с прозой. Дело, конечно, не в прозаичности, которая является не стиливым признаком, а признаком сестры мысли, дело в том, что строки его стихов насыщены жизнью, что в коротеньком стихотворении порой заключается целая повесть (в этом, если угодно, и проявляется бунинская школа).

О двух судьбах, двух характерах рассказывал Голубков в небольшом стихотворении «Киношник». Молодому киношнику скучно снимать научное кино в деревенской глуши, он рвется на Чукотку, шеф давно зафрахтовал для новых съемок шхуну.

Какая с виду проза — и какая поэзия в том, что столичная штучка, этот малый недурной, но поверхностный, начинает вдруг «очеловечиваться». Он «впервые что-то слышит в старинной скуке сельской тишины»... Стихотворение это, прочитав, тут же хочется перечитать, найти в нем новые подробности, сперва не замеченные, потому что человека волнует все, что сказано о человеке. «Впечатлениями бытия» полны наблюдения Голубкова — строки об официантке Лизке, которая растит дочку без отца, и то, что Лизкины пальцы темны от кухни, и то, что киношник, «радуясь внешне, как дурак», спешно хочет чем-то порадовать Лизкину дочку, покупает шоколадку — и в этой мелкой подробности есть пробуждение человечности.

«Поминки» кажутся мне одним из лучших стихотворений сборника. Здесь есть смелость создания, рожденная любовью к людям, без которой немислимо само существование поэзии.

Соседка мужа схоронила,
Кутью поставила на стол,
И зарыдала,
И завывала
На все село, на весь простор.

Муж ее бил, измывался над ней, шалея от скудости и вина,

Но жалостно-хвастлив рассказ,
И хмель ее поминный горек:
— Уж как любил меня соколик...

Трогательна вдова, но, пожалуй, еще сильнее задевают наше сердце ее подруги, которые кивают в лад ее словам, пьют за упокой, морщась: «Соседки все о мертвом знают, — и все же верят ей, живой».

Книга Дмитрия Голубкова называется «Окрестность». В ней живут люди, увиденные в действительности: то два деловитых мужика, которые ладят лодку, то дед Коля, небритый, неопрятный и вместе с тем «почти щеголеватый», а письма он пишет «без запятых и без ошибок», то попутчица в машине дачника-доцента. И вдруг в эти русские картины, где «на взгорке — затишье, даль далёко светла», проникают самаркандские шелковицы, узбекские игрушки, хивинский базар, перепел в бухарской чайхане. Они хорошо написаны, эти азиатские

наброски, но сама яркость этих стихов, экзотичность, что ли, делает их в книге несколько отчужденными, и вместе с автором нам хочется вернуться в его «окрестность».

Насыщенность цвета, чистота звука привлекают меня в стихах Голубкова не сами по себе, а в сочетании с ищущей мыслью. Когда-то Пушкин сказал о Баратынском: «Он у нас оригинален, ибо мыслит».

С. Липкин.

★

ГАЛИНА ВИННИКОВА. Тургенев и Россия. М. «Советская Россия». 1971. 335 стр.

В послевоенные годы советское литературоведение добилось серьезных успехов. Одним из них, мне кажется, является решительное преодоление прямолинейного, вульгарно-социологического подхода к творчеству русских классиков. Особенно наглядно это проявлялось в юбилейные дни, посвященные Чехову, Гончарову, Островскому, Тургеневу, Достоевскому, Некрасову. Основываясь на принципах марксистско-ленинской методологии, литературоведы подчеркивают в творческом наследии и общественной деятельности русских классиков прежде всего то главное, что связывало каждого из этих художников с народом, с передовыми, революционными силами общества, — это теперь прочно входит в золотой фонд социалистической культуры.

В этой связи следует обратить внимание читателя и на недавно вышедшую в свет книгу «Тургенев и Россия». Монография Г. Винниковой написана увлеченно и заинтересованно и вместе с тем строго научно, с привлечением множества документальных материалов. Подробно, хотя и немногословно прослеживая жизненный путь Тургенева от раннего детства и до последних его дней, автор одновременно анализирует и произведения писателя, — читатель получает целостную картину жизни и творчества, органичности и многообразия связей великого художника слова с современной ему действительностью.

Тургенев был заинтересованным свидетелем таких важнейших событий эпохи, как французская революция 1848 года и Парижская коммуна, отмена крепостного права в России, возникновение русского революционного движения. Классовое расхождение русского общества в условиях пре-

вращения феодальной России в капиталистическую было той реальной почвой, на которой родилось и развивалось самосознание писателя. Автор книги подробно исследует творческую историю всех значительных произведений Тургенева в свете общего анализа особенностей эпохи, — мы узнаем, по каким идейно-политическим и нравственным соображениям возникали замыслы романов и повестей Тургенева, с какими переменами в его личной и общественной жизни они были связаны, как и почему они изменились в процессе художественного воплощения. В книге раскрывается и главный творческий принцип Тургенева в его подходе к явлениям жизни: внимательно, предельно объективно анализируя своеобразие идейно-классовых отношений на том или ином этапе развития общества, Тургенев всякий раз стремится выделить и ярче всего показать передовые исторические силы в их решительном противопоставлении господствующим реакционным силам.

Г. Винникова подчиняет свои суждения задаче рассеять бытовавший в недавнем прошлом миф об аполитичности Тургенева, о его неизбывном «постепеновском» либерализме. Книга, в сущности, и написана для того, чтобы на строго документальной основе подтвердить единственно правильный вывод, сформулированный в свое время еще М. Салтыковым-Щедриным: «Литературная деятельность Тургенева имела для нашего общества руководящее значение, наравне с деятельностью Некрасова, Белинского и Добролюбова...» В этом смысле Г. Винниковой особенно удались те главы, в которых речь идет о творческой истории романов «Дым» и «Новь» и неосуществленного замысла писателя — его последнего романа «Наталя Карповна».

Строгий документализм исследования позволил автору книги избежать в своих суждениях субъективных предвзятостей и натяжек. Мысль о том, что Тургенев «должен быть признан полноправным участником русского освободительного движения», становится естественным выводом из рассуждений автора. Представление о Тургеневе как о великом художнике слова, идущем в русле борьбы революционно-демократических сил с реакционными силами царской России второй половины прошлого века, прочно входит в сознание читателя этой живо написанной, аргументированной книги.

Дм. Еремив.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Памяти Герцена. 16 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? (Ответ на статьи «Русского богатства» против марксистов). 223 стр. Цена 25 к.

СССР на пути строительства коммунизма (1959—1970 гг.). Коллектив авторов. 463 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ф. Абрамов. Братья и сестры. Две зимы и три лета. Романы. 582 стр. Цена 1 р. 6 к.

А. Аршаруни. Встречи с прошлым. Воспоминания. 167 стр. Цена 38 к.

М. Беляев. Свадьба. Лирика. 120 стр. Цена 36 к.

В. Большак. Гусак на Бродвее. Повесть и рассказы. Перевод с украинского. 431 стр. Цена 75 к.

А. Броделе. Это мое время. Повесть. Перевод с латышского Д. Глезера. 232 стр. Цена 46 к.

П. Ванченко. Оноприй Кудь. Повесть, рассказы и юморески. Перевод с украинского. 254 стр. Цена 52 к.

Б. Васильев. А зори здесь тихие... Повести. 336 стр. Цена 68 к.

С. Васильев. Отбор. Избранные стихи и поэмы. 1932—1970. 271 стр. Цена 1 р. 29 к.

А. Велиев. Я нашел свою молодость. Рассказы. Перевод с азербайджанского. 264 стр. Цена 50 к.

Р. Гамзатов. Третий час. Стихи. Перевод с аварского. 112 стр. Цена 52 к.

О. Дмитриев. Возвращение в город. Стихи. 136 стр. Цена 38 к.

Т. Каипбергенов. Дочь каракалпакана. Роман. Книга 2. Перевод с каракалпакского В. Герасимовой. 215 стр. Цена 29 к.

Д. Косарин. Дума над Тясмином. Повести и рассказы. Перевод с украинского. 351 стр. Цена 78 к.

В. Кукушкин. Хозяин. Роман. 509 стр. Цена 93 к.

М. Машара. Кресы борются. Роман. Перевод с белорусского. 319 стр. Цена 64 к.

А. Михайлов. Степная песня. Поэзия П. Васильева. 280 стр. Цена 46 к.

Л. Решетников. Белый свет. Книга стихов. 147 стр. Цена 51 к.

М. Рудзитис. Горсть гальки. Стихи и поэмы. Перевод с латышского. 119 стр. Цена 35 к.

В. Титов. Ковыль — трава степная. Повесть. — Рассказы. 200 стр. Цена 28 к.

А. Ткаченко. Наше короткое лето. Рассказы и повести. 264 стр. Цена 54 к.

М. Хашеватский. Поздний вечер. Стихи. Перевод с еврейского Ю. Нейман. 86 стр. Цена 20 к.

М. Хоросницкая. Карпатская радуга. Стихи. Перевод с украинского. 95 стр. Цена 26 к.

Л. Щипахина. Невзятые вершины. Стихи. 95 стр. Цена 30 к.

М. Юфит. Мой дядя — изобретатель. Рассказы. 326 стр. Цена 63 к.

К. Яшен. Путеводная звезда. Драм. Перевод с узбекского. 423 стр. Цена 1 р. 23 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Гольдони. Комедии. — **К. Гоцци.** Сказки для театра. — **В. Альфиери.** Трагедии. Перевод с итальянского. Составление и вступительная статья Н. Томашевского. («Библиотека всемирной литературы») 799 стр. Цена 1 р. 97 к.

П. Громов. О стиле Л. Толстого. Становление «диалектики души». 397 стр. Цена 1 р. 7 к.

Г. Знаменская. Генрих Манн. Критико-биографический очерк. 189 стр. Цена 45 к.

А. Иванов. Тени исчезают в полдень. Роман. 711 стр. Цена 1 р. 83 к.

В. Инбер. Избранная проза. 512 стр. Цена 1 р. 4 к.

М. Лермонтов. Стихи и поэмы. Вступительная статья П. Антокольского. 224 стр. Цена 25 к.

П. Лукницкий. Избранное. Предисловие Н. Тихонова. 670 стр. Цена 1 р. 31 к.

А. Моруа. Олимпико, или Жизнь Виктора Гюго. Перевод с французского Н. Немчиновой и М. Трескунова. Вступительная статья Ф. Наркирьера. 447 стр. Цена 1 р. 96 к.

Н. Некрасов. Стихотворения. — Поэмы. Вступительная статья К. Чуковского. («Библиотека всемирной литературы») 702 стр. Цена 1 р. 85 к.

А. Струг. Новеллы и повести. Перевод с польского. Вступительная статья В. Витт. 327 стр. Цена 72 к.

Ф. Хамис. Мосты. Стихи. Перевод с испанского. 163 стр. Цена 1 р. 60 к.

К. Чуковский. Мастерство Некрасова. 711 стр. Цена 2 р. 3 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Алексеев. Городские повести. Предисловие Г. Митина. 208 стр. Цена 27 к.

Н. Байтемиров. Бунтарка и Колдун. Роман. Перевод с киргизского. 464 стр. Цена 99 к.

П. Воронько. Пока живой — иди! Стихи и поэмы. Перевод с украинского. 87 стр. Цена 35 к.

В. Жданов. Некрасов. («Жизнь замечательных людей») 494 стр. Цена 1 р. 8 к.

Р. Лубинский. Очарованные олени. Стихи. Перевод с украинского. Предисловие Л. Новиченко. 31 стр. Цена 13 к.

А. Мурадов. Белая мгла. Повести. Перевод с туркменского. 224 стр. Цена 33 к.

А. Мусатов. Паша Ангелина. Документальная повесть. 208 стр. Цена 56 к.

Н. Некрасов. Я лиру посвятил народу своему. Сборник. 351 стр. Цена 88 к.

А. Пайтык. Наследник. Повесть. Перевод с туркменского И. Варламовой. 135 стр. Цена 20 к.

В. Порудоминский. Даль. («Жизнь замечательных людей») 384 стр. Цена 98 к.

В. Сидоров. Светлая осень. Стихи. 175 стр. Цена 46 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Лидин. Песня лодочников. Рассказы. 207 стр. Цена 46 к.

Н. Некрасов. Избранные стихотворения. Статья А. Гришункина. 231 стр. Цена 69 к.
А. Твардовский. Поэмы. 487 стр. Цена 2 р. 47 к.
С. Хаким. Вечные ветви. Стихи и поэмы. Перевод с татарского. 199 стр. Цена 80 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Владко. Фиолетовая гибель. Научно-фантастическая повесть. 238 стр. Цена 52 к.
Детская литература. 1971. Сборник статей, исследований, литературных портретов, воспоминаний. 351 стр. Цена 1 р. 5 к.
Н. Дубов. Собрание сочинений. В 3-х томах. Послесловие А. Туркова. Т. 3. 331 стр. Цена 99 к.
А. Лиханов. Музыка. Повести. 240 стр. Цена 47 к.
С. Могилевская. Театр на Арбатской площади. Историческая повесть. 207 стр. Цена 50 к.
Старинные исторические песни. Сборник. Вступительная статья и составление В. Аникина. 63 стр. Цена 11 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Алексин. Веселые повести. 352 стр. Цена 1 р. 28 к.
Н. Агеев. Остаюсь влюбленным. Стихи. 80 стр. Цена 23 к.
Ю. Бондарев. Взгляд в биографию («Писатели о творчестве») 206 стр. Цена 23 к.
И. Волобуева. Часы идут. Стихи. 160 стр. Цена 36 к.
Я. Вохменцев. Живет на свете человек. Стихи. 160 стр. Цена 34 к.
М. Гладков. Пьедесталы напрокат. Фельетоны и пародии. 50 стр. Цена 22 к.
А. Домани и М. Сбойчаков. Подвиг доктора Михайлова. Документальная повесть. 288 стр. Цена 85 к.
Д. Емлютин. Шестьсот дней и ночей в тылу врага. Документальная повесть. 288 стр. Цена 85 к.
С. Залыгин. Мой поэт. («Писатели о творчестве») 128 стр. Цена 23 к.
Д. Мамлеев. Остров на парусах. Документальная повесть. 176 стр. Цена 33 к.
С. Орлов. Свидетели живые. («Писатели о творчестве») 128 стр. Цена 15 к.
В. Панов. Поездка на средний Дон. («Письма из деревни») 64 стр. Цена 11 к.
А. Прокофьев. Величальная песня России. Стихи. 368 стр. Цена 1 р. 29 к.
В. Росляков. У дяди Тимохи. («Письма из деревни») 64 стр. Цена 11 к.
Я. Ругоев. Хождения за надеждой. Стихи. 144 стр. Цена 48 к.

ВОЕНИЗДАТ

С. Бартенев. Экономика — тыл и фронт современной войны. 191 стр. Цена 80 к.
А. Гречко. На страже мира и строительства коммунизма. 110 стр. Цена 15 к.

«ИСКУССТВО»

Д. Барри. Питер Пэн, или Мальчик, который не хотел расти. Пьеса. Перевод с английского В. Заходера. 127 стр. Цена 1 р. 15 к.
Верность революции. На сцене ленинградских драматических театров сегодня. Сборник статей. 143 стр. Цена 92 к.
Э. Лотяну. Это мгновение. Киноповесть. Авторизованный перевод с молдавского. 111 стр. Цена 28 к.
Н. Маясова. Древнерусское шитье. Альбом. 34 стр. Цена 6 р. 16 к.

«ПРОГРЕСС»

В. Брунс. Писатель и американская жизнь. Том 2. Перевод с английского. 253 стр. Цена 1 р. 26 к.
Ш. О'Кейси. За театральным занавесом. Сборник статей. Перевод с английского. 288 стр. Цена 1 р. 22 к.

Политика США в области науки. Перевод с английского и французского. 406 стр. Цена 2 р. 7 к.

Философские проблемы современной химии. Сборник. Перевод с английского, французского и других языков. 228 стр. Цена 1 р.

Э. Хемингуэй. Острова в океане. Роман. Перевод с английского. 447 стр. Цена 1 р. 48 к.

Ф. Эриа. Время любить. Роман. Перевод с французского. 251 стр. Цена 66 к.

«МЫСЛЬ»

Б. Алиева. Теория двойственной истины. 128 стр. Цена 69 к.
В. Афанасьев. Основы философских знаний. Для слушателей школ основ марксизма-ленинизма. 335 стр. Цена 59 к.
А. Белков. Вацлав Вацлавович Воровский. 86 стр. Цена 15 к.
Л. Зак, В. Лельчук и В. Погодин. Строительство социализма в СССР. Историкографический очерк. 318 стр. Цена 1 р. 54 к.
В. Лавричев. Демократический централизм — диалектический принцип организационного строения КПСС. 120 стр. Цена 18 к.
М. Максимов. Основные проблемы империалистической интеграции. 357 стр. Цена 1 р. 59 к.
М. Овсянников. Гегель. 223 стр. Цена 26 к.
Противоречия современного капиталистического производства. 295 стр. Цена 1 р. 11 к.

«ЭКОНОМИКА»

Г. Желев. Проблемы воспроизводства и международного разделения труда в странах — членах СЭВ. 191 стр. Цена 1 р. 23 к.
Н. Клепач. Планирование — кровное дело миллионов. 55 стр. Цена 8 к.
П. Супрун и А. Савченко. Технический прогресс и экономия времени. 56 стр. Цена 8 к.
М. Чистяков и П. Морозов. Планирование в СССР. Организация и методы. 143 стр. Цена 44 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Народная война в тылу врага. К истории партизанского движения в Калининской области. 328 стр. Цена 90 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Международные организации социалистических стран. Правовые вопросы организации и деятельности. 221 стр. Цена 72 к.
Ф. Петров. Международное научно-техническое сотрудничество: состояние, цели, перспективы. 357 стр. Цена 1 р. 29 к.

«НАУКА»

Л. Абалкин. Экономические законы социализма. 191 стр. Цена 58 к.
А. Гафуров. Лев и кипарис. О восточных именах. 240 стр. Цена 83 к.
В. Котов. Монополистические формы хозяйственных отношений (На материалах ФРГ). 320 стр. Цена 1 р. 18 к.
А. Крымский. История новой арабской литературы. XIX — начало XX вв. 794 стр. Цена 3 р. 93 к.
Национальное и интернациональное в советской литературе. Сборник статей. 290 стр. Цена 2 р. 23 к.
Н. А. Некрасов и русская литература. 1821—1971. Сборник статей. 511 стр. Цена 2 р. 27 к.
Первобытное искусство. Сборник статей. 203 стр. Цена 57 к.
В. Перцов. Маяковский. Жизнь и творчество. 1918—1924. 426 стр. Цена 1 р. 85 к.
Н. Прудков. Русская литература XIX века и революционная Россия. Социологические и историко-литературные очерки. 240 стр. Цена 1 р. 6 к.

Б. Сапожников. Китайский фронт во второй мировой войне. 230 стр. Цена 85 к.

А. Сизоненко. Очерки истории советско-латиноамериканских отношений. 1924—1970 гг. 204 стр. Цена 66 к.

Современная историография стран зарубежного Востока. Проблемы социально-политического развития. Сборник статей. 256 стр. Цена 1 р. 16 к.

А. Сухочев. От дастана к роману. Из истории художественной прозы урду XIX в. 245 стр. Цена 87 к.

США: сфера услуг в экономике. Коллектив авторов. 414 стр. Цена 1 р. 54 к.

Б. Чагин. Очерк истории социологической мысли в СССР. 1917—1969. 244 стр. Цена 83 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» —

Н. Бондарев и Э. Эйдинова. Право на наследство и его оформление (Беседы о советском законодательстве). 87 стр. Цена 10 к.

Н. Казанцев. Законодательные основы земельного строя в СССР. 174 стр. Цена 54 к.

Марксистско-ленинская общая теория государства и права. В 4-х тт. Т. 2. Исторические типы государства и права. 638 стр. Цена 2 р. 38 к.

Научный комментарий судебной практики за 1970 год. 240 стр. Цена 74 к.

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик. 374 стр. Цена 81 к.

Советское государственное право. Учебник для юридических институтов и факультетов. 614 стр. Цена 1 р. 32 к.

«ПЕДАГОГИКА»

Ф. Королев. В. И. Ленин и педагогика. 398 стр. Цена 1 р. 46 к.

С. Михалков. Все начинается с детства. 200 стр. Цена 65 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Амур — река подвигов. Художественно-документальные повествования о Приамурской земле, ее первопроходцах, защитниках, преобразователях. Составитель Н. Ки-

рюхин. Хабаровск. Книжное издательство. 927 стр. Цена 2 р. 31 к.

Ф. Березовский. Под звон кандалный. Повести, рассказы и воспоминания. Составление и вступительная статья Н. Яновского. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 304 стр. Цена 64 к.

Д. Буслович, О. Персианова и Е. Руммель. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа. Ленинград. «Аврора». 287 стр. Цена 1 р. 63 к.

В. Добровольский. И дух наш молод. Роман. Харьков. «Прапор», 416 стр. Цена 80 к.

Л. Енгибарян. Первый раунд. Миниатюры. Ереван. «Айастан». 48 стр. Цена 5 к.

Казахские народные сказки. В 3-х томах. Т. 1. 280 стр. Цена 70 к. Т. 2. 312 стр. Цена 68 к. Т. 3. 303 стр. Цена 86 к. Алма-Ата. «Жаушы».

Константин Коровин вспоминает... Составление и вступительная статья И. Зильберштейна и В. Самкова. М. «Изобразительное искусство». 911 стр. Цена 3 р. 56 к.

К. Кулиев. Непокорный алжирец. Роман. Перевод с туркменского В. Курдицкого и Е. Усыскиной. Ашхабад. «Туркменистан». 234 стр. Цена 53 к.

С. Куняев. Золотые холмы. Стихи о Грузии. Избранная лирика. Избранные переводы с грузинского. Тбилиси. «Мерани». 216 стр. Цена 67 к.

В. Лебедева. Л. Н. Толстой в педагогических трудах Н. К. Крупской. Тула. Приокское книжное издательство. 48 стр. Цена 9 к.

В. Маковецкий. Арбатская стрелка. Очерки. Симферополь. «Таврия». 142 стр. Цена 33 к.

А. Мамед. История азербайджанской литературы. Краткий очерк. Баку. «Элм». 216 стр. Цена 90 к.

В. Мелентьев. Повесть о ненужной любви. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 253 стр. Цена 53 к.

О Некрасове. Статьи и материалы. Выпуск 3. Составитель А. Тарасов. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 336 стр. Цена 55 к.

Е. Пронин. Печать и общественное мнение. Издательство Московского университета. 132 стр. Цена 78 к.



Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большой (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 26/1 1972 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 6/IV 1972 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)
А 06759. Тираж 157.000 экз. Зак. 360.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636